11.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рисунок
РЕНАТО ГУТТУЗО
Италия

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 1977
НОЯБРЬ

ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
60 ЛЕТ!

Содержание

АНГЕЛ ТОДОРОВ — Октябрь *(Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой)* 4

ТЕ ХАНЬ — Книги Ленина *(Стихи. Перевод с вьетнамского Л. Никольской)* 6

НИКИТА СТЭНЕСКУ — Лад *(Стихи. Перевод с румынского Льва Беринского)* 6

АЛЬДО ДЕ ЯКО — Повесть с эпилогом в тюрьме *(Перевод с итальянского и вступление Г. Смирнова)* 7

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА — Ленинграду *(Стихи. Вольный перевод с испанского Константина Симонова)* 68

РОЖЕ ШАТОНЁ — Через самую высокую дверь *(Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 71

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА — На площади Маяковского *(Стихи. Перевод с португальского Риммы Казаковой)* 145

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ — Здесь под Можайском. Неисчерпаемость *(Стихи. Перевод с польского Зигмунта Левицкого)* 146

ГАУССУ ДИАВАРА — России *(Стихи. Перевод с французского Александра Карлова)* 147

ЛУИС СУАРДИАС — Горы Таджикистана *(Стихи. Перевод с испанского Олега Островского)* 149

ЯН ПИЛАРЖ — Следы на снегу *(Стихи. Перевод с чешского Елены Литинской)* 149

Анкета «Иностранной литературы»

Октябрь и современный мир

КОБО АБЭ. ЭРВЕ БАЗЕН. ГАБОР ГАРАИ. ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС. АЛЕКС ЛА ГУМА. ЮЛИАН КАВАЛЕЦ. СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ. АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ. ИВАН СКАЛА 151

Публицистика

Во имя счастья человека

Зарубежные писатели о новой Конституции СССР

АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАМИСИ — Точка опоры 158

МАЙК ДЭВИДОВ — Реальность самого гуманного мира 159

АНДРЕЙ ПЛАВКА — Полная чаша *(Продолжение. Перевод со словацкого Н. Аросевой)* 164

Литературное наследие

ЭЖЕН ПОТЬЕ — Стихи *(Перевод с французского и вступление Валентина Дмитриева)* 200

Содержание

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА — Возможность, предоставленная историей (К проблеме общности литератур европейских социалистических стран) 205

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ — Американский буревестник (Горас Тробел и революционная Россия. Неизвестные и забытые страницы демократической литературы США) 213

Литературные портреты

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ — Энрике Хиль Хильберт — коммунист, писатель, человек 220

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Литвинец — Литература, которая борется 229

Публицистика

К 60-летию Великого Октября

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе. ПАБЛО НЕРУДА. НГУГИ ВА ТХИОНГО. АНДРЕ РЕМАКЛЬ *(Окончание)* 234

Софийский дневник

Интервью, взятые Е. Стояновской у участников международной писательской встречи (В этом номере: Брайан Филан, Фарли Моуэт, Азиз Несин, Николай Христозов, Ежи Путрамент, Андре Стиль, Филлип Боноски, Мартин Наг, Субхас Мукерджи, Вальтер Дигельман, Гуго Гупперт. *Продолжение*). 241

Среди книг

Издано в СССР

Овидий Горчаков — По планете шагает Октябрь ✦ Владимир Огнев — Поэзия нового мира 265

Издано за рубежом

Педро Клавихо — Важнейшее завоевание Октября — создание нового человека ✦ Русская и советская литература в Румынии. Ион Яноши — Активный диалог. Ромул Мунтяну — Массовым тиражом ✦ Педро Корреа Васкес — Учиться у Горького 270

Из месяца в месяц 276

Авторы этого номера 286

На обложке: картина болгарского художника СТОЯНА ВЕНЕВА.

© «Иностранная литература», 1977 г.

АНДРАШ ЛЕХОЦКИ. Венгрия. Рисунок

БОЛГАРИЯ

АНГЕЛ ТОДОРОВ

Октябрь

Живут во мне воспоминанья
далеких юношеских дней...
Поет чешма средь низких зданий,
и город — леса зеленей.
Сады густы. Поля бескрайни.
Щебечут птицы за окном.
О, поцелуев первых тайна
и тихий смех в саду ночном!

Но на устах замрут признанья...
Война! Что в мире есть страшней?
... Ах, как грустны воспоминанья
далеких юношеских дней.
В глубинах памяти бездонной
весь век, до самого конца,
мы бережем, мы свято помним
лик материнский, взгляд отца.
И день, отмеченный судьбою,
упрямо память бережет...

Всю жизнь сияет предо мною
Октябрь и тот далекий год.
Внезапно в жизнь мою вошел он,
звеня на сотни голосов.
Он был осенним гулом полон,
напевом бронзовых лесов,
принес он яростные бури
и ритм тревожный и живой,
звездой рассветною в лазури
дрожал над сонною травой.

Каким бы ни был путь нелегким
я буду помнить в смене дней,
как засиял Октябрь далекий
над светлой юностью моей.
Как ветер, овевал он душу,
кровь молодую горяча,
как будто в Петрограде слушал
я сам призывы Ильича.

И штурма Зимнего моменты
я живо так воображал,
как будто с пулеметной лентой
я сам по лестницам бежал.
И не сводил я глаз с России —
переплелась с ней жизнь моя.
Россия набирала силу,
и вместе с ней мужал и я.

В те дни я навсегда запомнил
Октябрь, мятежный и огромный.
Я повторяю, как обет:
— Ты дорог сердцу бесконечно,
и будет петь и славить вечно
тебя вернейший твой поэт!

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА

■

ВЬЕТНАМ

ТЕ ХАНЬ

Книги Ленина

Нет, на свою судьбу я не в обиде!
Я вспоминаю до сих пор с волненьем:
мне книги посчастливилось увидеть,
которые читал когда-то Ленин.

Передо мною стол его рабочий —
такой же, как я видел на картине.
Любая вещь о нем напомнить хочет
и память светлую о нем хранит и ныне.

В горшках, как прежде, цикламены, розы —
мне кажется, весна вот-вот начнется.
И зимний день, короткий день морозный,
летит и зыбким светом в окна льется.

Дух помыслов высоких и надежды,
витающий в кремлевском кабинете,
пронизывает день и город снежный
и дарит веру в счастье всей планете.

Перевела Л. НИКОЛЬСКАЯ

■

РУМЫНИЯ

НИКИТА СТЭНЕСКУ

Лад

Сады согласны в шелесте своем
с ручьем, былинкой, всякой хворостинкой,
и тихо запевает окоем,
вертясь большой вечернею пластинкой.

Встает луна. Идет по небесам,
по насыпи алмазов и сапфира.
И, обжигая свой кирпич, я сам
несу его строительным лесам
зари коммунистического мира.

Перевел ЛЕВ БЕРИНСКИЙ

■

АЛЬДО ДЕ ЯКО

Повесть с эпилогом в тюрьме

Перевод с итальянского и вступление Г. СМИРНОВА

Выбор судьбы

«Мне бы хотелось, чтобы, посмотрев мой фильм, итальянский зритель, если он до этого стоял в стороне от социальной борьбы, выходил из зала бойцом, коммунистом». Эти слова, сказанные итальянским режиссером Бернардо Бертолуччи, автором фильма «XX век», на закрытии X Московского кинофестиваля, с полным правом могут быть отнесены и к автору «Повести с эпилогом в тюрьме» Альдо Де Яко. С полным правом, потому что смысл этого небольшого по объему произведения предельно ясен: человек, брошенный в водоворот чрезвычайных, кризисных обстоятельств, столь характерных для капиталистического мира XX века, не может оставаться безразличным, он должен выбрать свою судьбу, должен решить, с кем он — с силами реакции, жестокости и несправедливости или с борцами за социальный прогресс, демократию и социализм.

Время событий, описанных в повести Альдо Де Яко, очерчено с документальной точностью. Перед нами Италия декабря 1971 года. По тому, что идет подсчет голосов, отданных за кандидатов в президенты республики, можно определить даже минуту и час, с которых начинаются события. В этом смысле повесть Де Яко — произведение документальное, историческое.

Точное указание на время действия сделано автором не случайно. Декабрь 1971 года явился одним из переломных моментов в истории современной Италии. На протяжении нескольких лет в стране шли острые социальные битвы, предпринимались сложные политические ходы для оказания воздействия на широкие народные массы. С этой целью среди населения распространялись различного рода панические слухи, обывателю внушалась мысль о необходимости наведения твердого порядка, в газетах появлялись сообщения о заговорщических группах в полиции и армии, о приведении в боевую готовность американских войск и флота. Атмосфера неуверенности, политической нестабильности и экономических затруднений царила в стране. Наиболее консервативные силы итальянской буржуазии искали выхода из создавшегося положения на путях сдвига вправо.

В этих условиях первостепенное значение приобретал вопрос об ориентации широких масс населения. Существенную роль играли тут настроения так называемых «средних слоев» — многочисленных служащих государственных учреждений, мелких и средних предпринимателей, торговцев, хозяев гостиниц, лавок и мастерских.

Особые надежды реакционные силы возлагали на выборы президента республики. Прошедшие незадолго до этого частичные административные выборы привели к крупному политическому поражению основной буржуазной партии Италии — христианско-демократической, потерявшей в ряде мест до 7—8% голосов. Основной удар по ХДП был нанесен справа — почти все потерянные христианскими демократами голоса отошли к неофашистскому «итальянскому социальному движению».

Коммунисты и социалисты укрепили или сохранили свои позиции, несмотря на то что выборы происходили на Юге и в Риме, где реакционные и неофашистские силы чувствовали себя гораздо увереннее, чем в центральных и северных районах страны.

Официальная пропаганда подняла вопль о том, что в стране происходит наращивание сил двух «крайних» партий — коммунистов и неофашистов. Стремясь создать благоприятные условия для ограничения сферы действия левых демократических сил,

© Marsilio Editori, 1975

правящие круги попустительствовали провокациям крайне правых элементов, которые не останавливались перед организацией многочисленных покушений, взрывов, поджогов, приводивших к человеческим жертвам.

На президентских выборах в декабре 1971 года решался вопрос, победит ли кандидат от правоцентристских партий или кандидат левых, демократических партий. В результате острой политической борьбы победил представитель умеренных кругов итальянской буржуазии — Джованни Леоне. Однако в течение нескольких дней страну буквально лихорадило — ни один из выдвинутых кандидатов не был в состоянии обеспечить себе большинство.

В этой атмосфере политической нестабильности и развертывается действие «Повести с эпилогом в тюрьме». Перед героем повести Альберто Монтероссо стоит та же проблема, что и перед страной,— проблема выбора. Не случайно полицейский комиссар столь настойчиво твердит, что речь идет только об одном: на чьей стороне Монтероссо — на стороне «закона» или на стороне людей, принимающих участие в демонстрациях, симпатизирующих коммунистам или даже их защищающих.

Альберто Монтероссо выбирает в повести Альдо Де Яко тюрьму и чистую совесть. Он не считает возможным вернуться к прежней спокойной жизни путем предательства людей, с которыми столкнули его неожиданные обстоятельства. Тем более что речь идет о людях, привлекающих его своими высокими моральными качествами. Это и иностранка с ее мужем, оказавшаяся замешанной в какой-то подстроенной истории, и рабочие парни, участвующие в демонстрации и смело вступающиеся за честь молодой женщины.

Своеобразную роль в книге Де Яко играет образ города, в котором разворачиваются события. С одной стороны, это воплощение безликости, однообразия жизни, которую ведет герой повести. В нем нет ничего особенного, что привлекло бы наше внимание. Читателю известно лишь, что в городе есть железнодорожная станция, столь же скучная, как и сам город, портики на улицах да море, где-то неподалеку от его окраин. Но, с другой стороны, город показан как средоточие людей смелых и самоотверженных, выступающих против социальной несправедливости и беззакония, сильных взаимной поддержкой и общностью целей. Жить в этом городе, быть связанным с его борьбой представляется герою повести счастьем. Читатель чувствует, что где-то за пределами книги этот выбор определит судьбу, жизнь героя, приведет его в ряды левых, демократических сил страны.

Было бы, однако, упрощенчеством полагать, что обстановка в современной Италии диктует лишь подобное решение вопроса. О сложности и многосторонности поставленной в повести проблемы, о возможности иных, в том числе индивидуалистических и реакционных, решений свидетельствуют современная литература и кино Италии.

В жизни современной Италии проблема «выбора судьбы» для маленького человека приобретает сейчас огромное значение. Ставка на создание в стране атмосферы неуверенности и страха, провоцирование беспорядков с тем, чтобы накалить до предела обстановку и облегчить приход к власти правых сил, основываются именно на стремлении запугать обывателя, заставить его слепо броситься в объятия реакции. И если эта ставка до сих пор оказывается битой, то лишь благодаря тому, что широкие слои населения все более убеждаются в правильности альтернативных предложений, выдвигаемых коммунистами. Свидетельством тому являются результаты досрочных парламентских выборов, состоявшихся в 1976 году, на которых ИКП получила 34,5% голосов избирателей. А это означает, что все большее число «маленьких людей», «людей с улицы» отдает свои голоса за предложения ИКП.

Хотя повесть А. Де Яко посвящена событиям уже далекого для нас 1971 года, это произведение актуальное, его идеи продолжают участвовать в битве современности. Центральное событие, составляющее сюжетную основу повести,— надругательство над личностью, попрание ее самых элементарных прав в условиях капиталистического общества,— служит наглядной иллюстрацией положения дел в лагере тех, кто так упорно кричит в наши дни о нарушениях прав человека, якобы имеющих место в странах социализма.

I

— Ненни.
— Малагуджини.
— Леоне.
— Леоне.
— Сарагат.

Имена кандидатов светились на экране телевизора, цифры сменяли друг друга под монотонный голос зачитывавшего их диктора.

Всемогущей рукой невидимого бога брал он конверты с бюллетенями, вскрывал их и вещал:

— Леоне.

— Ненни.

— Сарагат.

— Сарагат.

Надписи на экране перечеркивали его лицо мерцающими, прыгающими строками, цифры рядом росли, наползая друг на друга. Затем послышался шум голосующих, и на экране появился вид зала сверху с теснящейся, как на базаре, толпой.

Голосование длилось дня три, а то и четыре. Сейчас, однако, все преспокойно лежали в своих постелях и спали. Телевизор начальника станции больше не работал, стулья, повернутые спинкой к письменному столу, пустовали.

— Сарагат.

— Леоне.

— Леоне.

Хотя голубой экран остыл и потух, в голове все равно гудел голос диктора. Ночь плотным одеялом окутывала дома, сквозь стеклянную дверь едва проникала бледная полоска света.

Поезд давно уже ушел.

За дверью — пустота, пути и темнота; надо мной — станция, комната начальника станции, опустевшие службы.

В зале — две двери: одна выходит в непроглядную темь железнодорожных путей, в липкий слепой тупик, другая — туда, откуда проникает легкий ветерок, чуть заметный отблеск далекого города, душистый запах деревьев, прохлада полей.

Но здесь, внутри, мне пышет еще в лицо ночная жара, бьет в глаза неоновый свет, здесь, вокруг меня, стены в грязных пятнах, отполированные задами стулья и витрина закрытого киоска, забитая газетными снимками, рисунками, сувенирами.

Значит, я сюда приехал. Итак, я здесь с чемоданом.

О себе лучше говорить в третьем лице. Итак, он, Альберто Монтероссо, прибыл на эту станцию с чемоданом, плащом и страшным желанием поспать. Сойдя с поезда, он сразу же уселся на скамью, поднял воротник плаща и надвинул шапку на глаза. И все равно он не мог отвести взгляда от женщины на лошади с широким крупом в витрине напротив. Она скакала спиной к зрителю, а вокруг суетились лилипуты.

Рядом с киоском — стеклянная дверь начальника станции, за ней — серый, потухший глаз телевизора, вокруг него — стулья.

Имена кандидатов по-прежнему гудели в голове:

— Ненни.

— Малагуджини.

— Сарагат.

— Сарагат.

Металлический голос, настороженные птичьи взгляды, профили — все смешалось воедино.

Но экран был пуст, только память что-то подсказывала, да в голове стоял неясный шум. Перед глазами книжная витрина, белый в яблоках круп лошади, на нем — наездница с развевающимися желтыми волосами.

Сколько раз он ее видел! В каких только витринах она не мелькала! Он сроднился с ней, как с детством, с греховностью жизни, с тесными темными помещениями, с одиночеством. Рядом — бандит Музолино (вот он с криком бежит тебе навстречу, за ним — два полицейских: «Ату его, ату!»), чуть поодаль — Этторе Фьерамоска верхом

на коне... Стоит ли дальше разглядывать витрину! Нембо Кид, детективные романы, фотографии полуголых женщин. Ну и что? Какой смысл разглядывать витрину и лицо, виднеющееся где-то там, за книгами, лицо полусонного Альберто, прибывшего наконец к месту назначения?

Да, о себе, конечно, легче говорить в третьем лице, словно Альберто Монтероссо — самый обычный рядовой человек. Кажется, что он о чем-то думает, а на самом деле дремлет.

Можно было бы рассказать о его теле, закупоренном в консервную банку вокзала, освещенную неоновым светом, о нагромождении мрачных кубов вдоль опустевших путей, о виднеющемся вдали городе.

Альберто слегка клюет носом и, разумеется, этого не замечает, сонным взглядом он смотрит на книги, на свое отражение в стекле и никак не решится встать, взять чемодан и выбраться на площадь, в светлеющую влажную темноту.

Но нет, так ничего не выйдет. Сон овладел моим существом, как мятый плащ окутав мою фигуру. Стоит мне пошевельнуться, стоит поднять глаза, как сразу дергается лиловая рожа в витрине. Это я и есть. А вовсе не меркнущее воспоминание о книгах, о лошади с широким крупом, о лихой наезднице, об ушедшей юности.

Но поскольку Альберто — это все-таки я, наверняка я, то и станция — это не просто станция, как и зал ожидания — не просто зал ожидания. Нет, из двери, выходящей на платформу, тянется нить, нить памяти, жесткая, узловатая нить воспоминаний.

Но память о прошлом ранит — об Альберто Монтероссо лучше рассказывать в третьем лице!

Вот он сидит там на скамье, в глаза лезут книги, тени из-за двери, опустевший экран телевизора. Краешком глаза он разглядывает плакаты на стенах, желтые обшарпанные стены со вздувшейся штукатуркой (а стулья? Настоящие деревянные скелеты! А стол посредине с мраморной доской? Ему место в молочной лавке или в морге — кругом сплошное запустение).

Альберто Монтероссо бездумно перекатывает по коридорам мозга тяжелый ком сна, неопределенной боли, свинцовой тяжести; имена, световой змейкой перебегавшие по экрану, продолжают роиться в голове как черви, неотступно звучит голос бога, подсчитывающего голоса и вершащего судьбы людей.

И все же если вокруг Альберто М. и было этой ночью что-то подлинное, что-то реальное, так это лошадиный круп с танцующей на нем королевой, нарисованные люди и буквы с завитушками на обложках, Этторе Фьерамоска, «Ату его, ату!» и Грета Гарбо с бездонными глазами.

— Ну как, синьор,— сказал кто-то,— вы не едете со мной?

Он стоял на пороге и заслонял мне свет.

У него были усы, совсем седые, закрученные кверху, как у моего деда, маленький нос на широком лице, глаза тоже маленькие, короткая шея, обмотанная шарфом, охотничья куртка и сапоги — нет, не сапоги, а гетры, надетые на высокие ботинки, какие носили кавалеристы во время войны 1915—1918 годов.

Он улыбнулся мне, и, не встань я ему навстречу, он наверняка протянул бы руку, чтобы похлопать меня по плечу.

— Что с тобой? — спросил он.— Тебе плохо? Скорей, лошадь и без того притомилась.

Он грузно переступал с ноги на ногу, от него слегка пахло дымом, а от запаха вина невозможно было продохнуть. Это был крепкий запах — я весь им пропитался еще до того, как старик подошел ко мне, и у меня до тошноты запершило в горле.

Не говоря ни слова, старик взял чемодан и вынес его наружу. В проем двери устремился свет, замаячили чьи-то тени, начинался новый день, и поскольку я не мог оставаться здесь вечно (да и зачем?), я встал и увидел, как Альберто М. пересек комнату начальника станции и, отразившись в витрине газетного киоска, уперся в желтую стену. Дальше была дверь, за ней — площадь, дышавшая холодом, рассвет, золотивший кроны деревьев, и черная повозка с понурой лошадью.

— Поехали,— сказал старик,— садись!

Он поднял верх, и я не различал уж больше ничего, кроме его согбенной спины, обрывков пейзажа, выползавших лентой из-под его локтей, да запаха вина и табака.

— Ну, лошадка, ну,— повторял старик.

Я пытался разглядеть дорогу то с одной стороны, то с другой, но убедившись, что поверх закрытых дверец видны лишь ветви деревьев, а внизу — трава и галька, уселся поглубже и принялся созерцать черный каркас и хрупкое сиденье, на котором передо мной возвышалась спина старика, ворочавшего локтями в такт движениям лошади, цокавшей копытами по брусчатке (это цоканье отдавалось у меня в голове резкими, звонкими, переливчатыми ударами).

— Ну, лошадка, ну! — понукал старик ласковым голосом, похлестывая кнутом по крупу лошади.

Голос и щелканье кнута сливались в моих ушах воедино.

Лошадь еще быстрей устремлялась по дороге, коляска подпрыгивала, упряжь на влажном крупе натягивалась еще больше.

(Как удается лошади влезать в эту упряжь, как удается ей не запутаться в этих ремнях, как она с ними справляется? Да нет же, старик ей помогает, это он надевает на нее подпругу, прилаживает удила, недоуздок, седло, это он опутывает ее упряжью, пристраивает между оглоблями, подсыпает овса и подталкивает в бок, чтобы она пошевеливалась.)

— Ну же, лошадка, ну!

Сотворение лошадиного мира длилось не один день, сначала была создана упряжь, затем — седло. Когда-то была установлена точная мера овса. А разве не имеют рационального обоснования все эти лямки, понукания, подхлестывания? Разве шоры не помогают сосредоточиться на дороге, удила — определить правильное направление? Благодаря этому лошадь составляет единое целое с коляской, привыкает различать тайные модуляции понуканий (ну же, лошадка, ну) и тончайшие градации в ударе кнута.

— Ну же, лошадка, ну!

И вот она снова бежит по дороге, мерно подпрыгивает ее влажный круп, натягивается упряжь, звонко цокают копыта о брусчатку.

(Хотя, конечно, кто может полностью забыть прошлое или не мечтать о лучших временах? Память — вот главная виновница наших бед!)

— Ну вот мы и приехали! — воскликнул неожиданно извозчик, оборачиваясь ко мне. Опустив верх экипажа, он толкнул меня в объятья жадно глазевших на меня окон, плакатов, горевших вдоль улицы фонарей, барочного портала, изъязвленных камней, отмечавших наше вступление в город.

С опущенным верхом копыта цокали совсем по-иному, теперь я уже видел не только круп, но шею и голову лошади.

Другие тоже несомненно видели меня, мое сонное лицо, ноги на чемоданах. Черный экипаж непрошеным гостем с шумом ворвался в спавший еще город.

II

В глубине за конторкой стоял маленький дряблый человечек; он поклонился, улыбаясь, сделал знак рукой.

— Проходите, проходите,— сказал он.

Потом вышел из-за конторки, взял у кучера чемодан. Я пошел следом. Кучер занял телом весь проход, шаркал ботинками по полу.

— Вам комнату, да? На двоих или на одного?

— На одного.

— Прекрасно, синьор.

Старый кучер между тем сверлил меня взглядом.

— Сколько вам?

— Сколько дадите,— слышу в ответ.

— Как это «сколько дадите», разве нет твердых расценок?

— Какие там расценки? Мы вдвоем, я и лошадь, и никаких расценок.

Хозяин гостиницы ждет с чемоданом в руке.

— Хорошо,— говорю я и вытаскиваю пятьсот лир.

— Синьор,— произносит кучер, держа монету на раскрытой ладони,— здесь только на овес лошади...

Достаю из портмоне еще двести лир, кладу ему в руку; он закрывает ладонь смеется, глаза его блестят, усы шевелятся.

— Ваш покорный слуга,— говорит он,— если еще понадоблюсь, скажите только дону Луиджи.

Дон Луиджи угодливо улыбается, он все еще держит мой чемодан.

Я киваю в знак согласия, но старик уже повернулся ко мне спиной и идет к выходу, громко шаркая ногами. Снова поворачиваюсь к хозяину гостиницы, иду с ним наверх по лестнице. По винтовой лестнице, следуя точно за ним.

Мы проходим через комнату с баром и телевизором и пустыми стульями вокруг, потом идем по коридору, куда выходят нумерованные двери, возле них кое-где стоят ботинки.

Дон Луиджи открывает одну из дверей, пропускает меня вперед, ставит на пол чемодан. Из раскрытых ставней тусклый свет падает на кровать, на умывальник на биде, на висящее на стене распятие. Из зеркала шкафа на меня смотрит пустыми глазами перекошенная физиономия Альберто М. Хозяин пробует водопроводный кран, зажигает и тушит свет на тумбочке.

— Все в порядке,— говорит он.

Едва он закрыл дверь,— а я только успел снять пиджак и повесить его в шкаф, из которого пахнуло затхлостью,— как постучали в дверь и женский голос спросил:

— Можно?

— Войдите.

Вошла женщина в белом переднике, с проседью в волосах, улыбаясь накрашенными губами.

— Полотенца,— сказала она.

Повесив их около умывальника и продолжая улыбаться, повернулась ко мне.

— Если вам что-нибудь понадобится,— говорит она,— позвоните.

У нее шершавые красные руки с короткими ногтями, накрашенными под цвет губной помады.

— Хорошо.

Она идет к двери, покачивая бедрами, и, прежде чем окончательно закрыть дверь, снова улыбается.

Затем дверь открывается, появляется ключ, вставляемый в замочную скважину изнутри.

— Ключ,— говорит она.

— Спасибо.

Наконец дверь закрывается. Тогда я берусь за ключ и поворачиваю его в замке. Номер 31 — надо запоминать номера в гостиницах; номер 31, гостиница «Импéро».

Наверно, это старая гостиница: комнаты большие; в новой их сделали бы меньше, потолки ниже. И умывальник маленький, кран ржавый — это еще раз доказывает, что гостиница старая (новую мебель и неоновый свет над входом поставили нарочно, чтобы не создавать слишком тягостного настроения).

Пока я мою руки, лицо Альберто смотрит на меня из зеркала. Какое мне дело, старая гостиница или нет? Важно, что дешевая. Вытираясь, читаю бумажку, приклеенную к двери: 2500 лир. Повернувшись, задумываюсь, что же странного, что необычного в этой комнате; ах, вот в чем дело: высокий потолок с пыльной и такой домашней люстрой посередине, темные пятна на стенах (конечно, от старой мебели, которую только недавно убрали) и биде, майоликовое биде, прочно вделанное в пол, с краниками, как в уборных. Что же, хорошо, это удобно.

Стук в дверь, иду открывать.

В щели между дверью и стеной появляется физиономия хозяина гостиницы.

— Простите,— говорит он,— вы должны дать мне удостоверение личности или какой-нибудь другой документ...

— Конечно, конечно...

Я даю водительские права, и он, довольный, уходит. Так что́ же значит биде, что значит это биде здесь вместо обычного металлического тазика?

Очевидно, здесь когда-то было казино, а теперь устроили гостиницу.

Я снимаю брюки и растягиваюсь на кровати, затем поднимаю ноги — одну за другой — и снимаю ботинки. В комнате — сплошная серость и тишина, свет едва проникает через закрытое жалюзи.

Альберто же чудится, что вокруг движутся обнаженные женщины и улыбаются, словно радушные хозяйки.

Лежа в постели, я пытаюсь вздремнуть, чтобы дотянуть до того часа, когда город проснется и начнет выбрасывать жителей из спален, когда откроются магазины, а торговцы продадут первую партию товаров,— словом, дотянуть до того времени, когда можно начать обход своей клиентуры.

В определенных обстоятельствах заснуть нелегко — малейший звук воспринимается как удар топора; бульканье в водопроводном кране кажется грохотом водопада, падающий из окна свет давит на отяжелевшие веки. Стены кажутся бумажными: по коридору проходит женщина, громко разговаривая с кем-то; хлопает дверь; в голове отдаются шаги, голоса, телефонные звонки, голос хозяина, который будит кого-то внизу. Он стучит в чью-то дверь, а тебе кажется — прямо в твою, прямо тебе в ухо: проснитесь, синьора!

Потом снова наступает тишина, слышно только, как капает вода из крана, затем доносится шум воды, сливаемой где-то за стеной; какой-то мужчина бубнит что-то невнятное, голос его, то приглушаемый полотенцем, то звучащий с новой силой, перемещается вдоль стены; издали ему отвечает женщина. Да, эти двое где-то рядом со мной.

Голос женщины доносится издалека, слова ее лишены смысла, из разговора мужчины тоже ничего не разберешь, слышны лишь какие-то неясные шумы, удары. Все это там, за стеной, за обоями, за зеркалом умывальника, в дневном свете, отраженном зеркалом.

Приподнявшись на локтях, Альберто садится на кровати. Что ж, делать нечего, день начался. Остается одно: встать, выйти, начать свой обычный обход.

Конечно, сначала надо побриться, сменить рубашку, выпить кофе. Начнем.

Он нажимает на кнопку, чтобы вызвать горничную, потом идет к зеркалу. За ним, словно наяву, он видит большую комнату, на кровати — голые женские ноги. Они двигаются словно сами по себе, отдельно от бедер, ягодиц, раскинутых рук, упавших на лицо волос, скомканной простыни.

Человек за стеной забубнил снова, затопил комнату шумом, потом в дверь постучали, и все исчезло.

Альберто идет открывать и просит вошедшую горничную принести ему кофе.

— Хорошо, синьор.

В башмаках у этой женщины тоже спрятаны пальцы. Закрыв дверь, Альберто вернулся к зеркалу — какое здесь напряжение: 150 или 220? Около розетки ничего не написано, но можно посмотреть на лампочке: 220.

Альберто снова зажег лампочку и вынул из чемодана электробритву. Только он начал бриться, снова постучали.

Всегда так. Жужжание бритвы прекратилось, вошла горничная с кофе. Поставила чашку на тумбочку.

— Пожалуйста,— сказала она.

Альберто улыбнулся, вернее, они улыбнулись друг другу, потом горничная медленно вышла, закрыв за собой дверь.

Человек-стена говорил теперь громко, женщина отвечала ему, но было совершенно непонятно, о чем они говорят.

И все же представить их было легко: она, растрепанная, лежит на постели, он застегивает брюки, чистит их щеткой, бросает в биде грязные носки, приглаживает волосы брильянтином. О чем они говорят? О деньгах, ревности, о том, надо ли уезжать или нет, об одежде?

Наконец он хлопнул дверью и ушел, она осталась одна, одна в номере гостиницы.

Покончив с кофе, Альберто снова стал бриться — несколько быстрее, чем прежде. В самом деле, надо взбодриться, привести себя в порядок, чтобы начать обход.

Но прежде понадобилось зайти в уборную. Он заправил рубашку в брюки, надел ботинки, завязал шнурки. Можно так выйти? Черт знает что, взять номер без удобств, а потом бегать в поисках сортира.

Он открыл дверь и очутился в коридоре. Взглянув на него, горничная махнула куда-то рукой.

Где это? Он пошел наугад: 30, 29, 28 — открытые комнаты, неубранные кровати, чемоданы в углу; потом ниша с телефоном и рядом — приоткрытая дверь с двумя нулями вместо номера; Альберто протиснулся внутрь и закрыл дверь (уборные в гостиницах никогда плотно не закрываются, к счастью, помимо ручки на двери иногда есть еще и маленькая задвижка, которую можно закрыть).

Итак, он в безопасности. Теперь надо проверить, есть ли туалетная бумага, работает ли биде, куда положить ключ от комнаты, который оттягивает карман, можно ли открыть форточку, чтобы провет-

рить помещение, и — пока сидишь — посмотреть на стены домов, образующих двор, на открытые окна, на то, что происходит в комнатах, на снующих официантов и официанток, на заспанных обитателей гостиницы, которые только встают.

Кроме того, есть еще освещенная солнцем черепица, слуховые окна, кошки, прогуливающиеся от одной двери к другой. Стена напротив облуплена, испещрена дырами; две другие принадлежат гостинице и огромному дому; он опоясан галереями, на которых висит белье и кишат дети. Какая-то девочка смотрит сквозь прутья балкона вниз, на булыжники, на кошек, бродящих между кучами отбросов — мусора, старых тряпок, бумаг, поломанных кукол, вокруг ящика, который возвышается над всем этим, как голая шея.

На девочке грязное клетчатое платье, один карман надорван, из-под платья видны худые ноги, коленки; ботинок из-за решетки не видно.

(Куда она смотрит? На что из этого множества предметов? Почему ей грустно?)

Альберто захлопнул окно, двор исчез за занавеской, закрывавшей стекло; снова оделся, взял ключ, посмотрел вокруг, открыл дверь и вышел в коридор, сопровождаемый шумом льющейся воды, гулко отдававшимся в освещенном коридоре. Меж тем из двери комнаты рядом с его номером вышла женщина в халате, высокая, с непричесанными волосами; рукой она придерживала халат на груди.

Она шла к нему, к двери уборной, за которой был еще слышен шум льющейся воды, прошла совсем рядом по узкому коридору, посмотрела ему в глаза, приоткрыла губы в улыбке; маленькие зрачки сверкали, освещая ее лицо, пушистые волосы были цвета меда.

Два шага — и Альберто у себя в комнате, он закрыл за собой дверь; кровать, чемодан, прибор для бритья на умывальнике — это уже дом по сравнению с коридором, весь секрет в том, чтобы держать дверь закрытой и за этой закрытой дверью продолжать свою обособленную жизнь.

Да, но надо идти, сейчас же, в противном случае полдня будет потеряно.

Забыта ночная усталость (вернее, она спряталась в глубине костей), забыто все, что пригрезилось ему ночью — лошадь, шагающая в упряжке: «Ну, лошадка, ну!»

Перед зеркалом платяного шкафа Альберто заправляет рубашку в брюки, поднимает на плечи подтяжки, застегивает воротничок.

У него неправильное лицо, немного припухшее с одной стороны, худое с другой, он плохо выбрит — особенно там, где кончается воротник и где завязывают галстук.

Неважно, никто не заметит. Глаза, уставившиеся на него, кажутся стеклянными. Глаза зверя. Где это ты прочитал, что в сорок лет каждый отвечает за свое лицо? Какие глупости! Плоть живет и умирает сама по себе, деформируется, разбухает, сморщивается с течением лет — и все самостоятельно. Какие мысли в этих глазах, какие пласты мыслей, какая мешанина? Неизвестно, а как бы это узнать? Конечно, на лице это не написано.

Лицо гладкое, глаза стеклянные, руки завязывают галстук — лучше я бы не смог, и потом, глядя в зеркало, нельзя составить мнение о собственном лице, другое дело, когда, не думая ни о чем, начинаешь придавать ему то или иное выражение, говорить, смеяться, переживать разные чувства.

Альберто вынул из чемодана портфель с образцами, огляделся — хорошо, все на месте; пошли. Открыв дверь, он увидел женщину в халате, с прижатыми к горлу руками, волосы цвета меда, зеленый глаз

в профиле лица, дружелюбная и отчужденная улыбка, может быть, выдумка Альберто, а женщина между тем прошла мимо и вошла в дверь рядом.

Потом он шел по пустому коридору к выходу, в направлении, указанном стрелкой. Слышал стук своих ботинок — каждый удар отдавался по всему телу. Что особенного было в этой женщине с волосами цвета меда? Она красива? Не знаю, была ли она красива, и потом, все женщины по-своему красивы, если умеешь подойти к ним. Но она — что в ней? А то, что, казалось, здесь все открыто, здесь все — приятный путь и все — только для тебя, и потом эта явно беззащитная улыбка. Она не казалась чужой — вот что в ней было.

— Вы уходите, синьор? Всего доброго.

Это была горничная, все лицо как бы подмигивало.

— Если дадите ключи, я уберу вашу комнату.

И протянула руку — с распухшими пальцами, с наманикюренными ногтями.

III

Я шел по коридору и видел его перед собой,— он стоял за конторкой и улыбался мне; я старался идти тихо-тихо, даже если они подталкивали меня сзади своими руками, голосами и руками, готовыми схватить меня.

— Добрый вечер,— сказал он, не знаю почему, притворяясь, что не видит никого кроме меня; мое лицо было непроницаемо, не понимаю, почему он продолжал притворяться. Может быть, не хотел неприятностей в своей гостинице; он улыбался мне — и все, а потом следил, как я спускаюсь по лестнице.

У меня не было времени понять, что́ он на самом деле думает, что́ он думает на мой счет; я был как бы спеленут темнотой, спеленут их руками, их подбородки упирались мне в плечи, в углубление возле шеи, я слышал как они бежали следом и кричали. Почему? Я всего лишь приласкал девочку я только этого и хотел — приласкать, поздороваться с ней Она даже не испугалась — она мне улыбнулась, да, это действительно была улыбка и открытые глаза на круглом веселом лице; она подняла руку чтобы вложить в мою.

Что я сделал? Только это. Почему они вышли из дверей, почему смотрели? Ведь я слышал как они толпой бежали следом, выкрикивая угрозы и преследуя меня, среди безразличных взглядов прохожих, и прохожие, едва миновав меня, тотчас поворачивались и бросались за мною следом — тем же тихим, угрожающим галопом.

Направляясь к гостинице я бежал по одной улице потом по другой по самым темным; внезапно я вынырнул на главную — и прямо передо мной оказались люди со стеклянными глазами, грозившие задушить меня. Что я сделал? Ничего. Почему они преследовали меня? В чем я виноват?

Они бежали за мной гуськом по гостиничным коридорам, оскорбляли, и мне не удавалось от них оторваться. Я прошел мимо бара — они за мной по пятам. Толпа заполняла и эту комнату — черные тени во тьме вокруг пустого, замерзшего, как бы похороненного экрана; они уткнулись в него и ничего не слышали. Я пробежал мимо и снова очутился в коридоре, я думал что те остались но вот они, они нагоняют меня, как порыв ветра, они щекочут мне шею, хватают за ноги.

Задыхаясь, чуть не плача, я с трудом добежал до своей двери, никак не мог вставить ключ, открыть. Тогда распахнулась соседняя дверь, в коридор упал свет, вышел мужчина, заполнив собой все осве-

щенное пространство, за ним женщина с волосами цвета меда, выключила лампочку, заперла дверь на ключ. Мужчина, проходя мимо, не взглянул на меня, она же меня увидела и широко раскрыла глаза от ужаса, от моего же ужаса; затем ушла, прокладывая себе путь среди тех людей, и за ней осталась пустота.

Холодный скрежещущий звук ключа в замке прорезал тишину темного коридора. Наконец я открыл дверь, вошел и сейчас же закрыл, прислонился к ней спиной, вся комната была передо мною, погруженная в полутьму.

В окно врывались другие шумы, гомон, голоса, но теперь я был один, один среди вещей — умывальника, кровати, зеркала. Моя пижама расстелена на постели, одеяло отогнуто, приготовлено к ночи. Комната заполнилась моим тяжелым дыханием.

Альберто весь день ходил со своими образцами. Каким сгустком холодного ужаса кажется город и время, которое ты в нем проводишь, если оно не заполнено знакомыми лицами, встречами, словами, жестами! Он ходил по городу, навещая своих клиентов, заводил с ними предварительные разговоры о новых товарах, о возможных скидках, о том, как выгодно получать товар через него, Альберто. Что есть город, как не огромный муравейник, путаница улиц и домов, а в ней — адреса, знакомые маршруты, виденные и перевиденные витрины магазинов, с другими датами, другими встречами, другими днями, обозначенными на фасаде. Лавка колбасника, где можно купить черные фаршированные маслины, магазин тканей с тремя — одна за другой — освещенными витринами, кинотеатр, забитый солдатами и ребятишками, и ни одной женщины; и затем — вот он, салон синьора Джино Бальдуччи, немного надо, чтобы заполнить его кремами и лосьонами, и лучше, если жена его осталась дома, иначе она сама занимается счетами. Что для вас двести тюбиков, для вас, которые держат лучший салон в городе?

Затем улица сужается, троллейбус ползет еле-еле, беспрестанно звонит, сгоняя с дороги людей, которые сошли с тротуара и идут, ни на что не обращая внимания. Сразу за углом другой салон, немного поодаль еще один — дона Луиджи, здесь все работают в голубых куртках, ну, а брюки под куртками — какие же они заношенные, линялые! И разбитые ботинки! А потом есть еще много второразрядных салонов и даже третьеразрядных, список в записной книжке занимает более трех страниц, они берут меньше, но ими тоже, разумеется, нельзя пренебрегать.

К полудню он сделал передышку — это входит в программу: маленькая передышка, чтобы подвести итог утренней работе. Он пошел в городской парк, что за главной улицей. Нужно сделать два поворота, выйти из переулка на открытое пространство, дальше — три аллеи, скамейки; справа поднимаются стены замка, а напротив, в глубине, балюстрада: парк расположен на вершине холма, склон которого покрыт деревьями вперемежку с обработанными кусками земли. Вдали вьется речка, высохшая до размеров бегущего по камням ручья, затем автострада и черные рельсы железной дороги, которые сбегаются к станции и потом веером расходятся от нее; на все это приятно смотреть, особенно если день хороший, если хочется немного отдохнуть или — еще лучше — если подвернулся случай провести время не одному.

Среди деревьев — деревянные скамейки со спинками. Не хочется заниматься подсчетами, образцами — вот если бы можно было сбросить все это вниз с откоса! — но в конце концов открываешь сумку и начинаешь подсчеты. Затем сигарета, и остается еще с полчаса для двух-трех клиентов — до обеда. Их можно найти здесь же, рядом, и траттория тоже здесь — в двух шагах.

Когда я вошел, никого не было. Белые скатерти, бумажный цветок в стакане; телевизор выключен, экран — как серый потухший глаз там, вверху, над головами. Подошел официант, и ритуал начался: спагетти, бульон с лапшой, тальятелле, суп, бульон, фасоль, макароны, рис по-милански... Он перевел дух. На второе цыплята, бифштекс, тушеное мясо, телятина на вертеле, телятина, тунец, свиные отбивные, есть очень хорошая печень.

Говоря это, он улыбался, слегка склонившись к моему лицу, у него была худая шея; сидевшая на ней головка напоминала голову старой птицы. Он смотрел прямо в глаза, но не видел, все его чувства дремали, кроме разве слуха, готового запечатлеть мой заказ.

— Вино, пиво?

— Вино, четверть бутылки.

Он наклонил голову, снова улыбнулся и направился в кухню.

Я прихожу сюда всякий раз, когда приезжаю по делам в город, и порой, когда официант в духе, он здоровается со мной и говорит: «Как поживаете?» Иногда он смотрит на меня невидящими глазами. Я не знаю, когда он более искренен — когда приветствует меня как знакомого или когда просто не замечает. Однако теперь я уже знаю о нем многое, это результат моих наблюдений: однажды его вызывала девушка, а какая-то женщина устроила ему сцену; с каждым разом морщин на его лице становится все больше, а глаза под покрасневшими веками западают все глубже.

Я поел, пришло время расплачиваться, а Джованни так и не узнал меня, я оставил ему сто лир на чай. Наклонившись ко мне, бесчувственный как марионетка, он сказал: «Спасибо, синьор»,— и я вышел на улицу, вернулся в парк и сел выкурить еще сигарету.

Это самое неудачное время: идти по делам еще рано, а вернуться в гостиницу — не успееешь отдохнуть, поэтому ничего не остается как бродить и смотреть вокруг, на парк, деревья, дома, город, который равнодушно открывается перед тобой. Казалось, мои шаги не производят никакого шума, я шагал словно в безвоздушном пространстве; стоило мне выйти из своей роли, как я забывал все дела, меня охватывали сон и печаль, какая-то смутная печаль.

Именно тогда в парк пришли дети, нет, они были здесь и раньше, но только тогда я увидел, как они играют между деревьями, гоняются друг за другом, разбегаются и снова собираются вместе; на мгновение они, казалось, все собрались около меня, сбежались к дереву, возле которого я сидел; я видел, как они бегают, раскрасневшиеся, и широко раскрытыми от неожиданности глазами смотрят на меня — они только теперь меня увидели, и я засмеялся вместе с ними, протянул руки, чтобы приласкать их, и они, играя, немножко задержались, а потом убежали, одна девочка на бегу повернулась и улыбнулась.

Ничего больше и не произошло, в самом деле ничего больше не произошло с Альберто Монтероссо. После обеда весь день он ходил по городу и вечером тоже, когда улицы оживлялись, заполнялись людьми, которые выходили из учреждений, возвращались с работы, останавливались перед входом в кинотеатры и разглядывали афиши с обнаженными женщинами и пистолетами. Проспект был залит неоновым светом, несколько прилегающих улиц — тоже; в остальных кварталах царила темнота, отступавшая лишь перед редкими желтыми лампочками да полосами света, падавшими из окон первого этажа, а внутри двигались тени; телевизор был включен, но невидим, и по черной темной улице сыпался каскад имен, поток металлических звуков.

Держа в одной руке портфель, а в другой — сверток с хлебом и сыром, купленными на ужин, Альберто шел по улицам. Он видел повозки, влюбленных, стоящих у дверей, детей, бегающих в темноте,

похожих на блуждающие огоньки. Затем ему показалось, что он узнал одного из мальчиков, игравших в парке; он махнул пакетом, который держал в руке, мальчик отвернулся, посмотрел куда-то вдаль и продолжал играть, не обращая на него внимания. Альберто пошел дальше, тьма плотно охватила его, он уже чувствовал, как зубы впились ему в пятки, чувствовал пасть чудовища, которое его преследовало. А может быть, его преследовали слова, голоса, крики, полосы света, падающего то из одного, то из другого окна, сверкание проводов вокруг. Толпа двигалась за ним, как свита, как грязная волна, и он ускорял шаг, чтобы ему не наступили на пятки, не швырнули на землю лицом на мостовую. Ах, как холодно в этом чужом городе, заполненном незнакомыми людьми, и топотом ног, и угрожающе вскинутыми руками!

Гостиница была за углом. Альберто поспешил к ней, ноги его одеревенели, он не оглядывался; вошел в проем коридора, поднялся по лестницам и налег на свою дверь. Женщина с волосами цвета меда прошла мимо, очень близко, почти коснувшись его плечом. Взглянув на него, она поняла, конечно, какого он полон ужаса.

По крайней мере так подумал Альберто спустя некоторое время, сидя на кровати в безмолвной тишине комнаты и рассматривая в полутьме свой пиджак, брюки, затем одеяло, белое пятно умывальника. Глаза женщины излучали тепло, разговаривали с ним.

Рядом с умывальником стоял стол; если сесть за него, окно окажется за спиной и света будет мало; Альберто переставил его под лампочку, на середину комнаты, и сел так, чтобы можно было смотреть на улицу.

Он достал из портфеля блокнот и принялся подсчитывать размещенные заказы и свои комиссионные. Но цифры плясали, след, оставляемый ручкой, вдруг утолщался и расплывался в большого червя. Цифры и имена теряли значение, превращаясь в непонятные знаки и неразборчивые слова. Дверца шкафа, стоявшего напротив, давила, зеркало отражало знакомые черты, движения рук, стол с разложенными бумагами. Альберто встал, чтобы выйти из заколдованного круга,— безмолвие за его спиной стало менее леденящим. Чем бы заняться? Выйти из комнаты, выпить кофе, посмотреть телевизор — пойти туда, где сейчас все.

Альберто снова надел пиджак, взял ключ и закрыл за собой дверь. Свет он не погасил, а бумаги оставил на столе: ведь он сейчас же вернется.

Да, сейчас же. Он прошел по узкому, пустому, плохо освещенному коридору. На лестничной площадке он услышал мерный равнодушный голос, доносившийся из телевизора.

Бар был погружен во тьму, только свет от экрана — с движущимися по нему тенями — отражался на лицах, головах, ногах сидящих людей. За стойкой бара, согнувшись, стоял бармен и читал комикс.

Он увидел вошедшего Альберто и задержал на нем выжидающий взгляд. Взглянув на него, Альберто тихо сказал: «Кофе»; потом стал пить, опершись на стойку почти рядом с экраном, там, где он никому не мешал и видел все лица.

IV

Как холодно, как одиноко сознавать, что никто тебя не видит, что никому нельзя сказать ни слова, даже если чей-то взгляд и скользит по тебе, как слизистая улитка.

На экране вереницей проходят старые люди — объектив нанизывает их, как огромная булавка; они таращат глаза, поднимают руки, суетятся в поисках нелепой, похожей на писсуар урны в стиле рококо, куда опускают бюллетени, и удаляются неуверенными шагами, лысые, седые, маленькие, высокие, согнувшиеся, старые человечки в одинаковой одежде, с утомленными от забот лицами.

Да, в этом возрасте человек не властен уже над собой: тело его давно оплывает, как догорающая свеча, пороки, усталость, страсти, заботы изменяют его лицо, делая его рыхлым, как известняк, и податливым, как глина, и ничто больше тебе не подчиняется, ничто уже на тебя не похоже — ни твои глаза, ни руки, ни произносимые тобой слова.

Проходят люди и бросают листок в урну; их одного за другим вызывает голос, как в день Страшного суда или как в школе на утренней перекличке. Один, словно слепой, бестолково машет руками, другой похож на старую птицу, драную кошку, медлительную и осторожную, а вот попугай с затянутыми пленкой глазами, с невидимыми в провале рта зубами. Прошли старая дева и низенькая напомаженная бочка; иногда кто-то проплывает с высоко поднятой головой, властный, точно у него крылья за плечами. И снова уставшие собаки, обнаженные в застывших улыбках зубы, подчеркнутые жесты, как у статистов, испуганных светом юпитеров, торопливая суета людей, обливающихся потом перед публикой, перед стеклянным глазом объектива, огромным, как черное озеро, как низменность, как равнина.

— Посмотрите на нашего депутата,— сказал чей-то голос.

— Для своего возраста он хорошо выглядит,— ответил ему другой.

— А это — не Сулло?

— Не думаю, у того одна щека опухшая.

Альберто между тем пил свой кофе и смотрел на экран. Фигуры появлялись из темноты и двигались на него. А в комнате?

А в комнате тишина, время от времени кто-то что-то говорил, произносил фразу, обращаясь к соседу.

Голос, усиленный громкоговорителем, продолжал выкликать имена, и депутаты проходили друг за другом, поднимали руку над урной, голосовали и, прежде чем уйти, бросали последний взгляд в объектив.

— Какое это голосование? — спросил кто-то.

— По-моему, пятнадцатое,— ответил ему голос.

— Интересно, выйдет ли на этот раз папа?

— Да вряд ли!

Альберто прошел по комнате и сел в углу, где он заметил пустой стул. Здесь стоял круглый стол, за ним сидела блондинка и с ней мужчина. Рядом с Альберто сидел другой мужчина с широким лицом и запавшими глазами, и еще — головы, головы, черные, неподвижные, и среди них — две женские, так, по крайней мере, ему в полутьме показалось.

«Бронцуто, Бузакка, Бузетто, Бутте, Буффоне, Буццетти, Буцци».

Голос заполнял комнату, раздражающий, неприятный.

— Да что же они не голосуют?

Кто-то засмеялся в темноте.

— Черт вас побрал, деньги-то берете? Так хоть голосуйте.

— Какое это имеет отношение, они воздерживаются, так, наверное, постановила их партия.

— Воздерживаются? Тогда почему они не сидят дома?

Блондинка оборачивалась то к одному говорящему, то к другому, потом смотрела на экран, на проходивших там людей. Руки она дер-

жала на коленях, положив одну на другую, длинные и худые, темно-розового цвета — неподвижное цветовое пятно. Ее голова тоже была цветовым пятном, волосы и голова на худой шее.

Когда она поворачивалась к мужчине, который был с ней, ее темный профиль вычерчивался на светящемся экране, и Альберто казалось, что люди выходят из нее, из ее рта, из ее светлых глаз.

— Словом,— сказал кто-то,— вам кажется справедливым, что за все это время не передали ни одной «Каруселн»?

— Да,— ответил кто-то неуверенно,— но ведь это выборы президента.

— Если б его выбрали! Хоть бы договорились между собой, прежде чем стать перед телекамерой.

— Трудные выборы,— сказал тот же голос, что и прежде.

— Джирардин, Джоллити, Джомо, Джорджи,— продолжал громкоговоритель.

— В котором же часу все это кончится?

— Кто его знает! Им самим неизвестно.

— Хорошенькое дело!

Блондинка время от времени поворачивалась к мужчине и что-то говорила ему.

Потом мужчина внезапно повернулся и посмотрел на Альберто (у него были большие глаза, черные усы и густые, темные в полутьме волосы); подавшись к нему, он показал на экран.

— Что это? — тихо спросил он.

— Выборы,— ответил Альберто.— Депутаты выбирают президента республики.

Человек молча посмотрел на него, потом спросил:

— А эти кто?

— Депутаты, члены парламента.

Мужчина прикрыл глаза и наклонил голову в знак того, что понял.

— Понятно депутаты.

Затем снова приблизил к Альберто лицо.

— А что, президент умер? — спросил он, старательно, по слогам выговаривая слова; у него были толстые губы, прикрытые густыми усами.

— Нет,— сказал Альберто,— нет еще, но почти.

— Ага,— проговорил мужчина,— еще не умер, и вот тебе раз! Президентом будет другой.

Потом он отодвинулся в темноту и что-то тихо сказал женщине на непонятном языке. Женщина кивнула и посмотрела на Альберто.

— Спасибо,— произнесла она.

Альберто шевельнул в темноте губами:

— Пожалуйста.

Женщина спросила у него что-то.

— Я не понимаю,— ответил Альберто.

Она улыбнулась.

В темноте, на экране, продолжалось голосование.

Депутаты все шли и шли, потом перестали, глаз телекамеры смотрел на них сверху, а они разговаривали, собравшись посреди палаты, словно на площади маленького городка. Один расхаживал, держась рукой за нос, другой смеялся.

— Вот и Сулло,— сказал кто-то.

Потом все переменилось, с экрана смотрели уже другие люди, сидевшие в ряд на скамьях; у одного были длинные седые волосы и бакенбарды, другой втянул голову в плечи, третий, с опухшим лицом, сидел, прикрыв рукой глаза. Рядом торчал бородач и еще кто-то, похожий на очкастую сову.

Потом сцена снова переменилась, хотя прежний голос продолжал монотонно бубнить: «Леоне, Ненни, Ненни, Леоне, Леоне», пауза, затем: «Малагуджини». Депутаты передавали друг другу бюллетени, подносили их к глазам, повторяя имена.

— Запиши,— сказал кто-то.

— Зачем?

Женщина поправила волосы — свет прорезал ее пальцы насквозь. Откуда она? Ее слова, столь ясные и нужные, звучат неопределенно и бессмысленно — только голос понятен и выразителен, как и манера, улыбаясь, прищурить глаза и смотреть тебе в лицо, прямо в лицо, изучая его сантиметр за сантиметром.

Время от времени она оборачивалась, и Альберто встречал в темноте ее взгляд, руки ее двигались, словно желая что-то сказать. Она сжимала их как-то по-своему. Кто знает, зачем она приехала сюда, в эту гостиницу, в этот отягощенный заботами город. Сейчас она, наверное, уйдет; конечно, она встанет сию минуту и уйдет, и вряд ли Альберто удастся коснуться ее, ощутить шелковистость ее платья, запомнить это прикосновение, ее вид.

Что в ней такого, чего нет в других? Да ничего — разве что манера смотреть в упор и эта открытая, беззащитная улыбка, а может быть, другое — возраст, тот же возраст, что и у Альберто, те же годы, прожитые вместе, но в разных частях света. Как удержать, соединить две половины, если каждая живет сама по себе? Женщина уйдет, уйдет, но вряд ли все кончится на этом, вряд ли все исчезнет бесследно — ведь когда она будет вспоминать гостиницу, на память ей придут запахи, темнота, и свет в коридоре, и одеяло на постели, и твое лицо тоже.

Положив руку на стол, она слегка постукивала по нему пальцами, и этот легкий звук проникал мне в уши вслед за чужим хриплым голосом громкоговорителя. Я видел ее белое запястье, рукав платья, плечо, шею.

Как узнать что-нибудь о ней? Есть ли у нее дети, есть ли хоть чуточку свободного места возле нее, как устроена ее жизнь, которая вот-вот пройдет мимо...

Мне захотелось остановить эту женщину, взять за рукав, попытаться сказать что-нибудь, пусть даже что-то для нее непонятное, лишь бы мои слова остались с ней, лишь бы я не был для нее пустым местом, лишь бы существовал для нее, обретя вместе с ней бессмертие. Однажды, еще ребенком, я встретил в поезде девочку, которая ехала с матерью. Вагон был явно третьего класса, деревянный, с узкими жесткими сиденьями, с проходом посредине и дверью наружу. Все это отчетливо вырисовывается в памяти, остальное — с трудом. На девочке было выцинявшее платье, она сидела сложив худые голые руки на коленях. Волосы у нее, разумеется, были черные. Остального не помню — образ ускользает, растворяется, едва сосредоточишь на нем внимание. Помню одно: я сидел и думал, какое счастье быть с ней, хотя нет, не то; помню, как она села в вагон, как вышла из него, пройдя мимо меня, словно я был неодушевленным предметом. И я ничего не мог сделать, чтобы подойти, приблизиться к ней, стать частью ее жизни.

Что в ней было такого? Ничего; меня мучило лишь сознание, что она живет помимо меня, независимо от меня, что в ней заключен огромный отрезанный от меня мир, нет, нечто большее — это какой-то далекий, манящий берег, к которому бесполезно стремиться, ибо все равно достичь его невозможно, он удаляется, уходит все дальше, становится миражем, исчезает навсегда.

Какое отношение имели эти детские воспоминания к высокой иностранке?

Женщина вдруг вскочила, заслонив экран, хотя до нее уже кто-то другой бросился вперед, закричал, замахал кулаками. В воздух взлетел стул и грохнулся на край стойки, возле кофейной машины. Посреди комнаты сцепились двое мужчин. Они тяжело дышали, хрипели, выкрикивали оскорбления, грубые слова. Человек на экране невозмутимо продолжал читать бюллетени.

Прибежали хозяин гостиницы, бармен. Все вскочили с мест, но дрались только двое; Альберто видел, как иностранец схватил кого-то сзади за шею и принялся душить.

— Фашист! — крикнул один из них.

— Мерзавец, вот ты кто! — ответил другой.

Женщина умоляюще протягивала к людям руки. Кто-то зажег свет; в центре комнаты, среди опрокинутых стульев, распластавшись на полу, тузили друг друга эти двое, люди пытались их разнять, толкались, кричали. Хозяин гостиницы смотрел и беззвучно плакал.

Потом дерущиеся оторвались друг от друга и вскочили почти одновременно, их тотчас же схватили за руки, но они все еще вырывались и каждый злобно норовил пнуть противника ногой. Все кричали, а над обозленными, хриплыми возгласами плыл с экрана голос человека, продолжавшего сквозь сжатые губы цедить:

— Леоне, Ненни, Ненни, Леоне, Малагуджини.

Альберто поднялся к себе поздно, когда все утихло. В баре было темно и пусто, люди разошлись, кого-то отправили к врачу в сопровождении хозяина. Подумать только, подраться всерьез и не на шутку избить друг друга! Звуки ударов еще глухо отдавались в притихшей комнате, они звучали теперь даже сильнее, чем во время всеобщей суматохи. Противники казались марионетками, невидимые веревочки словно бы приводили в движение их головы, кончики пальцев, ноги, фалды пиджаков. Что ими владело?

— Фашист! — крикнул один.

Фашистом, наверное, обозвали распухшего как мешок толстяка, который все норовил ударить противника ногой в пах, удерживая его руками на расстоянии. Был ли он действительно фашистом — неизвестно, возможно, да, а впрочем, кто его знает.

Собираясь ложиться, Альберто отвернул одеяло, снял рубашку, повесил ее на спинку стула. Он уже стягивал ботинки, но тут в дверь постучали.

Когда полицейский вошел в комнату, Альберто спросил, что ему надо. Какой же он был здоровый! С каждым его шагом комната становилась все уже, как бы уменьшаясь в размерах. Сделав два-три шага, полицейский повернулся и спросил:

— Вы Монтероссо Альберто?

— Да, это я.

— Монтероссо Альберто, вы были вечером в баре во время драки?

— Да, был, смотрел телевизор.

— Это вы расскажете комиссару, а не мне. Завтра утром, в девять часов, комиссар хочет вас видеть. Понятно?

— Понятно, но зачем? Ведь ничего же не случилось.

— Это вы считаете, что ничего не случилось. Возбуждено судебное дело, есть свидетели, мы знаем все.

— Ну и что? Я-то тут при чем? Я ничего не знаю.

— Успокойтесь, комиссар хочет поговорить с вами. Ему все и расскажете.

Отступив назад, полицейский положил на тумбочку повестку и, все так же пятясь, вышел в коридор. Потом дверь бесшумно, без скрипа затворилась.

Я снова остался один, разделся, закрыл глаза. Понадобилось, однако, усилие, чтобы убедить себя, что я один и волен делать все что угодно. В то же время как-то не верилось, что в комнате кто-то недавно был. И что он ушел И чего-то хотел от меня. Можно было бы подумать, что ничего не было, что полиция и все прочее приснилось, если бы на тумбочке не лежал листок, на котором черным по белому значилось мое имя, а внизу стояла подпись полицейского комиссара.

V

— Простите, но вы меня удивляете.

— Я?

— Конечно. Вы сказали, что вчера вечером были в баре, не так ли?

— Да.

— Хорошо, тогда почему же вы не знаете, что там случилось? Это странно, согласитесь.

Альберто молчит.

— Итак, видели вы или нет, как они дрались?

— Конечно, видел.

— А из-за чего это вышло?

— Понятия не имею, ссора началась сама собой.

— Но они, наверное, говорили что-то друг другу; неужели вы не слышали?

— Я смотрел телевизор и не обратил внимания.

— Возможно. В таком случае скажите, когда вспыхнула ссора, и мы попытаемся установить ее причину, понимаете?

— По телевизору показывали президентские выборы.

— Какой момент выборов?

— Как какой?

— Начало или конец? Вы же разбираетесь в этом?

— Шло голосование.

— Вспомните хорошенько — голосование или подсчет голосов? Что вы на меня так смотрите? Это большая разница.

— Да, конечно,— сказал Альберто,— само собой.

— Итак...

— Он, кажется, подсчитывал, да, подсчитывал...

— Что значит — кажется, говорите точнее.

— Да, верно, он называл имена.

— Хорошо. Наконец-то дело идет на лад. И кто побеждал? Цифры мне ни к чему, я хочу знать, кто шел впереди. Вы ведь помните, не так ли?

Согнувшись, он сверлил меня сверкающими стеклами очков. Нависший над усами нос разделял их на две жесткие щетки.

— Итак, кто же был впереди?

В самом деле, кто был впереди? Цифры мало отличались друг от друга. А имена — какие назывались имена? Их было три или четыре, но кто шел впереди? А разве не сказали, что придется голосовать еще раз? Нет, это было раньше.

Комиссар поднялся с кресла, вышел из-за стола и сел напротив Альберто.

— Послушайте, синьор Монтероссо...

Он говорил подчеркнуто медленно и любезно, покачивая ногой. Жилет у него на животе топорщился, словно не желая мириться с телом. Сбоку, на ремне, висела кобура, но пистолета не было — кобура была пуста, как выпитый стакан.

— Послушайте, синьор Монтероссо, попытаемся понять друг друга, время трудное...

Нога в брючине стала качаться быстрее.

— Так уж случилось, что в этой отвратительной гостинице вы единственный, кому, на мой взгляд, можно доверять. Вдобавок, когда все произошло, вы были в баре. Итак, к кому нам обращаться, чтобы узнать правду, к кому?

Альберто неопределенным жестом указал на собственный живот.

— Вот именно, к вам — к вам мы и должны обращаться.

Человек снова обошел письменный стол, сел на свое место и развел руками.

— Вы знаете обоих подравшихся: и раненого и арестованного?

— Я? Я даже не знал, что он арестован.

— Кто?

— Да тот, о ком вы говорите.

— Да, но о ком я говорю? Как вы узнали, арестован он или нет?

— Понятия не имею, вы сами об этом сказали.

— Синьор Монтероссо, выражайтесь яснее, я не называл никаких имен, а вы говорите, что не знаете арестованного. Откуда же тогда взялось, что кто-то был или не был арестован?

— Я сказал наобум, я знать не знаю ни о каком аресте.

— Но двоих-то, которые дрались, вы разглядели или нет? Вернее, уточним: вы видели полоумного, который избивал другого?

— Да, конечно.

— И что? Вы знаете кого-нибудь из них?

— Я? Нет, не знаю.

— Как? Вы не знаете некоего Рамондино, коммуниста?

— Нет, совершенно не знаю.

— Но ведь вы живете в одной гостинице, не так ли? Почти дверь в дверь.

Альберто пожал плечами.

— Это ничего не значит. В гостинице никого не знаешь, только хозяина, который стоит у кассы.

— Вот именно, хозяина. Но эта гостиница не такая, как остальные, ну же, не пытайтесь уйти от ответа.

— Но от какого? Уверяю вас, я никого не знаю в гостинице.

Комиссар помолчал, глядя в упор на Альберто, шаря глазами по его физиономии, сантиметр за сантиметром исследуя его кожу. Затем встал и уронил руку на поверхность письменного стола — стол ответил барабанным гулом.

— Хорошо,— сказал он,— но теперь-то вы его знаете. Вы его видели вчера и знаете, кто арестован. Вы, конечно, можете дать показания о том, что он сделал, о преднамеренном нападении...— Он умолк, словно увидел что-то в лице Альберто.— Что, разве не так?

Альберто пожал плечами.

— Боюсь сказать что-либо определенное. Ведь я не знаю, который из тех двух, что дрались,— он...

— Что значит дрались? Вы путаете напавшего с потерпевшим, как это можно?

Наступило молчание.

— Должен заметить вам, что один лежит в больнице при смерти, а другой находится в добром здравии, хотя мы и поместили его в

бесплатную гостиницу, предоставляемую всем, кто нарушил закон. И как можете вы, синьор Монтероссо, путать одного с другим?

Альберто почувствовал, что комиссар поморщился.

— Дело не в этом,— сказал он,— такое спутать, конечно, невозможно. Но было темно. Они дрались, и я не мог их как следует разглядеть.

— Но ведь начал-то кто-то один, не так ли? Это же ясно! А когда это случилось? И почему? Рамондино, наверно, сказал что-то, не так ли? Вы ведь слышали, не может быть, чтобы вы не слышали. А телевизор? Какой этап голосования тогда показывали? Ведь ясно же, что причина нападения кроется в телевизионной передаче!

Он медленно поднялся и, заткнув большие пальцы в кармашки жилета, пристально посмотрел поверх очков на Альберто. Постоял молча, ожидая ответа, потом, так и не дождавшись, снова сел.

— Словом, синьор Монтероссо, вы были в баре, не так ли?

— Да, конечно,— сказал Альберто.

— Вы случайно не спали, а? Впрочем,— поспешил добавить комиссар,— даже если б вы и спали, то при первом же громко произнесенном слове вы бы проснулись, не так ли? Итак, вы спали?

Альберто покачал головой.

— Нет,—ответил он ,— я не спал.

— Хорошо,— сказал комиссар,— значит, вы не спали. А что вы делали? Надеюсь, смотрели телевизор?

— Да, конечно.

— С того места, где вы сидели, было хорошо видно?

— Да, да.

— А где вы сидели, посмотрим-ка, где именно вы сидели.

Альберто поискал в темноте свое место, бар был слева, впереди были столики, позади стена.

— Я был в глубине,— сказал он,— сидел за столиком.

— А кто сидел с вами — я имею в виду рядом с вами? Кто там был? Ах да, женщина, блондинка, и ее муж.

— Там был один иностранец.

— Иностранец? А как вы узнали, что это был иностранец?

— Он не говорил по-итальянски.

— А на каком языке он говорил? По-французски, по-английски?

— Нет, я бы понял. Но он иностранец, это точно.

— Значит, вы не понимали, что он говорит. Но простите...

Комиссар взял с письменного стола карандаш, поставил его на указательный палец, карандаш покачался туда-сюда и с легким стуком упал на острие.

— Простите,— сказал он,— но кто же тогда мог понять этого иностранца, с кем же он говорил?..

— Там была женщина,— сказал Альберто,— женщина, которая его понимала.

— А, женщина, так там была женщина. А как она выглядела? Блондинка, шатенка, высокая, худая, красивая, уродливая?..

Альберто вспомнил, как она шла по коридору, вспомнил ее тело в домашнем халате.

— Не знаю,— сказал он.

— Как это — не знаете? Ведь если эти двое иностранцев разговаривали, а вы сидели сзади и слышали их, значит, вы наверняка видели их, не так ли?

— Но там было темно, и еще телевизор...

— Вот именно, телевизор. Вы знаете, что телевизор дает свет? Вы отдаете себе отчет в том, сколько всего при желании можно уви-

деть в комнате с включенным телевизором? При желании,— повторил он, подчеркивая эти слова.

Альберто молчал. Он с удовольствием сказал бы что-нибудь, чтобы заполнить паузу, но что? Сказать было нечего. Он мог бы сказать, что знает их, но он их совсем не знал. Он не мог даже сказать, что помнит их лица, нет, он не мог этого сказать.

Комиссар снова встал с кресла и принялся ходить по комнате. Потом подошел к Альберто.

— А если вы увидите эту женщину,— сказал он,— вы сможете хотя бы узнать ее?

— Да, конечно,— сказал Альберто.

Комиссар подошел к двери в глубине комнаты и приоткрыл одну створку.

— Подойдите сюда,— сказал он.

Альберто встал, сделал два-три шага. В соседней комнате он увидел на скамье женщину. В этот момент она повернулась к нему. Улыбнулась и встала.

Комиссар снова закрыл дверь.

— Итак,— спросил он,— вы ее узнаете?

— Да,— ответил Альберто.

— Мне кажется, она тоже вас знает,— сказал комиссар.

В комнату вошел полицейский в форме, козырнул, подошел к начальнику. Нагнувшись, что-то тихо произнес ему на ухо.

— Хорошо, хорошо,— ответил комиссар,— только предупредите меня заранее.

Человек в мундире снова козырнул и вышел. Прежде чем дверь закрылась, Альберто увидел сосредоточенное лицо женщины.

— Итак,— сказал комиссар,— вернемся к делу. И извините,— добавил он,— если мне приходится быть настойчивым. Я уже сказал, что вы единственный человек, которому я могу верить, и потому я должен основываться на ваших словах, на ваших показаниях. Значит,— продолжал он,— вы хорошо знаете синьору, не так ли? Тогда вы наверняка знаете и ее мужа. Не могу же я предположить, что вы знакомы только с женой и не знакомы с мужем. Вы их встречали где-нибудь раньше? Например, в каком-нибудь другом городе, в какой-нибудь другой, такой же примечательный, как сегодня, день?

— Я? Нет,— сказал Альберто.— Вчера вечером, только вчера вечером мы обменялись несколькими словами с ним, с мужем, синьора совсем не понимает по-итальянски.

— А, значит, несколькими словами вы обменялись? О чем же? Конечно, не о погоде, не о том, который час, у этого синьора ведь были часы, не так ли?

Альберто попытался вспомнить, было ли что-нибудь у мужчины на руке.

— Не знаю,— произнес он,— просто не знаю, были ли у него часы.

Комиссар засмеялся.

— Да оставьте часы в покое,— сказал он,— какое мне до них дело? — И повысив голос, продолжал: — Прошу вас, скажите, о чем вы говорили с этим иностранцем. Подумайте хорошенько.

Подумать хорошенько? Думать было не о чем.

Через окно в комнату врывались свет и звуки, виднелись проплывавшие в небе облака, и казалось, что окна верхнего этажа дома напротив смотрят на них.

Комиссар подошел к окну и закрыл его.

— Этот мерзкий город гудит, как барабан,— сказал он.— Итак, чего же хотел этот иностранец?

— Ничего. Он не мог понять, что передавали по телевизору, и попросил меня объяснить.

— Ах, он не мог понять, да? И вы ему объяснили.

— Да, вкратце.

— И он сразу понял?

— Да, мне кажется, да.

— Значит, он понимал по-итальянски?

— Да, конечно.

— А как он говорил на нашем языке? На нашем прекрасном языке?— спросил комиссар.

— Он говорил не очень хорошо. Как иностранец.

— В том-то и загвоздка. Что за иностранец? Не говорите мне, что не знаете. Это не француз, не англичанин — тогда кто же он? Немец, может быть?

— Нет, не немец.

— А почему не немец?

— Я не знаю,— сказал Альберто,— казалось, он говорит по-итальянски, ударения те же. Но ничего нельзя было понять.

— А вы не спросили, откуда он?— поинтересовался комиссар.

— Я не подумал об этом.

— Как это не подумали? Кого вы пытаетесь провести? Друг мой, давайте в открытую, не хотите ли вы по какой-то причине выгородить этого иностранца?

— Я? Нет, с какой стати?

Комиссар пожал плечами.

— Не знаю,— ответил он,— представления не имею. Мы вас очень любим, но кто может поручиться, что вы не были знакомы с ним раньше, что вы не являетесь его сообщником?

— Я? Сообщником в чем?

Комиссар снова пожал плечами.

— Мы этого еще не знаем,— сказал он,— однако согласитесь, что во всем этом есть что-то подозрительное. Что делал этот иностранец здесь вчера вечером? Кого он представлял? Чего хотел? Почему он приехал сюда туристом? Именно сюда — зáмок смотреть?

— Может быть,— произнес Альберто.

— Помилуйте, какой там замок!.. И почему именно вчера вечером,— продолжал комиссар,— он, как последний мерзавец, накинулся на этого несчастного и вместе с Рамондино избил его? Вы не знаете?

В эту минуту дверь снова открылась, и полицейский в форме быстро вошел в комнату, бросился к начальнику и снова начал что-то говорить ему на ухо.

— Хорошо, хорошо, не волнуйтесь,— сказал комиссар,— сейчас буду... Итак,— продолжал он, обращаясь к Альберто,— вы готовы засвидетельствовать, что эти двое, Рамондино и иностранец, бросились на синьора Бьянки и зверски избили его?

Альберто пожал плечами.

— Я видел, как они дрались,—сказал он,—я вам это уже говорил.

— В общем, Монтероссо, кончим на этом сегодня болтать некогда. Есть тяжелораненый и двое напавших на него. Вы при этом присутствовали и все видели Если вы не хотите дать показания, что нам остается думать? Что вы из той же компании, не так ли?

— Какой компании, мы смотрели телевизор, и было темно...

Стремительно вошел полицейский.

— Комиссар,— позвал он.

Женщины на скамье больше не было, вернее, угол скамьи, который Альберто видел со своего места, был пуст.

— Иду,— ответил комиссар.

Он поднялся, Альберто тоже.

— А вы подождите меня здесь.

Потом комиссар в сопровождении полицейского в форме вышел. Дверь за ним закрылась, и Альберто остался в комнате один.

Кроме него, здесь никого не было. Он, да письменный стол, да пустое кресло, а над ним — фотография президента республики, того, старого, больного.

Через стекла видны были пятна маленьких окон дома напротив. Внешний мир казался далеким, а комната—плохо освещенным колодцем, душной коробкой.

(Что будет чувствовать муха в коробке из-под бисквитов? Ничего особенного, хотя, возможно, ей будет чего-то не хватать — света и свежего воздуха, и она будет чувствовать себя оторванной от милого ей внешнего мира.)

Альберто с удивлением понял, что питает привязанность, нежность к этой шумной улице (сейчас шум был приглушен, он доносился словно издалека), что ему хочется снова очутиться там, ходить из магазина в магазин, а еще лучше — потеряться, гуляя по главному проспекту и прилегающим переулкам. Он чувствовал на себе взгляды окружающих, они сопровождали его, поддерживали, разговаривали с ним; потом эти глаза погасли, потому что открылась дверь и вернулся комиссар. Он сейчас же закрыл за собой дверь и подошел к письменному столу.

— Послушайте,— сказал он,— нам не везет, я должен уйти. Я ведь сказал вам, что сегодняшний день не такой, как все остальные. Во всей этой вашей гостиничной истории приятно одно — что Рамондино в тюрьме и потому вне игры. И иностранец тоже, да, да, и иностранец.— Он внезапно умолк и стал собирать бумаги, лежавшие на столе.— Я хочу сказать вам кое-что...

— Что именно?— спросил Альберто.

— Вот что,— ответил комиссар, быстро поднимая голову и пристально глядя на него.— Будьте осторожны. Вы ведь итальянец? Вы демократ? Так вот, будьте осторожнее.— Он говорил вполголоса, растягивая слова.— Знаете, в чем вы замешаны? Знаете, что было раньше в этой вонючей гостинице, где вы живете? Нет, нет, не делайте такого лица. Да, сначала там было казино, казино для военных, но это давняя история, это все уже в прошлом. Что такого, если там было казино? Сколько угодно приличных домов,— продолжал он хитро, морща нос,— в которых прежде были казино. Ну и что? Меняются фотографии и обои, и остается очень чистый дом со множеством уборных. Нет, нет,— добавил комиссар,— я не то имел в виду.

Он подошел к вешалке, снял плащ. Вернулся, на ходу надел его. Застегнул одну пуговицу за другой. И тихо рассмеявшись, оглядел Альберто с ног до головы.

— Где вы были двадцать лет назад?— спросил он.— Допустим, в сорок третьем, сорок четвертом? На войне, а? Может быть, в плену? А в вашей гостинице тогда пытали людей, понимаете? Да, так называемые «приверженцы республики», тогдашняя полиция; у них были другие методы, это уже точно, демократами они не были... Возможно, в комнате, где вы сегодня спали,— добавил он, наклонившись к Альберто,— возможно, именно там. Вы где живете, на втором этаже? Именно там вырывали ногти у несчастных парней.— Он отступил на шаг и оглядел Альберто, как бы оценивая впечатление, которое произвели его слова.— И что делал,— продолжал он,— тот старик, хозяин гостиницы? Что он делал в те времена? — Комиссар затянул пояс плаща.— С кем он теперь? Спросите его. Почему этот иностранец и этот коммунист всегда останавливаются в его гостинице? Спросите!.. Ну,—

продолжал он,— что вы молчите? Удивлены, быть может, испуганы? Но мы знаем все, все обо всех.— Он понизил голос: — И если какой-нибудь наш друг, вроде этого несчастного Бьянки, попадет в больницу, мы знаем, что делать, как наказать виновных.

Он выпрямился во весь свой короткий рост, стал выше, очки увеличивали его глаза, делая их синеватыми.

— Итак,— сказал он,— на сегодня я с вами прощаюсь, у меня дела. Но завтра приходите дать показания, завтра день будет спокойнее.

Он пошел было к двери, но снова повернулся, и Альберто увидел, что он улыбается.

— Я вынужден просить вас об одолжении,— проговорил он,— это вас наверняка не затруднит. Вы видели там блондинку, не так ли?

— Да,— кивнул Альберто.

— Так вот, она ждет мужа, но муж сегодня не вернется, объясните ей это. Или вот что: проводите ее в гостиницу. Сегодня на улицах толпа, и я не хотел бы, чтобы иностранка, туристка, шла по городу одна, боже упаси. И прошу вас, не торопитесь, если синьора захочет зайти куда-нибудь, если ей что-то понадобится, будьте джентльменом. Завтра утром,— добавил он,— увидимся здесь. И все-таки должна же быть какая-то причина, по которой иностранные коммунисты приезжают в этот город.

Комиссар улыбнулся Альберто и протянул руку.

— Вы можете очень помочь,— сказал он,— вам это тоже пойдет на пользу.

Он подошел к двери, открыл ее. Женщина снова сидела на скамье, положив руки на колени, во взгляде ее была усталость.

VI

Она смотрела на него; рядом стоял низенький человек и что-то ей говорил.

Альберто шагнул вперед (за его спиной комиссар закрыл дверь кабинета), и низенький человек повернулся в его сторону. Оба смотрели на него — высокая блондинка с усталым лицом и черный человечек в двубортном костюме, с напомаженными волосами и маленькими усиками.

Человечек сказал:

— Я разговаривал с синьорой, объяснил, что она должна пойти с вами. Она знает, что муж ее задержан. Она согласна пойти с вами. Так что можете идти.

Что сделал он, Альберто, почему с ним так разговаривают?

Женщина протянула ему руку, губы ее были приоткрыты, глаза блестели от слез. Он сжал ее пальцы и улыбнулся, и они вместе вышли на улицу.

— Эй, постойте,— окликнул их низенький человечек.

Когда Альберто оглянулся, тот сказал вполголоса:

— Она говорит, что не понимает ни слова по-итальянски, но мы в этом совсем не уверены. Вот это вы должны выяснить. Если вам что-то понадобится...— Тут он умолк, закатил глаза, махнул толстой рукой, будто хотел прогнать муху.— Что бы ни случилось, помните: я все время рядом, даже если вы меня не будете видеть.

Ноги не слушались Альберто; перед ним была шумная улица, свежий воздух, женщина стояла и смотрела на него. Что он сделал, почему с ним так разговаривают?

Дойдя до угла, они перешли улицу и оказались под сводами галереи. Она быстро шла, никого не толкая, он шел следом, натыкаясь на всех; вокруг полно было озабоченных людей, взгляды скользили мимо, ни на чем не задерживаясь.

Вскоре им попалось кафе, сквозь стекла виднелась сверкающая стойка. Альберто тронул женщину за руку.

— Кофе,— сказал он, показывая жестом, что хочет пить.

Женщина ответила сразу же, кивнула головой, пробормотала что-то на своем языке, подошла к одному из столиков, стоявших на улице перед окном кафе, и, вздохнув, села.

Это было не совсем то, чего хотел Альберто, ну да ладно, он сел рядом. Но как с ней говорить? И что сказать?

Они должны вместе дойти до гостиницы — это она уже знала, но нельзя же идти в абсолютном молчании: в его представлении быть рядом с ней означало другое. (А она? Может быть, она тоже хотела сказать ему что-то — но что? Глаза ее сверкали, лицо было грязно-серым. Может быть, это боль ее так преобразила, боль за мужа, который сейчас в тюрьме, боль, вызванная неразберихой событий, внезапно свалившихся на нее со вчерашнего вечера. И потом, кто знает, что сказал ей полицейский, говоривший на ее языке, чем напугал он ее?)

Подошел официант, и Альберто повернулся к женщине.

— Кофе? — спросил он.

Она кивнула в знак согласия.

— Может быть, «капуччино»?

Она пожала плечами.

— Так что́? — спросил официант.

— Два обычных.

Принесли кофе, и они выпили его молча. Проходили люди, она с любопытством смотрела на них. Сразу было видно, что она — иностранка, туристка: по меховому жакету, узким черным брюкам и еще по чему-то, что было в ее лице. Прохожие задерживали на них взгляд.

Они поставили чашки и улыбнулись друг другу.

— Я,— сказал он (его указательный палец коснулся груди).— Я,— сказал он,— Альберто.

Женщина внимательно смотрела на него. Потом улыбнулась.

— Альберто,— произнесла она с акцентом, слегка изменив звуки. Потом расстегнула мех на груди, ткнула пальцем в черный пуловер.

— Ирэна,— сказала она,— Ирэна.

Альберто улыбнулся.

— Ирэна,— повторил он.— Ну, вот теперь мы познакомились.

Женщина протянула ему руку над чашками, он крепко пожал ее. На пальце у нее было темное кольцо — железный ободок с маленькой медалькой, на которой было что-то изображено. Альберто не успел разглядеть — она снова отняла руку и заговорила низким, хрипловатым голосом. Казалось, она говорила по-итальянски, но ничего, совершенно ничего нельзя было понять. Потом женщина кивнула, встала, взяла со стула сумку и двинулась дальше по улице. Альберто быстро положил на столик двести лир, пошел следом. А она остановилась перед витриной и внимательно, одно за другим, рассматривала выставленные платья. В стекле отражалось ее лицо — в стекле же она увидела приближающегося Альберто и с улыбкой повернулась, дожидаясь, пока он подойдет.

Они прошли так всю улицу. Женщина время от времени останавливалась и рассматривала витрины, Альберто следил за ней взглядом и ждал. Было уже одиннадцать, утро пропало; сначала комиссар, а

теперь вот эта, если можно так выразиться, «прогулка». Они вышли на центральную улицу, где Альберто вчера еще не успел побывать; здесь надо бы остановиться в двух местах, но как быть, если с тобой иностранка? Не мог же он взять ее с собой, чтобы она присутствовала при деловом разговоре,— она не знает ни слова по-итальянски, и потом эти черные брюки... Что бы о нем подумали? Что он сочетает приятное с полезным? Да и образцы он с собой не взял...

Один из магазинов, ведущих оптовую торговлю парфюмерными изделиями, был рядом, на углу. Может быть, зайти, хотя бы чтобы условиться о встрече после обеда,— важно ведь застать хозяина на месте.

Ирэна остановилась у витрины. Здесь торговали обувью, и витрина была заполнена черными сверкающими мужскими ботинками.

Альберто взял женщину под локоть — она резко повернулась.

— Подождите меня здесь,— сказал Альберто.— Понятно? Я сейчас вернусь.

Жестами он показал сначала на нее, потом на место, где они стояли, потом на себя, на часы.

Наконец она засмеялась и кивнула.

— Да, да,— сказала она,— здесь, жду, только быстрее.

Ее голос играл слогами, ударениями, он поднимался и опускался, как музыка.

— Я сейчас вернусь,—пролепетал Альберто, повернулся и, перейдя в толпе через улицу, вскоре был уже на другой стороне и входил в магазин.

— Здравствуйте,— сказал ему мальчик. В огромной, заставленной ящиками комнате больше никого не было; за старым, поцарапанным письменным столом в глубине, составлявшим всю меблировку,— тоже никого.

— У себя хозяин? — спросил Альберто.— Синьор Каммарата?

Мальчик смотрел на него с любопытством.

— Нет, его нет, но вы можете сказать мне, что вам надо.

— Видите ли... Я представитель фирмы. Синьор Каммарата меня хорошо знает.

— А,— сказал мальчик, и лицо его сразу поскучнело.— Можете подождать, если хотите.

В эту минуту за спиной Альберто открылась дверь и вошел полный мужчина. Альберто услышал тяжелое дыхание еще до того, как увидел его самого.

— Вот хозяин,— сказал мальчик.

— Здравствуйте, синьор Каммарата,— произнес Альберто.— Вы меня помните?

— Конечно, конечно,— ответил полный человек,— но сегодня не до того. Подумать только! Иди быстро,— обратился он к мальчику,— опусти жалюзи, быстро!

— А что случилось? — спросил Альберто.

— Как, вы не знаете? Демонстрация. Увидите, сейчас они будут здесь, как всегда. Не слышите, уже кричат?

Человек стал прислушиваться к далеким голосам, которые слышал только он.

— Демонстрация,— проговорил Альберто,— но почему? (Он не то хотел сказать; он хотел сказать: надо же, чтобы это произошло именно теперь, именно сегодня, когда в моем распоряжении считанные часы, да еще на мне эта женщина, там, на улице.)

— Почему? — повторил тучный человек.— Откуда я знаю почему, причин на этой земле достаточно... Иди же,— обратился он к мальчику,— закроешь ты или нет, не слышишь, они уже подходят?

С грохотом упало первое жалюзи.

— Тогда я приду в другое время, синьор Каммарата,— сказал Альберто,— может быть, сегодня после обеда?

— После обеда — не знаю, не знаю, во всяком случае, попробуйте, если это будет возможно, то я, конечно, с удовольствием,— сказал тучный человек, выходя на улицу помочь мальчику.

Альберто тоже вышел и оказался среди толпы.

Первые группы уже подошли сюда, а там, дальше, улица полна была народа. Он увидел небольшую полоску пустого асфальта, а потом ряд людей, взявшихся под руки, за ними — другой, они несли лозунги и так махали ими, что невозможно было прочесть слова.

Вот мимо прошли люди, державшие друг друга под руку, потом те, с лозунгами, прикрепленными к палкам, какой-то мужчина нес бумажный плакат, подняв вверх руки, головы его не было видно — торчали только ноги, которые словно сами несли плакат. Сбоку, у тротуара, шел молодой парень; он опирался на костыль, пустая штанина была заткнута за брючный ремень. Толпа пела — несла лозунги и пела, а из глубины улицы уже появились новые лозунги.

— Ирэна! — закричал Альберто.

Он побежал по галерее. Женщины перед витриной не было. Люди стояли под сводами галереи и смотрели на демонстрацию, повернувшись спиной к витрине и к Альберто.

— Альберто!

Это был ее голос, ее иностранный акцент.

Она подошла к нему; взяла его за руку, подтолкнула к краю тротуара. По лицу ее текли слезы.

— Смотри, смотри,— говорила она.

Демонстрация; всегда найдется повод, чтобы устроить демонстрацию. Всегда есть люди, которые думают одинаково, которые в любую минуту могут выйти на улицу, чтобы устроить демонстрацию. А лозунги все те же. Жизнь проходит, но они не меняются. И красные знамена — тоже. Чего хотят эти люди? Да какое это имеет значение! Толпа уже заполняет галерею, давит спинами на закрытые двери магазинов и кричит, кричит; молодые парни перебегают с одной стороны улицы на другую, издалека доносится вой сирены.

В эту минуту распахиваются двери двух подъездов, и на улицу высыпают две группы полицейских, они толкаются, набрасываются на людей. Прочь, прочь, расходитесь! Стоящего рядом с Альберто парня хватают за плечо, с него спадает куртка, сковывая движения, а дубинка не ждет — раз, два, три.

— Прочь, расходитесь!

Что делать, чтобы тебя не схватили? Не бежать же, но и здесь оставаться нельзя; ну вот, уже бросились на того, на другого, и все это здесь, в галерее, демонстрация остановилась, воют сирены, все кричат, машут лозунгами.

Прислонившись к колонне, прижавшись спиной к камню, парень, тот самый, одноногий, кричит — кажется, что он смеется,— и размахивает костылем, а полицейские с дубинками не решаются к нему подойти.

Он кричит, но голоса его не слышно, слышно только, как воют сирены да бегут люди, пытаясь скрыться.

Кто-то падает к ногам Альберто, он видит черную разящую дубинку, человек переворачивается на спину, судорожно бьет ногами. Его хватают под руки, тащат в подъезд, а тем временем один из полицейских, взяв винтовку за дуло, прокрадывается к инвалиду и одним ударом вышибает у него костыль; из-за колонны выскакивают двое

в штатском, хватают инвалида и тащат его к подъезду, а он кричит и выгибается всем телом.

Ирэна. Это она хватает одного из полицейских за плечи и хриплым голосом кричит что-то непонятное.

— Ирэна, нет!

Перед самым его лицом взлетают ее волосы, трясутся ее плечи, она кричит, пытаясь удержать полицейского. Внезапно за их спиной появляются новые полицейские; Альберто чувствует, как его хватают, грубо толкают к подъезду, Ирэну — туда же; одноногий — уже там, он лежит на земле и кричит, а дверь тем временем торопливо закрывают на щеколду.

— Палачи, палачи,— доносится снаружи.

VII

В подъезде холодно. Сквозь стеклянную крышу проникает мало света. Выходившие в подъезд двери закрыты, лестницы пусты. Не слышно голосов — только смутный далекий гул, приглушенный закрытыми дверьми. Повернувшись спиной к дверям, стоит полицейский в штатском, толстый усталый человек. Вокруг в полутьме — два, пять, девять человек — арестованные. Одни молча сидят на полу, другие переговариваются вполголоса. Инвалид лежал на земле, пустая ткань брючины протянулась рядом с единственной ногой. Склонившись над ним, Ирэна пыталась привести в порядок его одежду, а может быть, говорила ему что-то, но что она могла сказать на своем языке?

А может быть, она и в самом деле знает итальянский, но почему-то делает вид, что не понимает его?

Альберто стоял, прислонившись к перилам лестницы, и смотрел на нее. Может, полицейские правы и она действительно шпионка или что-то в этом роде. И не случайно они, муж и жена, в этом городе. А теперь он с ней здесь, в подъезде, их арестовали, втянули в новую историю.

Женщина гладила инвалида по лбу. Другой арестованный, склонившись, щупал у него пульс.

— Ему плохо,— сказал он громко, обращаясь к полицейскому.— Этому человеку плохо, нужен врач.

Полицейский пожал плечами.

И вот тогда-то вверху, за решеткой, Альберто увидел голову человека, делавшего ему знаки,— или, может быть, не только ему, а всем арестованным.

«Сюда, сюда,— как бы говорили его руки,— идите сюда, я нашел выход».

Конечно, если одна из дверей открыта, все в порядке, или если есть лазейка на крышу, можно перейти в другое здание, попасть на другую лестницу; никто не записал их имен, и, конечно, в этой суматохе никто не запомнил их лиц. Полиция не знает даже, сколько тут человек, и если бы кто-то удрал, то вряд ли это заметили бы. Только бы не привлечь внимания полицейского, стоящего на страже. Но в такой полутьме это просто.

Человек вверху все еще делал знаки; за его спиной видна была приоткрытая дверь. Альберто подошел к Ирэне и, склонившись над инвалидом, взял ее за руку, потянул, знаком показывая, чтобы она не шумела и подошла к лестнице. Вблизи раненый походил на мертвеца — кожа обтянула скулы, закрытые глаза глубоко ввалились, волосы прилипли к потному лбу.

«Пошли»,— знаком показал Альберто, выпрямился и, не глядя ни на кого, направился к лестнице. Перед ним, как тень, промелькнул

один человек, потом второй, а он все силился рассмотреть, поняла Ирэна или нет. Нет, Ирэна осталась там, подле раненого. Альберто вернулся, снова взял ее за руку.

— Пошли,— вполголоса сказал он.— Быстрее.

Женщина вопросительно посмотрела на него, выдернула руку.

— Пошли,— повторил он,— можно спрятаться. Если мы останемся здесь, нас отвезут в тюрьму, понимаешь?

Да, конечно, Ирэна поняла или, может быть, поняла что-то другое; ее палец уперся ему в грудь, отстраняя его.

Потом она снова склонилась над распростертым на земле человеком.

«Что она делает? — думал, поднимаясь, Альберто.— Она, видно, не поняла, что я из-за нее могу попасть в тюрьму и неизвестно на сколько? Кто поверит, что я ни в чем не виноват?»

Внезапно с улицы постучали, стоявший на страже полицейский открыл дверь, и двое-трое других втолкнули еще одного кричащего человека. Его крики заполнили весь подъезд, с ним ворвались свет и шум продолжавшейся демонстрации. Человек упал на пол, а полицейские меж тем затолкнули внутрь другого, и дверь гулко захлопнулась.

Альберто показалось, что дверь захлопнулась за ним, дверь тюрьмы.

Полицейский снова прислонился спиной к деревянным створкам; он наблюдал за вновь прибывшими, они жестикулировали, переходили от одного к другому, объясняли что-то коротко, волнуясь. Ирэна опять склонилась над инвалидом; тьма, как густая пыль, снова опустилась на все.

В дверь забарабанили, полицейский обернулся, отодвинул щеколду, приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, кто там; дверь пропустила луч света, потом вообще стало светло. Альберто увидел галерею, торопливо идущих людей. Но никто не входил, это полицейский высунулся наружу, дверь некоторое время оставалась открытой, наконец вошел человечек в штатском. Он повертел во все стороны головой, взгляд его широко раскрытых глаз скользнул по Альберто. Но человек не видел, глаза его не могли справиться с темнотой.

Это был полицейский, который говорил на языке Ирэны,— их телохранитель.

Он увидел неясные очертания женщины, склонившейся к инвалиду, подбежал к ней, тоже наклонился над раненым, но лишь на мгновение, дернул Ирэну за руку, поднял на ноги, начал что-то взволнованно вполголоса говорить. Ирэна, выше его на целую голову, стояла и слушала, затем посмотрела вокруг и шевельнула рукой, указывая на прислонившегося к стене Альберто.

Ну вот, теперь полицейский увидел и его.

Он оставил Ирэну и ринулся к нему.

— Какого черта,— воскликнул он,— вы что, издеваетесь над нами?

— Я? — спросил Альберто.

«Как,— хотелось добавить ему,— нас арестовали, бросили сюда точно мешки с картошкой, и я же виноват? — Но не посмел, он чувствовал себя усталым, обессиленным, грязным.— Я-то здесь при чем? В такой ситуации это со всяким может случиться, неужели вы не понимаете?»

Но слова не шли с языка; на него навалилась усталость, и ему казалось сейчас самым важным стоять неподвижно и молча — быть может, это лучше, чем говорить. Полицейский ждал, когда он произнесет хоть слово, чтобы тотчас же скрутить его, смять, уничтожить. А он стоял и молчал. Но всего лишь несколько мгновений.

Полицейский взял Альберто за руку и еле слышно заговорил. (Его губы едва шевелились — лишь подрагивали седые торчащие усы.)

— Ну вот что,— сказал он,— нечего притворяться. Забирайте эту женщину и помните, что́ вы должны делать.

Полицейский подтолкнул его к двери; проходя мимо Ирэны, Альберто взял ее за руку, она послушно поднялась с пола и пошла за ним.

Выйдя за дверь, они снова очутились на улице, шаги их гулко разносились под сводами галереи.

Жалюзи на магазинах были опущены, по булыжной мостовой, подгоняемые ветром, летели обрывки газет, куски бумаги с написанными кистью словами. Улица была теперь пуста; под колоннадой, где арестовали инвалида, валялись палки, к которым недавно были прикреплены лозунги,—казалось, здесь сбросили остатки деревянных лесов или упаковочных ящиков.

Вдоль тротуара напротив стояли грузовики — три, четыре темно-серых грузовика; в них сидели люди, обутые в тяжелые громадные ботинки,— достаточно приказать им, и они тотчас спрыгнут вниз.

— Уходите,— проговорил полицейский,— ну же.

Он добавил что-то на языке Ирэны. Она взволнованно возразила, указывая на уже закрытую дверь, и после ответной короткой реплики повернулась и быстро пошла под сводами галереи.

— Скорей, скорей идите за нею,— сказал полицейский Альберто, подталкивая его в плечо.

Улица была пустынной, и Ирэна шла быстро. Над землей летели обрывки газеты, они попадали в лужу и, намокнув, приставали к мостовой. Гонимый ветром газетный лист прилип к ноге Ирэны.

Ветер развевал волосы женщины, они сверкали перед Альберто старым золотом с зеленым отливом,— не было ли в этом золоте белых нитей? — волосы рассыпались в руках ветра, а она шла так, словно была на улице совсем одна.

Дойдя до каменного парапета, она внезапно остановилась — Альберто шел сзади; она перегнулась через парапет в пустоту, в марево, наполненное мягкими красками, к острой крыше железнодорожной станции, к деревьям, которые отсюда казались кустами, к белой пыльной дороге, извивающейся внизу, наконец, к морю — более темному, чем небо.

— Пошли туда,— сказала женщина, придерживая одной рукой волосы, а другой указывая на море вдали.

— Как, вы говорите по-итальянски? — сказал Альберто (он только теперь это заметил).

Женщина повернулась и засмеялась. Тряхнула головой.

— Нет,— сказала она,— совсем немного, только с друзьями.

— Тогда вы поняли все, что хочет полиция?

— Нет, я ничего не знаю, совсем, совсем ничего не знаю.

Опершись на каменный парапет, она хмуро смотрела на Альберто; волосы падали ей на лицо.

— Но вы же видели, что ваш муж арестован?

— Мой муж? Не знаю.

— Вы видели, как его арестовали, или вам это сказали в полиции?

— Видела, видела, да, да, да. Что поделаешь? Буду ждать. А вот ты, ты видел раненого человека? Почему ты ничего не сделал? Ты испугался?

Испугался? Чего тут особенно бояться? Нечего. А ведь есть люди, которые боятся всего понемногу, везде есть этот быстросхватывающий цемент — страх, вся наша жизнь им пропитана.

Ирэна стояла перед ним и что-то вполголоса говорила на своем языке. Она больше не улыбалась, и ее лицо снова постарело.

VIII

— Пошли туда,— сказала Ирэна.

Опершись на парапет, она показала в глубь парка. Волосы, рассыпанные по лицу, светлые глаза, белая кожа... Длинные руки, из меха выглядывает узкое запястье.

Альберто почувствовал на лице ветер, а в ногах — усталость от проделанного пути.

— Куда? — спросил он.

Она махнула рукой, указывая вдаль, к самому горизонту. Повернулась и посмотрела на него.

— Туда, к морю.

— А не далеко? У нас нет времени.

— Почему? Единственное, что у нас есть,— это время. К чему возвращаться в гостиницу и ждать?

Прогулка к морю никак не укладывалась в расписание сегодняшнего дня Альберто. Да как на глазах полиции пойти сейчас к морю? И что там делать? Он не мог больше смотреть в лицо женщины, не смел подойти к ней.

— Пошли? — спросила Ирэна, и глаза у нее были такие же, как в первый раз, тогда, в гостинице.

— Да, да,— сказал Альберто,— но не сейчас. Может быть, мы сначала поедим?

— Поедим у моря.

— Там ничего нет. Давайте сначала где-нибудь перекусим, а потом пойдем к морю.

Ирэна молча последовала за ним.

Справа от парапета была крутая тропинка — наполовину каменная лестница, наполовину дорожка,— которая вела к городскому парку. Они пошли по дорожке, Альберто протянул Ирэне руку, чтобы помочь идти по камням.

Нет — жестом отказалась она.

Наконец дорога вывела их на асфальтированную улицу, прямо перед городским парком.

Альберто тотчас направился к траттории, но его остановило иностранное слово, произнесенное Ирэной. Она стояла неподвижно, слегка разведя руки, меховой жакет распахнулся, светлые волосы обрамляли улыбающееся лицо. И вполголоса повторяла все то же слово.

Альберто попытался проследить за ее взглядом: высокий, источенный временем парадный подъезд с лепкой по архитраву, окна с решетками; там, дальше,— другие дома, маленькие зеленые двери, с другой стороны — низкие белые стены, видневшиеся поверх стены из старого туфа, и по всей линии горизонта — деревья городского парка.

Воздух был неподвижен, откуда-то доносились отдельные звуки, неспособные разбить густую тишину. Как сочетается этот древний мир, эта древняя мудрость старых изъеденных камней с гневом и криками демонстраций? Может быть, это бесполезно — кричать, а может быть, это трусость — любить старые лица камней, укрываться за ними?

— Красиво,— сказала Ирэна,— не правда ли?

Она говорила ласково, как будто отдавала должное Альберто за всю эту красоту. Подошла, взяла за руку.

— Пошли туда,— сказала она, показывая на деревья, лицо у нее было молодое и веселое.

— Пошли есть,— сказал Альберто.

— Туда, там лучше.

— Конечно, туда, там можно и поесть.

Перед одной из зеленых дверей стоял стол, накрытый скатертью,— признак того, что здесь находится траттория. Альберто указал на него. Как бы вызванный его жестом, на пороге появился официант.

Посетителей в траттории было четверо или пятеро; они молча ели; когда вошла Ирэна, все подняли головы и посмотрели на нее.

Она говорила слишком громко для этой маленькой комнаты; к тому же ее акцент, неправильные, неожиданные ударения, само построение фраз — так порою идет человек неуверенной, качающейся походкой — привлекали внимание посетителей, поглощавших спагетти.

А может быть, они слышали в ее голосе что-то проникновенное, чувствовали, что ее слова обнаженно просты, лишены прикрас, двойного или даже тройного смысла, желания соблюсти дистанцию, боязни сблизиться с незнакомыми. Слова эти сразу достигали цели, ломали скорлупу одиночества, предназначались только тебе, ставили тебя на твое место в этом мире, среди людей.

Она, Ирэна, сидела и говорила, жестикулируя, повернувшись спиной к залу, лицом — к Альберто. Взгляды всех, кто сидел в комнате за ее спиной, были для нее как бы хором, молчаливым хором. Может быть, Альберто ошибался, может быть, эта иностранка, туристка, ее волосы цвета меда, черные брюки, слишком громкий голос вызывали только любопытство. Но Альберто чувствовал, что их объединяют, его делают героем любовных похождений, возникавших в воображении этих людей,— героем, которому завидовали.

— Пойдем к морю,— говорила Ирэна,— потом вернемся в гостиницу. А потом, может, я уеду. Почему ты не хочешь пойти?

Почему бы и не пойти? Но она действительно ставит его в нелепое положение. Хорошо, хорошо, пойдем, только все выглядит так нелепо, неестественно. Пойдем, конечно, в конце концов пройдет и этот день, и в памяти от него не останется и следа, ничего путного — ни для меня, ни для тебя, каждый пойдет своей дорогой, помня только имя другого, неясные черты, почти силуэт. А кто знает, чего ждут от меня те, в полиции, и что я им скажу? Что ей хотелось пойти к морю, а почему — не знаю, что мне неведомы ее мысли, которых у нее вовсе, быть может, и нет,— одно только любопытство: ведь для нее, видно, все едино—есть человек или его нет, например, тот, что теперь в тюрьме.

— Хорошо,— сказал Альберто,— конечно, пойдем. Но сначала поедим? Что вы хотите?

Официант, согнувшись, стоял рядом и монотонно перечислял:

— Спагетти с маслом, спагетти с томатным соусом, спагетти по-болонски, лапша, тортеллини, рис отварной, рис с соусом, рис по-милански, суп овощной, очень хороший, макароны с фасолью, бульон в чашке.

Женщина смотрела на него, пораженная множеством произнесенных одним духом слов и таким обилием пищи. Он подождал и повторил уже медленнее:

— Спагетти по-болонски, лапша, спагетти с соусом, есть также спагетти с мясным соусом, очень вкусные. О, если вы не хотите спагетти...

— Спагетти,— сказала женщина.

— Спагетти с мясным соусом?

Она неуверенно посмотрела на Альберто.

— Да,— сказал он,— это вкусно, здесь их хорошо готовят.

Официант выпрямился.

— Хорошо,— сказал он,— спагетти с мясным соусом два раза. Сию минуту.

Он направился в кухню, и Ирэна улыбнулась ему вслед. Потом повернулась к Альберто.

— Ты мне поможешь? — спросила она.— Я не умею есть спагетти.

Между тем открылась дверь и вошли трое парней; разговаривая, они спустились по ступенькам, сели за соседним столиком и, не прерывая оживленной беседы, принялись с любопытством рассматривать так неожиданно обнаруженную здесь иностранку.

— А я считаю,— говорил один,— пока не набьешь морду, ничего не получишь.

— А чем бить морду-то — лозунгами, что ли? Ты разве не видишь, стоит к ним подойти, как они начинают кидать слезоточивые бомбы и молотить направо-налево прикладами?

Официант подошел к их столу и снова завел свою песню.

— Спагетти с креветками, и побольше.

— Сейчас будет готово,— вдруг оживился официант, словно его осчастливили, заказав это блюдо.— Мы только что собирались готовить спагетти для этой синьоры, надо только добавить.

Все трое повернулись к Ирэне и поклонились, словно официант ее им представил. Затем продолжали разговор, а Ирэна слушала.

— По-моему,— сказал один,— эти демонстрации ни к чему, совсем ни к чему.

— Ну, отчего же, они нужны для мобилизации масс, но на одних демонстрациях далеко не уедешь; они обречены на провал, если нет групп для защиты от полиции.

— Сила против силы, другого выхода нет.

Ирэна смотрела на них, пытаясь понять значение слов, искаженных диалектом.

— Вы видели, как они били инвалида? Вот этого нельзя было спускать,— сказал тот, что заказывал спагетти.

— Кто мог ожидать такого?

— Напасть на человека, который еле держится на ногах...

— Воспользовались тем, что он не мог убежать.

— Вот видишь, и ты думаешь: единственный выход — бежать.

— Прости, но при такой организации что еще делать?

Они немного помолчали, потом один достал пачку сигарет и предложил остальным. Закурили. И когда заговорили снова, то уже не кричали, а изъяснялись внятнее, словно больше думали о том, что говорят.

— Инвалид не мог, да и не хотел бежать,— сказал угостивший сигаретами.— Вы не слышали, как он кричал?

— Он пошел на них грудью, отбивался костылем, руками.

— Это с отчаяния. Что ему оставалось делать?

— Будь у него пистолет, никто бы к нему не сунулся. Уж это точно.

— Да, и быть бы ему сейчас в мертвецкой, а не в камере.

— По-моему, он в больнице, его ранили в голову, когда тащили в подъезд.

Ирэна внезапно встала, подошла и наклонилась к ним.

— Я,— сказала она,— я и он,— она показала на Альберто,— тоже были в подъезде. Там раненый, ему очень плохо.

— Так и вы оттуда? — сказал один.— То-то мне ваше лицо знакомо.

— Вы бросились ему на помощь, когда его волокли по земле.

— Да,— сказала Ирэна,— ему очень плохо, у него голова в крови.

Она постояла немного и вернулась на место. Глаза у нее блестели от слез.

Трое с соседнего столика молча смотрели на нее. Они даже перестали курить — сигареты тлели в их грубых пальцах. Между тем

подошел официант, стал раскладывать приборы, салфетки, поставил корзину с хлебом и водрузил в центре стола бутыль с красным вином.

— Красное крестьянское вино,— сказал он,— хорошо?

Один из троих кивнул. Официант подошел к столу Альберто и разложил приборы и салфетки.

— А вам что принести,— спросил он,— вина или пива?

IX

Открылась дверь, и вошел полицейский, маленький, в темной одежде. Альберто увидел его за спиной Ирэны. Его увидели и те трое за соседним столиком. Он осмотрелся с высоты лестницы.

Альберто склонил голову над тарелкой и немного погодя услышал, как тот спустился по лестнице, подошел к их столику. Услышав голос, он вынужден был поднять голову.

Полицейский сказал что-то на непонятном языке Ирэны. Она смотрела на него, продолжая жевать, потом быстро заговорила, почти закричала. Трое парней перестали жевать и уставились на полицейского. Он повторил короткую, непонятную фразу и повернулся к Альберто.

— Что это вы придумали,— сказал он,— решили поразвлечься?

— Что значит — поразвлечься? — переспросил Альберто.

— Вы все прекрасно понимаете. Вам следовало проводить женщину в гостиницу, а вы что делаете? Мне кажется, вы ошиблись адресом.

— Да кто это? — воскликнул один из парней.— Муж, что ли?

— А вы не суйтесь! — тотчас ответил полицейский.— Сели есть и ешьте себе.

Парень отложил вилку.

— А если мне не хочется? Если спагетти в горло не лезут?

Полицейский повернулся было к нему, хотел что-то сказать, но раздумал и снова начал что-то бубнить Ирэне на ее языке. Она не отвечала, ела и не отвечала.

Трое парней с любопытством уставились на Альберто. Полицейский обратился к нему:

— Словом, вам ясно все. Сделайте одолжение, не исчезайте из виду.

И полицейский, не обращая больше внимания на Альберто, стал подниматься по лестнице к двери, услужливо распахнутой перед ним официантом. В зале стало тихо, Ирэна широко открытыми глазами смотрела на Альберто, парни тоже не спускали с него глаз.

— Чего ему надо? — с трудом проговорил Альберто.

Ирэна покачала головой.

— Он сказал, что я всегда должна быть на виду, чтобы они могли меня найти, если понадоблюсь. Сказал, что мне надо идти в гостиницу.— Она оглядела маленький притихший зал.— Но я не буду делать, как он хочет.— И повернулась к трем парням: — Это был полицейский, неужели не понятно?

— Полицейский,— сказал один из них,— а что ему от вас нужно?

— Они приметили вас на демонстрации? — спросил тот, который сцепился с полицейским.

— Да,— подтвердила Ирэна.

— Нас даже арестовали,— промолвил Альберто,— но синьора — иностранка, нас вынуждены были отпустить.

— Моего мужа тоже арестовали вчера вечером, он еще в тюрьме.

Трое парней молчали, не решаясь приняться за еду.

— Вас в чем-то обвиняют?

Ирэна покачала головой.

— Ни в чем,— сказала она,— обвинений никаких нет.

— Надо же, какие мерзавцы,— сказал один из троих.

— Почему вы не дадите ему в морду, если он к вам цепляется? Какое у него право приставать к людям без причины?

— Синьора — иностранка,— сказал Альберто,— ее могут выслать.

— Понятно,— сказал один из троих,— еще и паспорт отберут.

— А муж? Его с какой стати держат в тюрьме, ведь он тоже иностранец?

Альберто положил вилку.

— Его в чем-то обвиняют,— сказал он,— но в чем, неизвестно.

Потом все вышли вместе — Ирэна, трое парней, за ними Альберто. Один из парней, самый маленький, светловолосый, громко разговаривал с Ирэной:

— Надо действовать, иначе ничего не добьешься. Ну с какой стати нам превращаться в христианских мучеников? Когда полицейские бросаются с прикладами на безоружных, остается только бежать, но если взять в руки палку, они удерут, поджав хвост.

— Палка — это что,— говорил другой, торопливо шагая, чтобы идти в ногу с Ирэной,— несколько бутылок бы с бензином — тогда бы увидели.

Ирэна остановилась, парни попрощались, перешли дорогу и направились к городскому парку; их рубашки парусами раздувались на ветру.

Ирэна улыбнулась.

— Пошли? — сказала она.— Посидим немного под деревьями.

Альберто кивнул; они тоже перешли дорогу и вошли в тень; сели на первую скамью; перед ними была освещенная солнцем стена из туфа, внизу — деревья.

Город тихо дремал — казалось, он дышит, слегка сотрясая воздух своими вдохами.

— Ты недоволен? — сказала Ирэна.

— Я? Почему? — переспросил Альберто.— Наоборот. Вчера вечером,— добавил он,— я и не думал, что сегодняшний день мы проведем вместе.

Это была скорее мысль, машинально родившаяся в голове, чем начало разговора. К тому же Альберто испугался, поняв, что язык заводит его на опасный путь, толкает туда, откуда нет выхода. Опустив руку в карман, он вынул сигареты и предложил Ирэне.

Она кивнула и слегка наклонилась к огоньку. Потом они молчали, а дым от сигарет поднимался, разбухал, скручивался в спираль. Женщина сидела, закинув ногу на ногу, положив на колено белую худую руку. На пальце у нее было кольцо из крученого металла.

Альберто повернулся к ней, и она улыбнулась.

— Этот полицейский,— сказала она,— хочет, чтобы я вернулась в гостиницу. Зачем? Лучше останемся здесь, а потом пойдем к морю.

Альберто кивнул.

— Идти в гостиницу,— сказала она,— чтобы опять наткнуться на полицейских? — И добавила: — Успеем.

Казалось, ей не впервой бродить по незнакомому городу, получать распоряжения от полицейских и не выполнять их, мириться с тем, что муж — или кто он ей — в тюрьме, и ничего не знать о нем. Как ей удавалось сохранять спокойствие? Как она могла пройти через весь этот ужас с тем же выражением лица, что и вчера вечером, когда она смотрела телевизор и свет отражался в ее глазах?

Кто она? Откуда приехала? Как он ненавидел все эти вопросы! Казалось, их пишет в мозгу комиссар, выводя слог за слогом, точно на доске.

Ирэна бросила на землю окурок и раздавила его.

— Может быть, ты устал? — спросила она.

— Я? — сказал Альберто.— Нет, вовсе нет.

— Тогда пошли,— предложила она.

Она встала, и не успел Альберто взглянуть на нее, прямую и стройную, как вдали послышались крики и топот бегущих людей.

— Что это?

Это были все те же трое парней, казалось, они разговаривали с кем-то, жестикулировали, потом они расступились, и в тот же миг Альберто увидел, как один из них набросился на отшатнувшегося было маленького человечка в темном костюме. Послышался выстрел, словно хлопок, прорезавший тишину, потом все трое накинулись на полицейского, снова раздались крики, а через мгновение все разбежались, и никого не осталось. Куда же девался полицейский?

— Боже мой,— сказал Альберто,— его убили.

Они бросились к балюстраде по усыпанной гравием дорожке. Все вокруг замерло. Подбежав к балюстраде, они с разбегу ткнулись в каменный парапет. Нет, здесь никого не было. Кустарник, красная земля, деревья, внизу — дорога, вдали железнодорожная станция, ряды неподвижных вагонов. Нет, здесь никого не было. Куда же он мог деваться? Здесь не было густого кустарника, который мог бы укрыть его, не слышно было ни вздоха, ни стона, ничего.

— Где же он? — спросила Ирэна.

Альберто вновь заглянул за парапет.

— Не знаю,— ответил он.

Они опять посмотрели по сторонам.

— Убежал,— сказала Ирэна.

— Вместе с теми?

— Как вместе? Ведь они же дрались!

— Зачем он к ним привязался?

— Кто знает.

Они огляделись, и Альберто почти у своих ног увидел револьвер.

— Револьвер,— сказал он, нагибаясь,— револьвер полицейского.

Ирэна наклонилась посмотреть.

— Не трогайте!

Она повернулась.

— Почему?

— Не знаю,— сказал Альберто.— Отпечатки. И к тому же он может выстрелить.

Ирэна снова принялась рассматривать оружие.

— Мы не можем оставить его здесь,— сказала она.

— Почему? Мы ни за что не отвечаем.

— А если здесь кто-нибудь пройдет? Если пройдет ребенок, дотронется до него? Он может выстрелить.

— Проклятье,— сказал Альберто (или, может быть, только подумал),— этого еще не хватало. А куда делся тот, из полиции,— продолжал он,— быть может, он за деревом, раненый?

Посмотрев вокруг, Ирэна покачала головой.

— Это он стрелял,— сказала она.— Может быть, кто-то другой ранен?

— Но тогда где же он? — почти крикнул Альберто.— Может быть, он прячется?

— Не знаю,— сказала Ирэна.

Она наклонилась, взяла револьвер двумя пальцами, подошла к па-

рапету и бросила его в траву, потом они постояли, озираясь,— залитая солнцем дорога, неподвижные деревья, молчаливо качающиеся на ветру, немногочисленные темные тени окон, откуда никто не выглядывал; только несколько красных гвоздик протягивали в пустоту свои стебли между прутьями балконных решеток.

— Пошли,— сказала Ирэна.

— Куда? — спросил Альберто.

— Уйдем подальше отсюда.

— Да, пойдем,— ответил он.

Он взял ее за руку и быстро зашагал; они прошли по тропинке мимо парапета, вошли в затененную улицу, миновали старую арку из туфа, вышли на другую улицу, увидели дворника, мальчишек, лоток разносчика, дверь в бар. Над их головами тянулись электрические провода, на маленькой площади замер зеленый троллейбус.

Они торопливо влезли в троллейбус, сели рядом; в троллейбусе почти никого не было; кондуктор подошел к ним и дал два билета Альберто, водитель закрыл дверь, и машина тронулась.

Троллейбус выехал на узкую, идущую вверх улочку, куда выходили задние двери магазинов, высокие, погруженные в тень заборы, выложенные из прямоугольных, изъеденных морским ветром камней, и, подпрыгивая, покатил по ней. Слегка согнувшись, сложив руки на коленях, Ирэна смотрела в окно. Альберто чувствовал рядом ее тело, а сам думал о пустой площади, посыпанной гравием дорожке, парапете, о мертвом или раненом полицейском.

В троллейбусе было, конечно, безопасно, полиция за ними не гналась, водитель напевал, работая рычагами, останавливал и трогал машину, хотя никто не входил и не выходил; теперь они уже выехали из города, дорога бежала меж деревьев и кустарников к железнодорожной станции и дальше — к морю.

X

Сделав круг на площади, водитель объявил конечную остановку и открыл двери.

— Пора выходить,— сказал Альберто.

Рядом была облезлая, ведущая в зал ожидания дверь железнодорожной станции; кондуктор и водитель вышли из троллейбуса, сели в тень на скамейку.

Ирэна тоже вышла, Альберто за ней. Вдвоем они обошли вокруг троллейбуса; на площадь вела только дорога, по которой они приехали из города.

— А моря здесь нет,— сказала Ирэна.

Альберто покачал головой.

— До него еще надо добираться,— сказал он.

— Извозчик!

Ирэна побежала к центру площади, где стояла черная извозчичья коляска. У морды лошади висел мешок с овсом. Альберто увидел извозчика — старика с седыми усами. Широко разведя руками, он поклонился женщине, потом оба быстро заговорили, и старик показал в сторону моря, а женщина кивнула и стала садиться в коляску. Извозчик помог ей и сам сел на козлы.

Альберто кинулся к ним, ноги сами понесли его, и вот он рядом с коляской; Ирэна обернулась.

— Поехали к морю,— сказала она, жестом предлагая ему занять место рядом.

— Кого я вижу, синьор,— произнес извозчик. Он улыбнулся Альберто, словно был его слугой, сообщником, защитником.

Альберто забрался в черный зев коляски, нагретой солнцем.

— Но, лошадка, но!

Они въехали под мост, и Ирэна, смеясь, пригнулась.

— Не беспокойтесь,— закричал старик,— здесь не проехать только тому, у кого есть рога.

— Что?

— Рога, рога.

Продолжая смеяться, Ирэна смотрела на поля, на каменные ограды, на искривленные, узловатые, словно чьи-то скрюченные руки, оливковые деревья, на калитки между столбами из туфа.

За каждой калиткой начиналась дорожка, ведшая к дому, к хутору; кое-где при их появлении лаяли собаки, а вообще поля казались пустынными, покинутыми.

Белокурые волосы Ирэны развевались на ветру, и Альберто видел ее лицо, когда она поворачивалась, чтобы спросить что-нибудь у старика.

— А где крестьяне? — допытывалась она.

— Жарко,— кричал старик,— сейчас все дома.

— А когда же они работают?

— Э, да они встают почти ночью, когда мы еще спим.

— А что здесь сажают? Вот это, что это такое?

— Не видите,— сказал извозчик,— это же виноград.

— У нас виноград низкий, он стелется по земле.

Ирэна смотрела вокруг.

— А где живут крестьяне — в домах, что за деревьями?

В глубине дворов время от времени мелькали серые стены, лестницы, увитые зеленью. Извозчик, обернувшись к Альберто, засмеялся и подмигнул.

— Нет, синьора,— сказал он,— нет. Хотите верьте, хотите нет — только в этих домах жить неудобно. Они спасают от жары — комнаты большие, стены толстые, из старого камня, но в них нет водопровода, нет современных туалетов.— Он покачал головой.— Кто там живет? Да никто. Они так — для красоты.

Ирэна смотрела на таинственные дома — квадраты из темного камня, глазницы окон, зеленые растения вокруг них, пустое пространство перед входом и над всем этим — солнце, вычерчивающее колонны и фризы. Вдруг она повернулась и через голову Альберто, через коляску посмотрела на город, там, на холме,— нагромождение прижавшихся друг к другу домов, огромный дворец в центре, темные деревья перед ним.

Потом взгляд ее светлых глаз упал на коляску, на лицо Альберто, на него самого.

Ирэна улыбнулась.

— Красиво,— сказала она,— твой город красивый.

— Это не мой город,— ответил Альберто.

А коляска все катилась среди каменных изгородей и деревьев.

Куда мы едем? Чем все это кончится?

Женщина разговаривает с извозчиком, он указывает на деревья, дома, облака.

Что здесь смотреть? Ведь ничего этого нет, стоит опустить занавес, и за деревом, за каждым деревом сразу же появится враждебное лицо, чужое лицо, полицейский, который спросит: «Так как же насчет этой женщины? Куда вы едете? Тебе удалось узнать, кто она?»

Да нет, полицейский исчез, он упал на землю без звука, и даже трава не примялась под ним.

Женщина засмеялась. Над чем она смеется, кто она, из какой страны?

Подумать только, еще вчера я готов был отдать что угодно, лишь бы слышать ее смех.

Коляска катится, черная, старая, покрытая ржавчиной, подскакивает на каждом камне, а она все говорит, говорит. Видно, возница ей симпатичен, потому что она говорит с ним по-итальянски, а не на своем странном языке.

Можно ли полюбить эту женщину? Ты с ней рядом, а она ускользает от тебя, тебе кажется, что она говорит тебе что-то, а на деле только смотрит, да еще видит ли тебя, кто ее знает!

Съежившись, уперев в передок ноги в грязных ботинках, Альберто неподвижно сидел в глубине коляски. Он держался за деревянный борт и время от времени касался затылком складок сложенного клеенчатого верха.

Небо было еще ясным, но солнце уже садилось. Город позади становился все меньше, земля пустела, освобождаясь от людей. Нет, по эту сторону занавеса никого не было — только свет солнца и деревенский воздух; здесь проходила грань между прошлым и будущим. Как хорошо, что вдали на горизонте всегда есть деревня.

Женщина, улыбаясь, повернулась к нему, жестом показала на небо и деревья, затем поправила волосы.

— Красиво,— сказала она.

Нет, волосы ее не были белокурыми, они были цвета меда и старого золота, и ее спокойное лицо улыбалось деревьям и всему вокруг.

Как понять ее взгляд, как найти ее руку, ощутить вкус ее кожи, ее тонкой белой кожи, белой в запястьях, белой по всему телу, вдоль складок времени, складок плоти; как открыть случайность ее родинок, ее чистый и странный голос и стать — да, именно стать — предметом ее желаний, жить у нее перед глазами, открыть для нее значение твоего тела, вызвать сожаление о том, что прошло, о ранах, оставленных временем, медленным, неумолимым наступлением старости; как преодолеть сумятицу быта, как говорить с ней на одном языке? Торопитесь, пока не погас свет, пока она и ты не стали сгустком в хаосе, не стали привкусом соли на губах. Чтобы что-то осталось в памяти, в твоей памяти, а не в памяти других.

Дорога бежала вдоль моря, узкая коса отделяла ее от воды, кое-где попадался чахлый кустарник да черные скалы. Справа — за лугами, деревьями, мелькающими домами, бороздами вспаханных полей — высоко на холме виднелся город, маячивший на бледно-голубом, почти бесцветном предвечернем небе. Кроме скрипа колес ветер приносил с собой непонятные звуки — не то шум, не то вздох, да еще шепот моря, его неспешные удары по песку и по скалам. Время от времени попадалась перевернутая или лежащая на боку лодка, рядом кто-то раздевался или одевался, женщина в рубашке, мужчина с ногами в песке, неподалеку — куча одежды. В море купались, кричали что-то друг другу, смеялись. Еще дальше, там, куда ехал извозчик, огромное пятно мола заслоняло почти весь горизонт, за молом полукругом толпились дома, образуя маленький порт, в который упиралась дорога.

Ирэна повернулась, почти коснувшись головой извозчика,— волосы задели его щеку.

— Поедем туда,— сказала она.

— Хорошо,— согласился Альберто.

— Побудем там немного?

— Да, да.

— Ты думаешь, не поздно?

Альберто вцепился в прыгающие борта коляски.

— Никто нас не торопит,— произнес он.

— Хорошо,— сказала Ирэна,— никто нас не торопит.

Они почти доехали до мола.

— Однако,— сказал извозчик, натягивая поводья и поворачиваясь к Альберто,— я-то тороплюсь, чтобы не опоздать на поезд.

— Какое это имеет значение,— сказала Ирэна,— мы доберемся пешком, правда?

— Как хочешь,— сказал Альберто.

— А ты не устанешь?

— Я? Нет.

— Ты ведь не привык много ходить?

Много ходить? Нет, если в этом нет нужды. Хотя как же, а сновать целые дни из магазина в магазин с образцами под мышкой — разве этого мало? Но Ирэна не стала дожидаться ответа: пока извозчик останавливал лошадь, она спрыгнула на землю и направилась к молу.

— Минутку,— сказал Альберто.

Сойдя, он спросил старика, сколько с него.

Извозчик повернулся к нему — седые усы, нос, глаза.

— Э,— сказал он,— обратно-то ведь мне ехать без седока — кто мне заплатит?

— Так сколько же?

— Тысяча лир в самый раз.

— Ничего себе в самый раз. Пятьсот — за глаза довольно, за кого вы меня принимаете?

— За того, кто вы есть, синьор, за того, кто вы есть. Подкиньте немножко лошади на овес.

Альберто был неприятен спор, но он никак не мог его кончить. Ирэна меж тем стояла и следила за человеком, удившим рыбу, рядом с ним стоял мальчик.

— А объяснения вашей девушке? В городе за это платят, вы же знаете.

— Начнем с того, что это не моя девушка.

— Хорошо, хорошо, это меня не касается.

— Конечно, не касается.

Альберто отсчитал восемьсот лир и дал извозчику, тот взвесил монеты на ладони и засмеялся.

— Пользуетесь моей добротой,— сказал он.

Положив деньги в карман, он повернул лошадь и тотчас забыл об Альберто. Через минуту коляска объехала его, направляясь к городу, и Альберто остался один. Ирэна, налюбовавшись рыбаком, пошла к рыболовным баркасам, привязанным к молу.

XI

У мола теснились баркасы. Стертые автомобильные покрышки защищали их бока; деревянные мостки, перекинутые с земли, висели над грязной водой, соединяя их с сушей. В море, в нескольких десятках метров от мола, работала черная драга с коротким подъемным краном: когда человек в кабине поворачивал один рычаг — кран разжимал стальную руку, поворачивал другой — и рука одним махом погружалась в воду.

— Посмотри,— сказала Ирэна.

Еще движение рычага, и из воды показались сжатые пальцы, с которых стекала вода; потом кран повернулся вбок, перпендикулярно драге, ковш накренился, и на баржу посыпались галька, камни, тина, зеленые устрицы, полилась вода.

— Видишь? — сказала Ирэна.

Она согнулась, присев на корточки, жакет ее касался камней, худой рукой она указывала на железный, темный от воды кран. Что было интересного в этом? Слегка качаясь, кран снова повернулся к воде, разжатый ковш с громом упал вниз и снова вытащил груду камней и устриц. Рабочий перевел рычаг, и огромная рука, вынырнувшая на поверхность, повернулась к барже, взбаламутив все вокруг.

— Кран,— сказала Ирэна и продолжала что-то говорить на своем языке, обращаясь скорее к драге, чем к Альберто.

Кран между тем не прекращал работы — грохот цепи, затем гулкий звук погружения, плеск льющейся воды, падающие на баржу камни. Наконец Ирэна встала и пошла обратно по молу, прошла мимо баркасов, остановилась посмотреть на зеленые раковины, которыми обросло под водой основание мола. Подошла к двум рыбакам с удочками — мужчине и мальчику; снова присела на корточки и, когда рыбаки посмотрели на нее, улыбнулась. Потом взглянула на Альберто, сделала ему знак подойти, но тихо, чтобы не потревожить рыбаков,— глядя на него, она улыбалась, волосы падали ей на лицо.

Что интересного — смотреть на людей, удящих рыбу? Один старый, худой, плохо выбрит; кожа загрубелая, как у человека, привыкшего жить на открытом воздухе, вне города; другой — мальчик с большими руками. Между ними (вот на что смотрела Ирэна) на газете лежали четыре или пять рыб, временами их сотрясала предсмертная дрожь, чешуя сверкала на солнце.

Ирэна снова поднялась и пошла. Мол кончился, дальше начиналась дорога. Она перепрыгнула через камни, села на скамейку, лицом к морю. Позвала Альберто:

— Иди сюда.

Альберто сел, он видел ее обтянутые черными брюками ноги.

— Тебе нравится? — спросила Ирэна.

— Что?

— Море.

— Конечно.

— А подъемный кран видел? Захватывает камни. Как думаешь, они хотят расширить порт для больших кораблей?

— Не знаю,— ответил Альберто.

— Конечно, поэтому краны и работают в море. А лодки,— продолжала она,— ты видел? Это рыбачьи лодки. На них далеко уходят?

— Не знаю,— сказал Альберто.

— Как не знаешь?

Альберто развел руками.

— Я ничего в этом не понимаю,— сказал он.

Ирэна серьезно посмотрела на него, потом ласково провела рукой по его лицу.

— Как это не понимаешь? — спросила она. Пододвинулась на скамейке, и он почувствовал прикосновение ее ноги, мягкую плоть под тканью.— Море,— сказала она,— все знают, что такое море. Рыбаки, рыбы, небо.

Альберто казалось, что при каждом слове перед глазами у нее возникают образы: море, драга, рабочий, небо, рыбачьи лодки, рыбаки,— эти образы переливаются красками, полнятся звуками, дружескими голосами.

Ирэна указала на гальку перед скамейкой, незаметно облизанную краешком последней волны.

— Камни, зеленые устрицы.— Она повернулась и посмотрела назад.— Деревья, город.

А может быть, ничего и не стояло за этими банальными словами. Ничего? А этот нависший над ними город, там, высоко на холме?

А твои обязанности, а тень человека из полиции, вопросы, встречи, чьи-то мертвые глаза, преследующие тебя?

А может, и в самом деле ничего не было — только прозрачная вода у мола, рыбная ловля да стальная рука крана, с которой потоком лилась вода. Впрочем, они вполне ведь могли существовать — ясноглазый крановщик и маленький полицейский с торчащими усами,— жив ли он еще? Все так же торопливо перебирает ножками и пищит помышиному? Не появится ли сейчас полицейский, даже здесь, тенью над водой, освещенной закатным солнцем, не заговорит ли снова?

— Не надо бояться,— говорила Ирэна,— вещи — это друзья, и люди — тоже друзья.

Она улыбалась.

— Может, ты болен? — спросила она.

Я — вовсе нет. С чего бы мне болеть, да и чем? Просто все имеет двойной облик, и не я повинен в этом. Все на свете умирает, переходя из бытия в небытие; не обо мне, не обо мне идет речь, а о твоем лице, о твоих глазах, которыми ты смотришь на меня, и это не моя вина, а мое бессилие. А может, в самом деле я болен?

Ирэна протянула ему руку — пять длинных пальцев, худое обнаженное запястье с проступающими синими жилками. Рука была холодной — ощущение холода пронзило Альберто. Конечно, это так, так могло случиться, могло быть, что двое встретились и каждому понятен язык другого. Понятен ее язык и ее маленький ненакрашенный рот, ее белое лицо, пушистые волосы, золотые и пушистые под лучами угасающего солнца, румянец, едва оживлявший ее щеки, холодная глубина ее глаз.

Ирэна сжала рукой его колено.

— Может, ты болен? — спросила она.

Вдруг сзади послышался шум мотора, скрежет тормозов. Небольшой грузовик остановился у них за спиной, и в то же мгновение двое полицейских в форме и огромных ботинках молча соскочили на гальку, а двое других остались в кабине.

У полицейских были короткие ружья и подвешенные к поясу дубинки.

— Вы — Альберто Монтероссо? — спросил один.

— Да.

— Тогда поехали.

— Куда?

Ирэна молча смотрела, она тоже встала.

— Поехали, вы объясните все комиссару.

— У нас есть приказ привезти вас туда.

Чья-то рука взяла Альберто под локоть и повернула к машине. Он взобрался первым и сел на железный ящик, потом поднялась Ирэна с безучастным видом: двое полицейских сели напротив, еще двое сидели впереди, в кабине.

Снова заскрипели колеса по гальке, машина развернулась; потом она тихонько тронулась, оставив позади море, кран на волнах, лодки, рыбаков, которые молча смотрели на них.

В этом и была реальность. Ирэна смотрела перед собой — взгляд у нее был отчужденный.

Альберто почувствовал чуть ли не облегчение: обязанностей никаких, воля сломлена, бояться нечего, худшее уже произошло.

Ветер, дувший со стороны города, обвевал его лицо, как бы зачеркивая прошлое. А настоящее? Настоящее — это совсем другое.

На дороге, бежавшей среди полей, никого не было, только они двое — Альберто и Ирэна в железной клетке на колесах, пленники четырех полицейских.

Скоро машина прошла под мостом и оказалась на площади перед железнодорожной станцией; извозчика не было, зато стоял троллейбус; водитель и кондуктор, высунувшись из окошек, смотрели в их сторону. Проводив их взглядом, Альберто снова стал изучать неподвижное лицо полицейского, его пустые глаза. Полицейский жирными белыми руками сжимал винтовку. Казалось, он тоже с любопытством смотрел на сидевшего перед ним Альберто, ощупывал глазами его платье, плечи. У него была жирная нечистая кожа, воротник рубашки, тесно стягивавший шею, потемнел от пота. Говорят, лицо отражает характер человека. Это не так. Лицо полицейского, казалось, жило само по себе, жирное, распухшее. Один глаз, маленький и погасший, глубже другого западал в глазницу, прячась в тени военного берета. Впрочем, и сам полицейский весь был упрятан в военную форму.

Машина с грохотом мчалась по улице, но лишь немногие оборачивались и смотрели вслед. Взгляды прохожих скользили по ним, как рука, которая прикоснулась и отдернулась. Может, они думали, что эти двое что-то украли, как знать? Нет, воров не возят в полицейских машинах. А тогда? Тогда — ничего. Они думали, смотрели на них обоих — Ирэну и Альберто, и в их мыслях, порхавших, как обрывки бумаги, как рваные тряпки, он и Ирэна были вместе, соединены друг с другом.

На самом деле это не так. Что еще их объединяет? Не разделены ли они были с самого начала, не было ли выдумкой это бесполезное утро, этот день, вопросы, оставшиеся без ответа, едва видимый свет?.. Смешное, нелепое путешествие...

Чего от них хотят? Может, это из-за Ирэны, может, дело ее уже решено? Нет, это из-за той усатой мыши, возможно, они нашли его тело и, конечно, сейчас же заподозрили их. Он же ходил за ними, верно? Кто еще мог в него стрелять?

Альберто стискивал холодный железный борт машины, раскачивался вместе со всеми, колеса бежали, бежали к эпилогу гораздо быстрее, чем мозг его объяснял, обдумывал все происходящее.

Машина резко повернула, вдали показалась узкая дверь гостиницы, цветные стекла, вывеска. О, гостиница, дорогой друг, родной дом! У дверей стоит хозяин, маленький человек, глаза его широко раскрыты. Но машина, конечно, не остановилась, она понеслась дальше, Ирэна тоже повернула голову, чтобы посмотреть на дверь, разгадать ее тайну. А вот и другие улицы, другие люди идут по тротуарам. Все здесь знакомо. Вот галерея, где их арестовали сегодня утром. Там, на колонне, отпечаталась тень инвалида, размахивавшего костылем, и бумага — сколько бумаги валялось (или это теперь так кажется?) на земле,— и кричащие люди, и машина, которая чуть на задавила их, въехав на тротуар. Завернули на площадь, проехали еще, и наконец вот она, дверь комиссариата, два агента на ступеньках, машина затормозила возле них.

— Нашли? — спросил один.

Толстый полицейский спрыгнул на землю.

— Они были на море,— сказал он.

— На море? Что они там делали?

— Как ты думаешь?

Тем временем Ирэна сошла с грузовика, за ней Альберто и другой полицейский. Тот, что стоял у двери, знаком предложил ей войти.

Вот и тюрьма, люди с винтовками в руках, неоновый свет, плакаты с красивым полицейским, который говорит: «Вступай в ряды армии порядка», деревянный щит, где аккуратно вывешены листки с именами и фотографиями разыскиваемых.

— Вот вы наконец.

Комиссар стоял на пороге своего кабинета и улыбался.

— А знаете, вы нас заставили поволноваться.— Он отступил, давая им пройти, и они попали в круг яркого света. В комнате находился иностранец, муж Ирэны, и она бросилась к нему; рядом стоял кто-то, холодно наблюдавший за происходящим.

— Вот они, дорогой синьор,— сказал комиссар,— вот они оба, живые и здоровые. Сожалею, что вам пришлось задержаться, но дамы не было в гостинице, она пошла пройтись по городу. Кто мог это предполагать?

Он повернулся к Альберто.

— Мы же за ними не следили,— добавил он.

— Хорошо,— сказал человек с холодными глазами,— если мы уйдем сейчас, то успеем на вечерний поезд.

— Я буду очень рад, синьор, ибо у меня именно такое предписание: сдать обоих с рук на руки представителю посольства и заказать для них билеты на вечерний поезд.

— Конечно, конечно,— цедил дипломат сквозь зубы,— так мы с вами прощаемся и уходим.

— Я велю вас проводить.

— Спасибо большое, но нам надо еще зайти в гостиницу за багажом синьоров.

— Не стесняйтесь! Мы всегда в вашем распоряжении.

— Хорошо,— сказал представитель посольства,— итак, до свидания.

— До встречи в другой обстановке,— ответил комиссар, пожимая ему руку.

И они пошли к выходу — Ирэна и с ней оба иностранца. Дверь уже закрывалась, когда она бросила взгляд на Альберто.

XII

Путь к двери был свободен, комиссар стоял у него за спиной.

— Ну-с,— сказал он,— вы тоже можете идти.

Альберто повернулся.

— Я? — сказал он.

— Ну да, а что, вы что-то натворили? Чего ради вам оставаться здесь? Я не вижу причин для этого, а вы?

— Никаких,— сказал Альберто.

— Может быть, вы что-то и узнали об этой женщине, может быть, даже все, что надо было узнать, но теперь это ни к чему.

Комиссар сел за письменный стол.

— Ни к чему,— повторил он.— Может, и следовало бы узнать, что вы делали целый день, кого видели, кто видел вас, но к чему? И потом, куда торопиться? — Он посмотрел на карту, которая была перед ним.— Красивая женщина,— сказал он.— Вы это заметили, правда? Красивая женщина. Но опасная, очень опасная.

Он встал, уперся обеими руками в письменный стол, подался всем телом вперед.

— Правда, Монтероссо? — сказал он.— Вы ведь тоже это заметили, а?

Его жилет был измят, полосатая рубашка пузырилась между жилетом и брюками.

— Монтероссо! Вы мне абсолютно не нужны, можете идти,— сказал он.— Да перестаньте же на меня пялиться!

— Хорошо,— сказал Альберто.

Комиссар, видимо, нажал какую-то кнопку, ибо дверь открылась и в комнату вошел полицейский.

— Слушаю, синьор комиссар.

— Проводите этого синьора.

— Куда?

— Как куда? К выходу, куда же еще? А куда вы хотели его проводить, в камеру?

Полицейский пожал плечами.

— Спокойной ночи,— сказал Альберто.

Но когда он повернулся, его снова настиг голос комиссара.

— До свидания,— говорил тот,— до свидания, Монтероссо.

И когда они шли по коридору, и потом, у выхода, на ступеньках под гербом, этот голос все еще звучал у него в ушах: «До свидания, до свидания, Монтероссо».

Монтероссо был он, Альберто. Почему комиссар ничего не сказал о полицейском, который их преследовал? Более того, он вообще отрицал, что кто-то следил за ними. Что бы это значило? Может, полицейский зашел в тратторию случайно? И все ему, Альберто, показалось? Да нет же, ведь он даже вмешался, чтобы избавить их от ареста во время демонстрации; он следил за ними. Но как тогда все объяснить? Почему комиссар ничего не сказал? Быть может, чтобы не говорить при иностранце? Но потом, когда они остались одни? Возможно, полицейский по возвращении в комиссариат ничего не доложил. А пистолет на земле? И выстрел? И трое парней, которые его били?

Альберто обернулся, до комиссариата было уже далеко, но у двери стоял полицейский и, казалось, неотступно следил за ним.

Альберто завернул за угол, побежал к гостинице. С какой стати размышлять над этими проблемами? Его отпустили — вот и все; значит, комиссару нечего было спрашивать, не в чем его обвинять. Чего же тут думать?

Он чувствовал, что устал, усталость охватила мускулы, все тело, ноги гудели; от воздуха, от этого холодного вечернего воздуха болело в груди и было трудно дышать.

Он вышел на обсаженную деревьями улицу, которая вела к гостинице; возле подъезда стояла черная коляска, та самая, на которой он приехал утром; старик извозчик улыбнулся, увидев Альберто, и, казалось, собирался сказать ему что-то, но его позвали, он повернулся и исчез.

Прежде чем войти в гостиницу, Альберто задержался на мгновение, чтобы перевести дух, но тут опять вышел извозчик с чемоданами в руках и торопливо погрузил их в коляску. Потом вышли трое: она, Ирэна, в юбке и меховом жакете, с распущенными по плечам волосами, за ней — двое мужчин.

Увидев Альберто, Ирэна остановилась, пропустила вперед тех двоих. Потом улыбнулась; те двое садились в коляску, а она продолжала смотреть на него.

Из коляски послышался голос одного из мужчин — он говорил на незнакомом языке. Ирэна улыбнулась еще раз, в ее глазах отражался падавший из двери свет, сверкал как лезвие, как острое слово. Она повернулась к коляске, потом снова к нему и махнула рукой.

Потом села в коляску, примостившийся извозчик крикнул на лошадь; в одно мгновение коляска исчезла в темноте, оставив за собой только звук удалявшихся колес,— звук этот резал слух, а в глазах и в памяти были ее руки.

Хозяин стоял за конторкой, опустив руки в ящик, и считал день-

ги. Он протянул Альберто ключ, не дожидаясь, пока тот спросит; казалось, он хотел что-то сказать, но промолчал и отдал ключ. Пока Альберто взбегал наверх, он все время чувствовал, что хозяин смотрит ему вслед.

Пробежав по лестнице, он на ходу оглядел пустой бар с включенным телевизором, возле которого не было ни души. В длинном коридоре рябило в глазах от плиток пола, мелькали пыльные кресла, на которых никто никогда не сидел, на секунду бросилась в глаза уборная, и вот, наконец, его комната, а рядом — ее дверь, вернее, та, что была ее дверью.

В комнате тихо, все на своем месте — без жизни, без движения, чемодан в углу, мыло, бритва на умывальнике, в зеркале — свет, кривое лицо.

Кто-то повесил чистое полотенце на умывальник и еще одно — на биде, как драпировку. Альберто закрыл за собой дверь; какая тишина, какая странная тишина, искривленные стены, дрожащая мебель. Снаружи — ни звука, ни голоса, ни мужского, ни женского. Он открыл кран, чтобы наполнить комнату шумом, сел на кровать, снял ботинки, лег не раздеваясь и прижался затылком к холодной подушке.

Потом поискал рукой шнурок над головой и погасил свет; все вокруг стало темным, сумеречным; в окна падал свет с улицы, проникал в каждый уголок, мешал закрыть глаза. Шум льющейся воды не нарушал тишины, а как бы застывал внутри нее.

Альберто встал, подошел к умывальнику, налил в стакан воды — из зеркала смотрело его потемневшее, желтоватое лицо, как бы очерченное желтым карандашом, но какой неуверенный рисунок, какие чужие черты! Ледяная вода стремительно вливалась в желудок, раздувая его,— так, наполняя бурдюк, она вырисовывает его форму, объем.

Что произошло сегодня? Кто действовал за него, кто бегал туда и сюда, кого арестовывали, выпускали, кто был в полицейской машине? Все занимались его лицом, лепили, моделировали его черты: комиссар, который опутывал его словами, низкорослый угрожающего вида полицейский, три большеротых парня с блестящими глазами, маленький официант из ресторана, извозчик, люди в троллейбусе; каждый принес кусочек глины, чтобы вылепить его лицо, подправляя кто щеку, кто подбородок, кто нос, кто глубоко запавшие глаза. Развешенное белье, смена тепла и холода, распластанный лист жести, паутина меж деревьями и балконами, долгие взгляды толпы, когда он бежал по улицам города, напоенного утренними возгласами, и вздохами, и еще светом солнца, перекрывающим эти возгласы; что же все это было, если не знаки того, что он есть, что он существует?

Только о ней трудно говорить, о той, что была рядом, что быстро шла вперед, смотрела и как бы не смотрела на него, оглядывала его, как все предметы: кран в порту, умирающих рыб возле рыбаков, небо, поля. Не так смотрела она на сидевшего перед ней полицейского, разбухшего в своей серо-зеленой одежде, с почерневшим от пота воротничком рубашки,— не так: здесь взгляд ее не задерживался. Не так она смотрела и на того человека, что был ее мужем, или на другого иностранца, приехавшего, чтобы вытащить их отсюда; нет, нет, во взгляде ее не было любопытства, никаких признаков жизни — все погасло. Ну и что? Чего он мог ожидать?

Альберто улыбнулся в темноте комнаты. Он ожидал, что в конце их бегства она будет здесь, на этой кровати,— и тогда, наконец, они узнали бы друг друга глазами, руками, губами. За створкой шкафа смеялся комиссар, смеялся без остановки, смотрел на них и смеялся, а с ним и усатый мышонок, выглядывая из-за спинки кровати; вошла

соседка, стала осматривать все вокруг, обшаривая взглядом каждый сантиметр, каждый уголок; был здесь и извозчик — он тоже смеялся, и хозяин гостиницы — он что-то говорил; каждый забирал от нее по кусочку, и она таяла, уходя в стену и дальше, по улице, вслед за колесами коляски, которая взбиралась теперь вверх по склону, направляясь к железнодорожной станции, а она сидела в уголке, он видел ее безразличные глаза, белое лицо и распущенные волосы; двое мужчин разговаривали, а она притворялась, что не слышит, не понимает их языка. Или, может быть, она в поезде, а коляска стоит пустая? Она уже ушла, ушла из этого дня, из всех дней, он видел ее лишь мимоходом, это была мимолетная дорожная встреча, они успели лишь обменяться несколькими словами, как случайно встретившиеся незнакомые люди, которые говорят друг другу правду, пока они вместе,— им нечего скрывать,— а поэтому зачем утруждать себя ложью?

И вот внезапно их пути расходятся, они стоят друг к другу спиной, им нечего сказать. Нечего? Так ли уж нечего? А быть может, то, что они разошлись,— это трусость? Комиссар смеется, требует назвать имя, сказать, откуда она, что делает, чем занимается, чего хочет. Но теперь все это уже ни к чему, комиссару-то ведь все известно, это он, Альберто, ничего не знает, кроме ее голоса, ее смеха и того, что она иностранка, иностранка в этой стране, а что может сделать иностранка в чужой стране, в чужом краю?

Альберто встает; боясь зажечь свет, надевает ботинки, поправляет галстук, и вот он уже за дверью с ключом в руке. Именно здесь он увидел ее впервые. Теперь она в поезде, мчащемся среди полей, и ничего не поделаешь — не потому, что нельзя догнать поезд и отыскать ее, а потому, что неповторимые мгновения прошли и ничего не случилось, они распростились, как путники на перекрестке.

В коридоре тихо — сплошная мерзость, запустенье, свет лампочек, тускло мерцающий через каждые семь-восемь шагов, как на кладбище. Коридор кишкой сужается в глубине, потолок, покрытый серыми, чудовищными пятнами, давит, за дверями номеров таятся черные скорбные катафалки; только сзади, из-за спины, веет чем-то, похожим на ветер или шум шагов, это как магнитом тянет к лестнице, к звону посуды в баре, к голосу телевизора, к голубому светящемуся прямоугольнику с урнами на переднем плане, с мелькающими лицами — чудовищными, искривленными тенями, по очереди бросающими в урну бюллетени.

Он сел у стены, там, где сидел тогда, в тот вечер. Перед ним — два пустых стула, вокруг — редкие бессловесные тени, слышно только пыхтение кофейной машины да возгласы из телевизора: «Ваккаро, Ваккетта, Валенци».

Он оперся локтями на стол, обхватил голову руками. С экрана его сверлили чужие глаза, люди гримасничали, жестикулировали. Прежде чем опустить бюллетень в роскошную урну, каждый глядел на него в упор, помахивал рукой, покачиваясь и глубокомысленно морща лицо. Когда все это кончится? «Дзагами, Дзаккари, Дзампьери». Парад продолжался: за хромым следовал горбатый, за ослом — петух, за попугаем — павлин, и каждый своей походкой. У этого хищное лицо куницы, другой весь побелел от зависти, третий хохочет; вот глупец, вот младенец; если и появляется человеческое лицо, то так начинает кривляться, что куда остальным.

Хозяин гостиницы, совсем маленький и незаметный в темноте, подошел и сел рядом с Альберто.

— Синьор,— сказал он тихо,— выпейте кофе.

И, не дожидаясь ответа, сделал знак официанту, показав ему два растопыренных пальца.

— Как по-вашему, получится на этот раз? — спросил он.

— Что именно?

— Выберут президента?

Ах да, выборы президента. Мне-то что за дело? Эта отвратительная игра не для меня.

— Если везде кончалось дракой, как у нас,— продолжал хозяин,— то эти передачи — настоящее бедствие для Италии.

Альберто молчал, а тот не унимался:

— И все же это прекрасно, надо признаться, это прекрасно!

«Дзанниер, Дзаннини, Дзелиоли, Дзонза»,— выкликал голос за кадром, и вот появляется Дзанниер, помахивая бюллетенем в знак приветствия, за ним — Дзаннини, один поменьше, другой потолще, изображение скачет, меняется ракурс, колышутся лица — морщинистые, отечные, с мешками под глазами и следами потуг выглядеть получше.

— Пойдемте туда, синьор, там поспокойнее.

Хозяин встал, Альберто — следом за ним. Когда оба устроились в креслах в коридоре, к ним подошел официант и поставил на столик две чашечки кофе.

— Я на своем веку всякого повидал,— проговорил хозяин гостиницы,— но вчерашнее, по правде говоря, ни на что не похоже. Конечно,— продолжал он,— дело не в ссоре, в жизни всякое бывает, но драка, да еще какая! И все почему? Из-за политики. Этому Бьянки, который в больнице, кажется, плохо. Хотя не мешало бы проверить. Когда надо сцапать коммуниста, полиция, как вы понимаете, долго не раздумывает.

— А почему?

— Вот и я говорю — почему? Тот, другой, в тюрьме, а иностранца им пришлось выслать. Вы видели, из посольства за ним приезжали. Да что я говорю, вы и сами все отлично знаете.

— Я?— сказал Альберто и поставил чашку на столик.— Я ничего не знаю.

— Да ладно, синьора, поди, вам все рассказала.

— Нет. Я действительно ничего не знаю.

Хозяин пожал плечами, улыбнулся и, потягивая кофе, махнул рукой, словно говоря: да будет тебе, ну ладно, не хочешь, не надо, знаю, как это бывает.

— А женщина красивая,— сказал он,— не правда ли?

Альберто поднялся.

— Синьор, куда же вы, надеюсь, я вас не обидел?

Обидел? Почему? Утопая в кресле, человечек улыбался, склонив голову, сжимая подлокотники.

— Я устал,— сказал Альберто,— набегался за день.

— Знаю, знаю,— закивал хозяин гостиницы,— я все видел: и как вы ушли, и как вернулись, и синьору, и всех остальных. Что поделаешь? Город маленький. Даже не сходя с места, человек знает все. Я знаю даже, что произошло у вас с комиссаром,— продолжал он.— Очень порядочный человек этот комиссар. Надо сказать, я его хорошо знаю. Правда, больше как человека, а не как комиссара, но в общем-то это одно и то же, верно?

— Да,— сказал Альберто.

Он снова сел. Через стекла двери в конце коридора на него смотрела темнота города, по этому городу он бродил целый день. Там были улицы, которые они видели вместе, погруженное во мрак море. Ветер раскачивал ветку, время от времени попадавшую в полосу неонового света, и тогда зеленые листья блестели так ярко, что казались искусственными, пластмассовыми.

XIII

Сидя в кресле, втянув голову в плечи, хозяин беззвучно смеялся. Свет от лампы под красным абажуром освещал его голову, на фоне темного коридора лицо его казалось багровым, как и вся фигура.

Но не только багровым, в затененных местах — серым, грязно-желтым; и вид у него — в мятой, топорщившейся вокруг пуговиц одежде, в галстуке, охватывавшем дугой шею,— был на редкость невзрачный. Он смеялся — и только. Нет, еще смотрел на него, Альберто, верней, ощупывал по кусочкам: то уставится ему в рот, то в щеку, наверно, плохо выбритую; потом с уха внезапно переползет на другие части тела, например, на руки, и снова его взгляд упрется в одежду Альберто или в кресло, в котором он сидит.

— Чего только сегодня не было!— вздохнул, наконец, хозяин гостиницы.— Вы-то,— добавил он хитро,— видать, ничего и не заметили? А все почему?— продолжал он, поскольку Альберто смотрел на него молча.— Потому что было не до того, это понятно. Никто вас в этом не винит.

Альберто нехотя кивнул.

— Нет, нет, откуда мне все знать?— бормотал хозяин.— До всего не докопаешься. Хотя,— заметил он, наклонив голову и снова улыбаясь,— кое-что и я знаю, может, то же, что и вы.

— Я ровным счетом ничего не знаю,— сказал Альберто.

Он с трудом ворочал языком, словно выплевывал камни, а не слова.

— Конечно, конечно,— сказал хозяин гостиницы.— Вряд ли вы знаете, как зовут эту красивую синьору. Я имею в виду,— тут он взял Альберто за рукав, притянул его к себе, и его багровый нос почти уткнулся в лицо Альберто,— я имею в виду ее настоящее имя.

Альберто отстранился. Нет, он не знает ни настоящего, ни какого-либо другого имени. Вот лицо ее стоит перед ним вместе с именем Ирэна, которым она назвалась. Он слышал ее голос; она перечисляла предметы, словно вызывая их к жизни: вода, рыбы, камни, лодка, Ирэна. Там было солнце, а здесь — тьма, которая, быть может, уже никогда не рассеется, как не померкнет багровый цвет и не исчезнет окружающая его чудовищная мебель.

— Она назвалась не настоящим именем,— продолжал хозяин гостиницы.— Разве вы не знаете? Но в тюрьме все раскрыли, и когда она вернется на родину, там ей, будьте уверены, зададут.

— А ты что с этого имеешь?— спросил Альберто, вернее, услышал свой хриплый голос.

— Я? К несчастью, ничего, кроме чувства удовлетворения да убытков.

— Каких убытков? Какого удовлетворения?

— Как? А шумиха, которую подняли газеты? И гостиницу опозорили, и про драку расписали, и про все остальное! Да вы что, утренних газет не читали?

Альберто промолчал.

Хозяин искоса смотрел на него, склонив голову на короткое, как бы обрубленное плечо, и улыбался.

— Да вы не беспокойтесь,— сказал он,— там написано о ней, о хулигане — ее муже, о коммунисте, о раненом, а о вас — ни слова. Комиссар,— произнес он таким тоном, что в коридоре сразу воцарилась тишина, темнота сгустилась, а у мебели разверзлись уши,— комиссар — порядочный человек, он понимает, надо ли причинять неприятности невинному человеку или нет.— И пробормотал себе под нос: — Комиссар — друг, верный друг.

— Ваш друг?

— Почему мой, а не ваш? Вы что, принимаете меня за слепого, что ли?

Если бы не полутьма, легко было бы заметить, что Альберто побледнел; а хозяин гостиницы снова заулыбался.

— Как это говорится?— сказал он.— Все шито-крыто.

— То есть?

— Да ну же, потерять целый день, за который никто не заплатит! Вы ведь не продали свои товары? И все из-за прекрасных глаз этой?..

Последние слова потонули в донесшихся из соседней комнаты криках. Альберто прислушался: в мире происходило еще что-то, помимо их разговора. Люди у телевизора громко спорили, сквозь их возгласы прорывался металлический голос диктора, повторявшего имена и цифры: «Сарагат, Ненни, Малагуджини».

Хозяин гостиницы встал, голова его погрузилась в темноту, красный свет падал теперь на его живот, волосатые руки, толстые пальцы.

— Пойдемте,— сказал он,— если говорить так уж серьезно, а то чего время терять!

— Нет, постой,— произнес Альберто.

Он взял его за рукав и потянул обратно в кресло.

— Ты что, на полицию работаешь?— спросил он.

— Что значит «работаешь»? Какая полиция?

Человек в кресле весь трясся.

— Я хозяин гостиницы, и все тут.

— Да, но если что-то случится, тебе известно, куда идти.

У Альберто вдруг открылись глаза, он все теперь ясно видел.

— Хотя нет,— сказал он,— вряд ли все само собой происходит, это ты нарочно подстраиваешь. Как паук,— добавил он.

Они молча смотрели друг на друга, затаив дыхание.

— Что за глупости?— воскликнул хозяин гостиницы.— Паук, паутина, вы еще такого нагородите!

Он смотрел снизу вверх на бледное лицо Альберто, заглядывал в его широко раскрытые глаза.

— Хозяин гостиницы! Сколько же времени ты здесь хозяин?

— Э! Давно, еще с довоенных лет.

— И только хозяин?

— Конечно хозяин, а вы что думаете? На что бы я жил?

— А здесь всегда была гостиница? Только гостиница?

Человек помолчал.

— К чему,— сказал он,— к чему опять заводить об этом разговор?

— Так, чтобы понять. Имею же я право понять или нет?

— Это мой дом,— сказал хозяин гостиницы,— и я использую его как хочу — лишь бы получать доход.

— И какой же доход он раньше давал? Что здесь было, или, нет: что здесь сейчас?

— Тихо, тихо, вам-то что за дело, вы же не священник!

Это верно. Какое ему дело? Хотя почему бы хозяину и не выложить всю правду? Впрочем, зачем он все это затеял: не из желания же почувствовать себя умнее? Скорее для того, чтобы пригвоздить этого человека к стене, как клопа.

— А вам-то, кто вам это сказал?— спрашивал хозяин гостиницы.— Откуда вы узнали?

Альберто рассмеялся сухим, коротким смехом.

— Я сразу заметил,— сказал он,— и подгнившую мебель, и роскошные фарфоровые биде в комнатах. Почему вы не удовольствовались эмалированными на трех ножках?

— Мебель вовсе не подгнившая. В свое время здесь было шикарное заведение, не думайте.

— А комиссару это известно?

Вопрос сорвался с губ Альберто прежде, чем он обдумал его. Конечно, известно, подсказывал ему разум, такие вещи заносятся в книги. И потом, разве хозяин не сказал ему сам?

Хозяин в свою очередь тихо рассмеялся, склонив голову на плечо.

— Известно,— сказал он,— мы с ним были закадычными друзьями, с комиссаром-то, закадычными друзьями.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да ничего. Только то, что он частенько захаживал к нам, разумеется, как частное лицо. Э, его можно было понять: у него жена была такая некрасивая, толстая, вы бы его тоже поняли.

Значит, здесь был дом терпимости, в этой гостинице, и комиссар сюда тоже наведывался. Ну и что? От этого впору прийти в ужас только священнику. А клоп все смотрел на него из расщелины в штукатурке — плоский, багровый.

— С тех пор,— сказал он,— мы и стали друзьями, я и комиссар.

— Словом, вы были содержателем этого дома, содержателем казино...

— Что вы выдумываете...— Хозяин отшатнулся, и его макушка стала черной головешкой, а хорошо освещенные руки обагрились кровью, припухли.— Что вы плетете! Неужели я плохо объяснил? Я всегда был содержателем гостиницы — и больше никем. Только кому во время войны нужна была в этом городишке гостиница? Никому. Но здесь было много солдат, знаете, сначала немцев, потом даже англичан и американцев. Поэтому я готов был сдать гостиницу тому, кто больше заплатит, только и всего. И одна добрая душа (она умерла, знаете, это была хорошая женщина, должен вам сказать, хоть и умерла не легкой смертью), так вот, она сняла гостиницу и все здесь сделала по-своему. Я тут ни при чем. Каждый месяц она мне платила, а я занимался своими делами у себя в комнате, вот и все.

— Как, вы жили здесь?

— К себе в комнату,— сказал он,— я водил только тех, кого хотел видеть.

Мир был восстановлен, хозяин снова наклонился к Альберто, положил ему руку на колено, приблизил свое багровое лицо.

— Уверяю вас,— говорил он,— они были хорошие девочки и в общем-то любили меня, я для них был как родственник, потому что всегда был здесь. А старуха? Она была не против, и даже иногда, когда прибывала какая-нибудь получше, она мне первому об этом говорила.

Разговаривая, старик посматривал вокруг, как будто видел не только темный коридор и рекламные плакаты на стенах.

— А вторым,— произнес Альберто,— вторым был комиссар?

— Э, почему бы и нет? А что вы думаете, комиссар все время сидел у себя в кабинете? Вы ведь его знаете, правда? Почему вы так настроены против него? Он джентльмен, отец семейства. Именно отец семейства — таким он был для всего города. Но я знаю, почему вы так настроены против него. И чего вы удила закусили?

Альберто и впрямь ощутил во рту мокрое от пены железо, и ему почудилась длинная лошадиная морда. Он откинулся на спинку кресла и попытался усмехнуться.

— Я вовсе не настроен против него,—ответил он.—С какой стати?

Хозяин гостиницы засмеялся, поняв его слова по-своему.

— Ну так вот!— воскликнул он, потирая руки.— Понятно вам теперь, почему я так привязан к комиссару? Припомните военное вре-

мя, немцев, когда корка хлеба ценилась на вес золота. Знаете, мы даже переправляли информацию союзникам. Точно вам говорю. Поверьте мне, здесь можно было узнать больше, чем в казармах. А девочки, чего они только не наслушивались! Я лично не имел к этому никакого отношения, но комиссар собирал все сведения, сортировал, соединял их и отправлял куда следует.

— Так он был антифашистом?

— А то как же? Конечно. Правда, он должен был обеспечить себе тылы и кое-что сообщал по начальству, но так, сущие пустяки, а все важное, уж вы мне поверьте, шло в нужном направлении.

— А вы-то сами, что вы с этого имели?

— Я? Ничего. Разумеется, ничего.

— Как ничего? Вы же поставляли ему ценную информацию, а вам ничего не перепадало.

— По правде говоря,—сказал хозяин,— я поставлял ему кое-что поважнее: кофе, сахар... Да что тут говорить! Друзья помогают друг другу, а мы и работаем как друзья, каждый на своем месте...

Голос за стеной снова стал выкликать цифры, загремели стулья, кто-то что-то сказал, зафыркала кофейная машина.

— Ну, а в другие времена...— сказал хозяин.— Во всяком случае, вы поняли, правда, что мы с комиссаром — вот так?..— Указательные пальцы его рук сцепились в красном свете абажура, и он подергал их, как бы пытаясь разъединить.— А уж когда он переселился ко мне, то можете себе представить... Да, да,— продолжал он,— после восьмого сентября, когда ничего нельзя было понять, он явился сюда со своими агентами, с ним были и новые, в штатском, и все они разместились у меня в комнатах.

— Зачем?

— Помещение комиссариата разбомбило во время налета, нужно было новое.

— А что, нужен был именно такой большой дом?

— Шутите? Вы, правда, слишком молоды и не помните тех времен. Не такой уж большой! Если вспомнить, сколько постояльцев у нас было?

— Кто же это?

— Как это кто! Откуда я знаю, я сидел у себя в комнате, сидел себе, и все. Если бы я мог заткнуть уши, я бы их заткнул.

— Это были партизаны.

— Ну, скажем, так. А вообще-то, кто тут только не побывал: и беглые заключенные, и крестьяне, не желавшие сдавать хлеб, ну, и партизаны тоже,— что я мог поделать?

— Но ведь ты говоришь, что комиссар был антифашистом?

— Конечно, я снова могу это подтвердить. Но и антикоммунистом тоже.

Значит, здесь было не казино, а кое-что похуже, здесь творили черное дело, оно и видно. Почему его не разрушили, не разобрали — камень за камнем, как вырывали ногти у мучеников?

И в моей комнате, быть может, и в моей комнате на стенах сохранились отпечатки. Нет, это не казино, это не только казино, если бы только казино!.. Людей сюда тащили силой, по этому коридору, вверх по винтовой лестнице, а потом вниз, в подвал — есть здесь подвал или нет?

— Их убивали в подвале?— схватив хозяина гостиницы за горло, Альберто почти кричал.

— В подвале? Нет здесь никакого подвала. Не спешите выдумывать. Где их расстреливали — известно где, за городом, за стенами форта. Здесь их только допрашивали, только допрашивали.

— И вы видели?

— Ничего я не видел!

— Но слышали.

— Слышал, да, слышал. Вы довольны? Но должен вам сказать: потом все пошло по-старому и слышал я то же самое, понятно? Ничего не изменилось, ничего, никакой разницы!

Хозяин встал, нечаянно задел рукой абажур и сбросил на стол; теперь лицо его было синим, распухшим, под глазами мешки.

— Что значит — потом? — спросил Альберто.

— Потом, после Муссолини.

— И что же?

— Тогда те, кто сидел в кутузке, стали надсмотрщиками, и вы думаете, что-нибудь изменилось?

— Да ты — жаба,— с удивлением сказал Альберто.

Казалось, он говорил сам с собой, а не с кем-то — размышлял вслух. Он схватил хозяина за жилет и с такой легкостью поднял вверх, как будто это был надутый воздухом шар.

— Жаба,— сказал он,— жабы выпускают яд. Ты — тоже?

— Хватит, хватит, прекратите,— сказал вполголоса хозяин гостиницы.— Вы что, хотите устроить новый скандал? Смотрите, комиссар вам этого не простит.

Альберто отпустил его, и тот снова рухнул в кресло. Они смотрели друг на друга, лицо у хозяина снова стало багровым. Потом он отвел глаза и встал.

— Никто не будет жаловаться комиссару,— проговорил он,— да и на что жаловаться? Просто немного поговорили о жизни.

Альберто повернулся, направляясь к комнате с телевизором, но в эту минуту из темноты вынырнули двое полицейских.

XIV

Обойдя Альберто с боков, они взяли его под руки и подтолкнули к двери. Машина тронулась, свежий ночной воздух полоснул Альберто по лицу; черные неподвижные дома выстроились коридором вдоль пути. Где-то вдали остались освещенная дверь, два агента на пороге, неоновые лампы в коридоре, фотография президента республики, листки на стене в раскрашенной деревянной раме.

Комиссар ждал, стоя за письменным столом, и когда Альберто вошел, внимательно посмотрел на него, затем сделал знак, и оба полицейских удалились, закрыв за собой дверь.

— Прекрасно,— сказал комиссар,— вот мы и увиделись. Вы, наверное, не думали, что мы так скоро встретимся? За кого вы нас принимаете? — вдруг закричал он, стукнув кулаком по столу.— Неужели вы думаете, что можно запросто убить полицейского — и молчок?

(Убить? Значит, человеку с мышиным лицом пришел каюк?)

Комиссар пружинистым шагом вышел из-за стола.

— Вы, дорогой Монтероссо,— сказал он,— вы всего-навсего марионетка у меня в руках. Я шевелю пальцами, и вы делаете все, что надо. Вы воображаете бог весть что, а ведь это я говорю вашими устами. Вы удираете с прекрасной синьорой, а от меня не ускользает ни одно слово из ваших разговоров. Понятно? Вот так-то. И вдруг взбесившаяся кукла пытается разорвать нитки и пачкает себе руки кровью. Нечего, нечего валять дурака,— продолжал он,— мы вам не младенцы. А уж с такими-то молокососами сталкиваемся не впервые.

Комиссар снова стукнул по столу, потом пошарил с краю,

видимо нащупывая звонок, потому что Альберто почувствовал, как за спиной у него открылась и закрылась дверь.

— Обернитесь,— сказал комиссар,— и взгляните, что вы наделали.

Альберто повернулся и на расстоянии шага от себя увидел похожего на мышь полицейского с завязанной головой, с ледяной и угрожающей улыбкой на губах; воротник его пиджака был в темных пятнах.

— Подойди, Торрезе,— сказал комиссар,— подойди, присядь.

Человек, глядя мимо Альберто, подошел к нему вплотную, демонстрируя кровавые пятна, желтоватую кожу плохо выбритого лица, разорванный на рукаве пиджак.

— Спасибо,— сказал он комиссару,— я постою.

— Садись, ты имеешь на это право.

Комиссар усадил полицейского посреди комнаты, свет падал ему на лицо, отчего бинты казались еще белее, а кровавые пятна — краснее.

— Я тут ни при чем,— сказал Альберто.

Комиссар сделал вид, что не слышит.

— Итак,— сказал он,— дорогой Торрезе...— Потом повернулся к Альберто и ткнул в него пальцем.— Ты знаешь этого человека?

К кому это относится? Ко мне?

— Конечно, знаю,— откликнулся Торрезе слабым голосом.

— Когда ты его видел в последний раз?

— Сегодня в два часа, незадолго до того, как на меня напали.

— И где он был?

— В траттории на площади Кастелло.

— С кем он был?

— С женщиной, иностранкой, и тремя молодыми людьми, коммунистами.

— А что ты там делал? — почти крикнул комиссар.

— Я выполнял задание,— сказал Торрезе, вставая,— я был там по долгу службы.

— Конечно,— сказал комиссар уже тише, спокойнее,— конечно, по долгу службы, я все прекрасно знаю, ты выполнял приказ... А потом? — спросил он неожиданно громко.

— Там, в траттории, мы повздорили с этим человеком, за которым надлежало следить и который отказался выполнять данное нами задание.

Альберто шевельнулся.

— Тихо,— сквозь зубы процедил комиссар, почти не глядя на него.— А потом,— продолжал он,— что произошло потом?

— Я вышел из траттории, но не успел сделать и ста шагов, как сзади на меня напали три коммуниста, явно подосланные им. Трое против одного.— Торрезе опять встал, голос его стал жалостным, каким-то задавленным.— Я сделал все что мог, защищался, выхватил пистолет, но меня оглушили, вырвали оружие, выстрелили в голову. Истекая кровью, я насилу убежал, вернее, скатился вниз с обрыва. Вот и все, господин комиссар.

— Кто же в ответе за все это?

— Разумеется, вот этот.

— А тех троих ты сможешь узнать?

— Конечно.

Они говорили так, будто Альберто не существовало, одно обвинение нагромождалось на другое, образуя крепкую решетку.

— Это неправда,— запротестовал Альберто.

— Что неправда? — обозлился комиссар.

— Я не виноват в этом и ничего об этом не знаю.
— Разве вы не были с той женщиной в траттории?
— Да, но...
— Может, там не было и этих трех негодяев?
— Нет, были...
— И вы не ссорились с нашим агентом?
— Какая там ссора...
— Итак, вы все отрицаете. Вас послушать, так вы и этих троих не знаете?

Альберто развел руками.

— Ни слова больше! — прикрикнул комиссар.— Не усугубляйте своей вины!

Он замолчал, и комнату затопила тишина, Альберто чувствовал, что она топит и его, что раненый полицейский тянет его ко дну и что ему, связанному по рукам и ногам обвинениями комиссара, ни за что не вынырнуть на поверхность.

Потом слова комиссара алмазом прорезали тишину, но что-то тягостное все еще витало в воздухе, и слова, точно мусор, неслись по течению.

— Решайте, Монтероссо,— говорил комиссар,— решайте: либо вы с нами, либо против нас. Вы увидите сейчас этих трех мерзавцев вместе с другими. И вам предстоит их опознать, каждого в отдельности. Не потому, что нам так уж приспичило, поверьте, просто мы хотим убить сразу двух зайцев; либо вы на стороне закона, либо заодно с ними, тогда вам не миновать кутузки вместе с этими негодяями, как вы того и заслуживаете.

Его вывели в коридор и оставили ждать. Голые стены, новая неоновая лампа на потолке, в глубине — старый письменный стол, за ним — полицейский.

Перестав писать, полицейский встал и направился к Альберто. Мундира на нем не было — бесформенные серые брюки, коричневые ботинки, полосатая, стянутая галстуком у горла рубашка.

Пиджак висел у него за спиной на вешалке, и человек казался утомленным скучающим служащим, чей рабочий день подходит к концу. Но это был полицейский. Альберто это видел. На боку к поясу у него был пристегнут пистолет — виднелась рукоятка и часть дула, голого, темного, вылезшего из маленькой кобуры. Полицейский в форме ушел, тот, другой, сделал несколько шагов вперед и остановился, глядя куда-то поверх головы Альберто. Вот почему здесь внутри такая давящая атмосфера — здесь нет окон, узкие белые стены отражают ледяной неоновый свет.

Полицейский медленно вытащил из кармана сигареты, потом спички, закурил; дым, как занавес, повис между ним и арестованным. Что будет? Шли секунды, время измерялось движением руки, подносившей сигарету ко рту, единственное разнообразие вносил дым — он разбухал, закручивался в спирали, сгущался настолько, что его можно было разглядеть. Наконец вернулся полицейский в форме. Взяв Альберто за руку, он снова ввел его к комиссару, где все — и мебель и освещение — было для него уже привычным.

Но на этот раз в комнате были мужчины без пиджаков, они стояли прямо, не глядя в сторону дверей. Вот они. Вот эти три парня: один круглолицый, второй низенький и смешливый и третий, который тогда задирал полицейского. Даже не зная их, можно ли было не заметить разницы между ними и стоявшими рядом полицейскими в штатском, а разница была в рубашках, брюках, ботинках, руках, лицах!

Альберто огляделся. Комиссар сидел за письменным столом, сбо-

ку примостился полицейский в форме, приготовясь записывать показания. Торрезе, маленький, с забинтованной головой, стоял поодаль.

— Итак, синьор Монтероссо,— сказал комиссар,— здесь, наряду с другими, находятся те трое. Ваш долг их опознать.

Альберто повернулся и взглянул на него.

— Словом, укажите нам их.

Было трудно перевести взгляд на этих троих, он боялся, что его глаза задержатся на лице одного из них, боялся их выдать. Они здесь, все трое. Что они сделали, правда ли, будто пытались убить полицейского? Вряд ли, наверное, стали его бить, а он бросился бежать — ведь если среди бела дня на улице появляется мышь, прохожие забрасывают ее камнями. А выстрел? Это еще неизвестно, кто стрелял. Мышь пыталась защищаться — вот как было дело, а потом удрала вниз по откосу, а эти трое смеялись и кидали вслед камни. Почему он раньше этого не понял? Так все и было. А бинты? А кровь? Ну что же, мыши в драке тоже могут поцарапаться до крови, что же тут удивительного? И их кровь так же пачкает одежду, а когда течет, то остаются темные лужицы...

— Итак,— сказал комиссар,— чтобы всем было ясно: выдвинуто обвинение в покушении на убийство, и каждый должен подумать, как ему себя вести. Монтероссо, отвечайте.

— Я не знаю,— сказал Альберто.

— Чего вы не знаете? Что это за ответ?!

Комиссар бросился к нему, схватил за руку.

— Повернитесь и посмотрите,— сказал он,— где те трое из траттории? Смотрите хорошенько,— повторил он,— смотрите хорошенько.

Альберто медленно переводил взгляд с одного на другого. Первый слева был полицейский, он смотрел в потолок. Было видно, что под одеждой на боку у него — кобура с револьвером. Вторым стоял тот, круглолицый, и Альберто вспомнил, как он заговорил с Ирэной. Что он сказал? А Ирэна? Что ответила ему Ирэна? Она смеялась, говорила по-итальянски, на своем странном, интимно-дружеском языке. Вот еще один, потом полицейский, потом третий, потом еще полицейский. Альберто повернулся к ним спиной и пожал плечами.

— Я не знаю,— сказал он,— я их не узнаю.

— Что? — закричал комиссар.— Вы хотите сказать, что не желаете опознавать их, не так ли? Вы хотите сказать, что не можете их предать, потому что связаны с ними двойной веревочкой?

Альберто развел руками.

— Нет,— сказал он,— я их не знаю. Чего вы от меня хотите? Какие-то люди ели за соседним столиком, это верно, но как я мог их запомнить? Я никогда прежде их не видел.

— Монтероссо, предупреждаю вас в последний раз, речь идет только об одном: на чьей вы стороне? На стороне закона или на стороне убийц?

Там, у стены, один из трех шевельнулся, чуть не выдав себя.

— Ни с места! — закричал комиссар.— Все шестеро! Вы что, думаете, на этом все кончится? Минутку. Торрезе,— позвал он,— приведи нашего друга.

Торрезе подошел к двери, открыл, вышел на мгновение и вернулся; с ним вошел худой старик, волочивший ноги.

В первое мгновение Альберто не понял, кто это, потом узнал: достаточно было представить себе его в белом фартуке с салфеткой через руку и не то что с другим выражением лица, а с легкой улыбкой.

— Не ждали, а? — спросил комиссар.

Он снова сел за письменный стол, лицо его помрачнело.

— Пройдите вперед,— сказал он старику. И полицейскому, сидевшему рядом:— А вы, прошу, ведите протокол.

— Имя?

— Джованни.

Тот, что писал протокол, посмотрел на него, подняв вверх ручку.

— Джованни Пеллегрини,— быстро произнес старик.

— Профессия?

— Официант.

— Где работаете?

— В траттории на площади Кастелло.

— Часы работы?

— С десяти утра до десяти вечера.

— Вы работали сегодня днем?

Старик всхлипнул, словно его застигли на месте преступления.

— Конечно,— сказал он.

— Вы видели там кого-нибудь из присутствующих?

Старик утвердительно кивнул.

— Ну? — сказал комиссар.— Говорите, не можем же мы заносить в протокол кивки. Итак, повторяю: вы видели кого-нибудь из присутствующих?

— Да, синьор.

— Кого именно?

Старик повернулся к Альберто.

— Вот этого синьора.

— А когда, в котором часу явился этот синьор?

— Примерно в час.

— Он был один?

— Нет, с синьорой в брюках.

— Молодец, заметил даже, что синьора была в брюках. И что же?

— Что — что же? — спросил старик.

— Что делали эти люди, придя к вам?

— Ну, сели, чтобы поесть.

— Где они сели, говорите точнее.

— Там, в углу, был свободный стол.

— А других столов не было?

— Как не было, были, но они сели в углу.

— Скажем — как бы уединились? А? Это соответствует действительности?

Старик пожал плечами и посмотрел на Альберто.

— Да,— сказал он.

— Как? Говорите громче и не смотрите по сторонам. А потом?

— Потом...— Старик в замешательстве крутил пальцы.

Он не знал, что произошло потом.

— Итак, что же произошло?

— Я принес им поесть, спагетти с моллюсками, кажется.

— Хорошо, это не имеет значения, еще кто-нибудь входил?

— А, да. Вошли трое парней.

— Трое парней? Смотрите на меня, нечего поворачиваться в ту сторону, я не просил вас опознавать их.

Комиссар принялся ходить взад и вперед.

— Трое парней,— сказал он,— и где они сели?

— Рядом с синьором.

— Ага, прямо рядом с синьором. Итак, прощай интимная обстановка. И что дальше, этот синьор встал и ушел?..

— Нет, почему? Они продолжали есть. Потом стали разговаривать.

— Кто? Эти парни или синьор?

— Нет, он — нет, мало. Говорила синьора.

— Синьора? Вот как? И на каком же языке она разговаривала?

Старик оглянулся, как бы ища поддержки.

— Как на каком? На итальянском она говорила.

— Ах, на итальянском, итак, она говорила по-итальянски, но с нами она притворялась, что не знает этого языка, дорогая синьора. А с вами, Монтероссо? На каком языке говорила с вами дорогая синьора? — И, не дожидаясь ответа, снова обратился к старику: — Ну же, повернитесь и скажите, узнаете ли вы их?

Старик повернулся к шестерым, которые стояли у стенки и смотрели на него. Как автомат, поднял руку и по очереди указал на всех троих; один всхлипнул, словно указующий перст поразил его.

— Хорошо, хорошо,— сказал комиссар.— Запишите опознание в протокол. И уведите всех троих, посадите их в хорошую камеру.

Трое полицейских повернулись и взяли за руки парней — каждый по одному. Один из полицейских стал что-то вполголоса говорить комиссару, но тот оборвал, не дослушав:

— Довольно, смотреть на них противно, отдать в распоряжение судебных властей.

В комнате остались пятеро — перевязанный полицейский, комиссар, полицейский, ведущий протокол, и они двое, Альберто и старик официант, с трудом державшийся на больных ногах.

Допрос продолжался.

XV

Все было занесено в протокол, в котором Альберто фигурировал в качестве главного обвиняемого, организатора преступления.

А Торрезе между тем говорил и говорил. Полицейский старательно записывал. Давая показания, Торрезе наливался кровью, возбуждался, голос его становился визгливым, ясно было, что он из последних сил защищал свободу и честь, пока враги не сломили его.

А Альберто? Альберто — сообщник Ирэны и ее мужа, быть может, главарь всей шайки, моральный виновник покушения, потенциальный убийца; его опутывали длинным грязным багровым бинтом обвинений, пеленали как мумию, не давая шелохнуться, освободиться от наговора. Да он и не сопротивлялся; временами ему казалось, что он вот-вот набросится на Торрезе, но как только мозг побуждал его к действию, тело обмякало, он замирал, не смея на что-либо решиться, что-либо осознать в происходящем; комиссар же терпеливо и с удовольствием сгребал в кучу всю грязь обвинений, чтобы ничего не упустить и вывалить все на него.

Закончив всестороннее рассмотрение Альберто как чего-то неодушевленного, он заставил Торрезе подписать длинный протокол и, наконец, повернулся к обвиняемому. Опершись задом на письменный стол и подмигивая, комиссар попытался поймать взгляд Альберто.

— Итак,—сказал он,— вы, как человек интеллигентный, наверное, уже поняли, что основательно влипли. В вашем соучастии в нападении сомнений нет, а за это предусмотрено наказание как за сознательное и преднамеренное покушение на этого несчастного. Итак, что вам остается делать, чтобы спастись, словом, умалить, свести почти к нулю вашу ответственность? Чистосердечно и подробно рассказать о том, что произошло. Неважно, если ваши показания в чем-то будут расходиться с показаниями Торрезе, важно подтвердить основные моменты: встречу в траттории, предшествовавшие ей события — ссору с Торрезе, его преследование и то, что вы издали видели, как его избивали и как стреляли.

Поскольку Альберто молчал, комиссар, явно убежденный, что его доводы возымели действие, начал диктовать:

— Итак, около тринадцати часов я находился в траттории...

— Это все неправда,— едва слышно прохрипел Альберто.

Комиссар удивленно посмотрел на него.

— Что неправда? Вы там не были?

— Неправда то, что касается всего происшедшего потом, этих троих и попытки убийства,— все неправда.

— Как, вы не встретили этих троих в траттории, вы не знали их раньше, до того, как вас всех сегодня арестовали?

— Нет.

— Вы не разговаривали с ними во время обеда, вы и та иностранка, которую поручили вашему попечению?

— Нет.

— И в тратторию не входил присутствующий здесь агент в штатском, вы с ним не говорили, и в ваш разговор не вмешались те трое, присоединив свои угрозы к вашим?

— Нет, нет.

— А те трое — разве они не выскочили из траттории вслед за агентом, сказав вам, что они ему покажут, так как, по их мнению, он обидел вашу синьору иностранку?

— Нет, конечно нет.

С каждым ответом голос Альберто становился все яснее и все отчаяннее, а комиссар наступал на него, кричал, наливаясь кровью.

— И вы вдвоем тоже не вышли, не расположились поблизости готовые вмешаться, после чего те трое окружили Торрезе, напали на него, обезоружили, избили и наконец выстрелили в него из пистолета — к счастью, пуля только оцарапала ему голову?

— Нет, нет, я ничего не знаю.

— Ах, ты ничего не знаешь? А? А кто тебе поверит? В протокол, занесите в протокол! — кричал комиссар.— Пытаясь уйти от ответственности, задержанный отрицает даже явно доказанные факты, обстоятельства... Подпишете? — спросил он.— Конечно нет. Ну хорошо, пока вы нам не нужны.

Он остановился и сжав зубы, глубоко перевел дух.

— Вы можете идти,— уже спокойнее сказал он — но не в коридор и не домой; на этот раз вам приготовлена камера, она вас ждет.

Он позвонил, и почти тотчас же вошел полицейский в форме, тот, прежний, он явно ждал за дверью.

— Отведите его в камеру,— сказал комиссар.— Видеть его не желаю.

Альберто повели по коридору без окон, полицейский в штатском записал его имя в книгу, потом его заставили снять галстук, пояс, вынуть шнурки из ботинок. Он выложил все, что было в карманах,— ручку, портмоне, все это записали в книгу и заставили расписаться. Теперь его движениями — встаньте! сядьте! — руководили полицейские; шагая, он должен был волочить ноги чтобы не потерять ботинки; к счастью, брюки были достаточно узкие и сами на нем держались.

На мгновение они оказались в знакомом уже месте (что это было? Комната? Коридор?), но его тотчас протолкнули в следующую дверь, и Альберто в полутьме разглядел чрево полицейского участка. На тюремщике была другая форма, не такая, как на полицейских, лицо другое, желтое, безглазое, может быть, все зависело от освещения, свет падал сверху. Оттуда доносились нормальные голоса нормальных людей, хотя смысл того, о чем они говорили, был непонятен.

Оглянувшись по сторонам, Альберто стал спускаться лестница привела его в подвал, напоминавший загон для скота, справа видне-

лись полуоткрытые ржавые двери, из них несло, как из уборной. Повсюду пахло чем-то гнилостным, затхлым, нежилым.

— Проходите,— сказал ему безглазый.

Пять-шесть ступенек, затем параши, еще ступеньки — двери с закрытыми оконцами, темные пятна на небеленой стене, на второй по счету двери оконце открыто, через него видна решетка, за ней — два глаза, как живые огоньки. Другие двери заперты, слышны какие-то утробные, нечеловеческие звуки и вдруг — кашель, сдавленный, мрачный звук. Дойдя до пятой двери, сторож вставил в замок ключ и с отчаянным скрежетом повернул его; Альберто вошел в черный куб, в мрачную пустоту темного чулана; дверь за ним закрылась, спину обдало холодом. Он сделал четыре шага, дотянулся до стены напротив, потом, раздвинув руки, коснулся сначала стены слева, затем — стены справа, она была немного дальше. Темнота не была сплошной, за его спиной тюремщик открыл окошко, к тому же над дверью была решетка, сквозь которую на стены, на его руки, на всю его фигуру падал тусклый свет. Вот она, камера, теперь он мог рассмотреть ее, прислонившись спиной к холодной стене: боковые стены, разбегающиеся в стороны по законам перспективы маленького пустого куба, стена напротив и черная дверь, они перерезали эти убегающие стены, обрисовывали голые углы; наверху — решетка, а за ней — свет, проникающий с воли, где люди сновали туда-сюда, входили и выходили.

Снова скрежет поворачивающегося в замке ключа, неожиданный резкий звук; дверь повернулась на петлях.

— Одеяло,— сказал тюремщик.

— Спасибо,— ответил Альберто, сделал два шага вперед, но не успел он подхватить одеяло, как дверь снова стукнула и закрылась.

Тюремщик открыл оконце и заглянул внутрь, как будто хотел удостовериться, что птичка в клетке, потом сказал «доброй ночи» и снова его закрыл. Одеяло было грубое, но, очевидно, теплое. Поднявшись на носки, Альберто через сетку увидел угол комнаты напротив, кусок стены и что-то висящее на ней, трубку неоновой лампы в центре, на потолке, и что еще? Ничего.

Он сидел в углу, подложив под себя сложенное одеяло.

Ему оставили сигареты и спички, он курил; дым шел изо рта, разбухал, скручивался на фоне решетки, маячившей, словно призрак; он держал сигарету между пальцами, подносил ко рту, снова отводил руку в сторону, ощущая тепло мундштука,— курение переносило его в другие времена, возвращало его к прежней жизни. Заключенному не стоит разрешать курить, сигареты надо отбирать так же, как отбирают шнурки от ботинок, галстук, карты и все прочее, иначе в камере с ним остается его человеческая сущность, его самая скрытая человеческая сущность — его свобода, ну вот, она уже здесь, очистившаяся от всех условностей, помолодевшая и прекрасная; она сидит рядом на одеяле и курит вместе с ним.

В камере видно уже довольно хорошо, глаза привыкают быстро, заметны даже царапины на стене — слова, знаки, по крайней мере, те, что не очень высоко. Пол цементный, стены тоже цементные, но все покрыто трещинами и бороздками, как древесная кора; сначала искривленные, потом прямые линии бегут к двери, на ощупь они кажутся маленькими впадинами, извивами, царапинами. Но постепенно рисунок удлиняется, приобретает какой-то смысл, каждая полоса — это отпечаток доски, которая держала застывающий цемент, и вся камера — ящик, очень большой ящик, в который спрятали пойманного человека, он, человек, провалился сюда, провалился, как мышь.

Сигарета кончилась, дым поднимается вверх, к цементному потолку; Альберто гасит окурок в углу об пол, потом встает. Когда стоишь,

камера кажется значительно меньше. Альберто берет одеяло и стелет его у стены, сложив пополам, затем становится на него коленями, подворачивает его с углов, делает подобие подушки, укладывается, погружается в темноту. Когда он лежит на спине, цементный пол кажется не таким твердым — по крайней мере, в первые минуты; а потом придет сон, и закончится этот трудный длинный день.

Никто на свете не думает сейчас об этом холодном цементном логове: ни сторож, которому на все наплевать, ни комиссар, закрывший свою папку, ни Ирэна, уехавшая неизвестно куда, ни его знакомые — никто ничего не знает, никто не думает об этом голом цементном логове, об этой закрытой коробке, об этой холодной материнской утробе.

Лежа на полу, Альберто чувствовал сквозь одеяло твердый цемент. Его терзали холод, пробиравший до лопаток, и темнота, нависавшая над головой, и все тот же проникающий сверху свет, и резкие непонятные звуки, доносившиеся через решетку. Который час? Часы, естественно, у него отобрали, но теперь, конечно же, ночь, как много времени прошло за этот длинный день! А Ирэна все еще наклоняется над водой, пристально вглядывается в глаза умирающих рыб, смотрит на море и со своим смешным иностранным акцентом, акцентом женщины, которая пришла и ушла, говорит: море, смотрит на облака и говорит: облака (смотрит на него и говорит: Альберто).

А может быть, и хорошо, что он очутился в этой камере, которая не позволит ему бежать за Ирэной, не даст вовлечь ее во все глупости, которые предстоит еще сделать, пресечет все согласия и отказы, словом, всю оставшуюся жизнь? А может быть, эта камера отражает всю его неспособность кинуться ей вслед, спросить ее о чем-то — словом, всю глубину его трусости?

Да, таково его бессилие, оно терзало его, исторгало из него слезы. Так, значит, вот почему никто не помнил о нем, никто не любил его; вот почему он здесь. Конечно, все совершилось по вине комиссара, но тот толкнул его бессознательно на этот путь; а также по вине этого маленького чудовища — хозяина гостиницы, который, конечно же, хохотал сейчас до колик (а то и спал уже в той самой комнате, где он жил и тогда, когда рядом проститутки занимались своим ремеслом, приведя с улицы какого-нибудь заблудшего, и тогда, когда несчастным жгли пятки; а теперь в этих комнатах, может быть, на тех же кроватях, спят коммивояжеры и молодожены, а в одной из них стоит сейчас его, Альберто, чемодан, и вокруг уже запах плесени и затхлости).

Окошко с шумом открылось, тюремщик заглянул внутрь. Когда дверь распахнулась, Альберто был уже на ногах.

— Вам,— сказал сторож.

— Что такое?

— Возьмите, если хотите есть; это от ваших друзей.

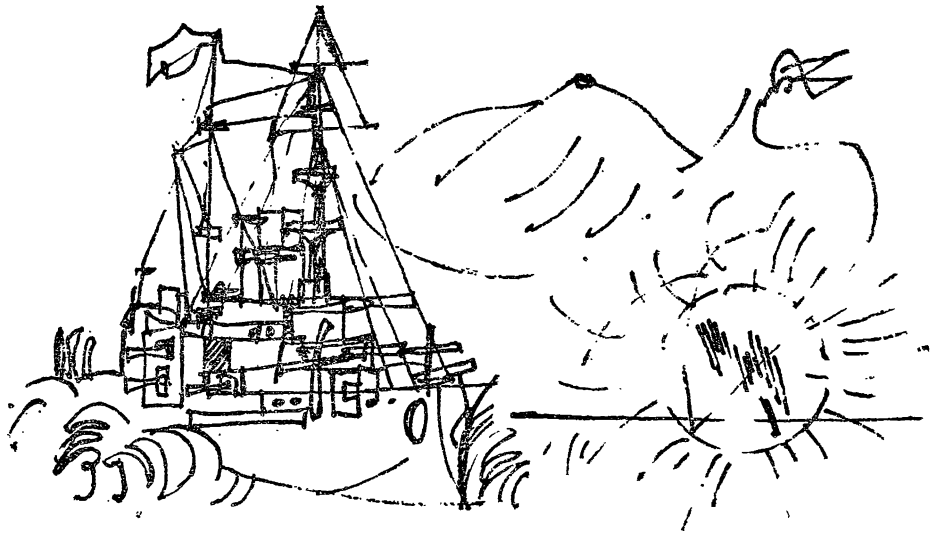
В руки Альберто опустился горячий сверток. Что-то мягкое было наспех завернуто в промасленную бумагу, сторож закрыл дверь, и Альберто начал развертывать пакет. Он взял пальцами содержимое, чтобы на ощупь понять, что это такое, потом поднес сверток к глазам — макароны, перемешанные с мясом и яйцом.

Не выпуская из рук еду, он медленно опустился на одеяло, скрестил ноги. Он чувствовал запах мяса, тепла, дома. Затем откусил кусок, держа обеими руками промасленную бумагу, вдыхая запах кухни, женщины, готовившей пищу, домашнего уюта. Кто была женщина, приготовившая это яство?

То была женщина из города, это несомненно. Хорошо быть жителем этого города, но он им не был, и Ирэна тоже.

Да и можно ли выбрать себе город? Нет, нельзя.

Можно только любить город, принадлежащий другим.



ЗОЛТАН ЛЕНКЕИ. Венгрия 7 Ноября

ИСПАНИЯ

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА

Ленинграду

Снова колет в боку, напоминая,
что смерть стоит за плечами.
Осеннее настроение — настойка из горечи
всех утрат и потерь.
По уцелевшим в боях,
на выбор, стреляет время...
Мы видели смерть над собой и перед собой;
канонада страданий засела в наших ушах,
но все дальше и дальше от нас
в ковчегах братских могил
уплывают лица ушедших...
Как оплакать все кости, ставшие прахом
в Бельчите, на Эбро, во всех расщелинах ужаса?
Как обойти бесконечность
всех кладбищ Европы —
от Освенцима до Ленинграда?
Сколько надо цветов,
чтобы почтить
бесчисленность этих смертей?

И как убедить
всех, глядящих из-под земли,
что и после их смерти,
каждой весною земля
улыбается — там, наверху,
над глазницами их черепов?

Я — в Ленинграде. Я читаю тетрадку, в которой
девочка пишет о смерти.
Детский почерк и — смерти, одна за другой...
«Таня осталась одна» — последнее, что отпечаталось
в окровавленном детском сознании...
Я иду через кладбища, через поля,
где под бронзою мемориала
лежат ленинградцы.
И мне почему-то вдруг стыдно,
что я сам еще жив.
Почему им наградой за стойкость
стала смерть,
им, которым, как мне, дано было право
жить —
засыпать, просыпаться, любить, отвечать на любовь?
Только окаменевшее небо
могло допустить,
чтобы под ним, на земле,
творилось такое...
Не имеем права, не можем
спокойно греться на солнце,
забыв, кто — под нами,
забыв, на какой земле мы стоим.

Подземная музыка —
скорбный глас погребенных —
шевелит в груди пепел воспоминаний...
Мертвый брат мой!
Засохшею каплею крови
ты впечатан мне в душу.
Невозможно, нет, невозможно,
чтоб здесь,
где сейчас полыхают цветы,
падали черные бомбы
на детей!
Разве дети родятся
для того, чтоб вот так умирать?
Нет, невозможно представить,
чтобы это могло быть в такую же пору,
как сейчас,
чтоб в такой же вот день, как сегодня,
с его солнцем, с его
шумящей листвой,
смерть рвала на куски тело за телом...

Разве в бомбоубежищах не было песни,
обещавшей не смерть, а рожденье?
Разве в музыке ветра
не звучали мольбы о добре
и проклятья — злу?

Да — звучали!
Да — было!
Одного лишь не знаю:
хватало ли снега зимой,
чтоб прикрыть им всю кровь,
обагрившую землю?

Печальное золото осени,
ее горький янтарь,
словно память о боли,
бередящая старые раны.

Я не листаю страницы истории —
я жил и живу на них сам,
и это намного труднее.

Житель юга Европы,
я покинул свои пенаты,
чтобы увидеть на севере
свинец твоих куполов,
и геометрию улиц,
и колонны дворцов
с их итальянским акцентом,
чтобы увидеть твою Неву,
ее мощное женское лоно,
и твои березы и сосны,
в тихом шуме которых
я слышу призыв к откровенности.

Да и мне, как солдату,
пришлось испытать на себе
и взрывы снарядов, и взрывы ярости,
узнать, что такое кровь
и что такое огонь.

Мы тоже играли в трагедии,
где умирают по-настоящему,
и камнем в нашей душе —
смерть тех, кого не вернешь,
и стыд — что ты жив, а он — мертв.

Мы тоже из поколения,
пожизненно начиненного
болью, кровью и смертью.

И как я рад, что я чувствую
в славянской нежности лиц,
в спокойных пожатиях рук
безмолвное: никогда.
Никогда. Никогда. Никогда!

Вольный перевод КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

РОЖЕ ШАТОНЁ

Через самую высокую дверь

РОМАН

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

От автора

Во всяком романе есть нечто загадочное — даже для того, кто этот роман написал. И когда автора спрашивают, каковы конкретные причины, которые побудили его создать такую-то книгу, он, как правило, отделывается общими фразами. Он боится, что его рассуждения могут показаться высокопарными и претенциозными. Еще более затруднительным будет его положение, если его роман посвящен рабочему классу, рождению нового сознания в наш индустриальный век — век Революции, ее надежд и побед.

И все же наступает час, когда нужно решиться. Решиться все открыто сказать, не обращая внимания на буржуазную критику, которая будет твердить, что писатель взялся за дело, заранее обреченное на неудачу, ибо рабочие — не «герои романа», и что у писателя нет ни капли здравого смысла и совершенно нет скромности, если дерзновенный полет мечтаний, и страстную жажду красоты, и прекрасный свет дружбы и братства людей помещает он в самую гущу заводов и строек...

Во Франции меня часто спрашивают, как пришла ко мне эта странная идея — сделать героями своих книг людей из народа: металлистов, железнодорожников, рабочую молодежь, стариков-пенсионеров, безработных, чернорабочих — словом, всех тех, кого капиталистическое общество нещадно эксплуатирует, а потом равнодушно выбрасывает за борт. А я гляжу вокруг и задаюсь противоположным вопросом: почему героями романов не становятся в первую очередь и прежде всего именно те сотни тысяч тружеников, которых я вижу в парижском пригороде, те сотни и тысячи несчастных и обездоленных, которых я встречаю на улицах Парижа, на набережных Сены, в переходах метро, на пустырях вокруг больших городов, или те бедолаги, что забились по углам своих трущоб и скорбно ждут смерти. И почему героями романов не стали те молодые, полные сил труженики, которые поднимаются во весь рост и во всеуслышание заявляют, что рабство, война, нищета, одиночество — не роковая неизбежность и что можно построить мир, в котором самые смелые мечты революционеров прошлых эпох будут не только осуществлены, но и превзойдены.

Что касается меня, то я писать на другие темы не умею.

«Но ведь вы-то сами уже не рабочий»,—говорят мне. Верно, я уже не рабочий. Но то, что на определенном этапе своей жизни я понял и осознал и во что всем сердцем поверил, ни на один день не переставало быть для меня сущностью бытия. С годами эта вера во мне только крепнет. И дело тут, конечно, вовсе не в ностальгии, с какой взрослые вспоминают о детстве. Дело в той нынешней торжествующей очевидности, которая живет у меня в душе. А если мне говорят: «Но зачем посвящать свое творчество лишь таким темам и сюжетам, в которых всегда столько грустного?» — я в ответ говорю, что слово «грусть» выдает здесь чисто классовую точку зрения на предмет и точка зрения эта абсолютно ошибочна.

В самом деле, что же грустного в этом привокзальном рабочем квартале городка Бегль, где я родился и вырос, где живет моя мать и еще несколько родственников и где у меня так много друзей! Как бы ни был скромен и беден этот уголок и как бы ни были тяжелы те проблемы, с которыми каждый день приходится иметь дело его обитателям, он вместил в себя — и продолжает вмещать — всю славу земли, всю силу и всю неукротимую жажду жизни! Там, среди бескрайних болот и гигант-

© Editions Gallimard, 1973.

ских мачт электропередачи, похоронен мой отец, и рядом лежат его товарищи, которые не любили жаловаться на жизнь, не любили в жизни отступать и считали себя тем, кем они на самом деле и были,— строителями мира.

Здесь и развертывается действие романа «Через самую высокую дверь». Бегль— первая станция на линии Бордо — Марсель. Небольшой пригородный вокзал, мимо которого пролетают дальние поезда. Рельсы, заводы, новые жилые дома, недавно выстроенные по решению муниципалитета, в котором большинство мест принадлежит коммунистам. Рядом — старые двухэтажные домишки: бурые, серые, под рыжими черепичными кровлями. Несколько лет тому назад среди бесконечных верениц старых вагонов, стоявших возле сортировочной станции, я заметил человека — не знаю, был ли это рабочий с соседней стройки, прятавшийся здесь от дождя, или впавший в нищету служащий, который обрел здесь временное пристанище. Он варил на костре какую-то еду, а вокруг толпилась молодежь, со смехом слушавшая его рассказы. Тогда-то и пришла мне в голову мысль написать одну из таких историй — они мне самому всегда нравились,— где будет перемешано серьезное и смешное, выдумка и реальность. Жизнь предлагает нам порою такое, до чего нам самим ни за что не додуматься... Новый роман, который я сейчас пишу, тоже родился после двух таких встреч, полных таинственности и волшебства.

Прежде чем сесть за это вступление, я еще раз побывал в Бегле, побродил у вокзала. Там по-прежнему идут по улицам из школы дети, похожие на тех, какими были когда-то я и мои друзья. В этом красном предместье по-прежнему читаешь на лицах мужчин и женщин мужество и надежду. Прошли годы со своими горестями и бедами, но прошли они не напрасно. Долгожданный рассвет близок. Я смотрел вокруг себя и ощущал, как в толпу живых вливаются тени погибших. И вот что могу я сказать тем, для кого литература, посвященная рабочим,— это литература узкая, посредственная, ограниченная, литература второго сорта, интеллектуальной бедности и художественной неполноценности, литература уродства: «Вы проиграли, потому что презираете людей». И вот что скажу я технократам, которые хотят уничтожить культуру: «Ваша карта бита, ибо наука — это не только техническая сноровка; наука вовсе не чужда поэзии». А тем, кто осыпает бранью марксизм, Октябрьскую революцию и Советский Союз, скажу я так: «Вам никогда не понять людей и никогда не завоевать их доверия, потому что для вас остается за семью печатями все то волшебное и чудесное, что живет в их сердцах».

Здесь, в Бегле, мы собрались однажды — четверо или пятеро друзей. Был июньский вечер 1936 года. Двое-трое из нас выдержали экзамены — а конкурс был трудный — и получили возможность учиться дальше. А вот Анри пришлось поступить учеником к парикмахеру. И в тот вечер кто-то из нас сказал: «А знаешь, Анри, ученые измерили расстояние от Земли до Луны». Анри стал смеяться. Но потом спохватился: ему стало стыдно за свое невежество. Только нам почему-то было еще более стыдно, чем ему... Потом Анри вступил в коммунистическую партию. Нам было тогда лет по шестнадцати-семнадцати; он был немного старше нас. Иногда он говорил: «Эх, а там, в Советском Союзе, школ понастроили!..» Для нашего друга Анри было радостно — это была немного ревнивая радость — знать, что в далекой стране, где ему так и не довелось побывать, дети из народа изучают законы математики, которым послушны небеса.

Прошли годы. Отгремела война. Я узнал, что нашего Анри расстреляли фашисты. От него ничего не осталось на земле—только упоминание на красной афише с именами расстрелянных. Но он и сейчас идет с нами по нашим пыльным улицам, где торопливо перебегает дорогу кошка, где цветет жасмин у старой стены. И те же звезды мерцают в вышине и говорят нам, что надо бороться на той земле, где ты живешь, и высоко держать голову... Пролетарская литература овеяна ветрами, в которых плещется кумач победных знамен. Она — Ода к Радости, которую мы пишем все вместе и которую мы непременно напишем. Она — музыка настоящих людей, которая заставит умолкнуть гогот глумливых циников и бешеный лай фашистских свор.

Скромность — необходимая вещь, но не будем смешивать ее с робостью. Или, что еще хуже, с ложным стыдом и угодничеством. Народ достоин пера Сервантеса, заводы заслужили того, чтобы иметь своего Шекспира, своего Гоголя. Пусть не каждому дано подняться до этих вершин, но равняться на них необходимо — даже с риском разбиться.

Этот роман, как и тот, которым я занят сейчас, родился из нескольких горстей моей родной земли. Здесь, в этом краю, между заводами и болотистой равниной, я впервые услышал начальные аккорды великой песни жизни. Немного подальше течет моя Оека, моя Гаронна; огромной петлей охватывает она Бордо, и ее просторное устье — это настоящий морской пролив, в котором гуляют могучие волны. В часы, когда прилив ведет корабли в порт, над обоими берегами разносятся гудки буксиров. Плеск воды, чайки, ветер — они говорят мне слова, понятные на всех языках.

Слова, понятные на всех языках... Я подумал об этом однажды вечером в Ленинграде, и волнение перехватило мне горло. Здесь, в этом городе, подумал я, родилась Революция. Родилась на берегах реки, что так похожа на реку моего родного края, морской моей провинции, овеянной дыханием Гасконского залива. Но существует ли связь между моим романом и этим великим городом, где Ленин возвестил в Ок-

тябрьские дни рождение нового мира? Между моей книгой и миллионами мужчин и женщин, которые пали под пулями и под пытками во имя торжества коммунизма?..

Мой молодой герой Сабас мучится вопросом о том, как ему участвовать в славном движении мира к победе. Он живет унылой, будничной жизнью в стране, где, к счастью, сейчас нет войны. Он не видит перед собой возможности совершить подвиг. Можно ли быть героем в нашей обыкновенной и будничной жизни?

Этот вопрос возникает на протяжении всего романа.

За шестьдесят лет, что прошли с тех Октябрьских дней, многие народы завоевали свободу, многие народы научились читать. Но битва еще не закончена. В мире еще существует угроза людям, их счастью. В мире остался голод. И наш взгляд устремлен к новым рубежам Революции.

Человечество нельзя делить на два сорта. Это ложь, будто одни имеют право творить и мыслить, а другим этого не дано.

Романист может только вопрошать. В этом он видит свой долг. Ответ на его вопросы дадут миллионы таких, как Сабас, дадут в самом ближайшем будущем, когда пролетариат гордо заявит о себе по всей планете и, не боясь сравнений с самыми высокими достижениями прошлых цивилизаций, докажет свое нравственное величие, свою справедливость, свою талантливость.

Памяти Пьера Семара

КНИГА I

Глава первая

Был октябрьский вечер, пятница, часов около шести. По длинной, застроенной приземистыми домами улице шли четверо юношей; на вид им было лет по двадцать. Они появились со стороны заводского квартала, лежащего за сортировочной станцией, между болотами и рекой. Молодые люди пересекли небольшую площадь; когда-то, во времена, когда нынешний пригород принадлежал еще сельской местности, эта выкроенная как попало, без всякого плана площадь была центром здешней деревни. Вечернее солнце обливало позолотой изъеденные временем каменные фасады. Собаки дремали в пыли, у порогов. Люди еще не вернулись с работы, кругом было пусто, лишь бакалейщик томился в своей тесной, пропитанной ароматами кофе и фруктов лавчонке, да в окошке табачного киоска, за крахмальной занавеской, которую, несмотря на многочисленные пакетики с ядом, густо засиживали мухи, маячила продавщица сигарет. По соседству обретался и аптекарь; его заведение не нуждалось в вывеске — так щедро струился оттуда в вечернюю уличную жару крепкий эфирный дух.

У первого из четырех — он шел впереди — была неумело замотана тряпкой правая рука. Парень был бледен, худ и красив, черты лица исполнены суровой мужественности, но вряд ли ему было многим больше девятнадцати. Друзья на ходу переговаривались меж собой:

— Ну как, Сабас, еще держишься?

— Теперь начинает болеть, и кровь пошла.

Повязка в самом деле намокла, в дорожную пыль падали красные капли, на них жадно кидались осы.

— Не могут на стройке медпункт завести!

— Лучше бы старые тросы сменили. А этими руку оттяпаешь, что твоей бритвой!

— Сам-то тоже хорош! Почему рукавиц не надел? Про это даже в правилах написано.

— Да брось ты, Абилиу! В правилах! Когда проволока рассадила мне руку, мастер тоже сказал, надо, мол, правила выполнять. Но

стоит хоть на секунду помедлить, когда завязываешь трос, и тот же самый мастер начинает вопить: «Тебя наняли не кружева вязать, тебе здесь не за это деньги платят!»

— Эта работа не для тебя, Сабас, зря ты с завода ушел.

— Кому-то надо и здесь работать... Да и не так уж это трудно — стропы под железо подводить.

— До чего же мне осточертела эта стройка! — сказал рослый светловолосый парень; друзья обращались к нему то по фамилии — Термоли, то по имени — Пьер.

— И мне! — отозвался маленький смуглый Люсьен Небузен.

— А тут еще, как назло, участковый врач с вызовов не вернулся... Ну ничего, аптекарь тебе, наверно, скажет, насколько это серьезно.

Подошли к облупившемуся фасаду аптеки. Внутри, кроме хозяина, был только один покупатель, коренастый толстяк лет шестидесяти. Несмотря на жару, дверь была затворена. Когда Небузен ее открыл, в тишине мелодично прозвенел колокольчик.

— Нет,— говорил толстяк,— в наши дни это уж никакая не экспедиция. Теперь такое доступно любому.

— И, говорите, недорого... А, собственно, сколько? — спросил аптекарь.

Покупатель беседовал, не вынимая рук из карманов. Во всем его облике — в шее, плечах, локтях, в посадке головы — была этакая непробиваемая грубость, та, что помогает человеку начать с нуля и сантим за сантимом сколотить состояние.

— От трехсот до четырехсот тысяч... Все зависит от времени, которое вы выберете, ну и от всяких других мелочей... В эту сумму, конечно, входит дорога туда и обратно и стоимость жизни на месте. Триста-четыреста тысяч франков — разве это деньги?

Аптекарь улыбнулся; да, по нынешним временам триста-четыреста тысяч франков и вправду невелики деньги. Сабас стоял у дверей и слушал. Повязка стала совсем красной. Стальная проволока здорово врéзалась в пальцы. Когда стропы начинают снашиваться, проволока расплетается, превращаясь в клубок злобных гадюк. Сильный порез. Сколько месяцев пришлось бы ему работать, чтобы заплатить за поездку в Бамиан, Город Тысячи Шорохов, где-то там, в Центральной Азии? Сколько раз сгибаться, обвязывая тросом груз и накидывая скобу на крюк мостового крана?

Толстяк, как видно, не собирался уходить.

— От Парижа до Тегерана кладите две тысячи пять, если считать в новых франках.

— Это, выходит, двести пятьдесят тысяч старых.

— Да нет же! Я говорю: две тысячи и пять франков. Или, если вам так привычней, двести пять тысяч старыми. Хотя нет, не так, я тоже ошибся, двести тысяч пятьсот. Мы, старики, вечно увязаем в этом пересчете. Вот молодежь, та считает себе в новых франках и горя не знает...

Едва уловимым движением он обратил свое грубо вылепленное лицо к друзьям Сабаса, и в его голосе прозвучали нотки веселого сообщничества, окрашенного сожалением,— хорошо, мол, этим молодым, могут шутя играть огромными цифрами без всякой боязни запутаться.

— ...От Тегерана до Кабула одна тысяча триста тридцать. Да от Кабула опять самолетом до Бамиана, но там можно достать места подешевле. Бамиан — он и есть Город Тысячи Шорохов...

Октябрьский день будто вобрал в себя всю летнюю жару. В других краях под таким солнцем начинается сбор винограда... Но о каких

виноградниках может идти речь на этой окраине большого города, где растут среди топей бесчисленные фабрики и заводы, которые производят жидкую углекислоту, бумагу, картон, кожу, серу, минеральные удобрения, стеарин, пиво, вагоны и еще многое другое, и где с грохотом проносятся поезда, а по ночам на болотах лягушки заполняют пространство своим встревоженным кваканьем, непрерывным и гулким, как шум столицы,— и все-таки это страна одиночества, бесприютное царство бедняков, куда более забытое и заброшенное, чем хребты и долины Афганистана.

Колени Сабаса вдруг подогнулись... Он открыл глаза. Ощутил поясницей прохладу выложенного плитками пола. Высоко наверху плясал потолок. Небузен и Термоли склонились над его лицом. Абилиу взял его за ноги. Аптекарь подхватил за плечи. «Сюда, на носилки».

Если бы мастер был здесь... «Вот она, работенка-то, и сказалась! Еще увидишь: не он последний!» И вспомнились вдруг все рассказы о травмах на производстве: кровь, изувеченные руки и ноги и весь этот ужас... Но, черт возьми, до чего приятно оказаться вдруг беспомощным, слабым, когда вокруг хлопочут друзья! Каким невесомым внезапно сделался мир! И опять перед ним возникла картинка — может, после рассказа о Городе Тысячи Шорохов?

Картинку он увидел в порту, в маленькой лавке на углу двух узеньких улиц, километрах в десяти отсюда, в районе доков, на северной оконечности той подковы, которой город охватил свою реку. На картинке — дальневосточный пейзаж, кривые сосны, женщины под зонтиками от солнца, загнутые крыши домов. Картинка была синяя и зеленая, с перламутровыми инкрустациями. Жалкое старье, что пылится обычно в кладовках у антикваров. Почему она вдруг так запала в сердце Сабасу — ведь он терпеть не может все эти чудеса, привезенные с колониальных войн... Нет, любил он совсем другое, его манил и притягивал к себе этот уголок набережной, его зачаровывал цвет неба и воды в том месте — там, где порт вдруг словно менялся в лице. Здесь и город, и набережные, и муаровая поверхность реки, и сорные травы, которыми поросли берега, даже воздух — все говорило об одиночестве, о свободе, о прекрасном товариществе. Здесь рельсы, ведущие к докам, эти длинные ржавые брусья, лежащие на мостовой, и тропинки, протоптанные между пакгаузами, и сама жизнь — все было устремлено к другому краю земли, к странам невидимым, невозможным.

Две улочки прятались за длинным фасадом набережных. Сперва нужно было пройти под низким каменным сводом, на который опирались два дома, унылых и серых. Дальше шла узкая мостовая. В одном из окон, в щель между ставнями Сабас увидел негра — в майке, с толстыми голыми руками. Из комнаты неслась музыка, пластинка с его родины. В других окнах — другие люди, черные, коричневые, желтые; другой цвет кожи, другая музыка. У Сабаса было чувство, будто общность людей всей земли становилась для него ощутимой и близкой: изгнанники со всех краев света возводили единое царство, и строительным материалом для этого служили простые, обычные вещи — дверь подслеповатого приземистого дома, наполненного прохладой и снами, фонтан на перекрестке двух улиц, ребенок, несущий из булочной батон ростом больше его самого, песенка, которую вдруг бросает вниз работающий на лесах испанец, ее мелодия острой занозой впивается в сердце, но тут же, без паузы, испанец кидает ей вслед площадное ругательство. Сабасу известна эта иноязычная брань, он познакомился с нею на улицах города, на строительстве сортировочной станции. Он знает грязные слова других языков, потому что у него есть товарищи, которые говорят на этих языках, но подлинное серд-

це людей — его нужно услышать в острой стреле этой песни, пущенной вниз на улицу с залитых солнцем строительных лесов.

Антикварную лавку содержала женщина с укороченной ногой. Женщина казалась очень старой; на самом же деле это была давно умершая юная девушка, забытая на чердаке роза, которая сохранилась благодаря забвению и увечью. У нее были чудесные глаза: ясные, синие детские. Ее ни разу в жизни не пожелал ни один мужчина, ни один даже из тех что стервенеют от одиночества. Она навсегда осталась девочкой-подростком. До самой могилы будет она нести в себе свое шестнадцатилетнее сердце, полное слез и несбывшихся надежд. Картинка лежала в самом углу витрины. Это уже был не пейзаж, а Сабас обычно очень любил разглядывать пейзажи. Это была совсем другая гравюра, гораздо таинственнее любого пейзажа. Он замечал ее только в ясные дни, и это внушало мысль, будто она — всего только призрак навеянный реликвиями, что привезены из Африки и Азии: всеми этими позеленевшими медалями, и сломанной прялкой, и затхлым запахом кожи, воска, лаванды и плесени.

На картинке был юный принц, он восседал на резном троне В правой руке он держал цветок. На принце была широкая золотая мантия, правда от позолоты остались только следы, а может, то были даже и не следы может быть просто блики июньского солнца падали на витрину В полумраке антикварной лавки принц был красив красотой орхидеи в зеленой глубине зарослей — иллюзия и очевидность одновременно.— и от чуда замирало сердце. Сабас закрывал глаза. В тишине улицы, в запахах старых камней и порта он мечтал превратиться в королевского сына увенчанного достоинством, черпающего силу в душевном покое. О как близко в такие мгновения подступала к душе вся ласковость мира — принц на картинке, глаза хозяйки, пластинка, играющая за закрытыми ставнями в комнате негра, перебор гитарных струн, принесенный ветром с перекрестка двух узеньких улиц. Сабас ощущал как в нем вспыхивает отчаянная радость, радость на грани слез.

Аптекарь размотал повязку. Желудок Сабаса судорожно сжался. К горлу подступила тошнота его чуть не вырвало Он заставил себя взглянуть на рану. Что может быть общего между телом его и мечтами между фабричной окраиной и бегом морских кораблей? Ему уготован только один горизонт — покорность Его ожидает только одно приключение — униженно клянчить место рассыльного или чернорабочего. Толпы на улицах, резиновые сапоги, грузные желтые комбинезоны, каски, подъемные краны, бульдозеры, песок, осенняя грязь, цемент, неимоверная тяжесть железа Принцы — да разве принцы живут во всех этих работягах, что съехались сюда из Алжира, Мали Испании Португалии? Кто может подарить цветок и трон этим людям трудного мужества?..

Рана оказалась очень глубокой, опять пошла кровь. Сабас потерял сознание, но успел увидеть Пьера Термоли Люсьена Небузена и Абилиу Аталайя в мятых и грязных спецовках окруженных ослепительным ореолом Потом все снова стало тревогой и болью.

Глава вторая

На другой день Термоли, Небузен, Абилиу и даже Сабас опять заступили на работу Все четверо знали: никто и ничто не в силах изменить их жизнь. Они говорили старикам, своим пятидесятилетним товарищам: «Вам повезло, вы застали войну! Вам как-никак удалось

хоть что-то увидеть кроме работы... А мы? Мирная жизнь — это, конечно, прекрасно, но о чем нам мечтать?»

Окружающий мир погряз в монотонности. Хорошо говорить: «Мир непрестанно меняется, мир бурлит и клокочет», если ты отправляешься в путь по зову мечты, прочь от этой проклятой стройки с ее жидким цементом и отбойными молотками. Но жизнью Сабаса и его друзей были не охотничьи приключения в горах или джунглях, их каждодневной жизнью была пыль, что пропитывает насквозь всю одежду, белье и прочно въедается в кожу, их жизнью была постоянная ржавчина, были эти смертельно опасные груды железа, которые надо ворочать весь день,— их жизнью была покорность.

— Ну как? Не помер? — сказал Сабасу мастер.— Погоди, брат, это не последняя травма в твоей жизни! Вот что, пока у тебя рука не зажила, поставлю-ка я тебя на покраску.

И жестом велел взять кисть и ведро с суриком.

Их было четверо друзей. Четверо рабочих, которые в платежных ведомостях именовались «квалифицированными рабочими» — «К. Р.». Но эти две буквы были не в силах их обмануть и заставить забыть, что по существу все четверо — просто чернорабочие. Те, кто выгружает из вагонов головоломные конструкции — скелеты будущего моста или опорные мачты, к которым подвешивают провода для электропоездов. Те, кто воздвигает, скрепляет, подгоняет металлические каркасы на строительстве заводов, вокзалов, домов. Те, кто роет траншеи и укладывает в землю переплетения разноцветной проволоки. Просто чернорабочие. Но при этом они были молодыми мужчинами, худощавыми, высокими, стройными. Грязь, безропотная покорность, бедность, холод или отвага вскоре сомнут и истреплют свежие букеты их мускулов. Да и сами они, друзья Сабаса, жаждут скорей возмужать, раздаться вширь, обрасти грубым волосом — ведь старику легче схитрить перед лицом несправедливости, отомстить, ловким ударом ответить на оскорбление. К тому же с возрастом меньше страдаешь от невыполнимых желаний. Станешь постарше, и тебя уже не так будет мучить жажда всего, что есть на белом свете,— жажда живого моря и широко распахнутых горизонтов, которые вырастают лишь на другом краю земли, жажда побед и приключений и жажда обладать всеми женщинами, которых ты видишь на улицах и которые мелькают в окнах скорых поездов, проносящихся мимо стройки; и оттого, что очертания женской фигуры лишь на миг возникли в окне, и ты даже не знаешь, в самом ли деле была сейчас рядом, за окном, эта женщина, была или только привиделась,— она становится особенно желанной и пьянит тебя в твоем сне.

В то утро, улучив момент между двумя погрузками, Термоли сказал Сабасу:

— Значит, все-таки пришел? Почему было не попросить у доктора недельный отпуск по болезни?

— Я к доктору не ходил.

— Почему? Неужто мастера боишься?

— Мастера я не боюсь. Когда стройка мне надоест, я попрошу перевести меня обратно на завод. А отпрашиваться с работы не собираюсь. Только и всего.

— Ну уж недельку-то отдохнуть ты бы мог.

— Отдохнуть от чего? От работы? А ты от нее отдыхаешь?

— Я-то отдохну, можешь не сомневаться. Надо убираться отсюда, вот что. Здесь я ежедневно рискую жизнью. Мыслями я далеко. Ведь должен же быть какой-то выход. Даже неважно какой! Люди, которые проезжают мимо нас в поездах ежедневно, в любой день недели, они свой выход нашли! А мы по-прежнему здесь, как привязанные.

Его окликнул напарник, и Термоли пошел к вагонетке, груженной рельсами, а на путях запел сигнальный рожок, предупреждая о приближении поезда. По магистрали, возле которой раскинулась стройка, проходило в день до полусотни поездов, а может, все сто и даже больше — Термоли их не пересчитывал.

Пассажирам, наверно, не было дела до людей, что стоят или снуют на путях сортировочной станции, им не было дела до этой плотно устланной сталью земли, до этой земли, перемешанной со сверкающим на солнце металлом и погребенной под ним, под металлом, который образует сотни и тысячи замысловатых фигур, и брызжет бенгальским огнем, и сплетается в хитрые сети. Самый что ни на есть заурядный пейзаж, какой открывается перед вами на окраинах больших городов, и железнодорожные рельсы несут на себе все тот же будничный груз заурядности — груз правил, тарифов и расписаний.

Но молодой землекоп Абилиу, сын португальца, рассказывал иногда Термоли, Небузену, Сабасу:

— Отец говорил, что в эпоху Народного фронта...

— Отец? — перебивал его Термоли.— Твой отец приехал из Португалии в тридцать девятом или тридцать восьмом. В тридцать шестом его здесь еще не было.

— Он знает об этом от своих друзей,— не сдавался Абилиу.— В один прекрасный день поезд остановился. Прямо здесь. Все подняли вверх сжатые кулаки! Пассажиры вышли из вагонов, девушки целовали дорожных рабочих.

— Прошлый раз ты говорил, что это произошло в дни Освобождения.

— Может, и так. Но такой факт действительно был...

— А может быть, в восемнадцатом году или в тысяча восемьсот семьдесят первом? Признайся, Абилиу, ты это видел в кино! В каком-нибудь комедийном фильме! Послушай, да ведь отец забыл рассказать тебе самое главное! В поезде ехала дочь миллионера! И она так растрогалась, что тут же незамедлительно вышла замуж за стрелочника! Абилиу, хватит ребячиться. И вот что я тебе скажу: даже дочь мелкого лавочника за меня никогда не пойдет. Особенно если она левачка. Левачки — они самые спесивые. Замуж за чернорабочего? Ни за что в жизни! Скорее уж за фашиста! А ежели у него еще и манеры изящные...

Поезд замедлил ход. Из двух путей в тот день был свободен для движения только один. Вторая колея была забита машинами и механизмами, чьих названий пассажирки скорых поездов, будь они дочками миллионеров или дочками простых смертных, конечно, не знают; на платформах и вагонетках громоздились плоды металлической жатвы — длинные, невероятно длинные брусья, прогибавшиеся от собственной тяжести. Как странно, что сталь, когда она предоставлена самой себе, обретает гибкость могучего зверя, расслабившегося в истоме... ласковую кошачью томность, нежную шелковистость. Октябрь стоял теплый, молодежь работала без рубашек. Плечи, руки, грудь, поясницы — пожалуй, лишь поясницы были чуть посветлее,— животы чернели загаром, казались ожогом и болью.

А вдруг сегодня поезда остановятся?

Но Термоли оказался прав — поезд прошел мимо.

Мастер позвал:

— Шомет!

И указал на Сабаса:

— Поставлю его на несколько дней к тебе. Научи парня, как с суриком обращаться.

Шомет с бледной улыбкой протянул Сабасу руку:

— Поранился?

— Железной проволокой, когда трос подводил.

— Глубоко?

— Порядочно. Но мне сделали прививку от столбняка. Так что бояться нечего.

— Не скажи. Я знавал одного парня...— У Шомета был глухой, невыразительный голос и бесстрастное лицо человека, привыкшего спокойно рассуждать о самых страшных вещах.— Примерно твоего возраста. Ты его уже не застал... В прошлом году он тоже порезался. Пустяковая была царапина. Я ему сказал: «Я, как и ты, не люблю прогуливать. Но все-таки на твоем месте я бы пошел к врачу...» Он меня не послушался, и ему отрезали руку.

И добавил, будто вспомнил еще одну подробность:

— Правую, конечно.

Сабаса точно что-то кольнуло в поясницу.

По руке, от запястья до локтя, пробежал ток.

Глава третья

Сабас посмотрел на свою поврежденную руку, на повязку, которую наложил накануне аптекарь. Шагах в тридцати грохотал экскаватор, размахивая длинной стрелой с парой стальных челюстей. Огромная пасть механической лопаты погружалась в траншею, с рычаньем вгрызалась в пласт перемешанной с гравием глины, потом, поливая землю каменным дождем, поднималась вверх, разворачивалась на сто восемьдесят градусов, и могучие челюсти разжимались над кузовом самосвала; от железных бортов рикошетом отскакивали камни.

— Своей рукой ты еще налюбуешься. А сейчас за работу, раз уж ты сюда пришел.

Шомет был худой человек лет сорока, с морщинистым лицом; редкие тускло-рыжие волосы, в которых там и сям сквозила седина, липли к черепу. Сабас повязал поверх своего синего комбинезона защитный фартук. С грузовика только что сняли очередную партию материала, и пятеро рабочих уже принялись мазать красной краской куски металлических лесов. Шомет знаком предложил Сабасу подхватить железную раму и положить ее на козлы.

— Берешь на кисть краску — ровно столько, сколько надо, чтобы не было потеков. Проводишь кистью вот так. Мажь не густо, это тебе не бутерброд. Но покрывай всю поверхность. И не спи.

Шомет принялся было за собственную работу, но тут же спохватился:

— Тебе нужны рукавицы.

— Да ведь рука забинтована.

— Я дам тебе свои. Они, правда, толстые, но мы здесь не вышиванием занимаемся. Главное, чтобы в рану инфекция не попала. Иначе...

Шомет снова улыбнулся своей зловещей улыбкой, и Сабас вздрогнул.

«Захотела бы Лия встречаться со мной, лишись я руки?» — подумал Сабас.

Но тогда Сабас и сам не решился бы больше встречаться с Лией, потому что в наш век, когда о мужестве сказано столько громких слов,— в наш век почти не осталось мужества перед лицом уродства, смрада, слабости, старости. Пламя, когда-то зажженное человеком и когда-то возвышавшее его над убожеством плоти,— сейчас оно готово было угаснуть. Кто же вдохнет в это пламя новую жизнь? И Сабасу вспомнился друг, старый железнодорожник Корбан.

Корбан... Ему было под восемьдесят. Кряжистый старик с густой гривой и львиной физиономией, с серыми глазами под лохматыми кустиками бровей. У него были широченные плечи, и от этого он даже казался ниже ростом; мощный затылок придавал фигуре еще бо́льшую сутулость. Он ходил широко расставляя ноги, ступал твердо, но при этом словно ощупывал под собой землю: у него начинало ослабевать зрение. «Я едва вижу свои розы». Сад Корбана был неподалеку от стройки. Когда-то, в давние времена, муниципалитет предоставил любителям-садоводам по нескольку соток заболоченной земли. Сейчас почти все эти участки стали опять болотом. Корбан был одним из последних ветеранов местного садоводства.

— А ведь во время оккупации нас тут было человек тридцать, а то и сорок, и мы картошку выращивали!

— Как? Ты и картошку выращивал?

— А как же! Время было такое...

Но в войну Корбан не все свободное от работы время тратил на перекапывание огорода. И не только ради того, чтобы убедиться, цел ли выращенный урожай, вставал он тогда по ночам.

Вот почему Сабас как-то сказал Корбану:

— Мне бы тоже хотелось быть героем.

— Тоже? Почему ты говоришь «тоже»?

Сабас покраснел.

— И почему героем? Что за странные мысли!.. Думаешь, можно разгуливать с тросточкой по жизни твердя на каждом шагу: «Я хочу стать героем»? Те, кто болтает о геройстве, они-то героями никогда не становятся!

Корбан рассмеялся в свои галльские усы; несколько волосков в них еще напоминали о том, что некогда усы были пшеничного цвета.

— Ах, Сабас, Сабас! Держись ты подальше от тех, кто готов все проблемы решать с помощью пистолета! Нет, нет!... Это только в кино хорошо! В жизни все не так просто...

— Выходит, стрелять вообще никогда не следует?

— Настоящие мужчины узнаются в трудную минуту. Но иногда их можно узнать и заранее. Видишь ли, борьба — это не только стрельба. Представь себе, что завтра твой отец убивает хозяина. Что он этим докажет? Изменится ли что-нибудь в нашей жизни?

Корбан знал, что Сабас не желает повторять жизненный путь своего отца... Деревушка в сотне километров отсюда, лесопилка, где отец Сабаса разделывал древесину. Бревна, доски, брусья. Мелкое предприятие, мизерное жалованье, визг ленточной пилы, дребезжащая мелодия, злобная, смертельно опасная. Запах опилок в деревенском воздухе, перемешанный с дыханьем ручья, земли, мяты, смолы. Родительский дом — большая, выложенная кирпичом кухня на первом этаже и большая комната на втором; к комнате примыкал чуланчик, где спал Сабас. Будущее было безысходным — отсутствие всякой работы, всякой надежды. Окончив техническое училище в соседнем городке и отслужив военную службу, Сабас уехал в город, снял комнату. Хозяйка, вдова Анна, относилась к нему как родная бабушка, простая, мудрая, добрая. Он говорил ей «ты». Муж у Анны погиб в начале второй мировой войны, детей у нее не было.

Как рассказать друзьям про тот ужас, который он, Сабас, неизменно испытывает, вспоминая о лесопилке, где работал отец,— про этот ужас перед авариями, и все эти истории об увечьях, и смерть рабочего отца одного из школьных товарищей Сабаса: он спустился в машинное отделение смазать подшипники, и его захлестнуло приводным ремнем...

— Если б ты только знал, Корбан. Мне было десять лет. Зимний

вечер, я сижу над уроками. Вдруг свет гаснет, потом опять зажигается. С лесопилки доносятся возбужденные голоса. Мать бледнеет, становится белой как мел. И выбегает на улицу. Люди на лесопилке кричат: «Это Луи! Луи!» Такое страшно говорить, Корбан, но мы были счастливы, что погиб не отец. Мать обнимала меня, молила: «Только не ходи туда, только не смотри!» Кровавая каша в мешке из одежды — вот все, что осталось от Луи.

Корбан спросил:

— Ты его видел? Пошел смотреть?

— Нет.

— Правильно сделал.

— Этого видеть не надо?

— А может, и надо. Не знаю. Теперь уже сам не знаю.

— Но ты-то ведь такое видел, а? На войне. Во всяком случае, на первой...

— Ну, ну, договаривай до конца: мол, для второй ты уже был слишком стар. Я и сам это знаю И тем лучше для меня!

— Но тебя ведь наградили...

— И то верно... Сразу после Освобождения встретился я со старыми друзьями.. Честно говоря, уж и не помню толком, как все получилось Кто-то сказал, что я достоин награды. Тем более что я и в первую мировую воевал... Нечего говорят, скромность разыгрывать... Можно подумать, что ты перед товарищами хочешь выделиться... Ну вот!.. Только неохота мне сегодня опять про войну толковать да про забастовки... Рассказал бы ты мне лучше про свои дела, про друзей, про стройку...

А что расскажешь Корбану про стройку? Может, про Шомета, как он старается красить побыстрей да поэкономней?.. Шомет ничего не расходует впустую — ни рабочего времени, ни казенных материалов Порой он улыбается, и улыбка у него точь-в-точь как волосы — тусклая, невзрачная, стертая. Но за его смирением таилась упрямая педантичность. Он лез своей кистью Сабасу под самый нос, подправлял его мазки, назойливо подбирал каждую лишнюю каплю сурика, торопясь закрасить как можно больше металла. Плечи у него так ходуном и ходили, будто тоже подгоняли Сабаса: «Быстрей, быстрей!»

Сабас мог бы попросить Корбана:

— Растолкуй мне почему этот несчастный Шомет так торопится... Даже мастер от него такого темпа не требует...

— Все дело, наверно, в том, что Шомету необходимо чувствовать себя полезным.

— Да он ведь и так полезен!

— У него в жизни ничего нет, кроме малярной кисти, понимаешь? Надо же ему как-то отличиться!

— Но он этим только всех раздражает. Нет, я тебе скажу, в чем тут дело: он боится...

— Ах, черт побери, это простительно...

— Ты его одобряешь?

— А ты побывал в его шкуре? Тебе известно, как он живет дома, какая у него семья? Может, у него только и есть на свете что работа!

— А я вот все думаю, так ли уж не прав в конце концов Термоли, когда говорит, что хозяина надо вымазать суриком.. И не тверди мне, пожалуйста, что это фашистские методы! Ты все на свете объясняешь законами прибыли, а я тебе на это скажу, что хозяева могли бы получать свою прибыль не подвергая при этом рабочих смертельной опасности. И не делая из них рабов. Рабочие слишком уж терпеливы

— Терпеливы! Это достоинство.

— Ты так считаешь?

— Конечно!

— Тогда ничто никогда не изменится.

— Изменится!

— Лично я-то терпелив, Корбан.

— Ты еще не можешь знать, каков ты есть.

— Я себя хорошо знаю. Но если весь рабочий класс будет вести себя как стадо баранов...

— Стадо?..

Подобные разговоры происходили у них часто. Услышав о «баранах» и о «стаде», Корбан всякий раз начинал хохотать. Как-то вечером они смотрели по телевизору дискуссию о современном рабочем классе, который, по словам очередного оратора, «находится в стадии сдвигов и перемен». Корбан опять расхохотался до слез. Вытащил из кармана платок и, вытирая глаза, повторял: «То в стадии, то в стаде!» Потом вдруг стал серьезным, поднялся, извлек из ящика стола стопку старых газетных вырезок.

— Вот гляди, сейчас ты увидишь, что такое рабочий класс.

Похороны машиниста Жана Коклена, умершего от ожогов. Из паровозной топки вырвалось пламя, но Коклен успел затормозить, остановил поезд, предотвратил крушение. Товарищи Коклена в комбинезонах кочегаров и в белых перчатках стоят в почетном карауле вокруг гроба, утопающего в цветах.

Сто пять человек предложили отдать свою кожу, когда хирург еще надеялся спасти Коклена.

— Смотри.

Близкие друзья погибшего стоят возле катафалка. Мраморные лица, бронзовые лица, лица античных статуй, исполненные энергии и мужества, суровые, сильные, скорбные. Лица, говорящие о величии души, которая способна на все, может все вынести, всем пожертвовать, всему противостоять. Но они плачут. С высоко поднятой головой.

— Вот. Помни об этом. Мы умеем умирать, как все люди. Но мы умеем и плакать, а уж этого, поверь мне, фашист не умеет; фашисто и плачет совсем по-другому. И потом...

Его рука, в течение полувека махавшая тяжеленным кузнечным молотом, легла на плечо Сабаса.

— И потом... мы умеем смеяться. Больше, чем все другие! Лучше, чем все другие! Смеяться — вовсе не значит прятаться от сути вещей, от их подлинной тяжести.

Корбан знал подлинную тяжесть смерти, знал тяжесть труда — в цехах, на пристанях, на стройках. Непомерную тяжесть, от которой ноют самые сильные плечи и которой не выдержать слабым. Тяжесть бедности, тяжесть долгов. Знал каждодневную муку, стертые в кровь ладони, гудящую голову, знал унизительность чувства, что от тебя ускользает вкус к жизни. Корбан полной мерой познал и взвесил его, это нищее бытие, и любовь детей, и крикливый бунт тех, кто завтра первым сбежит с поля боя.

Никогда не думал Сабас, что придет и его черед встать на весы Корбана, да старик и сам об этом не думал. Человек хочет сберечь свое тело. У героев, что рисуются ему в мечтах, всегда по две ноги и по две руки. Зов мужества находит радостный отклик в молодом сердце. Но в теле Сабаса, в его раненой руке таился и смутный страх, и — рядом — огромная жажда счастья.

Глава четвертая

Среди бульдозеров и экскаваторов, в перестуке пневматических молотков и жалобных посвистах сжатого воздуха перед Сабасом воз-

ник образ Лии. Сквозь прутья металлических лесов, сверкавших на солнце красным и коричневым суриком, Сабас вглядывался в длинные и мягкие черные волосы, в высокий лоб и большие темные глаза, чуть удлиненные линиями бровей, в прямой тонкий нос — в эту золотистую маску, нежную и чувственную, которая могла показаться и грубоватой, если б не рисунок рта, изящный и четкий. Он видел ее лицо весь день, видел ежечасно, ежеминутно, несмотря на мешанину железа и цемента вокруг, несмотря на неумолчный грохот моторов. Ибо Лия жила в его глазах и в его сердце. Он находился в плену своей любви весь день, начиная с утра, когда под молодым небом казалось возможным любое чудо, а луговой, с привкусом инея воздух и даже порывы терпкого ветра со стороны химических заводов наполняли легкие радостью и будоражили кровь, и до самого вечера, когда, уходя со стройки, он уносил в душе и теле жаркий огонь, более сокровенный, чем просто желание.

Он будет видеть ее всегда, стройную, нежную, красивую, облитую утренней синевой. Сабас знал многих девушек; вокруг, между огородами предместий и заборами фабрик, жили и смеялись сотни, тысячи девушек, радуясь щедрости этого октябрьского солнца. Но Лия была единственной. Почти одного с ним роста, тоненькая и легкая, с хрупкой шеей, с узким, но крепким телом и длинными, наделенными здоровой грацией руками, она излучала сияние своих девятнадцати лет, она была для Сабаса тайной, на которую он взирал со страхом и надеждой.

Месяцем раньше, когда он работал на заводе металлоконструкций, его с двумя приятелями послали установить кованые ворота у новой церкви — на южной дороге, за кожевенной фабрикой. Церковное здание, похожее на узкую и остроносую, перевернутую вверх килем бетонную лодку, возвели на месте бывшего монастыря. За просторным газоном, между древними полуразрушенными стенами, видны были остатки монастырского парка.

Вокруг не было ни души. Скоро поднимутся здесь коробки жилых кварталов, но сейчас по соседству лежали пустые поля. Поначалу Сабас не заметил вошедшую девушку. Работавший рядом товарищ толкнул его локтем. Сабас увидел девичий силуэт, и у него сжалось сердце. Это было словно предчувствие, словно тот безотчетный страх, что пугает нас в детстве. Сабас почувствовал, что и девушка его видит. Он стоял на солнце, а она — в тени; взгляды их встретились.

Когда бригада завершила работу, Сабас пошел к широко раскрытым дверям, которые вели с паперти внутрь церкви.

— Подождите меня минут пять,— сказал он товарищам.

— Минут пять! — заголотал бригадир.— Лично мне, чтоб во всех грехах исповедаться, и дня не хватит!

— А ведь он не исповедоваться,— подхватил другой монтажник,— он послушать исповедь идет. Ну давай, мы тебя подождем, только не усни над четками.

Девушка вряд ли была местной. Сабас вспомнил, что однажды уже видел ее здесь. Сейчас она приехала в зеленой малолитражке, помятой и пыльной, и поставила ее на обочине, метрах в двадцати от церкви. Он спросил себя, что могло привести сюда девушку — так далеко от города и в середине недели. Набожность? Но ведь церковь только построили, ее еще не открыли для богослужения.

Девушка медленно шла по храму. Когда она проходила перед оконными витражами — витражи были современные, составленные из геометрических фигур и ровно ничего не изображавшие,— ее лицо всякий раз становилось другим, окутывалось бледными вихрями, лимонными, светло-оранжевыми с красными бликами. Но в этом лице,

внимательном и умиротворенном, не было и тени того неземного, сверхъестественного выражения, какое накладывает порою на лица старинное стекло с его восторженно яркими цветниками. Нет, это была вполне земная женщина нашего времени, это случайно заглянула в храм жительница гигантских городов, равнодушных и буйных столиц... Вдруг над головой раздался какой-то шум. Сабас тоже прислушался. Поскребывали коготки, постукивали клювы. Оба подняли глаза, и она опять улыбнулась Сабасу. На главной балке, поддерживавшей угол двускатной крыши, сидели голуби. Бетонные опоры устремлялись вверх, подчеркивая хмурую красоту архитектуры, ее нарочитую неотделанность, математичность. Гараж для господа бога. Девушка хорошо вписывалась в эту сопряженность жестких линий, в эту молитву шершавой и голой материи. Она была живым воплощением новых поколений, тех, что не хотят оплачивать благодать ложью и не понимают, почему красота должна перед кем-то оправдываться.

Она ни разу не преклонила колен, не помолилась, не перекрестилась. Когда Сабас увидел, что она собирается уходить, он вышел первым, еще раз посмотрев в ее сторону, скользнув глазами по витражам, по балке с голубями. На паперти она прошла мимо Сабаса, застывшего как изваяние. Казалось, ее совсем не смущало присутствие незнакомого юноши, ходившего за ней по пятам в пустынной церкви (товарищи Сабаса великодушно укрылись за апсидой).

— Как называется эта церковь? — спросила она.

— Не знаю,— растерянно пробормотал Сабас. Он был готов провалиться сквозь землю.

Она рассмеялась.

— Вы не знаете названия места, куда приехали работать?

Он почувствовал, как к нему понемногу возвращается смелость.

— А вы не знаете названия места, куда приехали погулять?

— Я здесь не гуляю.

Он не знал, о чем говорить дальше: любая его фраза могла оборвать разговор. «Вы надо мной смеетесь», «вы шутите» — все это было жалко, беспомощно. И тут его осенило:

— А я вот гуляю; только я прихватил с собой на прогулку церковные ворота и грузовик.

Глаза девушки задержались на лице Сабаса, потом на его руках — казалось, эти руки гипнотизируют ее.

— Меня зовут Лия.

— А меня — Жорж. Жорж Сабас.

Она села в машину.

— Вы в самом деле приехали сюда не ради прогулки? — спросил Сабас.

Он увидел в глазах Лии смущение.

— Да нет... Я соврала, потому что... я взяла и поехала по этой дороге просто так, наугад, и мне захотелось поглядеть на эту церковь.

Она включила зажигание. Заработал мотор. Если Сабас ничего ей больше не скажет, он никогда не увидит ее. Скорей. Найти нужное слово. В горле у него пересохло.

— Я смогу вас еще раз увидеть?

Она ответила не сразу. Эта сцена навсегда останется в памяти Сабаса. Солнце, белая пыльная дорога, уходящая вдаль, ворчанье мотора, ветровое стекло, налипшие на него крохотные зеленые кузнечики и полевые мотыльки с голубоватыми крылышками — и аромат ее духов, горьковатый и свежий медовый запах. Должно быть, так пахнут редкостные заморские деревья, их ягоды, их кора.

Помолчав, она сказала:

— Да.

Она не улыбалась. На лице промелькнуло выражение робости, губы дрогнули, беззвучно зашевелились. Потом она сказала:

— Позвоните мне Если можете, завтра

Она вытащила из-под щитка управления скомканную и замасленную гаражную квитанцию, торопливо разгладила ее ребром ладони. У нее не было чем писать. Сабас протянул огрызок карандаша, на который она, прежде чем записать номер своего телефона, внимательно посмотрела, словно в этом красном карандаше, с одного конца тонко очиненном, а с другого изжеванном, хранившем следы зубов Сабаса, таились какие-то особые свойства.

— Вот.

Карандаш она не вернула.

Сабас остался стоять на обочине. Двое его напарников вышли из своего убежища, весело замахали ему руками. Сабас снова увидел пятна румянца на чистом, ясном, одухотворенном лице.

Он не решился бы позвонить ей на другой день, и не было бы у них этих долгих прогулок по городу, и по порту, и по холмам над рекой. Не было бы в его жизни Лии, волнующей и недоступной. Не жила бы в его душе эта радостная тревога, эта любовь. Ничего бы не было у Сабаса, не поймай он тогда, в последний момент, ее взгляда, устремленного на его руки.

Договор, связавший Сабаса и Лию, подписан был в тот солнечный день, и подпись Лии незримо осталась в его руке — руке, которая сейчас все сильней и сильней наливалась болью.

Глава пятая

Лия была одна в квартире родителей, на четвертом этаже старого дома, выходившего на набережную большого города; дом когда-то принадлежал богатым судовладельцам. Время от времени она поднимала голову и поглядывала в высокое зеркало, висевшее в широкой резной позолоченной раме напротив ее письменного стола. Зеркало со временем потемнело, амальгама приобрела серебристо-дымчатый оттенок, всю поверхность стекла усеяли мелкие оспины и точки, они собирались в причудливые узоры, сплетались в крохотные венки, вытягивались длинными шлейфами; внутри стекла смутно мерцали созвездия пузырьков. Искаженное неровностями стекла, лицо прихотливо менялось, словно отражаясь в зыбкой воде; оно казалось то совсем юным, то слишком взрослым. В этом лице и на самом деле — не только в зеркале — сквозь полудетское выражение проступала порой некоторая жесткость; но все черты его были живыми, чувственными, трепетными — веки будто присыпаны голубоватой золой, четко очерчены полные губы, щеки утратили простодушную округлость, в глазах вспыхивают голодные искорки.

«С квартирой нам слава богу, повезло,— говорила мать.— Шутка ли, найти жилье в таком приличном квартале! » Она не решалась произнести «в буржуазном квартале», слово «буржуазный» представлялось ей неточным узким по смыслу, даже немного смешным. Для того чтобы обозначить то вполне определенное общественное положение которое, разумеется, нельзя было назвать аристократическим, но которое все же возвышало человека над убожеством толпы, нужно было иное слово, лишенное претенциозности, деловое и точное. Такого слова, наделенного всеми необходимыми оттенками, в языке, к сожалению, не было, его еще предстояло изобрести. И поневоле свою социальную принадлежность мать Лии определяла термином

«из буржуазии». Для дочери это тщеславие было лишено смысла. Круг знакомств матери и отчима составляли именитые провинциалы, чьи доходы раз в десять превышали жалованье простого рабочего. Это не было ни богатством, ни даже независимостью, но эти люди предпочитали не замечать, что и они не меньше рабочих привязаны к месту, опутаны расписаниями, обязанностями, графиками.

Лия перевела взгляд на окно, посмотрела на реку, увидела широкую ленту воды, пассажирские пароходы, длинную линию набережных,— ох, поскорей бы наступил вечер, поскорей бы вспыхнули вдоль набережных нескончаемые вереницы огней! — увидела промышленные пригороды на той стороне, а еще дальше, на горизонте, цепочку холмов, где сегодня вечером она будет гулять с Сабасом.

Было пять часов. Жара несла с собою дыханье воды, асфальта и древесины из корабельных трюмов; к ароматам винных складов и не умещавшихся на рыночной площади спелых плодов примешивался густой рыбный дух; тянуло землей, погребами, селитрой; в этом смешении запахов было нечто тревожное, колдовское... На столе в беспорядке валялись книги, конспекты лекций. Лию тошнило от этого школярского хлама. Жить, жить... Она уже провалила свой первый экзамен на степень лиценциата. У нее никогда не хватит мужества пройти весь путь до конца, добиться места преподавательницы английского языка. Занятия стали для нее просто предлогом, удобным способом хоть чем-то заполнить день в пассивном ожидании удачи. Попытать счастья на поприще секретарши? Но для этого тоже надо учить множество скучных вещей, зубрить бухгалтерию, стенографию. Лия не тратила слишком больших усилий на то, чтобы навести необходимые справки. Она знала, ей нужно бросать факультет и поступать в какое-нибудь специализированное училище. Но при одной мысли об этом ее охватывало унизительное чувство, будто она уже сунула шею в ярмо канцелярской каторги. Если б у ее родителей были какие-нибудь связи!.. Но мать, выйдя после развода вторично замуж, убивала все свое время на провинциальные светские развлечения, годные разве лишь на то, чтобы пощекотать собственное тщеславие. Отчим, почти уже старик, шестидесятидвухлетний врач, состоял членом десятка местных обществ и ассоциаций, где и просиживал все вечера и все воскресные дни за аперитивами в компании столь же торжественных старцев. Нет, это было чистым безумием — похоронить себя заживо вдали от Парижа; теперь она была в этом совершенно уверена. Но она хранила в душе нежность к этому портовому городу, где родилась и где многое напоминало ей о чудесной поре раннего детства.

Она села в машину и поехала через город к месту встречи с Сабасом. Мать и отчим знали только часть города — порт с примыкающими к нему службами, морские доки, сухой док (ежегодный грузооборот пять миллионов тонн, говорил кто-то из друзей отчима), рестораны, банки, гостиницы, торговые палаты, биржу, местные блюда. Музеи, сокровища искусства, алтарь XV века в часовне Богоматери-с-Розой. Но еврейка Мириам, ее младенец, обреченный кресту, ее роза скорби и радости — для торговцев и биржевых агентов, верующих или безбожников, это были только слова. Их мысли были поглощены цифрами. Их город состоял из контор, академий, складов, лавок, лабораторий, больниц и кладбищ. Потом шли заводы. И уже совсем далеко, в чуждых, непостижимых мирах, пятнами звездных туманностей мерцали едва различимые их глазу рабочие предместья.

Путь Лии лежал к предместью, где работал Сабас. Оно находилось в десяти километрах от города, вдоль железной дороги, что шла на восток. Сортировочная станция изменила судьбу этих мест, где ря-

дом с завалами железных конструкций еще паслись коровы, а в прудах гулко квакали лягушки.

Ей предстояло открыть для себя мир Сабаса. Этот мир лежал у нее перед глазами на дальнем краю предместий — рельсы, бегущие по равнине, заводы по всему горизонту. Люди — бетонщики, рабочие кожевенных фабрик, заводов жидкой углекислоты. Каменщики, землекопы. Мир, пронизанный жаркой жаждой жизни, красный, пылкий, живой мир. Поистине прекрасный мир, очень трудный для понимания, весь утыканный шипами унижений и забот.

Сабас завершал свой рабочий день. Кончалась неделя его работы на стройке. За шесть дней он словно влез в шкуру другого человека — человека с натруженными до боли мускулами. После возвращения с военной службы он нанимался на самую разную работу — был рассыльным, помощником электромонтера, заправщиком на бензоколонке, продавцом в магазине, мойщиком автомобилей. Он не терял надежды, что найдется в окру́ге предприятие, где начальник отдела кадров сразу поймет, на что он, Сабас, способен. Говорят, есть особые электронно-вычислительные машины, они безошибочно отбирают кандидатов и могут направить Сабаса на такую работу, которая будто создана для него, и тогда перед ним откроется прямой ясный путь. Но машина, по-видимому, была еще не налажена. Пришлось довольствоваться объявлениями о найме. Так он попал на завод металлоконструкций, что на правом берегу реки. Когда предприятие заключило контракт на строительство сортировочной станции, Сабас попросился на стройку: там платили немного больше.

Его новые друзья пришли на стройку раньше, чем он, они прибыли из далеких краев — с юга Европы, из Африки. У них было время лучше познакомиться с тем общим планом, согласно которому рыли здесь котлованы, возводили насыпи, копали траншеи, заливали площадки бетоном, сваривали балки, прокладывали кабели. Они лучше, чем Сабас, знали имя и назначение каждого архитектурного элемента, каждой детали, инструмента, машины. Но то главное, чем определялась здешняя жизнь, Сабас понял сразу: на стройке господствовала сила. Сила не только физическая, нет; прежде всего — самая главная сила на свете. Сила души, способность терпеть — и продолжать свое дело.

Шомет не выпускал из рук малярную кисть до самой последней секунды рабочего дня. Он замечал, как время от времени лицо Сабаса искажается в судороге, и юноша вздрагивает, точно от холода.

— Может, тебе от краски нехорошо?

— Не знаю. Я вдруг будто замерз.

— Не спеши, успеешь еще намерзнуться зимой!

Оба пошли к выходу. Невдалеке от проходной их нагнал какой-то человек. Он показался Сабасу смешным — коренастый, низенького роста, лет шестидесяти, с маленьким брюшком, с лицом круглым и, несмотря на явную печать усталости, неуловимо жизнерадостным; вокруг лысины топорщатся венчиком короткие волосы; изможденный, бледный, даже вроде бы и смиренный, но в бойких движениях проглядывает веселая заносчивость. При виде его даже у Шомета разгладились морщины — а морщины у Шомета словно вырезаны ножом на сыромятном ремне.

— Подумаешь! — воскликнул незнакомец.— Зимой! Мне, доложу я вам, как-то пришлось работать в горных отелях! Люди приезжали туда, чтобы купить себе холод! Платили миллионы только за то, чтобы поглазеть на снег! Ночью термометр показывал двадцать градусов ниже нуля! И они были довольны! Женщины говорили: «Ах, понимаете, это полезно для здоровья, надо себя закалять...» И ехали в

Лапландию! В швейцарских горах им не хватало холода, особенно после дансинга! Для богачей холодов не существует!

— Гляди-ка! — сказал какой-то парень, шедший за ними следом.— Агульпа снова про богачей завел!

Агульпа пожал плечами. Он оглядел Сабаса с ног до головы, что-то пробурчал себе под нос и, разрезая толпу, устремился вперед. Следом за ним словно эхо разносило: «Богачи, богачи».

В самом конце посыпанной шлаком тропинки, возле железнодорожного переезда у пригородной станции, темно-зеленым пятном на фоне кирпичной стены выделялась машина Лии. Девушка сразу увидела забинтованную руку.

— Что с тобой?

— Да так, ничего.

— А все-таки?

— Пустяки, уверяю тебя.

Он не хотел, чтобы она его жалела. Их дружба казалась ему слишком хрупкой. Это был сон, и любое неосторожное движение могло развеять его.

Глава шестая

Предместье осталось позади. Машина пересекла город, освещенный первыми огнями и запруженный вечерними толпами, проехала по мосту над рекой. Между крутым береговым откосом и грядою холмов дремали под сенью магнолий богатые виллы. Дорога шла вверх мимо приземистых стен, испещренных лишайником. Зонтики кедров были чернее таившихся под ними теней. Дорога карабкалась на косогор, ныряла в длинные туннели листвы. И наконец — горстка домов на плато, бледные пятна фасадов, протянувшихся цепочкой вдоль гребня холмов или разбежавшихся по сторонам, повинуясь причудам рельефа, и церковь, нависшая над оврагом, и внизу, вдалеке, широким ковром в чешуйчатых блестках — город. Лия любила этот уголок, незримо питавший их нежность, любила эту нетронутую деревню, которую почему-то пощадила северная автострада.

Сухие травы вокруг и полная тишина. Бледная осенняя синева дарила последние отсветы пыльным лентам дорог; на востоке ясное предзимнее небо наливалось густой темнотой, а запад светился зеленым нефритом, окаймленным полоской докрасна раскаленной золы. Несколько изогнутых сосен чернели на фиолетовом фоне. Растрепанные лоскутки черных, как аспидная доска, облаков нервной чернильной штриховкой оттеняли светлую гавань заката.

Вот уже месяц, как Сабас познакомился с Лией. Но им казалось, что прошли годы. Их дружба складывалась из невнятной сумятицы чувств и признаний, которые оседали в душе, образуя крепчайший фундамент, способный выдержать все — всю их жизнь.

— Как ты поранился? — спросила Лия.

— По оплошности. И из трусости.

— Из трусости?

— Да.

Оба неподвижно застыли — две чуткие лодки в стоячей воде вечернего безмолвия.

— Мне нужно было на минуту задержаться и надеть рукавицы, только и всего, но я этого не сделал. Почему? Мастера побоялся? Но тогда, значит, я всегда буду бояться, всегда и всего.

— Тут ты не одинок,— сказала Лия.— Назови мне тех, кто ничего не боится. Их по пальцам можно пересчитать. Остальные живут в страхе — с постоянной оглядкой, что́ скажут о них другие. Чтобы

пойти наперекор условностям, нужна смелость. Самая большая смелость.

— Лия... Ты всегда говоришь мне о смелости...

— А ты можешь быть смелым?

— Могу, наверно. Но и струсить тоже могу.

Теперь его стройка была на дальнем краю темноты, в десяти километрах вниз по реке, но долина, словно гигантская раковина, доносила сюда приглушенный гул поездов. Среди опустевшего к ночи пейзажа высились, как часовые, заводы. Вечером, покидая стройку, люди оставили на рабочих местах свои пластиковые каски, белые, синие, желтые, красные. Опасные зоны, места, которые нельзя загромождать и топтать, участки, через которые проход запрещен, выходы трубопроводов и кабелей были отмечены вбитыми в землю разноцветными полосатыми кольями. В иных местах три таких колышка, составленные вместе и соединенные сверху, точно оружие в козлах, ограживали кран сжатого воздуха или штепсельное соединение. На верхушку этих импровизированных козел кто-нибудь из рабочих — наверно, ветеран какой-то из войн — непременно водружал свою каску. Там и сям горели костры; на стройках костры горят даже летом — чтобы разогреть котелок с едой и заодно избавиться от остатков деревянной тары, от пустых картонных коробок или прохудившихся автопокрышек и древним ритуалом живого огня отметить исконную мужскую дружбу, что завязывается между людьми, когда они работают, борются и умирают вместе. Костры из упаковочных ящиков, костры из балок и шпал, из досок, сучьев, из пней. Одни пахнут дегтем, другие смолой, сухими листьями, подгнившим деревом или резиной. Сабас угадывал их пламя в ущельях ночи. Он принес с собою их запах — тот запах боли и борьбы, который для Лии был самой сутью, плотью Сабаса, был знáком тайного стремления, смутной, но могучей воли, завораживавшей ее. Эта воля была сильней и больше Сабаса, но она была ему по плечу.

— Лия, мне часто бывает страшно оказаться трусом.

— Страшно оказаться? А я много раз бывала трусихой.

— Для мужчины это страшнее.

— Нет. Просто для вас это нечто другое. И смелость вам нужна, наверно, тоже другая... Но за что ты так себя казнишь?

Сабас перевел взгляд на цепочку кедров и кипарисов, которая окаймляла крохотное кладбище, притулившееся над обрывом у церкви. Он ощущал волшебство, которое таилось в этом пейзаже, в подсиненных луной могилах, в каждом дереве, в каждом кусте. Глядя на темное крыло лиственницы, нависшее над изгибом холма под молчаливым небом, он впитывал острое, физическое чувство покоя. Ему хотелось оказаться сейчас там, на кладбище, уткнуться лицом в усыпанную хвоей траву — и попросить у покойников помощи, чтобы найти те единственные слова, которые облегчат сердце.

— В своей жизни,— сказал Сабас,— я часто малодушничал. Например, не делал чего-то, что обязательно надо было сделать, или, наоборот, из желания угодить делал что-то лишнее, необязательное. Все это, конечно, мелочи, но ведь в таких мелочах-то и проявляется характер. Бывало, я улыбался из лести... Да, да, нужно быть вежливым, я это знаю, но где грань между вежливостью и подхалимством? Порой я слишком много болтал, а иногда, напротив, отмалчивался — и как раз тогда, когда непременно надо было высказать свое мнение, даже с риском показаться нелепым, смешным... Ты не можешь себе представить, как это меня всегда мучило. Но самое страшное — отступничество. Ведь так легко — отступиться, отречься. А потом... Однажды мне показалось, что я отрекся от своей любви, от любви к ба-

бушке, потому что она лежала мертвая, а я не решался ее поцеловать.

— Ты боишься смерти?

— Смерти или мертвецов — сам не знаю...

Это было в Пердигоне, где Сабас провел свое детство. Настал день, когда мальчику надо было поцеловать холодные щеки бабушки, отцовой матери, которая лежала под белыми простынями с вложенным в руки распятием и с веткой букса у изголовья. Обычай подводить детей к смертному одру уже отходил в прошлое. Мать Сабаса вступилась за мальчика перед отцом: «Сейчас другие времена. Думаешь, это пойдет ему на пользу?» — «Ты пойми,— ответил отец,— ведь все равно ему придется рано или поздно это узнать».— «У него еще есть время...» — «Полно тебе! Вот эти твои разговоры на него и действуют. Да ты погляди вокруг! Жизнь преподносит нам столько ужасов, а мы не находим в себе мужества сказать последнее прости людям, которых мы любим?» — «Это разные вещи».

Отец страшно побледнел. Не говоря ни слова, оттолкнул стул, сжал кулаки. Казалось, еще миг — и он грохнет по столу, все кругом разнесет. Но сдержал себя. Потом сказал: «Он пойдет».

Войдя в комнату, где лежала покойница, Сабас помертвел. Хотелось кричать. Но он подошел и приложился губами к мертвому лицу. За теплый свет, который он увидел тогда во взгляде отца, он готов был тысячу раз отдать жизнь.

— Видишь, Лия, нужно было, чтобы кто-нибудь учил меня смелости.

— Но у тебя ведь был такой человек...

— Так же, как у других...

— У тебя был отец... А мне пришлось учиться самой... Учиться самому главному.

— Что ты называешь самым главным?

Она открыла сумочку, вынула карманный транзистор, включила на малую громкость, положила на землю.

— Существовать!

— Разве ты не существуешь?

— Конечно, существую. А ты — живешь...

Лия перевела звук на полную громкость. Их окутал женский голос; сопровождавшие певицу инструменты разбрасывали вокруг ее крика мелкие брызги дрожащих, похожих на слезы, нот. Не убавляя громкости, Лия дослушала мелодию до конца, и когда, захлебнувшись в круговороте электрооргана, стон женщины наконец отзвучал, выключила транзистор; последний аккорд несколько раз ударился убывающим эхом в стены ночной темноты и растворился в жалобе ветра за дюнами.

— Ах,— вздохнула Лия,— к счастью, на свете есть музыка... Как я хочу петь! Кажется, жизнь бы отдала...

Сабас слегка повернул голову, и лунный луч обнаружил на ее затемненном лице вспышку смятения и тревоги; голос умолкшей певицы был густ и горяч, словно кровь — кровь угнетаемых и непокорных народов.

— Лия... Ты хочешь петь! А я хочу быть героем... Я ни за что не решился бы тебе сказать, если бы не эта ночь вокруг нас...

Высоко в небе пылало созвездие Лебедя с его прекрасной желтосиней звездой, справа тяжелым алмазом сверкала Вега, и Млечный Путь зыбким шлейфом падал на темную землю.

— Да, героем...— продолжал он.— Но где в наши дни найти сражение, в котором станешь героем... Или я просто не умею его отыскать? А может, оно идет где-то очень далеко? Я не люблю сумасброд-

ных выходок, не люблю ничего нарочитого. Я работал на заводе, а на стройку пошел, чтобы себя проверить, но, оказывается, это все не то... Нас на стройках миллионы, и никто не считает нашу работу подвигом. Ах, Лия... Мне все кажется, что существует какой-то другой героизм, и я стараюсь его найти... Как, каким образом доказать свою верность тому, что мне дорого? Когда я впервые увидел, как мой отец работает на лесопильне, когда я осознал, насколько он беден, я вдруг услышал голос — не могу подыскать другого слова, да, это был именно голос, и этот голос сказал: «Не отрекайся! Никогда! Не будь ренегатом!» Но я хотел не только оправдать тяжкую долю отца. Нет! Я хотел, чтобы в мире, в нашем рабочем мире нашлось место для гордости и для радости... Ты можешь мне не поверить, но я начал думать об этом уже с одиннадцати лет...

— Быть героем,— прошептала Лия.— Каким же героем хотел ты стать?

— Не знаю, как тебе объяснить... Конечно, как все мальчишки, мечтал о подвигах, о приключениях. Но больше всего мне хотелось выразить, как прекрасен наш мир — мир заводов и фабрик! Я чувствовал, что это — мой долг. Это было как наваждение... На улицах меня вдруг охватывало чувство восторга — в любую погоду, в солнечный день и в туман, все равно!.. Я шел по предместью и думал: «Родится ли когда-нибудь гениальный художник, который сумеет показать наши улицы в истинном, радостном свете?» Потому что самому мне никогда не удается найти нужные слова.

Глава седьмая

Лия довезла Сабаса до дома Анны, где он снимал комнату; когда машина отъехала, всю его руку, от кисти и до плеча, даже до шеи, вдруг пронзила острая боль. Он хотел окликнуть, вернуть девушку, но огонек машины уже исчез за углом. Он закрыл за собой дверь, прошел через крохотную кухню и, даже не взглянув на еду, которую оставила для него Анна, поднялся к себе наверх. Не раздеваясь, сел на кровать, чувствуя, как на него наваливается дурнота; попробовал осторожно пошевелить пальцами. Но от мучительной боли рука совсем онемела и не хотела слушаться. Его лихорадило, сердце колотилось учащенно и сильно. Стены комнаты легонько покачивались перед глазами. Не поднимаясь с места, он увидел в зеркале свое отражение. Портрет узника, который напряженно прислушивается, не грядет ли освобождение. Чтобы хоть как-то оживить унылую комнату, Анна повесила возле кровати репродукцию. Картина старого голландского мастера была проникнута колдовским чувством ожидания. Меж тем на ней была изображена просто женщина, моющая тротуар перед своим домом — этой женщиной могла быть мать Сабаса,— на фоне красных кирпичей, низкая перекладина над дугообразными окнами тоже выложена была из кирпичей, плотно подогнанных к кладке фасада; другая женщина, немного постарше, в белом чепце и белой шали, сидела у порога и что-то шила. Жар обострил у Сабаса все чувства — перед глазами возникла на мгновение картинка с принцем, выставленная в старой портовой лавке. Когда Сабас болел, ему всегда представлялось, что он дотрагивается кулаком до некой таинственной двери; отвори он ее, и разом получат свое объяснение все мучившие его проблемы — бедность отца, изувеченные и погибшие на лесопильне рабочие, все мытарства бедняков, их гнев и их мощь, и жгучая гордость его отрочества, и тяжкий труд на грохочущей стройке; ему хотелось обладать нынешней своей двадцатилетней силой — и мудростью старого Корбана. На столе лежала га-

зета. «В наши дни,— кричал со страницы объявлений большой заголовок,— каждый молодой человек может посетить Нью-Йорк». И дальше — текст: «Да, да, для вашего папочки в пору его молодости было целым событием поехать в Ниццу...» К горлу подступала тошнота, и не только от боли и жара, но и от этих рекламных мерзостей. «Для вашего папочки...» Сабас никогда не позволял себе подшучивать над отцом; не делали этого ни Абилиу, ни Термоли, ни Небузен, и вообще никто из парней с их рабочей окраины; не живи в их сердце сыновняя любовь и сыновняя гордость, они умерли бы от отвращения к самим себе. Горечь своей судьбы здесь несли высоко, точно знамя «Каждый молодой человек ..» Хуже всего, что это говорится с самыми лучшими намерениями, и эти слова не лгут, каждый и вправду может поехать в Нью-Йорк; вопрос ведь в том, как жить здесь, дома, не отправляясь на другой край света за богатством в кредит. Решение всех проблем лежит не за морем, а здесь, в этом обществе, которое переполнено молодежью, как воз картошкой, и где молодежь в поисках работы уповает только на счастливый случай, и читает объявления о найме, и обивает пороги контор,— здесь, в этом обществе, где верховодят жалкие краснобаи и где, глумясь над всеобщей бедой, пляшет диковинный карнавал благосостояния и комфорта.

Вдали, на западе, висело над горизонтом мутное зарево. Город. Теперь Сабас знал его лучше, чем прежде.

В дверь постучали. Анна. На ночную рубашку наброшен серый грубошерстный халат, он очень идет к ее нежному лицу, облагороженному морщинами, к ее седине. В молодости Анна была удивительно хороша. Ей было не больше двадцати пяти лет, когда погиб ее муж погиб от гитлеровской пули, отдал жизнь за Париж, в котором Анна ни разу в жизни не была. Вот так-то. «Я непременно должна побывать в Париже до того, как...» Конечно, Анна может побывать в Париже. В Нью-Йорке с газетных страниц тоже, наверно, кричат заголовки: «В наши дни каждый молодой человек может посетить Париж...» Анна была дочерью крестьян, людей очень бедных — и очень крепких; стальной корсет, в котором держала каждодневная тяжкая работа, помогал им, поддерживал, не давая расслабиться. Так она научилась мягкости и непреклонности.

Анну разбудил жалобный голос Сабаса:

— Мне больно, Анна, мне больно...

Со стоном он размотал повязку. Разрезанные пальцы страшно распухли. Сабас даже закрыл глаза. Но тут же заставил себя посмотреть. Опухоль захватила всю кисть, она уже подбиралась к запястью. И потом этот запах Он побледнел еще больше. Этого запаха он в жизни ни разу не слышал, но выработанный веками войн и сражений инстинкт подсказал, что от его молодого тела исходит запах смерти.

Он смотрел на Анну с той страстной мольбой, какая рвется из сердца мужчин, разбитых, размолотых, изувеченных машиной войны или машиной индустрии, когда женщина с состраданием склоняется над их ранами и они опять, как когда-то, ощущают себя маленькими детьми и ищут у нее защиты, словно у матери,— пусть даже она не сможет их вылечить, они с надеждой тянутся к ней, к живущей в ней жизненной силе... Он простонал:

— Анна, Анна, ты думаешь, это серьезно?

Она положила руку ему на лоб.

— Конечно нет. Но все равно надо вызвать врача. Посиди спокойно, я скоро вернусь.

Она побежала в кафе, расположенное на площади, в полукилометре от дома, разбудила хозяина, который давно уже спал, позвонила врачу.

Через четверть часа пришел врач, человек лет шестидесяти, высокий, молчаливый, быстрый в движениях, с усталыми от бессонницы глазами под седыми кустиками бровей и с густой посеребренной шевелюрой. В предместье хорошо знали этого старого волка, с его серой мастью, с его размеренной быстротой сильного зверя. Он долгие годы играл в местной команде регбистов, но пациентов становилось все больше, и ему давно уже не удавалось выкроить ни одного свободного дня. Его картотека представляла собой богатейший обвинительный материал. Здесь были зафиксированы все виды увечий, полученных в результате производственных травм, здесь были ожоги, ущемления и переломы, здесь были раны, в которые попала инфекция, были искривленные позвоночники, были деформированные из-за поднятия непомерных тяжестей кости, были руки и ноги, изуродованные из-за непосильного темпа работы, из-за отсутствия элементарной техники безопасности. Варварские условия найма, нищенская заработная плата, кошмары жилищного кризиса... Вот уже более четверти века вел он свою бесконечную хронику, а теперь ко всем этим традиционным бедствиям прибавились новые невзгоды: предельная нищета иностранных рабочих, этих неприкаянных изгнанников, этих пролетариев вдвойне, и немыслимые лишения, которые они терпели и которые они сами к тому же усугубляли, пытаясь отложить хоть какие-нибудь гроши на черный день. Прибавлялись новые формы инфекционных заболеваний, все более распространялись психические расстройства...

— Так. Расскажите, что же с вами случилось.

— Я порезался стропом. Я работаю на стройке стропальщиком.

Слова «строп» и «стропальщик» были, конечно, знакомы врачу; Сабас подумал также, что рана достаточно красноречиво говорит, как все это случилось, но докторский взгляд был настойчив, и Сабасу пришлось объяснять:

— Строп — это стальной канат для подъема грузов подъемным краном.— Он наклонился и раненой рукой показал, как обвязывают стропом связку металлических балок.— Груз лежит на земле, на двух клиньях. Трос нужно пропустить снизу. Если это простой строп, у него на двух концах есть специальные скобы, их нацепляют на крюк мостового крана. А у меня трос был без концов и без скоб, ну, вроде застегнутого на пряжку ремня. Чтобы груз не сорвался, такой строп нужно складывать вчетверо. То есть сперва вот так, вдвое...

По этим движениям опытный рабочий все сразу поймет, даже на расстоянии, схватит чутьем, инстинктом, а словами тут мало что объяснишь. Таким вещам учишься, что называется, мясом и кожей... Истертый металлический пояс, весь крученый и перекрученный, и злобная скоба, которую надо обуздать силой запястья, чтобы сложенный вдвое трос проскользнул под брусьями профилированного металла, а потом зацепить скобу за крюк и убедиться что груз закреплен прочно. Сабас даже сейчас ощущал ладонями колючее коварство этого троса.

— Понимаете, в принципе полагается применять новые стропы, прямые, не перекрученные, словом, в хорошем состоянии. На них должна быть опознавательная муфта. Надо их вешать на раму, не допускать, чтобы они валялись на земле. При обрыве нескольких волокон весь жгут надо выбрасывать как негодный. Но ведь вы сами знаете: когда спешишь, хватаешь то, что у тебя под рукой.

— Я понимаю.

Сабас никого не винил, и доктора это не удивляло. Опыт давно научил его ничему не удивляться. Молодые мгновенно вспыхивают и бунтуют, когда речь идет о несправедливом устройстве мира, но со-

вершенно не умеют оценить свою собственную судьбу, не в состоянии распознать, кто именно и почему их калечит и убивает.

Доктор вслух размышлял:

— Это не укол кабельной проволокой. Это настоящий разрез. И ущемление.

— Сперва я почти ничего не почувствовал. Только протащил строп под грузом — и меня будто проволокой царапнуло. Крановщик как раз в это время стал поднимать стрелу, чтобы проверить, как натянут трос. Он-то думал, что руку я уже убрал. Но он тут же дал задний ход, и я высвободил руку.

— Все это так, но надо было немедленно обратиться к врачу.

— Я пошел к аптекарю.

— Нужен был врач.

Сабас не ответил. Рассказывать, что у него не хватило бы духу вернуться на стройку, прохворай он неделю? Опять подступила тошнота. Он отвернулся, посмотрел в окно. Завод по выработке серы, вокруг него синие холмы окиси — у рабочих синие руки, синие лица,— купоросные ручьи, фабрика минеральных удобрений, воткнутая в небо труба окутана белым туманом, который воняет пережженной грязью.

— Вам надо сейчас же ехать в больницу.

Сабас вздрогнул.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Я отвезу вас на своей машине. Нужно показать руку хирургу.— И, обращаясь к Анне, добавил: — Пожалуй, ему стоит взять с собой вещи.

Анна тут же стала укладывать чемодан. Пытаясь прочитать правду в глазах врача, Сабас спросил:

— Нужна операция? Немедленно?

— Это решит хирург. Надеюсь, это не очень серьезно.

Сабасу вспомнились вдруг слова Шомета: «В прошлом году один парень вроде тебя...»

— Доктор, а мне не отрежут палец?

Спросил, а в голосе бился вопрос: «Мне не отрежут руку?»

Нет, нет, невозможно, такого не может быть, нельзя, чтобы ему отрезали руку. Он уже был солдатом, он не будет калекой. Кругом только и слышишь что о войне, о революции, но остаться без руки — такого не может быть. Стать увечным, стать на всю жизнь инвалидом — нет, нет, невозможно. Этому нельзя поверить, с этим нельзя примириться, такую возможность нельзя допустить — нельзя даже в беседе с самым близким товарищем, с которым тебя связывает боевая мужская дружба, нельзя даже на войне, даже ночью, в задушевном разговоре, когда голос сердца рвется на волю, когда клокочет в словах суровая честная правда. Бой, запах солдатского пота... Упасть, обливаясь кровью, и проснуться в эфирных парах... Свалиться на землю, тянуться воспаленными губами к луже, чтобы глотнуть этой грязной воды после многочасового изнурительного перехода в нестройной толпе товарищей, упасть, умереть, если нужно,— это, наверное, просто, когда все вокруг рушится в едком дыму... Но сейчас...

Врач все еще стоял, склонившись над раной. Он знал, что больные никогда не догадываются об уловках врача, который отворачивается и медлит, чтобы взять себя в руки и не выдать истинных чувств; но даже сейчас, имея за плечами долгие годы врачебного опыта, он порой удивлялся, как ему удается сохранить на лице непроницаемое выражение. Случай запущенный, положение очень опасно. В рану попала гнойная инфекция. Если начнется заражение крови, Сабас не доживет до конца недели. Это могло быть и тяжелой формой флег-

моны, тоже грозящей фатальным исходом, даже при срочном оперативном вмешательстве и активном лечении. Если молодой человек и останется жив, все равно ему грозит серьезное увечье.

— Поехали.

Глава восьмая

В ночь, когда хирург вскрыл у Сабаса руку, разразилась гроза. На полчаса пришлось даже включить вспомогательное освещение, потому что молнией повредило электричество в трех соседних коммунах. Буря внезапно налетела на город со стороны моря и почти сразу ушла дальше. Когда Сабаса вели в операционную, в парке, ломая деревья, еще бесчинствовал арьергард ветра. Но ярость стихии подействовала на Сабаса благотворно. Он бездумно вслушивался в дрожащий ропот ветвей, окружавший больницу точно дыхание океана. Наутро от ночного бесчинства природы не осталось следа. Листья деревьев и посыпанные песком аллеи снова выглядели по-весеннему молодо под синим небом, и, глядя на эту чистую синеву, хотелось радоваться жизни, припасть умиленно к земле, отправиться в горы, уехать к морю и умереть от счастья на ласковом пляже. Доведется ли ему когда-нибудь еще раз увидеть такой ослепительный день? Ему казалось, что синева, бархатная, хрустальная, бездонная, с каждым часом менявшая свои оттенки,— что эта бодрящая и умиротворяющая синева тоже знак судьбы.

Когда Лия вошла в палату, пробившийся сквозь занавеску солнечный луч гладил Сабасу волосы, и они из каштановых стали вдруг золотистыми. Она остановилась, потом шагнула к нему. Он увидел фиолетовые тени у нее под глазами и понял, что она плакала. Анна позвонила ей и все рассказала.

— Жорж, ты весь вечер пробыл со мной и ничего не сказал!

— Тогда мне не было больно, Лия...

— Как думаешь, тебя скоро выпишут отсюда?

— Не знаю. Я предпочитаю об этом не думать.

— Почему?

— Э!..— Он посмотрел на больную руку.— Потому что я снова окажусь перед кучей все тех же проблем, только еще более сложных.

— Да полно тебе!.. Ты обязательно найдешь работу.

— Какую работу? Особенно если рука останется искалеченной... Но и это еще не самое страшное. Я вообще не вижу для себя ничего интересного в жизни.

Вошел врач, совершавший в сопровождении сестры утренний обход.

— Вам повезло. Не будь антибиотиков, вы бы пропали. Как это вы умудрились ходить с такой рукой на работу и не обратились к врачу?

— На стройке каждый день режешь руки. Я думал, заживет... А рука вдруг стала пухнуть...

— Каких-нибудь несколько лет назад...

Врач не закончил фразы, сказал: «Лежите» — и продолжал обход. Десять лет спустя после второй мировой войны, когда Сабас только родился, людям отрезали руки и ноги из-за пустячной царапины, они умирали, уколовшись рыбьей костью.

Дверь опять отворилась, в проеме появился Корбан. Он улыбнулся Сабасу, приветственно помахал рукой и тотчас повернулся, собираясь уходить.

— Оставайся, Корбан!

— Нет, нет! Я тебе помешал. Приду после обеда.

Лия остановила на старом железнодорожнике долгий задумчивый взгляд, и в глазах ее промелькнуло выражение, которого Сабас никогда прежде не видел.

— Он вас ждал, мосье. Он мне только что о вас говорил.

Корбана трудно было обмануть, но жизнь научила его различать, когда тебе лгут из любезности, а когда эта ложь продиктована искренним уважением.

— Уверен, что он не ждал меня так рано! Но раз вы настаиваете...

Лия хотела уступить ему кресло, но он придвинул к себе белый лакированный стул.

— Э, да ты стал важной птицей! Лежишь один в роскошной палате. И все из-за несчастной царапины! Не стыдно тебе? Да,— протянул он, подкручивая усы,— сразу видно, что ты не воевал под Верденом!

Глаза у него смеялись.

Сабас поднял забинтованную руку.

— В твое время, Корбан, даже инвалид мог принести какую-то пользу...

— Мог, да только их всех очень скоро забыли.

— Но они-то сами отлично все помнят... И не спорь ты, пожалуйста! Вот у нас в Пердигоне... Отец всю свою жизнь слышал про войну четырнадцатого — восемнадцатого, а я — про Сопротивление...

— Ты что же, хочешь войны?

— Я сам не знаю, чего хочу, а может, и знаю, да не умею выразить. У меня есть мечта! И в ней ничего смешного. Я думаю, что каждый в глубине души мечтает об этом... Небузен, ты тоже здесь? — удивленно воскликнул Сабас.— Я и не заметил, как ты вошел.

— Он опять о мечте? Рассказывает вам свои мечты? Да ведь ты и сам не знаешь, какие они у тебя, эти мечты,— заявил Небузен, уставясь на Сабаса черными глазками, и его полные фиолетовые губы скривились в усмешке.— Представьте себе,— обратился он к Лии. Он, наконец, заметил ее и теперь нагло разглядывал ее ноги,— представьте, стоим мы как-то на бульваре, кругом огни, рекламы, витрины, смотрим на центральный вокзал, и вдруг он нам говорит: «Вы слышите музыку?» — и начинает плакать.

— Эх, черт возьми! — хрипло проговорил Корбан.— А со мной-то что было, когда я проездом с фронта увидел Париж! У нас в эшелоне все были деревенские... Все так разволновались...

Он вырос среди людей сдержанных, не привыкших выражать свои мысли и чувства; он знал, что они терзаются своей немотой, и вызревающие в них меткие и правильные суждения требуют, чтобы их сформулировали, знал, что в них живет законная мужская гордость и глубокое целомудрие, предать которое было бы кощунством.

По гравию аллеи прошуршали велосипедные шины. Послышались спорящие голоса. женщина говорила: «Сюда на велосипеде нельзя!» — и в ответ мужской голос, чуточку пьяный: «Пропустите, дитя мое!»

— Термоли,— с беспокойством сказал Сабас.

Да, это был Термоли. Кирпично-красная физиономия, всклокоченные белокурые волосы, перекосившаяся куртка: в походке, в одежде, во всем облике — ликующая суровость моряка, благополучно проскочившего через смертельно опасные рифы.

— Я нашел работу.

Он поочередно кивнул всем присутствующим и, гулко шаркая по плиткам пола, пошел в коридор за стулом.

— Ну, как рука, Сабас? — спросил он, вернувшись.— Говорил

я тебе — возьми неделю по болезни! Нет, лично я ухожу! Вот где у меня сидят все эти подъемные краны, цепи, кабели, стропы, сцепки, лебедки, домкраты и все остальное! Сущая каторга!

— Что же ты собираешься делать сейчас?

— Поступлю в страховое общество. За каких-нибудь пять лет или того меньше можно достичь высокой должности... Для начала гуляешь себе по улицам. Я люблю свежий воздух — такая работа по мне. Заходишь к людям в гости, беседуешь с ними, просишь показать фотографии детишек. «Ах, как милы! И наверно, учатся хорошо! Какая умная мордашка вот у этого!» — «О да! Он на целый год обогнал своих сверстников!» — «Это меня ничуть не удивляет; но какое это трудное дело — воспитание детей!» Ну, слово за слово, и ты предлагаешь им застраховать жизнь, и таким образом... Пошел я в правление страхового общества, и меня сразу приняли...

— Ты мне об этом не говорил,— сказал Сабас.

— Не успел. В субботу вечером, когда мы с тобой расстались, захожу я в кафе. И встречаю одного человека — он на стройке работает. Лет под шестьдесят, в круглой шляпе. Его Максим Агульпа зовут. Читает газету. И вдруг слышу, говорит: «Вот где можно большие деньги заработать! А все чего-то боятся!» Он-то и показал мне это объявление. «Был бы я молодой, как вы...»

— Ну, мне пора,— сказал Корбан.— Я очень рад, Сабас, что тебя повидал. Но тут слишком много народу, это утомительно для тебя.

— Как ты будешь добираться до дому?

— Тем же способом, каким добрался сюда! Автобусом!

— Я вас отвезу,— сказала Лия.

Не слушая возражений Корбана, она пробормотала Сабасу: «До вечера!», но так и не решилась его поцеловать. Когда они шли через парк, Лия поддерживала Корбана, и он послушно опирался на ее руку; красивая девушка совершенно очаровала старика.

— Тяжеловат я, а?

— Да нет, не очень.

— Как же, не очень!.. Еще хорошо, что я похудел в последнее время, а то несладко пришлось бы гробовщикам, которые меня на кладбище понесут.

— Не надо говорить о смерти.

— Да речь-то не обо мне, а о бедолагах из похоронного бюро! Честно вам говорю!

— Я верю.

Она усадила его в машину, захлопнула за ним дверцу, села за руль.

— Я отвезу вас домой.

Некоторое время ехали молча, потом Лия сказала:

— Вам еще рано думать о смерти... Сабас вас любит, вы это знаете?

Корбан хитро улыбнулся и ответил вопросом на вопрос:

— А вы его любите?

— Да.

— Это нескромно с моей стороны. Но я старый человек. Уж вы простите, что я лезу не в свое дело. И забудьте про мой вопрос.

«Любому другому я бы ответила: «Мы с ним просто хорошие товарищи»,— подумала Лия.— Даже себе самой я не решилась бы так ответить... Но с этим стариком все легко и просто. Почему?»

Помолчав, Корбан сказал:

— Ему плохо.

Он имел в виду не руку Сабаса, Лия сразу это поняла. И не стройку.

— Знаю. Я очень хочу ему помочь.

— Это в ваших силах. Ему можно помочь. В самом главном. Человек сам не ведает своей тайны. И вы не надейтесь, дети мои, что старики вам все объяснят. Тем более, что на свете есть и глупые старики. Вы сами должны найти свое место.

Машина остановилась перед домом Корбана.

— А где место Сабаса? — спросила Лия.

— Пусть вас это не заботит, Лия,— можно, я буду звать вас Лией? Мы обязательно найдем настоящее место для всех людей. Его приходилось искать во время войны. И теперь, когда нет ни сражений, ни знамен, ни подвигов, ни военных медалей, его тоже надо найти, а это дело нелегкое.

Держась за дверцу, он с трудом вылез из машины, выпрямился и порывисто расцеловал Лию в обе щеки.

— Труднее всего — понять, какова истинная цена человека. Понять, в чем его сила, в чем слабость. Так-то!

Глава девятая

Сабас в нетерпении мерил шагами зал ожидания, то и дело поглядывая на стрелки наручных часов, хотя прямо перед ним между двумя колоннами висели большие стенные часы. Он никогда до сих пор не бывал в здании факультета. Когда Лия сказала: «Приходи и подожди меня у выхода из аудитории...», ему стоило большого труда не договорить фразу, которая уже рвалась с его уст: «Ты думаешь?..» — потому что он увидел, как Лия улыбается, и хотя улыбка вовсе не была насмешливой, она все же уязвила его. Конечно, никому не возбраняется сюда приходить и никто не требует от тебя пропуска. Но весь этот странный, хотя и вполне обыденный мир... Порой, когда дверь какой-нибудь аудитории отворялась, мелькал краешек расположенной амфитеатром комнаты, доносился одинокий невнятный голос профессора или смутный гул молодых голосов. Сабас постоял перед стендом, прочитал объявление: «*Секретариат отделения гуманитарных наук открыт по понедельникам и четвергам с 9 до 12 час. и по вторникам с 14 до 17 час. В начале учебного года, с 15 сентября по 15 октября, организовано постоянное дежурство в аудитории 209, ежедневно с 11 до 16 час., кроме воскресенья. Студенты могут также обращаться в секретариат с письменными запросами...*» Во всех направлениях сновали девушки и юноши. Даже лохматые волосы и беспорядок в одежде отличались здесь непринужденным изяществом; здесь и усталость выглядела не так, как на заводе, здесь и жесты были другими. На доске было вывешено извещение: «*Студенты, закончившие первый цикл, могут продолжать занятия в спецгруппах второго цикла, так же как лица, чьи знания будут признаны для этого достаточными*». Это тоже был мир Лии — частичка ее мира... На одной из стен виднелась полустертая надпись; нанесенные красной краской буквы кто-то старательно пытался соскрести, но все равно можно было разобрать: «*Рабочие, студенты — мы едины в общей борьбе*».

— Ну вот видишь, все в порядке,— сказала Лия, подбегая к нему.

Он понял, что она тревожилась за него. Но она тревожилась зря: он не чувствовал никакой неловкости оттого, что находится среди студентов, и ничуть не завидовал им. Он видел, что они, как и он, тоже ищут. Нового союза между человеком, атмосферой, профессией. Они, как и он, стремились переосмыслить понятие счастья. Что же их разделяло? Зачем понадобилось писать красными буквами: «*Рабочие, студенты — мы едины...*»? В чем же крылась причина их обособлен-

ности? В деньгах? В словах? А может быть, в чем-то настолько ничтожном и жалком, что в этом даже стыдно признаться?

— Раз тебе можно теперь выходить,— сказала Лия,— мы будем чаще видеться.

Да, конечно, нужно воспользоваться этим нежданным отпуском — а там снова пойдет работа, стройка...

Они поехали на машине. Одна из улиц около факультета оказалась закрытой для движения. Бригада иностранных рабочих укладывала в траншею канализационные трубы. Сабас посмотрел на них и сказал:

— Два месяца назад я уже готов был наняться на эту работу. Но потом поступил на завод.

— На завод?

— Да, на тот, что у железнодорожного моста. Завод и направил меня на стройку. Я числюсь помощником монтажника, но, по существу, я просто чернорабочий. Хотя иногда работаю и на подъемном кране...

Она задержала дыхание, потом спросила:

— У тебя есть и другие специальности?

— Есть. Но они пропадают зазря, потому что в наше время... Когда ты приходишь и просишь работы, кажется, что стоишь перед судом присяжных. «Что вы умеете делать?» Многие ли из тех, кто получил хорошую работу, знают, скажем, алгебру, которую я зубрил в техническом училище? Меня с самого начала определили заводским рабочим, и тут ничего не поделаешь. Абилиу хороший чертежник, а работает на стройке землекопом.

— Кто это — Абилиу?

— Он пришел ко мне в больницу, когда вы с Корбаном уже ушли. Отец у него португалец, фамилия португальская, вот ему и сунули в руки лопату: «Копай!» А жаль!

Абилиу. Каждая страна дарит огромному саду — родине всего человечества — свои новые цветы, отмытые от пачкавшей их глины. Абилиу унаследовал от матери-француженки более светлый цвет кожи. Но жаркая чернота волос, мужественное и беспокойное лицо с прямой линией тонкого носа — все звучало в ином, не здешнем регистре, напоминало о Востоке, об Африке, о теплых морях. Особенно нездешними казались глаза — удлиненные, черные, будто околдованные миражами.

— Почти каждый месяц он ездит в Португалию. И всегда зовет меня с ним поехать. Ведь до Лиссабона рукой подать. Выезжает на своей машине в пятницу в семь вечера, а в субботу утром он уже в Лиссабоне. Отправляется обратно под вечер в воскресенье, и в понедельник к началу работы он на стройке. Еще всякий раз прихватывает с собой шесть-семь португальцев. Гонит, как сумасшедший. Ты была в Лиссабоне?

— Один раз, в детстве. Мне было двенадцать лет. Там красивая река, как наша. Даже еще красивее.

Самое прекрасное устье в мире. Однажды сюда приплыл Одиссей и увидел, как воды реки и моря, смешавшись, превращаются в жидкое золото. Отсюда корабли Европы взяли впервые курс на Китай — здесь был дан первый старт кругосветному плаванью.

— Помню фонтан и кошек, пришедших попить воды, фонтан — chafariz.

— Как ты сказала?

— Так они называют фонтан.

Она повторила: «chafariz». И будто услышала, как со звоном сыплются брызги воды на камень, облитый солнцем. А вокруг прони-

занная светом тишина, которая вдруг проливается нежным хрустальным дождем, когда молодежь подставляет ладони, и бегут, пузырясь, ручьи, унося с собою время, любовь...

— Ах, как мне хочется увидеть эту страну! Но только не так, как Абилиу, не для того, чтобы, вернувшись, опять лезть с лопатой в траншею! Ты только представь себе, в воскресенье Лиссабон, а в понедельник — лопата... Женщине этого не понять...

— Нет, я понимаю,— сказала Лия,— это ужасно — делать работу, которая не требует от тебя никаких мыслей...

— Ты заблуждаешься, работа сложная,— рассмеялся Сабас.— Нужно быть артистом своего дела, иначе все может плохо кончиться. Надо хорошо знать местность и состояние грунта, уметь ставить крепление, делать обшивку... Замечтаешься, всадишь не туда лопату — и крышка. Обвал. Всего кубометр грунта, а человек погиб... У нас уже было два таких случая... Под землею полно ловушек — всякие кабели, трубопроводы...

Вспомнилась надпись в зале ожидания на факультете: «*Рабочие, студенты...*» Сколько самых благих намерений может погрести под собою земля... Абилиу... Инструкция гласит: «...производя земляные работы, следует знать намеченное заранее направление и глубину».

Лия остановила машину у кафе поблизости от реки, возле центрального вокзала. Сабасу захотелось выразить ощущение счастья, которое охватило его при виде громоздящихся на небе туч; тучи постепенно сгущались, поднимаясь к зениту, тучи наползали со всех сторон, и только на севере небо еще оставалось чистым; Сабас с нетерпением ждал, когда все оно наконец заполнится тяжелыми, оторочennыми чернотой серыми тучами.

— В такую погоду тянет уехать на другой край земли. Эти тучи сошли со старинной гравюры, на ней парусник, волны, такое вот небо. Уехать, начать жить, стать человеком. Там, вдали, может, появятся, наконец, какие-то новые мысли, на которые здесь никак не удается набрести.

— Ты и там будешь тем же самым,— сказала Лия.— Думаешь, достаточно уехать в дальние страны, чтобы все стало другим? Это иллюзия. Уж поверь мне, я знаю. Мой отец много ездил по свету. Но ему не о чем было рассказать. Всюду одно и то же. Остановки, пересадки. Менялись только названия городов.

— Значит, ты ни во что не веришь?

— Верю. В свободный выбор. Все прочее — самообман. Люди таковы, каковы они есть. Не больше и не меньше.— Ее голос дрогнул.— Я так говорю, потому что вокруг слышу всегда только, как люди либо оправдывают себя, либо обвиняют других... Судят, укоряют друг друга... Но ни у кого не находится мужества, чтобы подвести точный итог и сказать: «Вот чего не хватает». А нужно, обязательно нужно понять, чего не хватает. По-твоему, я не права?

— Не знаю. Мне не с кем советоваться, у меня нет знакомых, нет друзей, которые бы мне показали, как и с чего начать. Кто знает, может быть, есть на свете люди, которым удалось все же что-то понять и придумать, и они при этом были так же одиноки, как я. Мы ведь знаем не все о судьбах людей. Иногда сущий пустяк дает новое направление всей жизни. Неожиданная встреча, немножко денег, случайность. Но не это мне кажется главным. Какой-нибудь начальник отдела кадров спрашивает меня: «Что вы умеете делать?», и я, если был бы честным, если б мы все не были лицемерами и лжецами, если бы я не боялся показаться смешным, должен был бы ответить: «Все».

С детской лукавой веселостью, которая вдруг окутала ее золотистым водоворотом, она сказала:

— Надо в один прекрасный день так ему и ответить.

— Можно, конечно, но он ведь даже не даст мне объяснить, почему я так в себе уверен. Слушай. Однажды в Пердигоне — было мне тогда лет десять — в мае или в июне я отправился утром в школу. Не помню никаких других подробностей этого утра, помню только одно: я смотрел на розы. Я и сейчас их вижу: плотные, тугие лепестки, как кочанчик капусты, мокрые от росы, душистые. Я вдруг увидел, какого они цвета... Это было как галлюцинация... Я опьянел от радости. В другой раз — маки, крохотные орхидеи, светло-коричневые и фиолетовые, похожие на разноцветных мотыльков. Или еще воспоминание, совсем простое: вечерами, когда начинает сгущаться туман, а солнце садится, воздух пронизан светом. И ягоды шиповника...

— Каждый может вспомнить десятки таких историй,— сказала Лия,— десятки историй из своего детства.

— Знаю. И они интересуют только тебя одного, потому что сидят в твоей плоти. Но, выходит, в каждом из нас есть силы, позволяющие запомнить на всю жизнь эти мелочи и пустяки... Почему же человеку нельзя все уметь — ну, или почти все?.. Ты говорила мне про свободный выбор,— ты всерьез в него веришь?

— В этом выборе — тоже одно из проявлений судьбы.

Он ощутил вдруг холодок отчуждения, пробежавшего между ними.

В прошлом году, в Париже, когда Лия решила продолжить свои занятия литературой, она высмеивала узость университетской науки, говорила, что прав был Гёте и нужно изучать «зеленое дерево жизни». Был ноябрьский вечер. После нескольких недель жары и солнца пришла туманная теплая осень. Лия даже помнила день — 17 ноября, среда, и закатное небо было серовато-розовое, даже чуть фиолетовое, очень красивое. Эти нежные краски над Сеной — миллионы людей открыли их для себя, прежде чем затеплились они для Лии,— они не поражали, не ослепляли. Они были лишь мимолетным, едва приметным знаком и поэтому так волновали. В них мерцала загадка возможного счастья, которое метит сердце.

Было шесть часов. Метро. Лия заставляла себя любить толпу. Она принуждала себя верить: именно здесь, на этом фоне и с этими людьми из толпы Шекспир мог бы создать прекрасную драму, не ту, что откапываешь в древних фолиантах, а молодое творение, которое обращено к нашему времени, отвергающему все былое, все то, что ее товарищи презрительно именовали «хламом». Вдоль коридоров на станции Сен-Лазар рождались и гасли обрывки мелодий. В этих переходах, где царит вечная спешка, где оседают беды и горести города, всегда обретаются музыканты. Их песенки, растоптанные торопливыми шагами толпы, разнесенные по закоулкам подземного лабиринта, говорили девушке о человеческой драме в эпоху стремительных ритмов и великих исходов из города на уик-энды. Многоголосая песня говорила о социальной несправедливости, но она несла в себе нежность, которая прячется в будничных жестах, и изящество, которое видишь на детском лице, и красоту, что выбивается из-под земли, как источник, ибо красив человек, и даже в дебрях метро, даже под гнетом усталости он облачен в доспехи своей красоты, обороняющей его от наскоков тупости и цинизма. Лия вслушивалась в затаенную жалобу столицы, в загадочную симфонию плоти и света.

Здесь она и встретила человека, из-за которого на полгода забыла и Сервантеса (разве тень твоего Дон Кихота можно встретить сего-

дня в метро?) и Достоевского (кому нужны твои угрызения совести в этот век преступлений?). Нелегко жить рядом с мертвыми героями, но еще труднее становится, если представить себе, каково бы пришлось им сейчас, в наши дни, когда нас уносят потоки усталости и вожделения и поэзия стала промыслом, а музыка — шлягером.

Толпа стремилась по коридору на пересадку. До перрона было уже не больше десятка шагов, но подошел поезд, и автоматическая дверца у выхода на перрон закрылась. Последние несколько дней на станции шел ремонт. Рабочие сняли одну из створок двойной дверцы и заменили ее деревянным щитком; он не был ничем закреплен и оставлял свободный проход. Только что люди летели, расталкивали друг друга, торопясь поскорее попасть на перрон, чтобы выиграть несколько никому не нужных секунд. Но теперь они вдруг покорно застыли перед ничтожным препятствием, возле самого поезда, который уже раскрывал свои пневматические двери.

Человек пробил себе дорогу в толпе, ловко протиснулся между стоявшими впереди и один пошел к поезду. Проходя, он увидел Лию и широким задорным жестом позвал ее — на запястье сверкнул золотой браслет, забелели в улыбке зубы на смуглом от солнца и моря лице: «Да идите же!» Позади них по-прежнему топталось на месте боязливое стадо. И еще до того, как поезд понес их в туннель, еще до того, как на крутом повороте ее прижало грудью к его широкой сильной груди, еще до того, как она вдохнула исходивший от него запах сосен и вереска, она уже любила его.

Он до сих пор писал ей письма. Их содержание укладывалось в одно слово: «Приезжай». Зачем? Затем, что будет Париж, будут деньги, будет уйма свободного времени и безоглядно, не задаваясь вопросами, можно будет шагать по жизни. «А ведь я никогда не езжу в метро»,— сказал он ей тогда. Она хранила воспоминания о веселых, впустую растраченных днях — и подаренный им брильянт. Камешек был невелик, но Лия спрятала его от матери. Она знала, что у множества женщин никогда не бывало брильянта, даже маленького, совсем крохотного брильянтика, одной из тех искорок, что носишь на пальце в память любви. Брильянт, такой поразительно твердый и такой отчужденный символ желания и боли, навевал мысли о былых королевствах, о дальних дорогах, о сокровищах, которые зарыты на островах, где качаются в пене прибоя обломки кораблекрушений.

Если б не нудная злопамятность матери, если б не беспрерывные жалобы уязвленного тщеславия, все эти «в нашем положении», «я должна быть вровень с мужем», «впрочем, я могла найти себе более выгодную партию» и если бы не второй брак матери с этим доктором, Лию, пожалуй, вполне бы устраивали те ходячие истины о смысле бытия и о нравственности, которые внушались ей на факультете. Это была, в общем, довольно приятная игра словами, которую можно было и не принимать всерьез. Она знала: чтобы понять чью-то правду, нужно быть связанным с нею душой и телом, а с промышленностью ее ничто ровным счетом не связывало. Но убожество, пошлость сентенций, что она слышала дома и от людей, с которыми водили знакомство родители, стали для нее в конце концов совершенно невыносимы. Все кругом лгали, часто даже с добрыми намерениями. Имя Иисуса Христа всуе поминалось людьми, которых одна только мысль о бедности приводила в неописуемый ужас. Все это было, увы, не ново. Но отвратительнее всего была самодовольная напыщенность разговоров, то словесное безумие, которым были заражены все эти люди, быть может, не столь эгоистичные и жадные, как их предки, но убежденные в том, что они вобрали весь род людской в свое бескорыстное сердце, окропленное росой благодати.

Сабас возник перед Лией как вестник загадок. Тысячи, миллионы рабочих — все ли они такие, как он? Какие они, эти парни, которых ты видишь, когда случайно толкнешь дверь кафе в какой-нибудь глухой деревушке, или встречаешь на обочинах больших городов, там, где «никогда ничего не происходит», кроме, пожалуй, краж, драк да любви, о которой не говорят, и где недели тяжкого труда прорезаны бесцветными воскресеньями. Какое же чудо могло взрасти на этих тоскливых и серых землях? *«Рабочие и студенты, будем едины...»* Но, может быть, все же избрать этот путь и пойти по нему, никуда не сворачивая, и ты обретешь бессмертный и ласковый свет, и тайна, которую долго и тщетно искали великие художники, предстанет наконец перед тобой, ощутимая, зримая? Может быть, для этого надо только одно — слиться с массой людей в комбинезонах из белой клеенки, из желтого или белого пластика? «Ему плохо»,— сказал про Сабаса Корбан. Корбан считал — Лия в этом была уверена,— что Сабас, этот крестьянский мальчишка, окончивший начальную школу в Пердигоне и провинциальное техническое училище, этот сын рабочего с лесопильни, стремится выразить то, что накипело в сердце его народа. Он простой парень, дитя полей и улиц, не всегда послушный, способный на хитрость, на озорство; случалось ему и списать с чужой тетрадки задачу, и подраться с приятелями. Он сам не ведает своей тайны. Да и тайна ли это? Ему хочется, чтобы на волю вырвалось пламя, которое таится в груди униженных и оскорбленных людей, и чтобы в самых глухих потемках беды не ослабевал тот порыв, который возносит тебя на крыльях, когда пред тобой раскрывается великолепие города, озаренного блеском нарядных огней.

«Сумасбродка ты, дочь моя»,— сказала бы мать Лии. Если мать Лии права, значит, земля никогда не была молодой.

Глава десятая

Сортировочная станция покушалась уже на территорию трех коммун. Промышленная зона расширилась. Ее границы пролегали теперь от реки до восточной дороги. Она включала в свои владения уже и церковь; церковь превратится скоро в крохотный островок, со всех сторон окруженный заводами,— если только ее вообще не снесут. Программе дальнейшего расширения мешало одно лишь кладбище, которое еще недавно терялось в пустынных полях. «Кладбищ они пока что не трогают,— сказал Корбан,— но кто знает, может, скоро в Африке не останется негров для вербовки и начнут брать на работу мертвецов!» Правда, пока в округе не хватало работы и для живых. Многие заводы существовали еще только в проекте. Эти пустые пространства, разграфленные на квадраты металлическими оградами и размеченные прожекторами, являли собой с наступлением темноты надрывающую сердце картину. Туманные призраки, порожденные испарениями болот, клубились у подножия фонарей. Ходили слухи, что лисицы, изгнанные бульдозерами из нор, в которых они жили многими поколениями, скачут теперь при луне по гравию строительных площадок; кое-кто утверждал, что это не лисицы, а волки. В этих пустырях на самом деле было что-то зловещее. Сараи, пилоны, рельсы, краны, экскаваторы, строительные леса, железные склады были смертным приговором земле. Скоро заводы заполонят всю планету.

— Это судьба,— сказал Корбан.— А может, и реванш. Увидишь, Сабас, скоро никому не удастся избежать завода, ни одному человеку...

— Но ведь говорят, что надо охранять природу...

— О да, разумное планирование прогресса. Только, понимаешь ли, каждому хочется иметь машину, да не одну, а две или три на семью, каждому нужно белье, обувь, автострады, телевизоры. Нужна резина, пластмасса, нейлон, бензин, лекарства. В один прекрасный день в стране будет сто миллионов автомашин, помяни мое слово, по миллиону на департамент.

— А самолеты?

— Каждую минуту по самолету над головой!

— Тебе не кажется, что лучше уж умереть, чем дожить до такого?

— Ну нет! К тому же, пусть хоть вся Франция станет сплошным заводом, в наших местах в общем мало что изменится...

Они сидели у Корбана, рядом с кафе на Вокзальной площади, которую после Освобождения переименовали в площадь Пьера Семара. Сидели во дворике, и потягивали вино, и, усмехаясь, слушали, как спорят и ссорятся по соседству игроки в шары. Было субботнее утро. Пришел хмурый Термоли. Он отнюдь не выглядел человеком, которому страхование жизни принесло большое богатство. Лицо, обычно кирпично-красное, было сейчас изжелта-бледным.

— Боюсь, мне придется опять идти на стройку,— сказал он, входя.

— Надеюсь, ты не станешь нам говорить, что работа в страховом обществе — это ад! — воскликнул Корбан.

— Это ад.

— Даже хуже, чем стройка?

— Намного хуже. Теперь мне кажется, что я был в отпуску, когда таскал на горбу железные балки.

— Даже хуже, чем почта?

— Примерно в том же духе, только топать пешком надо больше, а платят меньше. Черт побери! — распалился Термоли.— Да здравствует революция, которая покончит с рабством!

— Если ты начнешь выступать с такими речами перед своими клиентами, ты запугаешь их до смерти. Да, брат, ты стал настоящим революционером с тех пор, как занялся страхованием жизни.

— В том-то все и дело, что я им не занимаюсь. Застраховал я своего отца, потом тетку — она мне к тому же и крестная,— потом соседку, да еще приятеля — мы с ним в одном полку служили. На этом все и кончилось. Больше ни одного контракта! Хотите верьте, хотите нет, но оказалось, что все вокруг уже застрахованы! Бегаешь на своих двоих по сотне километров в день! Подумать только, это я-то! Ведь мне лень было заучивать наизусть даже парижские улицы, а теперь дошел до того, что записываю все адреса, этаж за этажом! Да, знаешь,— обратился он к Сабасу,— я был на набережной, в той лавке, у старухи антикварши, где есть картина, которая тебе так понравилась.

— Застраховал старушку?

— Она уже тоже застрахована. На сто пятьдесят франков. Полис ей выдали еще до войны. Я предложил ей заключить дополнительное соглашение. Обещала подумать и написать мне на днях... А что касается революции,— добавил он, глядя уже на Корбана,— я от своих слов не отказываюсь. Революция — и как можно скорее!

— Но для того, чтобы совершить революцию, нужно много терпения!

— Корбан! Ты и твои друзья слишком уж терпеливы. Я тебя очень люблю, но я вам больше не верю.

— Тем хуже для тебя, если ты сомневаешься.

— Сомневаюсь. А ты никогда не сомневался?

Корбан поглядел на стакан, который он собирался было поднести ко рту, и опустил руку. Откинулся на спинку стула. Взгляд его был обращен к игрокам в шары, но он их не видел.

— Не сомневался? Да я только это и делал. Я сомневался всю свою жизнь.

Подул теплый ветер, задрожали листья беседки.

— Я только и делал, что сомневался. Это необходимо. Сомневаться и продолжать свое.

— Ну, ну, давай, продолжай! А пока что, дожидаясь революции, я пойду продолжать размещение страховых полисов, форма 6714-В, с завещательным распоряжением в пользу супруга или супруги. Сегодня суббота, люди сидят по домам, самый подходящий для страхования день. Но они встают в девять часов, а в двенадцать уже уезжают за город. Нужно поспеть как раз в этот промежуток. Эх, и зачем я только послушал этого дурака! — И, видя, что Сабас не понимает, о ком речь, пояснил: — «Ла-Пергола» [1], Максим Агульпа, да ну, ты его знаешь, тип из вагона-ресторана! Его еще Меа Кульпа[2] прозвали!

Сабас согласился позавтракать у Корбана. Жена старика сказала, что она уже ела, и оставила их вдвоем. Сабас не удивился — он был слишком молод, чтобы разгадать эту маленькую хитрость супружеской четы, которая живет душа в душу и не нуждается в словах. Женщина знала, что друзья хотят поговорить с глазу на глаз, а зачем это им нужно, она не доискивалась. Точно так же поступала она и в те страшные времена («Страшные?! — сказал бы Корбан.— А чего было бояться?»), когда ночь приводила в их дом безымянных людей.

Сабасу было с Корбаном хорошо и просто, лучше и проще, чем со сверстниками или с отцом. Но он ощущал и какую-то робость. Он, конечно, не подозревал, что иное из сказанного им надолго отзывалось в сердце Корбана, рождая у старика вопросы, которые тот затруднился бы сформулировать. «Какая работа совершается в этой молодой голове? Парень он не из скороспелых... Все это сидит у него глубоко и медленно вызревает, но потом...»

— Значит, мой мальчик, у Термоли опять не сбылись надежды? Чего же он ищет?

— Он и сам не знает. Он ведь такой же, как я.

— О нет, он не такой.

— Не вижу никакой разницы.

— А я вижу... Эх, ты даже представить себе не можешь, каких я знал людей. Сидели вот здесь,— он показал на стул Сабаса,— на твоем месте.

А в самом деле, какие люди приходили по ночам в эту кухню и садились на один из этих плетеных стульев, где дремлет кот, между плитой и окном с красно-белыми занавесками и с горшком глицинии на подоконнике?..

— Нет, ты не можешь себе представить... Например,— только сразу же про это забудь! — был один... теперь он командует армией. И один математик, но им удалось его все же убить. А самые... самые замечательные из всех... — Его голос даже охрип.— Вот эти... Были и не французы. И среди них... нет, ты не поверишь... В конце концов, дело прошлое, тридцать лет утекло. Да. Так вот, если я переставал на какое-то время верить в нашу правоту, в то, что всегда в самом главном мы правы, они заставляли меня снова поверить... О, не думай, что это всё были люди ученые... Нет, нет... Трудящиеся, рабочие. Пони-

[1] «Беседка»; так называется знаменитый и очень дорогой ресторан в Париже.

[2] Меа culpa *(лат.)* — «Каюсь», «грешен» (букв. «моя вина») — покаянная формула в католической исповеди *(прим. ред.)*.

маешь, те самые, про кого говорят: «Он утопист, он ясновидец, он уже устарел, он не современный» или: «Он смотрит слишком далеко вперед»...

Корбан закрыл глаза и снова увидел своих друзей, мучеников и пророков, несовременных, «отсталых» людей, которые спасают мир. Увидел величественные образы тех, кто сквозь страдания войн, сквозь рутину повседневности слышал музыку жизни, ее суровую, полнокровную, слитную, тяжкую и в то же время неуловимую мелодию; для того чтобы услыхать ее, нужно, конечно, учиться, но главное даже не в этом, нужно прочно стоять на земле, всей плотью своею чувствовать жизнь, ощущать в нутре своем рубцы от прекрасных ожогов счастья, нужно иметь тело, сердце — и душу.

— Люди друг друга поймут. Они будут, конечно, и ошибаться, будут друг друга обманывать, но поверь, они хотят понять мир. А чтобы разбудить людей, я уже сказал Термоли, необходимо терпенье.

Сабас ушел от Корбана, когда день клонился к вечеру. У него было назначено свидание с Лией—в центре города, возле большого универсального магазина. Он пришел раньше времени и около получаса прогуливался по тротуару. Сначала он не заметил стоявшего неподалеку человека. Тот, должно быть, дожидался автобуса; ни в одежде его, ни в лице не было ничего, что могло бы привлечь внимание. Лет ему было за пятьдесят, даже, пожалуй, ближе к шестидесяти. Костюм, купленный в магазине готового платья, но довольно хорошего качества, сукно темно-серое, пожалуй, несколько темноватое и тяжелое для теплой осенней погоды. Костюм был недавно отглажен — правда, довольно неловко: складка на брюках выделялась слишком заметно, а пиджачные лацканы вытютюжены с энергичностью старого холостяка, так что в целом костюм казался пропущенным через мощный гидравлический пресс. Лацканы немного блестели. Этот блеск — результат длительной носки, а главное — щетки, если она слишком рьяно выполняет свою работу. На человеке была шляпа с загнутыми краями. Этот головной убор, изготовленный по моде прошлого века, выглядел на незнакомце вполне современно, он очень шел к его приземистой фигуре и ко всему его облику, слегка загадочному, но вполне благообразному и доброжелательному; на лице человека лежала печать некоторой задумчивости и то выражение недоверчивой учтивости, какое бывает у людей от природы добродушных, но всегда боящихся, что их могут обмануть. Белый воротничок и галстук серовато-жемчужных тонов позволяли предположить, что человек едет на деревенскую свадьбу к богатым родственникам. Но Сабаса заинтересовало поведение незнакомца. Прошли уже два автобуса, а человек в котелке по-прежнему стоял на тротуаре, беззвучно шевеля губами и поглядывая на витрину ближайшего магазина; время от времени он подходил к ней поближе, потом разворачивался на каблуках своих лакированных туфель и шел на прежнее место. Так продолжалось много раз, и изучение витрины много раз сменялось безмолвным монологом. Сабас тоже посмотрел на витрину. Это был ювелирный магазин. Ему захотелось узнать, что же так заворожило прохожего. Но в витрине была самая обычная выставка колец, ожерелий и кулонов.

— Брильянты фальшивые,— доверительно сообщил незнакомец Сабасу, хотя тот ни о чем его не спросил.— Но чертовски красивые. А вот это новый камень, который совсем недавно изобрели, диамантин. Я знал богачей, которых удавалось на нем провести. А уж у них-то были настоящие брильянты! Уж у них-то были!

— А, вы специалист в этом деле! — рассеянно сказал Сабас.

— Нет. Но во всем, что касается роскоши, я знаток, можете мне поверить...

Честно говоря, поверить, что этот человек такой уж знаток светской жизни и всех ее атрибутов, было довольно трудно. Но Сабасу все больше казалось, что эти повадки, эту сдержанность в сочетании с решительностью, и коренастую эту фигуру, и некоторую экстравагантность, и особенно котелок,— что все это он уже видел. Незнакомец меж тем продолжал:

— Если когда-нибудь вам понадобится купить брильянт или что-нибудь еще в этом роде...

И вытянутая рука широким жестом обвела все магазины на площади.

— Сейчас мне не брильянты нужны,— меланхолично отозвался Сабас.— Сейчас мне нужна работа.— Он показал свою забинтованную руку.— Любое занятие, пусть даже на короткое время.

— С рукой что-нибудь серьезное?

— Травма. Уже почти зажило. Но о тяжелой физической работе пока и думать нечего. У меня освобождение на месяц.

— Но если вы в отпуске по болезни, значит, вы не имеете права работать!

— Я и не ищу постоянного места. Ну, скажем, за чем-нибудь приглядеть часа два-три в день... Пособить кому-нибудь... Пока не вернусь на стройку.

— На какую стройку?

— Да тут, поблизости. На восточной линии, возле сортировочной станции. Там все время расширяют площадь для строительства новых объектов.

— Вот оно что! А люди еще не верят, что я приношу счастье! Да у меня в руках чистое золото! — Человек поправил котелок, скрестил на груди руки и оглядел Сабаса с головы до ног.— Считайте, что сегодня вам повезло. Вот, полюбуйтесь,— он с презрительной миной показал на драгоценности в витрине,— в течение часа в магазин не зашел ни один покупатель! И это в самом центре города! Называют себя ювелирами! Коммерческая сметка! Ювелиры! — Он весь излучал презрение и едва не плюнул в витрину.— Не умеют даже продать за три тысячи франков кольцо с диамантином, который похож на брильянт ценой в триста тысяч! Эти методы были хороши для прошлого века! Сейчас нужны новые мысли, новые формулы! Пойдемте выпьем по стаканчику.

— Я тут жду одного человека,— сказал Сабас.

— Одного человека? Да, да, вижу. Не хочу вам мешать.

Подошел автобус. На этот раз незнакомец как будто решил в него сесть.

— Найдете меня на стройке. Спросите Максима Агульпу — меня теперь там все знают.— И видя недовольство шофера — пассажир в котелке мешал ему закрыть дверь,— он крикнул: — «Ла-Пергола»! Не забудьте! «Ла-Пергола».

Когда на машине подъехала Лия, небо начинало хмуриться. Раньше они договорились, что поедут к морю, но сейчас им не захотелось окунаться в сутолоку уик-энда,— к морю можно отправиться и в будни. Идти в кино, сидеть в духоте Лии тоже не хочется. Она поехала куда глаза глядят; Сабас видел, что она думает о чем-то своем. Машина мчалась по левому берегу, вверх по течению реки.

— Куда мы? — спросил Сабас.

Ей хотелось попасть на стройку, но она никак не могла придумать подходящий предлог; ей необходимо было проверить, насколько стойкими рядом с каждодневной жизнью Сабаса окажутся ее воспоминания о человеке, с которым она познакомилась в парижском метро. Только нельзя, чтобы Сабас что-нибудь заподозрил.

— А стройка сегодня закрыта?

Он не удивился вопросу.

— Там у нас столько всякого дела, что некоторые бригады работают и по выходным. Хочешь увидеть стройку?

— Да.— Ее голос звучал совершенно естественно.

— Территория огромная. Въезд не со всех сторон. И потом — это всего лишь стройка...

Когда они подъезжали, с запада шла гроза. На равнине у костров сидели рабочие — примостившись на ящиках, на черных тюках, в которые были упакованы непромокаемые мешки с серебристо-серой краской, на мотках разноцветного кабеля, а то и прямо на траве. Они заступали в вечернюю смену и хотели перед работой поесть. Столовой в этом секторе не было; подрядчик возводил здесь цеха штамповочного завода; некоторые рабочие ютились во времянках, сооруженных из теса или из желтого и зеленого толя; Лия увидела велосипед возле двери; там и сям, создавая видимость человеческого жилья, стояли даже горшки с цветами. Какой-то араб, обитавший в одной из этих продуваемых ветром хибар, подобрал где-то кошку, свою первую кошку в жизни, что наверняка было для него признаком роскоши. Тот, кто изведал горькую жизнь на чужбине, убожество гостиничных номеров, духоту низкопробных ночлежек, грязь придорожных сараев, тот знает: если человек владеет животным, значит человек этот уже в какой-то мере свободен; во всяком случае, он уже не на самом дне кабального рабства...

Жить здесь... Лия вздрогнула. Это ведь очень легко, играя словами, с высокомерием рассуждать о жизни народа, о новой эпохе. Очень легко, когда смотришь на все это издали. Но жить здесь, без собственного угла, без дверей...

— Знаешь, что мне сказал про тебя Корбан? «Ему плохо».

— Корбан? Надо же! — Сабас расхохотался, неудержимо и молодо.— Он говорит, что мне плохо? Он прав. Мне действительно плохо.

— Потому, что ты на стройке?

— Тут тоже, конечно, веселого мало. Но плохо мне не потому... Я должен стать человеком... А это у меня не получается.

— Что ты называешь «стать человеком»?

Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Есть разные способы. И уж раз ты заговорила о Корбане... Он дал мне прочесть одно письмо. Я знаю его почти наизусть... — Он отвернулся и поглядел, как под порывами предгрозового ветра колышутся маки у самого края шлаковой дорожки.— «Отец, я знаю, ты не станешь плакать, когда получишь это письмо, ведь это ты научил меня быть сильным, и ты сильнее меня. Настал день, когда я могу доказать, что я до конца воспринял твои уроки...» Нет! — хрипло проговорил Сабас.— Я не научился быть сильным, я не могу дальше...

— Кто написал это письмо?

— Не догадываешься? Один из многих тысяч... Но сейчас у нас мир. Да и вообще, какой я борец? Я мог бы, наверно, им стать, но где он, мой бой? Я мечтаю о других боях, и вот почему здесь мне плохо.

Она не смела расспрашивать его дальше. За горизонтом глухо рокотал гром. Беспокойные тучи над стройкой, душная жара, нервные вздохи ветра, непрерывный звон насекомых в траве, бессознательное ожидание грозы — все вместе обостряло их чувства, облегчало признания.

— Образование у меня маленькое, окончил училище, только и всего, но, честно говоря, я не думаю, чтобы дальнейшие занятия открыли мне что-то новое... Дело в другом... Знаешь, в одиннадцать, в

двенадцать лет со мной уже случалось такое. Я тебе когда-нибудь расскажу про нашу жизнь в Пердигоне. Мне хотелось кричать, хотелось вопить от гнева. Я молил, чтобы мне даны были волшебные слова, я готов был на все, лишь бы только обрести вдохновение. Но ничего не произошло. Я бессилен и нем. И поскольку дара слова я не обрел, я покорился судьбе, и все мои мечты и порывы обречены на безмолвие.— Он опять повернулся к Лии, посмотрел на нее.— И таких нас миллионы. Что мы можем, что могу я, я лично, по какому пути я пойду? Умереть в бою было бы, думаю, проще. Но никто не требует моей смерти. А вдруг я и перед лицом смерти окажусь такой же тряпкой и трусом?

Глава одиннадцатая

Сабас поглядел на небо.

— Лучше убираться отсюда, пока не поздно. В дождь дорога здесь сразу раскисает.

Но Лия будто не слышала. Выпрямившись и положив руки на баранку, она смотрела вдаль, туда, где завивались вдоль рельсов столбы пыли. Потом медленно проговорила:

— Трусом... Я тоже не люблю трусов. Но что это, собственно, значит — быть трусом? Ведь не можешь же ты каждый день вытаскивать детей из горящего дома... Или давать отповедь всякому, чьи слова тебе не понравились...

— А может, все-таки надо это делать? — пробормотал Сабас.

— Может, и надо, но мне неясно, с чего начинать...

— Обуздать свою гордость, а это труднее всего.

— Гордость...

Она подумала о матери и об ее знакомых в квартале Нотр-Дам, об этих мещанах, которых буквально распирает от гордости: «Мой сын — главный инженер на «Силиконе»!», «Мой брат — главный врач...» И всё это созвездие супрефектов, прокуроров и их заместителей, начальников канцелярий, директоров-распорядителей, вся эта консульская родня, эти сынки торговой элиты, которая считает себя подлинной аристократией... Все они с охотой занимались самоуничижением, упоенно разглагольствовали о великом пробуждении народов, сурово осуждали расизм, с интересом читали о положении в Китае. Но в глубине души эти люди не допускали и мысли, что чернокожий подметальщик улиц или французский железнодорожник может вместе с ними владеть общей сокровищницей языка, что так же, как и они, он может быть наделен высокими достоинствами, человеческими страстями; нет, несмотря на ныне более длительное школьное обучение для детей из народа, несмотря на изобилие книг, несмотря на телевидение, которое пичкает всю нацию одними и теми же картинками, одними и теми же физиономиями, одной и той же музыкой, одними и теми же зрелищами, они решительно не могли в это поверить. При этом они даже не подозревали, что в глазах подлинных финансовых воротил они сами — всего лишь ничтожные тени, еще более жалкие, чем пролетарий.

— Во мне такой спеси нет. Да я и не ставлю себе этого в заслугу. У меня это скорее... от здравого смысла. Понимаешь, мне кажется, молодежь в наше время видит жизнь немного яснее.

— Она видит, какая непроходимая пропасть разделяет людей из-за ничтожной разницы в образовании или в богатстве.

— А ты не считаешь, что видеть это — уже большое достижение?

— Но все прочее, Лия! Цвет человеческой кожи...

— Расизм? Никто в открытую не называет себя расистом.

— А вот послушай... Корбан знаком с одним техником-электриком, он руководил работами на стройке. Превосходный человек, добрый, общительный, влюбленный в свое дело. Всегда что-нибудь чинит, исправляет, подвинчивает — его потому и прозвали Отверткой. Под началом Отвертки проводили электричество по всей округе, он ночевал в палатках, жил вместе с рабочими всех цветов кожи. Как-то Корбан попросил его помочь старику арабу, у того что-то с проводкой не ладилось. Отвертка в два счета все сделал, и араб пригласил нас к себе в барак, предложил чаю. Вообще-то арабы народ чистоплотный, но тут, честно говоря, стаканы оказались не очень... Я тоже там был. Отвертка сказал: «Я чай не пью! Врачи категорически запретили!» Чай он любит и пьет, я знаю, и все, конечно, поняли, что это отговорка. Он смертельно обидел старого араба...

— И все-таки это еще не расизм! Он просто немного...

— Побрезговал.

— Что же в этом особенного!

— Конечно, ничего особенного,— сказал Сабас,— но если этот последний барьер нельзя преодолеть, значит жизнь никогда не изменится, несмотря на все революции... Тело другого человека... Когда говорят: «Я молодой», «молодежь» — это ведь по существу презрение к старости, к старикам! Об этом никто не задумывается, но так оно и есть. Приметы старости, ведь они существуют, да, да, и молодежь это нюхом чует... Потому что на свете есть раса стариков, и от этого никуда не денешься. И раса калек и уродов. И все их сторонятся. Все — кроме, может быть, шлюх.

— Жорж! Значит, для того чтобы изменить мир, нужно, чтобы были шлюхи?.. Ты не женщина, но пойми, это ведь ужасно!

— Что ужасно?

— Торговать женщинами, как скотом. Я их не осуждаю. Я не презираю проституток, нет, я жалею их, я даже их понимаю.

— А ты понимаешь, что такое тоска? Что такое для мужчины тоска одиночества?

— Любой мужчина может найти подругу, надо только дать себе труд как следует поискать...

— Эх... Как-то ночью шел я домой — вдоль набережных, переулками. Там всегда толкутся старухи проститутки, которых днем не увидишь. Трудно поверить, что в наш век такое возможно... Если ты некрасив, если стар, если плохо сложен, тебе лучше прятаться от людей. Но там, в этих улочках... И вот среди этих огородных пугал я увидел девчонку — лет двадцати, изможденная, отмеченная печатью своего ремесла, но очень красивая и, ты не поверишь, беременная. Она топталась на тротуаре, и у нее было такое лицо, такое лицо!.. Несчастное, безнадежное...

— Значит, вот где ты ходишь по ночам...

— Просто, в отличие от других, я решаюсь об этом сказать. Мужчины лицемернее женщин... Вдруг в подворотне я увидел какого-то типа, он застыл на месте и, чуть наклонившись вперед, неотрывно смотрел в одну точку. Потом он словно решился, шагнул, и я увидел, что он на костылях. Молодой парень, блондин, чуть постарше меня. Калека. И глядел он на ту молодую проститутку. Она его заметила, бросила сигарету, поманила его, улыбнулась. Он не привык, бедняга, чтобы женщины ему улыбались. Улыбка означала: «Я согласна». И оба ушли — она с животом, он на костылях. И у меня стало хорошо на душе. Точно я проснулся после хороших снов. Как-то спокойно стало. Потому что...

Лия закурила сигарету, и он увидел, что у нее дрожат руки.

— Потому что ты увидел в этом... свершившуюся справедливость?

— Да, но справедливость была неполной. Он не выбрал старуху.

— Он имел на это право.

— И опять мы с тобой возвращаемся все к тому же. Право, которое есть не у всех.

— Даже если парень был инвалид, я признаю за ним право выбора. Особенно потому, что он инвалид.— Ее охватило странное возбуждение.— Значит, в ту ночь ты был там...

— И в другие ночи тоже.

Ей хотелось спросить: «И ты тоже?..» — но она не могла заставить себя выговорить эти слова; приходилось искать окольных путей. В голове у нее промелькнуло: «Я лицемерка», когда она задала свой вопрос:

— Проститутка... Что это означает для мужчины?

— Смотря для какого. Для проповедников нравственности это утрата человеческого достоинства, пятно позора, лежащее на всем обществе, это лень, нежелание трудиться, крайняя степень падения... Все эти слова ты и сама прекрасно знаешь. А циники скажут: «Это, конечно, несчастье, но без него обойтись нельзя». По-моему, такие рассуждения еще подлее.

— А для тебя? Только честно.

— Для меня она — женщина. Разумеется, это не любовь... Даже не... дружба. Но ведь есть честные, порядочные женщины, которые ничего бы не могли мне дать, абсолютно ничего.

— А что... Что вообще может дать девушка?

Он тоже смутился.

— Мужчины ищут всю жизнь, в любую минуту дня и ночи. Мечтают в пятнадцать, в шестнадцать лет, сочиняют необыкновенные истории, мечтают в школе, в армии, на войне... Уговаривают себя, что на ближайшем углу встретят, наконец, свое долгожданное чудо. Пока они молоды и сильны, все эти мечты вроде бы и не так уж глупы, но на это уходит время, а для мужчины нет ничего хуже, чем упустить время. Но они упрямо ищут женщину, которую смогут полюбить. Хорошо, если они ее находят! А если нет... Если нет, тогда для них все женщины становятся одинаковы.

Духота сгущалась; над губой у Лии блестели капельки пота.

— Что я для тебя значу, Жорж? — спросила она и положила ладонь на руку Сабаса.

Он взял ее ладонь, и она ласково сжала его руку.

— Лия, что мне для тебя сделать? У меня нет ничего, кроме жизни. Она — твоя, даже если ты этого не хочешь. Даже если я сам этого не хочу. Теперь я уже не в силах ничего изменить.

Больше они не проронили ни слова. Вернулись к реке, той же дорогой поехали к городу. Гроза застигла их возле порта; вокруг фонарей, как снежинки, закружились вихри водяной пыли. Эта влажная пудра пахла снегом, а еще в ней была горечь морской воды, привкус водорослей, запах дыма. Было семь часов вечера. Под балконами выходивших на набережную домов камень фасадов был разделен на лепные квадраты; балюстрады покоились на контрфорсах, тоже скульптурных, выполненных в виде ростр или фигур на корабельных носах,— окаменевшие женщины с мокрыми лицами и слепыми глазами, с гибким телом сирен и округлой грудью, плавно вырастающей из чешуи. Сабас и Лия смотрели, как ветер взметает белую пену на лужах. Порой отворялась дверь какого-нибудь бара. Выходил человек и бежал вдоль фасадов. На улицу вырывалась музыка, песенка автома-

тической пианолы, и хрупкие аккорды сопрягались с печалью порта, с тем грустным зовом, который всегда растворен в прибрежном воздухе. Теперь они пожалели, что не поехали к океану. И Лия вдруг предложила: «На дорогах сейчас ни души». Было еще не поздно, и для них, конечно, найдется пристанище, затерянное среди песков и сосен, сыщется уединенный домишко, где в комнатах будет только шум ветра, а снаружи только крик чаек. Это убежище звало и ожидало их.

А дорога, освещенная фарами, летела навстречу под колеса машины, дорога поднималась стеной, порождая в крови нетерпеливое смутное желание разбиться об эту глухую преграду.

Глава двенадцатая

В последнее время Сабас будто перестал узнавать окружавший его будничный мир. А ведь ничто вокруг не переменилось. Все та же осенняя синева простиралась в вышине. Небо словно застыло в оцепенении, и когда Сабас навестил Корбана, старый железнодорожник сказал:

— Плохо! Я не удивлюсь, если наступят ранние холода и даже выпадет снег, как пять лет назад!

Сабас пытался навести справки про Максима Агульпу, знатока ювелирных изделий.

— И ты тоже его встретил? — удивился Термоли.— Он суется буквально во все! Ведь это он показал мне объявление страхового общества. Но с тех пор я его больше не видел.

Сабас вспомнил, наконец, что он впервые увидел Максима Агульпу в толпе уходивших со стройки рабочих, возле железнодорожного переезда, напротив сортировочной станции. Неподалеку был расположен завод жидкой углекислоты, и этот выход со стройки прозвали Углекислотой. Несколько вечеров подряд после конца работы Сабас поджидал Агульпу возле Углекислоты, но тот так и не появился. Сабас справился в привокзальном кафе.

— А, этот чудак! — рассмеялся хозяин.— Он меня разорит! Хорошо, что остальные клиенты — люди солидные... Где его найти? Я не могу ни на миг отлучиться... Старую свалку металлолома знаете? С километр отсюда. Там увидите вагон-ресторан.— И добавил: — Бедный Меа Кульпа...

У хозяина кафе действительно не было ни минуты свободной. Стройка приучала людей к выпивке. Стройка... Сейчас Сабасу трудно было понять, как он все это выдерживал. Рука заживет, и он попросит перевести его опять на завод. Фирма, в которой он работал, была одним из шестидесяти предприятий, поставлявших для стройки материалы, трубы и оборудование. Там, на другом берегу реки, под сводами цеха, где изготовляются элементы строительных металлоконструкций, его тоже подстерегает опасность, но опасность эта выступит в более привычной для него личине,— там он хоть будет защищен от холода и от зноя. Зато ему придется заново привыкать к духоте, будет не хватать открытого неба и свежего воздуха, там будет он тосковать по новым своим друзьям, веселым, сильным и таким разным. На стройке, вокруг костров, создавались многочисленные братства. Люди тянулись друг к другу в часы обеда, чутьем выбирая родственные натуры. Профессия еще могла играть какую-то роль, но ни национальность, ни цвет кожи в расчет здесь не принимались. Людям немногословным приятно было помолчать вместе, говоруны отводили душу в беседах. Чего здесь только не обсуждали — спорт, работу, женщин,

деньги, семью, здоровье, политику. У разных костров и едой-то пахло по-разному...

Котелка нигде не было видно. Агульпа оказался человеком-призраком. Наверно, тогда, возле витрины ювелирного магазина, у Сабаса была галлюцинация. «А еще не верят, что я приношу счастье! Да у меня в руках чистое золото!» Немного золота Сабасу бы сейчас не помешало. У него почти не осталось денег. Он не позволил, чтобы за тот ужин и ночлег в дюнах платила Лия. А что делать теперь, когда он снова встретится с ней? Хотя Анна не спрашивала с него денег, он больше не смел у нее столоваться. И несколько раз отклонял приглашения Корбана...

Встретились они случайно, когда Сабас бродил возле стройки.

— Я иду в сторону большого пруда. Там должна сейчас рыбка ловиться. Проводишь меня немного?

Корбан шел широким шагом.

— Вот здесь — зона мхов...

Гравий, тощая травка у самых путей, вся в еще не высохших каплях утренней росы, тимьян, который сбегал по откосу, вплетаясь в густой травяной ковер, лежавший внизу.

— Этот участок осушали, но пройди чуть в сторону — сразу попадешь в топь... А там пруды! — Он показал на полоску воды, покрытую желтыми и белыми кувшинками, спорышем, водяной чечевицей. Дальше шла зона камышей, среди которых мелькали водные лютики, потом зона тростников, хвощей, осоки.— Тут есть пескари, плотва, уклейка... — И он принялся перечислять породы рыб, которые водятся в этих прудах; одни из них были вырыты совсем недавно, другие уже лет десять назад: и глубина, и дно в них были разные.— Линь, вьюн, щука, окунь... Давно я сюда не заглядывал, а зря. Это Меа Кульпа меня надоумил. Полови, говорит, возле моего жилья. Все эти природные садки — просто золотое дно, говорит...

Сабас так и застыл на месте, и только влажный шлепок прыгнувшей в воду лягушки привел его в чувство.

— Ты его знаешь?

— Кого?

— Агульпу!

— Конечно, знаю. Он у меня обедал в тот вечер, когда ты почему-то не пришел. Кстати, он мне про тебя говорил.

— А правда, что он немного... немного чудной?

— Нет,— возразил Корбан.— Если начать всех вокруг чудными считать, знаешь, до чего дойти можно... Свой пунктик у каждого есть. Его пунктик — деньги. Да и можно ли в наше время считать это пунктиком... Э, вот и он сам! — Корбан показал рукой. За кустами, окаймлявшими свалку старого железа, двигался котелок — плыл медленно, точно столетний грач, толстый, величественный и бесстрашный.— В «Ла-Перголу» отправился. Он там и живет. В старом вагоне-ресторане.— И добавил: — Повидаешься с ним в другой раз. Сейчас пойдем ко мне, перекусим.

За столом про Меа Кульпу больше не говорили. Корбан был в прекрасном настроении. Он откупорил бутылку старого бордо.

— Пенсию получил! — объяснил он Сабасу. Он плеснул несколько капель в свой стакан, понюхал, налил Сабасу, потом себе.

— Знаешь, в больших ресторанах подают бутылки, каждая стоит мою месячную пенсию!

— Я смотрю, Корбан, ты и в этом знаешь толк!

— Да нет... Дожил я почти до восьмидесяти, а ничего такого не знал. Это мне все Меа Кульпа рассказывает.

— Ты имеешь в виду Агульпу?

— Конечно, Агульпу. Не знаю, почему его Меа Кульпой прозвали. Максим Агульпа — оно вроде бы на Меа Кульпу похоже, но только он что-то не выглядит человеком, который кается в своих прегрешениях. Послушал бы ты его речи! Лично я, конечно, про деньги и про оплату труда в теории знаю, но он такое на своем веку перевидал! Да, брат, деньги!.. — И он продолжал с задумчивым видом: — Вспомнилась мне сейчас одна история,— она всегда меня потрясает. Мне ее отец рассказал, когда мне было лет двенадцать. Не знаю, подлинный это случай или нет. Отец про него то ли от кого услышал, то ли в газете прочитал. В наших краях было дело. Возвращается крестьянин с ярмарки, где продал коров,— было у него для продажи коров пять или шесть, и у каждой забавное имя,— ты ведь знаешь, как это принято у нас в деревнях...

— Нет,— сказал Сабас,— мой отец на лесопильне работает.

— Ах, да, я и забыл! Но он-то все равно знает... Так вот... Коров зовут Цыганка, Роза, Фиалка, Принцесса. В объявлениях о продаже скота их именуют «живая движимость», чудно́, правда? Так вот, продал крестьянин коров, вернулся домой с деньгами, садится возле печки, а деньги рядом на стол кладет, и его трехлетний сынишка хватает всю пачку и кидает в огонь. Мой отец так рассказывал: «Схватил он бритву и резанул мальчика по рукам».

— Не слишком веселая твоя история,— сказал Сабас.— Отец именно так тебе все рассказал?

— Люди тогда черствые были... Да... А вы, молодые, жизни почти не знаете... Слушаю, как эти юнцы рассуждают насчет аграрной реформы в Китае, и думаю: высокие теории — это, конечно, хорошо, но нельзя забывать о мелочах. Иностранных рабочих все кругом очень любят, но только теоретически, а вот пригласить их к себе домой...

Он вздохнул и поглядел в окно; возвращаясь с прогулки, по крыше сарая прошел кот и спрыгнул во дворик, на цемент, мягко и пружинисто приземлившись в том самом месте, которое уже давно было облюбовано им раз и навсегда; по звуку кошачьего прыжка можно было проверять часы.

— Я позвал сегодня на чашку кофе троих португальцев — Жерониму Альберто, Осориу Алвиша и Тьерно — никак не могу запомнить его фамилию, больно уж она длинная. Раньше мне не приходилось встречать португальцев. «Покажи ты только палец — захохочет португалец»,— когда был молодым, я ничего про Португалию, кроме этой поговорки, не знал. А поговорка-то дурацкая, потому что они совсем не весельчаки... Португальцы, которые сегодня придут, конечно, говорят по-французски. Ну, о политике, сам понимаешь, речи не будет. Потому что даже со мной они не откровенничают...

Португальцы явились с удивительной пунктуальностью, минута в минуту; все трое принарядились, почистились, навели глянец на туфли; их лица выражали покорность судьбе, но при этом на всем их облике лежала печать благородства. Работавшие на стройке испанцы управляли бульдозерами с той величавой надменностью, с какой лоцманы Колумба вели через океан свои каравеллы, а сыны Лузитании были еще горделивее испанцев. В их черных зрачках умещались бескрайние горизонты. Такие глаза были, наверно, у пилигримов, которые шли через пустыни и горы, ожидая, что город, где умер Христос, вознаградит их за все лишения и утолит в смертный час их великую жажду. Такие глаза были, должно быть, у мореплавателей, когда они, неграмотные, отправлялись из Португалии в дальние страны, чтобы проповедовать Писание, когда они, молчаливые, уходили за море, чтобы нести людям Слово, когда они, нищие крестьяне,

чье детство прошло в глинобитных хижинах, устремлялись в Индию или Китай, ибо там солнечные города диадемой сверкали на челе мира, венчая его своей мудростью, которая увековечена в записанных золотом и киноварью речениях. И вот они очутились на стройке, которая встретила их не орхидеями и не ладаном, а жухлой болотной травой да сероводородной вонью. А ведь и Франция была для них сказочным краем. Пусть не таким, как Китай или Бразилия, но и к ней устремлялись в мечтах жители португальских деревень. Франция! Там есть работа! Но есть и грубый окрик... Там воздух напоен свободой! Но и презрением к иностранцам... Страна братства! И предрассудков... Непременно, любой ценою, вернутся они к себе, в Португалию. «Мы храним верность,— говорил Тьерно.— У нас есть памятник вроде вашей Триумфальной арки, и на нем среди листьев плюща высечено: «Храню верность, покуда жив», и это повторено там двести раз: «Покуда жив, покуда жив...»

Трое португальцев вежливо расселись вокруг стола; этому предшествовал сложный церемониал, имевший целью определить, кому садиться первым, а кому последним; однако во всем этом не было ни высокомерия, ни смущения, ибо, признав Корбана равным себе, они оказали ему честь и теперь были с ним по-княжески вежливы.

Жерониму время от времени зябко вздрагивал.

— Первая зимняя простуда,— объяснил он.

— Вот-вот, и я про это Сабасу толкую,— отозвался Корбан.— Сейчас тепло, но я-то,— он поднял голову и шумно втянул ноздрями воздух,— чую снег за тысячу верст. Тебе, небось, не часто доводилось видеть снег у себя дома?

— Доводилось,— сказал Жерониму.— Снега я повидал немало.

— Постой, постой, да как же так! Ведь у вас почти что Африка: апельсины растут, лимоны.

— И все равно у нас есть снег,—сказал Жерониму с горячностью, которая удивила Корбана и Сабаса.— Ты просто не знаешь. Страна у нас небольшая, но в ней есть горы, есть такие дикие места, что ты даже не можешь себе представить. Более дикие, чем у вас во Франции.

— И все же не такие, как в Альпах,— сказал Корбан.— Я там однажды побывал, у моей жены есть родственники в Савойе. Если б ты только видел, какие там горы! Покрыты снегом, и когда заходит солнце, снег делается розовым, красным, а потом фиолетовым.

— Я уверен, что это очень красиво,— отвечал Жерониму,— но у нас есть такой край, он называется Серра-да-Эстрела. Там базы зимнего спорта, и пастушеские хижины, и эти... ну, для больных, кажется, санатории называются...

Жерониму сидел спиной к свету, и нельзя было разглядеть выражение его лица. Он затянулся сигаретой, с силой вдохнул дым.

— Да,— сказал Корбан,— это санатории.

— Туристы ничего такого не знают,— продолжал Жерониму.— Для них Португалия — это летний отпуск. Им подавай солнце, пляж!.. Тем лучше... Я рад, что им нравится моя страна... — Он спохватился, поглядел на Осорио и Тьерно и добавил: — ...наша страна.

Оба друга торжественно кивнули, подтверждая свое согласие.

— Ты не знаешь Португалии? — спросил Жерониму.

— Я и свою-то страну неважно знаю,— сказал Корбан.— Но все же иногда мне кажется, что я знаю ее очень хорошо, будто я всю жизнь провел на ее дорогах. Почему же ты думаешь, что я не могу себе представить и твою Португалию?

— О, книги тут мало помогут! — сказал Жерониму.— Это так прекрасно! Нужно видеть, нужно осязать...

— А кто у тебя в санатории — отец?

Голос Корбана был суров, но эта суровость была теплее любой нежности.

— Нет, сын. Ему семь лет.

Эта невидимая Португалия стала вдруг для них страной сумерек и ожидания, страной, населенной детьми, чьи глаза жадно ждут снегопадов.

— Понимаю,— сказал Корбан.

— А вот больные не всегда понимают,— сказал Жерониму.— Но нельзя же их навещать каждую неделю. Для этого нужно столько денег! Нужно быть миллионером!

Он громко рассмеялся, и Осориу подхватил его смех, и Тьерно тоже.

— Да, не каждую неделю. И не каждый месяц. И даже еще реже. Но они все-таки рады, что видят снег.— Он отпил еще глоток. И сказал рассеянно: — Особенно дети.

— Да, — вздохнул Корбан,— всё в точности, как у нас! Дети любят снег! А на это деньги нужны! Ох, как нужны...

Глава тринадцатая

Прошло двое суток с той ночи в дюнах, а Лия не видела больше Сабаса. Она не знала, куда ему позвонить. Разве что в привокзальное кафе? Но эта мысль пугала ее. Придется долго объяснять, потом еще дольше ждать, потом это замешательство на другом конце провода, эти намеки и туманные фразы, к которым с любопытством прислушивается за стеной кабатчик или его жена... Попозже, спустя какое-то время, когда они научатся понимать друг друга с полуслова, все станет, наверно, проще, но сейчас, в эти первые дни... Сейчас надо ждать, когда позвонит он, и она ждала в своей комнате, тоскливо глядя, как дрожат на потолке речные блики. Если он позвонит вечером, когда вернутся домой родители, ей тоже будет неловко. Она бы хотела, чтобы он написал ей письмо, хотела этого и боялась. Послание от Сабаса, бумага, конверт... и тон письма, даже почерк — все могло стать пробуждением еще более резким, чем первое знакомство со стройкой. Она вдруг поняла, что ее жизнь облегчена множеством приятных пустяков, оснащена множеством удобств, таких привычных и естественных, что она до сих пор почти не замечала их, не осознавала их важности. И поняла также, какими бесчисленными путами оплетена жизнь Сабаса, насколько не похожа она на жизнь даже самого бедного студента.

Она была признательна Сабасу за то, что он заплатил за ужин и гостиницу в дюнах. Впрочем, она ни на минуту не допускала мысли, что он может поступить иначе. Она знала, что он безмерно горд, и это наполняло ее торжествующей радостью и безнадежным унынием. Что станется с их — она заколебалась, прежде чем мысленно произнести слово, но истинность этого слова ожогом жила в ее теле,— с их любовью? Все книги показались ей вдруг нелепыми и смешными. «Все ложь...» — пробормотала она. Ей вспомнилось, что сказал ей Сабас на пустынной дороге перед началом грозы: «Цвет человеческой кожи...» Истину можно познать только своею шкурой. Что делал он ночами в квартале гулящих девиц? Перед ней вереницей замельтешили тошнотворные, постыдные картины, от которых неистово билось сердце, она увидела Сабаса рядом с женщиной, которая, конечно, отнюдь не была жалкой тварью, какою наверняка она рисовалась Лииной матери.

Клонившийся к вечеру день трепетал вокруг Лии, пышная осенняя синева струила мягкую ясность — такой день бывает в самом разгаре лета, когда сады пронизаны солнцем и на чердак с окном на север льется спокойный свет. Едва доносившийся в комнату шум порта был ропотом моря у кромки песчаного пляжа, был возвращением необъятного мира к больному, очнувшемуся после кризиса, этот шум нес уверенность и успокоение. Ночь среди дюн... Она не могла назвать это сном, здесь нужно было другое слово, близкое и живое. Ей хотелось поделиться своим счастьем, делиться им всегда, даже если у нее останется самая малая частица радости и тепла, делиться этим нежданным счастьем, которое вдруг выросло в ней, как солнечный цветок, такой невероятно прекрасный, что она испугалась, будет ли она достойна его.

Сабас позвонил под вечер. Когда она узнала его голос, у нее перехватило горло, она опять испугалась, что услышит неуклюжие — слишком будничные или пошлые — слова. Но голос Сабаса прозвучал в трубке по-новому — уверенно и сильно. Он почти сразу сказал: «Я ищу работу, мне нужны деньги»,— сказал без малейшего смущения и без того противного лихачества, каким порой щеголяют севшие на мель юнцы. Лия почувствовала, что Сабас, сам того, наверно, не подозревая, многому научился у Корбана.

И уж совсем другим тоном Сабас добавил:

— Лия... Мы скоро увидимся. Я не могу сейчас с тобой встретиться. Но я с тобой, Лия. Всегда.

Он повторил: «Всегда», и модуляция его голоса внезапно воскресила тот день, грозу и пустую дорогу.

— Никто никогда тебя так не любил, как я. И никогда не будет. Я хочу, чтобы ты это знала. Никто. Я люблю тебя так, словно никогда больше тебя не увижу. Я люблю тебя больше жизни, твоей и моей.

Она повесила трубку, ошеломленная и обессилевшая, слушая, как кровь поет песню великой радости.

Глава четырнадцатая

Дома у себя Сабас застал Корбана.

— Если хочешь встретиться с Агульпой,— сказал старик,— приходи сегодня ко мне ужинать. Я нарочно позвал его для тебя. Дай ему выговориться как следует.— Старик беззвучно рассмеялся.— И главное, не заводи политических дискуссий!

Корбан ждал Сабаса и Агульпу к половине девятого. Впереди у Сабаса было четыре долгих часа. Он решил заглянуть к Термоли, который жил с родителями в старом доме недалеко от бульваров, напротив нового здания почты. Дом был обречен. Он стоял на углу двух улиц, которые должны были скоро стать широкими проспектами; время от времени под его окнами появлялись странные фигуры — в очках, в шляпах, в серых габардиновых плащах, с тяжелыми черными портфелями; эти люди подолгу бродили вокруг дома и были похожи на бригаду криминалистов, прибывшую на место преступления. Но дом по-прежнему стоял на своем месте. Семья Термоли привыкла к этой постоянной неопределенности, и отец уже собирался высадить в своем треугольном палисадничке дрок. «Дрок очень красивый! И живет долго! Весной сами увидите!»

Термоли еще не пришел с работы.

— Он говорил про какой-то большой полис, чуть ли не на миллион франков,— объяснила мать.— Наверно, сегодня они его и подпишут. Недаром он поволок с собой целую кипу бумаг.

— Скажите ему, что я пошел к Небузену, а оттуда к Абилиу.

Небузен поднялся навстречу Сабасу, еще более черный и лохматый, чем обычно. Он был явно чем-то расстроен. На столе дымилась чашка горячего кофе с молоком. В ответ на удивленный взгляд Сабаса он сказал:

— Я тоже со стройки ушел. Есть работа в одном туристическом агентстве. Меня всегда интересовали заморские страны, и потом мне нравится изучать языки...

— Да где ж ты их будешь изучать?

— В школе я учил английский и немного немецкий. Голландский расположен где-то посередке между этими двумя, так что разобраться в нем будет нетрудно. У моей матери родители были испанцы, да и у нас тут испанцев хоть пруд пруди. Итальянский — он почти что тот же французский. Португальский там даже не очень-то нужен, но я все равно попросил, чтобы отец Абилиу меня немного поднатаскал. Так что скоро я смогу болтать на семи языках.

— Тебя уже взяли на работу в это агентство?

— Нет. Для начала они закатили передо мной целую речь на английском языке. Снобы они. Настоящие англичане так не придираются. Вот тебе доказательство: когда я выходил из ихней конторы, навстречу мне попался англичанин, он спросил, как пройти к собору, я ему объяснил, и он отлично меня понял.

— А чем ты пока будешь заниматься?

— Эх! Ты не поверишь! Один мой приятель работает в Армии спасения, он пристроил меня уборщиком туристических поездов. Ночью я работаю на товарной станции, а утром хожу на курсы — изучаю иностранные языки аудиовизуальным способом.— Небузен показал на стопку газет и журналов.— Все это я в вагонах подобрал, читаю для практики... Вообще-то положено сдавать их в больницы и богадельни, но здесь столько специальных изданий... Так что я никого не обворовываю...

За двенадцать дней, что Небузен занимался уборкой вагонов, он собрал поразительную библиотеку. Немецкие иллюстрированные журнальчики, специальные бюллетени на английском языке, брошенные пассажирами за ненадобностью, голландские комиксы, экономические брошюры, американские еженедельники по баллистике и биржевые курсы, валявшиеся на лавках и в багажных сетках, исчезали в папке Небузена, затем перекочевывали к нему в комнату.

— Ты идешь к Абилиу? — спросил Небузен.— Я с тобой. Мне нужно повидать его отца. Только вот не знаю, на настоящем ли португальском он говорит: что-то его португальский оказался гораздо труднее, чем я думал...

Гимараэш, отец Алибиу, приехал на заработки во Францию за несколько месяцев до начала второй мировой войны. Приехал ранним январским утром один, и весь его багаж состоял из нескольких свертков в газетной бумаге и двух бутылок вина. В то время никому и в голову не могло прийти, какой поток иммигрантов хлынет во Францию через двадцать-тридцать лет. Поездка заняла тогда двое суток, но для Гимараэша, притулившегося на деревянной лавке в вагоне третьего класса, она была бесконечно долгой, дольше, чем для нищих трюмных пассажиров, едущих через Атлантику в Новый Свет.

— А, это ты! — воскликнул он, увидев Небузена.— Вот уж не думал, что когда-нибудь заделаюсь учителем! Садись, Небузен. И ты тоже, Сабас.— По-французски он говорил без всякого акцента.— Книгу принес?

Небузен вытащил из портфеля купленный по случаю учебник — «Португальский язык для всех. Прямой метод быстрого и легкого

обучения языку. С произношением, записанным по-французски». Хотя Гимараэш уже видел эту обложку, он не мог удержаться от смеха:

— Португальский для всех!.. Ну, ладно. Выкладывай... Сперва глагол «быть». Пока его не выучишь, у тебя ничего не получится.

Водя пальцем по строчкам, Небузен забормотал:

— Эу со, ту эш, эле э, нош сомуш, вош соиш, элеш сао... До чего же сложно, черт побери!

— Но ведь я-то французскому научился! Правда, мне здорово помогла Лоранс,— он повернулся к матери Абилиу,— я был в нее влюблен, а когда человек влюблен, у него все получается гораздо быстрее! Женись на португалке!

— Тогда ему надо жениться на шести женщинах сразу,— сказал Сабас,— на англичанке, на немке...

— Но этого мало,— продолжал Гимараэш,— нужно еще пойти на войну солдатом, родить детей, поработать в стране. Тогда тебя примут. И то не совсем...

— Да сними ты, наконец, свой колпак! — раздраженно сказала Лоранс.— Чего дома в шапке сидеть?

— Видали? Жене не нравится моя шапка! А ты хочешь искоренить предрассудки. Это рыбацкая шапка, у нас все мужчины их носят.

Он уперся широкими ладонями в бедра и выпятил грудь. Черная вязаная шапка, длинная, остроконечная, увенчанная толстым шерстяным помпоном, походила на конус ветроуказателя, что полощется над зданием аэропорта. Под этим колпаком физиономия Гимараэша, прожаренная и продубленная солнцем, изрезанная морщинами, со сплошной линией густых бровей и воинственным носом, приобретала пиратский вид. Из ушей и из ноздрей у него торчали пучки волос, в широко открытом вороте рубахи виднелась густая шерсть. Вся его фигура дышала исконным, почвенным согласием с жизнью и едва заметным лукавством. Он с сожалением сдернул с головы свою рыбацкую шапку,— на макушке обнаружилась круглая плешь.

— Вы даже не можете себе представить,— продолжал он,— до каких высот может дойти человеческая глупость. Как-то при мне столкнулись две машины, водители стали друг на друга орать. Я соскочил с велосипеда, смотрю, у них дело уже до кулаков доходит, я им говорю: «Да бросьте вы ругаться», а тут как раз появляется полицейский. И что он в первую очередь делает? Требует у меня документы! Показываю ему военный билет. Он пялится на меня, особенно на мой колпак. «Ах, значит, вы француз?» — «Малость француз. Добровольцем пошел в армию, бежал из плена, имею две награды».— «Хорошо, хорошо, извините».— «Чего тут,— говорю,— извиняться? Мой отец был португалец».— «Это,— говорит,— другое дело».— «Ничего не другое. Он погиб в тысяча девятьсот семнадцатом. Вас тогда еще на свете не было, но португальцы были в той войне вместе с вами, они сражались, чтобы вернуть вам Эльзас и Лотарингию...» Ну вот, все были довольны, все смеялись, а не окажись при мне военного билета, что бы я от него услышал? «Проваливай отсюда, чернож...!» Вас, французов, очень любят у нас в стране. Особенно дети! Но эту любовь вам надо бы еще немножко заслужить... Ну, да ладно. Давай дальше! — крикнул Гимараэш.— Вот выучишь португальский — сможешь мести в Португалии улицы. И тогда я подарю тебе мой колпак, чтобы ты скорее стал похож на местного...

— Имперфект: эу эра, ту эраш, еле эра.

— Не совсем так: эле эра.

— Никогда бы не поверил, что португальцы такие ученые,— сказал Небузен.— Да-а... А, может, мне лучше с голландского начать?..

— Тебе виднее. Как твои дела, Сабас?

Сабас стоял в сторонке с Абилиу и расспрашивал его про стройку. Он взглянул на часы, висевшие в кухне,— часы были не португальские, а шварцвальдские, с кукушкой,— и заторопился.

— Мне пора! Надо с одним человеком у Корбана повидаться!

Небузен тоже вскочил — приближался час уборки вагонов. Абилиу вышел их проводить. В дверях столкнулись с Термоли.

— Я, как всегда, опоздал! Ну, ладно, пойду с вами...

— Как твой полис?

— Ах, все шло так здорово!.. Оставалось только подписать... Но клиент задевал куда-то свое удостоверение личности. Пошел искать, а я пока что заглянул в его бумаги. И что я увидел? Открытая форма туберкулеза, стопроцентный инвалид. Так сказать, готовый покойничек... А хотел на пятьдесят миллионов застраховаться. Ему только свидетельства о смерти не хватает, все остальное у него в полном порядке, даже любовница есть... Так что сорвалось мое дело. Если б еще был под рукой добрый старый доктор, который может увидеть легкие там, где их уже нет... Хотя все равно послали бы моего клиента на контрольное освидетельствование... И ушел весь день на пустую болтовню...

Сабас распрощался с друзьями возле дома Корбана.

Котелок Меа Кульпы лежал на стуле. В этом головном уборе таился какой-то пророческий смысл; недаром Сабас увидел котелок на какую-то долю секунды раньше, чем самого Меа Кульпу. Восседавший на соседнем стуле кот с большим интересом разглядывал шляпу и даже не ленился время от времени спрыгивать со стула, чтобы ее обнюхать.

— Он чует запах моей кухни,— пояснил низкий голос.

Сабас повернул голову.

— Вот и наш молодой человек! — продолжал тот же голос.— Это ты, Сабас? Я говорю тебе «ты». И ты тоже можешь говорить мне «ты».

Камилла, жена Корбана, сидела за столом — уже одно это свидетельствовало о серьезности происходящего.

— Ужин у нас, конечно, не такой, как в «Ла-Перголе»,— сказала она.

И в ответ — исполненное благородства заявление Максима Агульпы:

— То, что я готовлю сейчас, это пустяки. Легкая закуска. Вот приходи, Корбан, через несколько дней, и вы, Камилла...

— Нет, нет, вам будет приятней побыть в мужской компании...

— Сабас тоже пусть приходит, еще двое-трое ребят и Отвертка. Отвертка во Франции?

Не дожидаясь ответа, Агульпа продолжал:

— Не будем сегодня говорить о делах. Корбан тебе все объяснит. На стройке у тебя нет никаких перспектив. И на завод возвращаться тоже нет смысла. Приходи ко мне и попробуй у меня поработать, пока рука не зажила. Я научу тебя тысяче разных вещей... Корбан не принимает меня всерьез, у него свои взгляды на жизнь. А у меня — свои! Я тебе объясню, что такое деньги. Хочешь получить аванс?

Он вынул из кармана бумажник.

— Аванс за что?

— Я тебе предлагаю честную работу. Если бы мне было что скрывать, я не стал бы давать тебе денег при Корбане.

Сабас взглядом попросил совета у старого железнодорожника. «Не возражай»,— безмолвно ответил Корбан. Банковские билеты перекочевали в руку Сабаса. Сабас покраснел. Максим Агульпа пристально смотрел на него.

— Если б ты сейчас отказался, я больше никогда бы не имел с тобой дела... Сам посуди, мы в доме у наших друзей, люди они уважаемые, уже не первой молодости, они меня знают, и если б ты отказался, ты проявил бы полное отсутствие здравого смысла или показал бы себя кривлякой и привередой... Когда тебе предлагают деньги, нужно знать, какие это деньги. И если это деньги честные, не ломаться, а брать. Ага! Стыдно стало! То-то же...— На физиономии Агульпы промелькнуло горькое выражение.— Не будем больше об этом. Приходи завтра ко мне в вагон-ресторан, возле прудов... А теперь займемся едой! — весело добавил он.

Расстались в полночь. Агульпа пожал руку Камилле, Корбану, еще раз бросил Сабасу: «До завтра!» — взял свой котелок, на котором виднелся влажный след кошачьего носа, водрузил его на голову, шагнул в темноту, наполненную кваканьем лягушек, и исчез.

Сабас вернулся к Анне. Голова была тяжелой от вина. Ложась спать, он услышал хруст денег в кармане. Он не решился их пересчитать. Почему-то подумал о проститутках, получающих свои первые деньги,— эта мысль никогда прежде не приходила ему в голову. Какие деньги можно вообще считать честными? И какие — нечестными? Что сталось бы с его любовью к Лии, не будь у него денег? Украл бы он ради этой любви? Убил бы? Или предпочел бы от нее отречься? Сейчас он ничего уже не знал. Корбан не станет толкать его на дурной путь, но почему он так снисходителен к Агульпе?

Пристанище среди дюн. Он вспомнил густую завесу плюща, покрывавшую стены. Она колыхалась с легким шорохом, похожим на шорох дождя, и зеленый бархат листвы был стенами этой тревожной и зачарованной ночи.

Он засыпал, и дуновение, легким облачком повисающее над человеческим сном, шепнуло ему: нет, не от хорошей жизни познал Максим Агульпа истинную цену денег.

КНИГА II

Глава первая

Проснувшись в воскресенье утром, Сабас вспомнил, что он не спросил у Корбана адрес Агульпы. Он твердо знал: в окру́ге нет ни одного ресторана под вывеской «Ла-Пергола». И что это за намеки на какой-то вагон-ресторан? Постепенно обрывки воспоминаний стали склеиваться: рассуждения хозяина привокзального кафе, иронические улыбочки вокруг Агульпы, его репутация чудака. Сабас решил не тревожить лишний раз Корбана. Надо попытать счастья, авось судьба опять приведет его к человеку в котелке. Сабас вспомнил, что в тот день, когда он встретил Корбана на дороге, ведущей к прудам, за деревьями мелькнул пресловутый котелок. Значит, в том направлении и надо идти.

Сабас дошел до пруда, к которому он приходил вместе с Корбаном, повернул к зарослям кустарника и пересек свалку железного лома, спотыкаясь на каждом шагу о старые шпалы, наполовину ушедшие в землю. Он шел осторожно, внимательно глядя себе под ноги, выбирая место для каждого шага и пытаясь разглядеть, нет ли лову-

шек в густой траве. И все же он подвернул ногу и упал, растянувшись во весь рост. С трудом поднялся — и увидел перед собой озабоченную физиономию Меа Кульпы.

— Надеюсь, ты не расшибся?

— Пустяк, ногу подвернул.

— А рука твоя, о несчастный, а рука? Известно ли тебе, что я теперь за тебя в ответе?

— Пока еще не в ответе,— сказал Сабас.

— Морально я отвечаю уже сейчас.— Отеческим жестом он взял Сабаса за руку.— Ты пошел не тем путем. А ведь все очень просто. На дороге, ведущей к реке, стоят два каменных столба. Это ворота бывшей усадьбы. Входишь и идешь, никуда не сворачивая... Мне очень нравятся эти каменные столбы, со временем я повешу на них свою вывеску. Но до чего же люди любят все усложнять! Словно мой ресторан стоит в джунглях!.. Когда затеваешь большое дело, некогда думать о таких мелочах... Ну, вот и «Ла-Пергола»!

— Да ведь это вагон! — воскликнул Сабас.

— Это *был* вагон.— Агульпа сделал ударение на слове «был», будто отбрасывая «вагон» в далекое прошлое.— Это был только вагон. Всего какую-нибудь неделю — ну, допустим, две недели назад... А мне кажется, что прошли годы! Время летит быстро... Теперь «Ла-Пергола» — это кафе-ресторан. А скоро,— уверенно пообещал он,— скоро здесь будет первоклассное заведение. И в этом я рассчитываю на тебя. Поверь, ты не пожалеешь.

История кафе-ресторана, одиноко торчащего среди пустынных болот, и в самом деле не укладывалась в обычную хронологию — исчисление времени по общепринятому календарю было бы тут бесполезно; здесь, как в волшебных сказках, требовалось какое-то иное, совсем особое время, когда секунда порою длиннее столетия. Никто не знал, как давно появился здесь этот вагон, как давно вместе с сотнями своих собратьев прибыл он на это вагонное кладбище. Целые составы отправлялись тогда под автоген. Шли дни за днями, язычки синего пламени плясали над листовым железом, над балками и лонжеронами, потом железный лом сваливали на платформы и везли в переплавку.

Но вот замолкло потрескиванье автогена. Территорию свалки продали под строительную площадку, уволили персонал. Лишь кое-где на рельсах, которые не замедлили заржаветь, осталось несколько старых колес, точно обломки великаньих игрушек. И остался неведомо как уцелевший вагон-ресторан. Его сразу же обложили кругом сорняки; дикие травы росли буйно, тянулись в вагонные окна. Однажды, в дождливый день, двое-трое рабочих с большой стройки, прокладывавшие по соседству электрический кабель, заглянули сюда в перерыв, чтобы съесть завтрак под крышей. Они протоптали в траве узенькую тропинку. Рабочие были арабы. Никогда еще в жизни не доводилось им бывать в вагоне-ресторане, даже в бывшем, даже в давно упраздненном. Они робко сели на пол площадки, у самой вагонной гармошки; они не решались войти внутрь, занять кресла, разложить свою снедь на покрытых пылью столах. Они чего-то боялись, им, должно быть, мерещился контролер, грозный посланец Дирекции железных дорог или Компании спальных вагонов, который нагрянет внезапно, и потребует билеты или плацкарты, и начнет составлять протокол. Но прошло несколько дней, и, наверно, им удалось умилостивить призрак в форменной железнодорожной фуражке. Самый юный из рабочих даже рискнул нажать на кнопку сигнала тревоги. Но ничего не произошло. Тогда, видя, что полицейские громы молчат и кощунство не наказано, алжирцы усе-

лись в обитые бумажным бархатом кресла. С радостным смехом глядели они друг на друга, словно приобщаясь к непонятному миру денег и богачей. Это было как наваждение, их словно обволакивала исходившая из этого места зараза; ведь здесь были истрачены миллионы, выпиты реки бургундского и бордо, бенедиктина и шартреза, выкурены целые леса сигар, съедены горы еды, столько еды, что в тропиках ею можно было бы накормить целый народ.

На большую стройку нанялся цементщиком Максим Агульпа. Бывший бармен, потерпевший крушение в лимонадных морях, бывший официант в ресторанах, бывший мойщик посуды, он за тридцать лет перепробовал чуть ли не все профессии в индустрии кормежки, да так ни за одну и не сумел уцепиться. «Я сам виноват! — повторял Агульпа.— Однажды мне представился случай завести собственное дело, а я оробел. Ведь видел, видел же я, что приглянулся хозяйке!.. А еще был случай — хозяин совсем одряхлел... Заведение небольшое, но я бы сумел его расширить... Оставалось только деньжат подзанять, и все бы было в порядке... Сам, сам виноват!»

Меа Кульпа пришел в вагон вслед за арабами. Раздувая ноздри, он долго принюхивался, и почудилось ему, что среди этих ржавых обломков, насквозь продуваемых равнинным ветром, слышит он запах приправ и подливок — главный запах своей жизни. И постепенно между несостоявшимся поваром и бывшим вагоном возникла дружба. Каждый по-братски дарил другому половину своей надежды и честно делил с ним половину его поражения. Лицо Меа Кульпы было теперь уже не таким сокрушенным, взгляд не таким покаянным. Он все чаще разглагольствовал о богачах, с которыми доводилось ему знаться в своей долгой жизни.

Да и вагон — он тоже переменился. Каким-то чудом пролившийся над ним ливень, более сильный, чем все прежние, и, очевидно, более точно нацеленный, промыл в один прекрасный день вагонные стекла, и они весело заиграли на солнце. Разумеется, это чудо свершилось не само по себе, его вызвала к жизни жаркая мольба Меа Кульпы. Арабам он посоветовал — пока что довольно робко — не пачкать обивку кресел и не прожигать ее окурками. Он недовольно глядел на рассыпанные по полу крошки, подбирал обрывки грязной бумаги.

Однажды утром он принес с собою метлу. Метлу он взял не на стройке, метлу он купил, купил и вырезал на ручке свое имя. О том, что вагон завоеван Агульпой, свидетельствовали и некоторые другие признаки. «Я принес кофейник. Свежесваренный кофе лучше, чем кофе из термоса. Я угощаю». Во время рабочего дня Агульпа то и дело под тем или иным предлогом ускользал со стройки и шел к вагону. Мастер делал ему замечания — сперва удивленно и дружелюбно, а потом уже и сердито. Видя, что слова не помогают, мастер замолчал и только метал на Меа Кульпу грозные взгляды, которые, надо сказать, порою не менее красноречивы, чем приказ об увольнении. Но Меа Кульпу это не пронимало. Он слышал другое — слышал голос вагона; вагон взывал к нему, умолял, требовал целлофановых скатертей для столов. («Непременно надо будет попробовать. У меня как раз остался один пакет с той поры, когда я работал официантом в «Ла-Перголе», у городской мэрии».)

И наконец — но когда? и кто именно? — наконец, обращаясь к Меа Кульпе, разливавшему после завтрака горячий кофе полудюжине своих сотрапезников, один из арабов произнес это дивное слово: «Хозяин». Прекраснейшей музыкой отозвалось оно в сердце Меа Кульпы. Никогда еще в жизни, ни даже в насмешку, ни по ошибке, никто не звал его хозяином. Никто. Никогда. Это он сам тридцать лет угодливо произносил: «Хозяин».

Отныне сомневаться было уже нельзя. Волшебное слово вырвалось из уст провидения. Радостная мелодия трех слогов: «Хо-зя-ин» — долгие годы летела ему навстречу сквозь туманную бесконечность. Он узнал голос судьбы. Хозяин!

На другой день Меа Кульпа явился на стройку с двумя бутылками и с таинственным сундучком. Мастер встретил его холодной яростью.

— Агульпа! Зайди ко мне в контору.

Конторой именовалась металлическая кабина, поставленная прямо на землю при входе в сектор F. Мастер без обиняков приступил к делу:

— Агульпа! Ты уже давно ни черта не делаешь! Я тебе об этом говорил раз двадцать!

Обычно Агульпа опускал голову и, больше чем когда-либо оправдывая свое прозвище, всем своим видом показывал, что он полностью осознает собственное ничтожество и даже готов понести заслуженное наказание, но просит его великодушно простить; по спине Меа Кульпы пробегала смиренная дрожь, плечи понуро сутулились, в чертах лица разливалась беспросветная грусть, и мастер с трудом мог разобрать, когда он чуть слышно бормотал: «Да, да...» Он обещал больше не отлынивать от работы, он давал понять, что душа его жаждет лишь одного — поскорее вселиться в тело настоящего цементщика...

Но на этот раз он чуть заметно выпятил грудь, без всякого вызова потоптался на месте, словно проверяя, прочна ли под ногами земля, и легонько откашлялся, прочищая горло. Потом спокойно спросил:

— Чем могу служить?

Мастер мгновенно почувствовал, что эту, казалось бы, крайне смиренную фразу произнес не его подчиненный. В ней слышалась мягкая властность, в ней была та непререкаемая благосклонность хозяина, которая держит людей на почтительном расстоянии. Наступило молчание. Затем мастер вежливо перешел на «вы»:

— Я хотел вам сказать, Агульпа, что если работа вам не подходит... Словом, если вы считаете...

— Да, она мне не нравится.

— Ну что ж, тогда...

— Именно об этом я и хотел вам сказать.

Беседа приобрела характер торжественного ритуала. Агульпе вручили расчет. И он направился к своему ржавому другу. Поднявшись в вагон, он поставил на ближний стол бутылку аперитива и бутылку ликера. Раскрыл сундучок, задумчиво оглядел лежавший в нем набор рюмок. Судьба подстегнула ход событий. Еще утром, до разговора с мастером, Меа Кульпа собирался угостить небольшую группу друзей. Теперь масштабы менялись. Припасов уже не хватало. Нужно было действовать без промедления.

Он оседлал свой велосипед и спустя два часа вернулся в древнем автофургоне, нагруженном хлебом, ветчиной, паштетами, изрядным количеством напитков и столовых приборов. «Вагон стоит за пределами стройки,— размышлял он, подскакивая на ухабах.— Теперь я вправе делать все, что захочу, и никто не может мне ничего запретить».

Он понятия не имел, будут ли рабочие со стройки приходить в его кафе на рельсах. Не знал, имеет ли он вообще право кормить посетителей, не знал, какие формальности следует для этого выполнить. Не знал, кому принадлежит участок. Не знал, как быть с водой, с электричеством. Добьется ли он разрешения жить в этом вагоне? (До сих пор гостиничный номер был единственным его жильем.) И какие доходы даст новое предприятие? Но все это казалось сейчас неважным.

«Для начала,— размышлял он,— я назову ресторан «Ла-Пергола». Это принесет мне счастье».

Он уже не видел убогого листового железа. Ему казалось, что по гребню вагонной крыши, над словами «Международная компания спальных вагонов европейских экспрессов» вьются веселые виноградные лозы. А вокруг уже шумит пышный сад, верный залог того, что вагон никогда больше не тронется с места. «Сегодня же надо будет посеять цветы, а потом пересадить их в грунт...»

В обеденный перерыв к вагону пришло пятеро рабочих со стройки — съесть свои бутерброды, выпить по стаканчику вина. «Привет, Меа Кульпа!» Но перед ними стоял другой человек. Не Меа Кульпа, а хозяин «Ла-Перголы». Когда они уходили, у них был несколько озадаченный вид. Самый молодой из пятерых, электромонтер, пожал плечами и рассмеялся: «Ну и чудак!» Но остальные поглядели на него с укоризной. Тот, кто был старше других, пробормотал: «Я знавал людей — в войну и даже после войны,— которые начинали на пустом месте, а потом...»

Встретив Меа Кульпу у витрины ювелирного магазина, Сабас еще не постиг всей величественности его фигуры. Но сейчас, возле громоздкой железной кареты, которая долгие годы возила к горам и морям людские надежды, печали и радости, он вдруг ощутил очарование, исходившее от обоих стариков. «Ла-Перголе» и ее новому хозяину было, наверно, самой судьбой предназначено встретить друг друга... И все-таки замыслы Меа Кульпы показались Сабасу смешными. Чудес не бывает. Неужто Меа Кульпа затеял все это всерьез?

— Ах, мой мальчик, ты мне не веришь? Неужто и ты такой же, как все? Потерпи немного, я покажу тебе, каковы они, настоящие деньги! Только чуть-чуть потерпи...

Глава вторая

Когда Сабас с Меа Кульпой ушли прошлой ночью от Корбана, старый железнодорожник еще долго стоял в своей кухне, вслушиваясь в темноту. В этой тьме ему был знаком каждый звук, от флейтовых нот древесных лягушек в болотах и перестука вагонных колес на востоке у сортировочной станции до гула города там, на западе, где у горизонта ореолом мерцало бело-красное зарево. В той стороне раскинулись большие бульвары; бульвары, как мост, нависали над веером железнодорожных путей, что гурьбой выбегали из-под навеса центрального вокзала. Как-то вечером Сабас засмотрелся на это море огней, и их красота поразила его до слез... Но разве ему, Корбану, порою не хочется заплакать теми же слезами, какими плакал тогда Сабас, и по той же самой причине?.. Слезами от сознания своего бессилия, от неуменья найти слова, которые смогли бы выразить его любовь к своему классу, к своему народу. Ему хотелось быть большим, могучим и дерзким, и подарить своему веку целый ворох чудес, и увенчать главу своей родины венком славы. Да, да, да... Мы — рабочие... Синдикалисты, члены Всеобщей конфедерации труда, коммунисты... Мы — люди!

— Я немного пройдусь перед сном...

Обычно он не выходил из дому в такой поздний час. Но Камилла не стала ни о чем его спрашивать. Корбан немного погулял в темноте. Маленькая пригородная станция... Железнодорожный переезд... Выход со стройки возле Углекислоты... Приземистые дома возле площади Пьера Семара, чуть подальше — кварталы поселка имени Юрия Гагарина, лачуги, чудом избежавшие сноса, темные закоулки, где спят сейчас каменщики, электрики, металлурги, путейцы, рабочие с заво-

дов по производству серы и жидкой углекислоты, рабочие с кожевенных фабрик, почтовые служащие, землекопы, люди десятков, сотен, тысяч профессий,— спят, и даже во сне ощущают в руках тяжесть орудий своего труда, и даже во сне не могут забыть, как зовутся эти орудия, которых так много, что полусотни человеческих жизней не хватит на то, чтобы познать — хотя бы только на одном языке — весь этот словарь, еще более трудный и разнообразный, чем звездные каталоги. Здесь, под серыми лохмотьями Золушки, дремал огромный мир, ютилась великая жизнь, которая уже знала, что ей предстоит венчаться на царство и что в ее тайных морских глубинах уже зарождается, уже тянется к солнцу могучая волна, которая утвердит над планетой знамя разума и красоты. «Мы — рабочие, мы — рабочие...»

Вернувшись домой, он попросил у Камиллы чашку кофе.

— А спать-то как ты будешь?

— Так же плохо, как всегда.

Он вспомнил, что не объяснил Сабасу, как лучше добраться до «Ла-Перголы». Ну, да ладно, парень сам разберется.

— Ты уверен, что тебе так уж надо было знакомить его с Агульпой? — спросила Камилла.

— Да ведь это все не имеет никакого значения. Агульпа попросит его перемыть четыре тарелки и один раз накрыть на стол. Только и всего. Но он хоть даст парню немного денег. И тут все законно. Так что не о чем беспокоиться.

— Но что он будет делать потом?

— Кто? Сабас? Вернется на завод, черт побери, как и все остальные... Да зачем загадывать так далеко?... Жизнь идет своим ходом... А потом, когда придет время... Но этим заниматься буду уже не я... Они сами все сделают, лучше, чем мы...

— А Меа Кульпа? Что будет с его вагоном-рестораном?

— А что с ним может быть? Строят ведь атомные подводные лодки, стадионы, скотобойни, и вряд ли они намного полезнее, чем этот вагон-ресторан. И почему бы старику не помечтать...

Корбан проснулся в три часа ночи. Он хорошо знал, каким бывает небо в это время суток. Знал не только теперь, стариком, когда каждую ночь с открытыми глазами проезжал этот излюбленный смертью перекресток; он знал его в детстве, босоногим крестьянским мальчишкой... А потом, уже взрослым и сильным парнем, он заступал в этот час в ночную смену, и перед ним открывался порт со спящими кораблями, чьи трюмы набиты грузом далеких странствий, и острой иглой впивается тебе в сердце неутомимая жажда отплытий. Корбан знал прозрачность первых мгновений рассвета, когда рождаются и умирают люди, а звезды сверкают особенно ярко и чисто. А земля — какая она под их алмазным свечением? Земля словно кажется меньше, чем днем, и более прочной, земной и немножечко даже скаредной и мелковатой... Теперь, когда он в этот час просыпался, он думал о своих давних товарищах. А еще перед ним возникали вопросы: «То, что я делал в жизни, хорошо ли я это делал?» И еще: «Сделал ли я вообще что-нибудь?»...

Мужество ожило ныне в разных краях земли и прежде всего — во Вьетнаме. А в Америке, в этой огромной Америке, тоже ведь борются и страдают чистые сердцем праведники, и как же она горька, эта борьба праведника, которому страшно, что в любую минуту его может счесть предателем родной отец, мать, брат... Ах, чтобы понять эту муку, ее надо пережить самому,— муку и стыд, когда хочется крикнуть: «Люди, да я ведь с вами! С вами, во имя вашего спасения — и вопреки вашим теперешним страхам, и вы когда-нибудь сами поймете, что договор 1939 года непременно надо было подписать! Это было

необходимо...» И даже брат твой по крови смеет бросить тебе в лицо: «Убирайся к своим русским, они дороже тебе, чем французы...»

Прошлое. Ведь это на нем, на прошлом, на побледневших от горя лицах товарищей (а сколько признаний навсегда остались погребенными во мраке немоты, что еще глубже могильного мрака, сколько признаний, в которых было запечатлено отчаянье «железобетонных» людей!) построен сегодняшний мир с его рослыми парнями и длинноногими девушками... С парнями и девушками, от которых вдруг слышишь: «Ты разве не знал? Я еду в Ленинград, Москву и Одессу». И которые говорят: «По карте это составляет,— они быстро прикидывают в уме,— столько-то километров. Можно машиной (или самолетом, или пароходом) и можно в рассрочку». Какие требуются визы, какие где кемпинги — все им известно. Лучше, чем Корбану. Корбан остался в России своего времени, в России, теперь уже такой далекой... Которую он знал только в мечтах... И такой все равно близкой! Ведь она — в его сердце. И поэтому она для него — самая реальная на свете страна! На прошлой неделе в кассе на пригородной станции Корбан увидел одного молодого лоботряса — лет этак семнадцати, патлы свисают до плеч... Пассажиров к вечеру не слишком-то густо, и, продавая билеты, парень успевал заглядывать в самоучитель русского языка. То, что Небузен учит португальский, это еще можно понять, но учить русский! Ведь тут сперва надо с буквами разобраться, они ведь не такие, как наши! Корбан недоверчиво спросил мальчишку:

— Ты что, на самом деле можешь это прочитать?

— А арабы? Они ведь по-арабски читают, а это уж никак на французский не похоже!

— Арабы, оно конечно... Но все же... Ну вот здесь прочитай!..— Он ткнул пальцем наугад в первую попавшуюся строчку.

— Да тут рядом перевод есть,— сказал парень.

— И все-таки хочется послушать, как оно звучит.

— Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой...[1]

Смешение народов... Да взять хотя бы наш город, в нем живут люди пятидесяти-шестидесяти национальностей: марокканцы, алжирцы, тунисцы, малийцы, сенегальцы, гурки, югославы, греки, итальянцы, испанцы, португальцы, чуть ли не вся Африка собралась, бывшие колонии в Юго-Восточной Азии, люди черной и желтой расы. Значит, у русских тоже есть ландыши? Корбан почему-то раньше об этом не думал. Сейчас до этих ландышей всего пять часов лету, а скоро и за два будут долетать. В конце сентября он ездил с соседом-учителем в аэропорт: «У меня дочка из Англии прилетает, поедем встретим». Дочка учителя, ясное дело, появилась минута в минуту — в вечернем небе распластались крылья большого самолета. Корбан глядел на эту огромную ночную бабочку, на эти прекрасные и уверенные формы современной машины; в них было что-то спокойное, торжественное и печальное. А девчонка тут же забыла про свой самолет.

Пока она получала багаж, прилетали и улетали самолеты, шла будничная аэродромная жизнь, машины выруливали на взлетную полосу, короткая остановка перед началом разбега,— вот так на мгновенье задерживаются солдаты, перед тем как выпрыгнуть из окопа, и кинуться в атаку, и начать убивать, и рвать зубами победу... Потом мощная рука одним взмахом приподнимает самолет вместе с сотней, с двумя сотнями человеческих жизней и возносит его к облакам, отороченным золотой каймою заката. А сейчас было три часа ночи, и Корбану думалось так: «Это всё мы, это мы совершили, и хочется

[1] В тексте по-русски *(прим. перев.)*.

упасть перед самим собой на колени...» И хотелось закричать что есть силы, всею мощью своих легких, всей яростью своих двадцати юных лет, когда он бежал по изрытому снарядами и усеянному трупами полю, и ему тоже хотелось кричать, призывая Революцию, пусть она скорее настанет, пусть радостно вспыхнет и озарит следы отвратительной бойни, и чтобы невидимое глазу братство стало вдруг явственным, плотным и расцвело над ужасом злобы: «Мы — красные! Мы — рабочие!..»

Он заснул на рассвете, встал в восемь часов, с аппетитом позавтракал и принялся мурлыкать себе под нос. Потом сказал Камилле:

— Что-то мне охота пришла поглядеть, чем там занимаются сейчас Сабас с Меа Кульпой.

— Я понимаю, что тебе хочется на них поглядеть. Только ведь ты им работать помешаешь.

— Да я не сразу пойду, а часам к одиннадцати...

— Тогда Агульпе придется приглашать тебя к столу.

— Ну, в двенадцать. Уже будет поздно еще что-то дополнительно стряпать, и Меа Кульпа меня не пригласит...

— Он человек гордый! Ты его только смутишь.

Корбан пришел в «Ла-Перголу» вскоре после двенадцати и с первого взгляда понял, что опасения Камиллы были напрасны и Меа Кульпа вовсе не расположен сооружать дружеское застолье. Практические вопросы в данный момент не интересовали хозяина «Ла-Перголы», и Сабасу, видно, пришлось довольствоваться лишь бутербродами. Для Меа Кульпы настал час высокой теории. Они сидели с Сабасом друг против друга за столом, а между ними на чистой тарелке покоилась внушительных размеров поваренная книга.

— А, это ты, Корбан,— рассеянно сказал Меа Кульпа и, даже не предложив гостю сесть, продолжал обращенную к Сабасу речь.— Так вот, перед тобою — книга. Я ее не покупал. Один из моих друзей заполнил рекламный талон и выписал ее для своих нужд. С чего надо начинать, если хочешь заработать хорошие деньги? С бифштексов и омлетов!.. Вот овернцы, те, к примеру, умеют устраиваться. Как только поблизости от их лавчонки, где они дровами и углем торгуют, начинается какое-нибудь строительство, они освобождают в лавке угол, ставят три-четыре стола и начинают кормить рабочих обедами. Лет через десять они покупают весь дом, потом весь квартал. Не хочу хвастаться, но лично я знаю жизнь куда лучше, чем какой-нибудь торговец дровами. Только вот до сих пор у меня помещения не было. А теперь есть!

Он благодарным взглядом окинул перегородки вагона-ресторана.

— Так-то оно так,— отозвался Сабас,— а все-таки нужно кредит получить!

— Правильно, мой мальчик, но только в такого рода делах главное — не размениваться на мелочи! Нет, нет и нет! Нужно немедленно затребовать солидную сумму.

— И ты надеешься, что под этот старый вагон банк даст тебе денег? А клиенты? Где ты клиентов возьмешь?

— На стройке.

— На стройке? Да ведь это всего десятка два обедов в день. К тому же стройка будет здесь не вечно...

— Я буду продавать больше двух десятков обедов в день. Да и не в этом суть. Стройка — это только для начала, только чтобы развернуться немного... Сюда на пруды по воскресеньям люди приходят рыбу ловить, и вскоре про мое заведение будет знать вся округа. Придет день, и «Ла-Пергола» станет модной — ведь сколько народу в Париже ездит обедать на поплавок!.. Я разобью вокруг роскошный

сад, поставлю скамейки, люди будут друг другу говорить: «Вы слышали про «Ла-Перголу»?» Добираться сюда они будут по той дороге, о которой я тебе говорил,— представляешь, огромная пустошь и на ней — два каменных столба!.. Да, кстати! Я повешу на них по фонарю, все окрестные снобы только рты разинут от восхищения! Несколько кусков кованого железа, выкрашенного в черный цвет, немного стекла,— эти фонари мне обойдутся почти что даром, кто-нибудь из приятелей Корбана сделает их у себя в мастерской... И в саду — тоже фонари! Можно еще и тихую музыку пустить через магнитофон, тоже не бог весть какие деньги... И вот вам ресторан! Но мне нужен верный человек, который всегда был бы со мною рядом. А идей у меня — хоть отбавляй... Так хочется, чтобы тебя поняли! Что ты на это скажешь, Корбан?

— Ты все правильно рассудил,— отозвался Корбан,— нам всем очень хочется, чтобы нас поняли... А идей у нас всегда хоть отбавляй...

Глава третья

Сабас нащупал на тумбочке часы. Пять часов утра. Он по-прежнему просыпался ни свет ни заря, как будто ему надо бежать на стройку. А ведь накануне Меа Кульпа до полуночи излагал ему свои прожекты... Порою Сабас бывал близок к тому, чтобы возненавидеть своего нового хозяина, нередко подумывал даже о том, чтобы никогда больше не возвращаться в «Ла-Перголу», но в бывшем официанте, в его одиночестве, в его наивных иллюзиях было что-то бесконечно трогательное...

Стоит ли рассказывать Лии про вагон-ресторан? Возможно, эта история позабавит ее, и тогда, значит, Лия — именно такая, какою он ее себе представляет, но ведь может случиться и так, что студентка филологического факультета не сумеет оценить поэтики этой груды железного лома, и тогда их любовь окажется под угрозой. Ему безумно захотелось ее увидеть. Он вспомнил о банковских билетах и внезапно ощутил горячую признательность к Меа Кульпе за все добро, которое тот ему сделал, но к этому чувству примешивалась необъяснимая досада, и Сабасу захотелось по-мальчишески поддразнить и позлить «Хозяина».

«Ла-Пергола» еще дремала в тумане. Сабас нарочно ворвался в вагон с грохотом, шаркая ногами и натыкаясь на столы. Меа Кульпа лежал в спальном мешке прямо на полу. Он испуганно вскрикнул:

— Кто там?

— Вставай! Это я, Сабас! А где утренний кофе? Если хочешь, чтобы заведение процветало, его надо открывать на рассвете!

Меа Кульпа поднялся, растерянно моргая глазами; он спал одетым.

— Яйца курицу не учат,— проворчал он сердито.— Вставать на рассвете — это еще полдела, от этого не разбогатеешь.— Он ехидно хмыкнул.— Иначе на этой стройке было бы уже человек пятьсот миллионеров, а то и тысячи две.— Он ткнул пальцем в окно, где вдали топорщились над деревьями стрелы подъемных кранов и тяжело ворочались бульдозеры.— Они всю жизнь будут вставать в четыре или в пять утра! А для меня, надеюсь, настанет день, когда я смогу до полудня в постели валяться и при этом кучу денег иметь!

— А что ты со своими деньгами делать будешь?

— С деньгами... Пойдем в тот конец вагона, посидим, потолкуем...

В «том конце вагона» была вторая дверь, выходившая в персональный сад Меа Кульпы. Посетители могли проникнуть в вагон лишь через вход, обращенный в сторону стройки, а на противоположной

площадке, между двумя боковыми дверьми, помещался когда-то закуток метрдотеля; на стекле красовалась надпись, теперь утратившая всякий смысл: «Осторожно! Дверь выходит на железнодорожное полотно!» Проем вагонной гармошки Меа Кульпа перегородил деревянной рамой, на которую была натянута прозрачная пленка. Для того чтобы спуститься по самодельной деревянной лестнице в сад, ему всякий раз приходилось убирать это сооружение, и он вечно ломал голову, изобретая хитроумную систему из петель и блоков, которая позволила бы раме поворачиваться в проеме, но решение этой проблемы, видимо, требовало недюжинной технической смекалки. Меа Кульпа советовался по этому вопросу с одним из завсегдатаев своего ресторана, это был работавший на стройке слесарем кабил, но экспертиза результатов не дала.

— Если бы у меня были деньги? Ну, начать хотя бы с того, что к человеку с деньгами все относятся с уважением...

Меа Кульпа поставил друг против друга два плетеных стула и жестом предложил Сабасу сесть.

— С уважением! Ты-то еще молодой... Ты можешь ходить грязным и плохо одетым, от тебя может черт-те чем нести, и ты можешь всякую чушь молоть — тебе по молодости лет все простится...

— В том-то и дело, что ничего мне не простится! — воскликнул Сабас.— Пусть бы мне стукнуло тридцать, тридцать пять, даже сорок лет, и было у меня толстое пузо, и жирная красная рожа — только бы люди меня уважали!

— Э-э, ты еще пожалеешь о том времени, когда у тебя не было живота!.. Ты молодой, ты всем нравишься... Выйдешь на улицу, девушки тебе улыбаются. А вот когда тебе шестьдесят — ох, если б ты знал, с какой злостью глядит на тебя улица!

Он повернулся к другому вагонному окну, в котором на фоне утреннего неба виднелся главный городской шпиль — каменная игла, истонченная расстоянием.

— Я расскажу тебе всю мою жизнь!

Меа Кульпа буквально на глазах превращался в хозяина. Он торопился сжечь за собою мосты.

— Да, да, конечно,— отозвался Сабас,— я рад буду тебя послушать! — Но, видя, что Меа Кульпа с важностью выпячивает грудь, собираясь тут же приступить к обещанному рассказу, Сабас поспешно добавил: — Только не сегодня. Я забыл тебе сказать, сегодня я должен идти к врачу.

Под вечер Сабас встретился с Лией в городском парке, возле кленовой рощи. Девушка была во всем красном; деревья пылали в лучах заката. Солнце бросало медные блики на галерею с вереницей каменных арок, украшенных скульптурными изображениями античных воинов, коней и нимф. Каменная стена была вся увита диким виноградом, и там, где на нее падало солнце, трепетали на ветру тысячи огненных языков; в затененных местах листва была густого гранатового цвета.

— Я уже выходила, когда ты мне позвонил,— сказала Лия.— Хотела узнать у хозяина гаража, будет ли завтра готова машина.

Они шли по усыпанной листьями аллее, горевшей золотом самых разных тонов и оттенков. Казалось, свет струился из земли.

— Вот видишь,— сказала Лия,— нам непременно надо было встретиться.

— Да,— ответил Сабас,— и не только сегодня. Тебе не кажется, что есть вещи, которые мы просто обязаны сделать или увидеть, что это суждено нам от начала дней? Как ты думаешь, в самом деле у каждого человека были предшествующие жизни?

— Может, и не было. Но что-то в этом, пожалуй, есть, и даже еще более таинственное. Мой отец работал здесь в аэропорту, потом он женился, сразу после моего рождения они с мамой перебрались в Париж, и я никогда больше сюда не возвращалась. У них не осталось ни одной фотографии того дома, где они здесь жили, они никогда не говорили про него, а я все равно этот дом знала. Знала, что дом необычный, что он стоит возле доков. Знала, что он пустой и заброшенный, и весь квартал скоро снесут. Когда прошлым летом я сюда приехала, я сразу нашла свой дом, сразу его узнала. Мать мне говорит: «Ты с ума сошла! Что там делать — среди доков? Да, мы там какое-то время жили, но только потому, что не сразу нашли другую квартиру. Слава богу, мы долго в этих доках не задержались! Так что забудь про свои глупости!» А я этот дом люблю!

— А ты могла бы старый вагон полюбить?

Она засмеялась, смех преобразил ее лицо, которое даже в минуты веселья обычно сохраняло свою серьезность; это был смех удивленного ребенка, прозвучавший, как серебряный колокольчик.

— Вагон! Ты влюбился в вагон?

— В старый вагон-ресторан.

— Ох, да ты еще глупей, чем я думала.

Она расцеловала его в обе щеки.

— В вагон влюбился не я... Это один старикан, он тут рядом на стройке работал... Бывший официант... Боюсь, ты станешь надо мной смеяться, но он меня к себе в компаньоны зовет. Хочет превратить свой вагон в модное заведение.

— Ах, боже мой!.. Я была бы счастлива, если бы мама и отчим приходили к вам обедать! Вместе со своими друзьями... Они, наверно, очень бы оживили ваш вагон... Боюсь только, что у твоего друга ничего не получится... Даже не в вагоне дело! Стать знаменитым и разбогатеть может, наверно, каждый, но для этого нужны имя, деньги, связи. Нужно вывесить в этом вагоне картины современных художников, поставить модные скульптуры, предметы искусства, нужна любовница с хорошими связями. Только так это и делается, Жорж.— Она опять стала серьезной. Помолчала, потом сказала: — Пойдем поглядим на мой дом. Я без машины, но туда автобус ходит.

В автобусе было пусто. У шофера в форменной тужурке были узкие плечи, из-под фуражки на тощий затылок выбивались черные космы. Вряд ли он был намного старше Сабаса. Выехал, наверно, ни свет ни заря из своего пригорода, застроенного бетонными коробками, расчерченного на унылые прямоугольники кварталов... Был в автобусе и кондуктор. («Значит, на этом маршруте кондукторов пока еще не отменили»,—подумал Сабас.) Сабасу казалось, что они с Лией отправляются в паломничество в сказочные края. Правда, в облике кондуктора ничего сказочного не было: коренастый мужчина лет сорока—сорока пяти, с перекинутым через плечо широким кожаным ремнем и висящим на животе компостером — алюминиевой призмой, почерневшей от долгой службы и пота. У кондуктора было красное, немного грустное лицо — лицо работяги-садовника, и пахло от него садом, травами, водой из колодца, удобрениями, пóтом, свежим ветром. Это был мужской запах, тот запах работы, усталости, силы, который западает в детскую память, сливаясь с образом отца, и остается в душе еще долгие годы после того, как отец горсткой священного праха ляжет в родную священную землю... Над окнами автобуса, под самой крышей, висела схема маршрута — черные точки и стрелки остановок и пересадок.

Конечная станция. Широкий простор, маслянистая вода, стаи чаек. Автобус исчез. Лия и Сабас очутились в укромном уголке своего

детства. Они бродили среди развалин, поросших высокой полынью. Трижды прокричала сирена — вниз по течению выползал из протоки буксир. Мусор, который они попирали сейчас ногами, тридцать лет назад был переплетением улиц, был школой, был маленьким сквером, где на скамейках сидели старики, был бакалейными лавками, был лотками с красными и зелеными грудами овощей, он был домами, где в окнах виднелись клетки с канарейками, а у порогов нежились на солнце коты. За несколько минут лавина бомб превратила всю округу в месиво плоти и дыма. Но на кромке этого ада еще долго стояли уцелевшие чудом дома, высились, отражаясь в воде фонтанов, благородные старинные здания.

Таким был и дом Лии, ныне отданный во власть привидений.

— В моей памяти сразу за домом была река.

Река продолжала свой бег, и теперь — только в их мыслях, в их жилах — она несла на своих тяжелых и мутных волнах караваны черных судов; ее вода отдавала дегтем и грязью, она тревожно вздрагивала от корабельных гудков и сирен, в которых звучало такое же одиночество и мольба, что и в гудках поездов ночью среди болот.

Перебрались через низкую стену, и за грудой обломков Сабас увидал струйку воды; она должно быть, долго плутала во тьме под землей, прежде чем вырвалась к свету дня. Лия протянула руку к ручью:

— Он мой.

На песчаном дне в воде колыхались водоросли.

— Видишь, по остаткам стен можно угадать расположение комнат...

Она обернулась к Сабасу и спросила:

— Тебе здесь хорошо?

Сабасу было хорошо в огромных залах без потолков и с гранитным полом, в солнечных, полных воздуха комнатах, пахнущих серой и сеном. За деревьями сада играли на речке солнечные блики, порой из воды выпрыгивала рыбешка.

— Лия,— сказал он,— может, переселимся сюда?

— Боюсь, так и будет... У нас просто не хватит сил уехать отсюда...

К автобусной остановке пошли через сухие доки. Рядом высились ангары для кораблей. Корабельные корпуса цепенели в покрытых пылью деревянных лесах; тонкий солнечный луч, там и сям пробиваясь сквозь щели в коричневой черепице, освещал паутинные нити. Суда лежали на боку, их винты были густо покрыты желтой и синей смазкой. Местами поблескивала медь. На фоне белых оштукатуренных стен мерцали черным деревом и тусклым металлом диадемы штурвалов.

— Лия, здесь мы с тобой попрощаемся.

Она вышла из автобуса возле морской биржи. Сабас поехал дальше, к центральному вокзалу чтобы сесть там на пригородный поезд. Она стояла на тротуаре и смотрела автобусу вслед. Сабас видел в заднем стекле, как уменьшается ее красный силуэт, вот он исчез совсем, но Сабасу казалось, что среди бесчисленных городских огней все еще мигает язычок живого алого пламени, мигает, зовет, чтобы опять привести его к дому у реки, возле доков.

Поднявшись по ступенькам «Ла-Перголы» и отворив стеклянную дверь, он услышал раскаты громкого голоса. Человек так и сыпал именами иностранных городов. Это был Отвертка. Слушая его, Меа Кульпа украдкой поглядывал в зеркало над умывальником, изучал свое отражение, втягивал живот, выпячивал грудь.

— А почему бы телевидению и вправду ко мне сюда не приехать? Я бы им так и сказал: вот, глядите, отсюда все началось!

Меа Кульпа уселся в плетеное кресло и показал, какую позу он мог бы принять перед телекамерой, потом вскочил на ноги и изобразил, будто накрывает столы возле окна, на котором виднелась грозная надпись на трех языках: «Не высовываться! Nicht hinauslehnen! E pericoloso sporgersi!»

— Я тебе про Багдад говорил! — сказал Отвертка.— Но вижу, тебя это не интересует...

Недовольная гримаса приподняла кончики его губ и угасла в мягких морщинах вокруг подбородка. Втянув голову в плечи, Отвертка легонько покачал ею в обе стороны, потом прищурился, снял очки, подышал на стекла, протер. Он был похож на улитку, которая выглядывает из своей раковины, проверяя, не слишком ли сухо в окружающем мире.

Меа Кульпа явно подыскивал нужные слова, чтобы увлечь Отвертку на путь беседы о телевизионном репортаже. Но для Отвертки телевидение сводилось исключительно к проблемам электроники. Он опять водрузил на нос очки.

— Гостиница «Семирамида» в Багдаде. Ты когда-нибудь был в Багдаде?

Меа Кульпа Багдада не знал. Отвертка тоже. В гостинице «Семирамида» он запомнил лишь вольтаж, схему расположения розеток в ванной комнате, тип предохранительных пробок и цифру ежемесячного потребления электроэнергии. Впрочем, и дворцы интересовали его только по части отопления, систем кондиционирования воздуха и грузовых подъемников. В Малаге или в Гонконге, в Каире или в Дар-эс-Саламе, в Лоренсу-Маркише или Нуакшоте для него важны были не бассейн Камоэнса, не сад Шахразады, не смотровая площадка на крыше отеля «Хилтон», а турбогенераторные установки, автоматические насосные станции и пульты управления электроцентрали.

Физиономия Отвертки становилась все более вдохновенной по мере того, как он перебирал четки научных терминов, вплетая все эти «фазы», «модуляции», «сопротивления», «частоты», «выпрямители», «коммутации», «реостаты», «выключатели» в непрерывную вязь городов — Дюссельдорф, Лас Пальмас, Бейрут...

— Но тебе это скучно, Меа Кульпа...

— Что ты! Что ты! Только я вот хотел насчет телевидения...

— Ах, да, телевидение! Мы сейчас заключили контракт с Сингапуром!

— Скажи, Отвертка, неужели ты и впрямь везде побывал?

Отвертка не ответил. Наверно, вопрос показался ему оскорбительным. Потом Сабас услышал, как он бормочет:

— Анкара...

После чего Отвертка выпрямился на стуле и в свою очередь спросил:

— Как ты думаешь, Меа Кульпа, что нужно для того, чтобы получить электричество?

— Именно об этом я и хотел тебя спросить! Мне необходимо провести в «Ла-Перголу» электричество, потому что эти бутановые светильники...

— Я тебе говорю об электричестве как таковом. Гляди...

Он показал на сигнальные огни, на освещенное здание вокзала, на окна домов, мерцавшие по всей равнине. Лампы, люстры, торшеры, ночники и прожекторы — все они утверждали всемогущество Отвертки, инквизиторскую власть киловатта, силовой подстанции, трансформатора.

— Так вот, для этого нужны технари! Техника — это всё!

— Ерунда! Пусть я не бывал в Багдаде, но сейчас я назову тебе одну вещь, которая важнее всей твоей техники!

— Ну-ка, ну-ка, интересно послушать!

Меа Кульпа налил себе рюмку шартреза.

— Все твое электричество, все рельсы, заводы, бульдозеры, локомотивы — все это сущие пустяки! Про стройку я даже не говорю — она для меня просто не существует! Я не знаю и знать не хочу, есть она тут или ее нету! Самое главное в мире — деньги!

Глава четвертая

Над «Ла-Перголой» сияла луна. Ее лучи проникали в вагон-ресторан через семь окон левой стороны и чертили на полу четкие прямоугольники. Меа Кульпа вылез из спального мешка. Сегодня ему не спалось.

Прошла неделя, как Сабас стал ему помогать. А три дня назад Меа Кульпа пригласил Корбана, Термоли, Абилиу и Небузена пожаловать к нему на новоселье. Это произойдет завтра. Никаких церемоний, маленькое дружеское застолье, ничего больше. Меа Кульпа хотел испытать в деле все достоинства и недостатки ресторана, а также проверить свои поварские таланты на снисходительной публике.

За эти три дня с «Ла-Перголой» что-то произошло. Какие-то почти неуловимые перемены. Казалось, внутри вагона шла незримая работа, он с пророческим хрустом потягивался всеми своими переборками, и Меа Кульпа твердо знал, что дело здесь отнюдь не в упорном воздействии дневного тепла и ночного холода на стены и крышу «Ла-Перголы». Нет, просто вагон молодел — молодел, как и его хозяин. Никто так не страдает от заброшенности и одиночества, как кухонная печь на колесах — потухшая кухонная печь на переставших вращаться колесах. Теперь печь оживет, а бывший мойщик посуды будет посвящен в сан гастронома.

Но вдруг завтрак окажется неудачным?.. В полумраке, в углу, куда не достигал лунный свет, примостился буфет и сервировочный столик,— Меа Кульпа приобрел их у торговца подержанными вещами. Он щелкнул зажигалкой, придирчиво осмотрел все припасы: бутылки с аперитивами и вином, банки консервов, корзины с овощами. Потом снова лег, и ему приснился страшный сон. Был ясный день, на рельсы отвесно падали солнечные лучи, где-то вдали пробило полдень. Сабас, Термоли, Небузен, Абилиу и Корбан стояли на насыпи, у подножки вагона. Корбан держал в руке большой букет роз. Взлохмаченный, заспанный, Меа Кульпа кинулся друзьям навстречу. Он проспал и ничего не успел приготовить! Все засмеялись и пошли прочь. Уходя, Корбан протянул ему свой букет. Его лицо выражало жалость, и он сказал с состраданием: «А цветы ты все же бери, бедный мой Меа Кульпа!» И по всей стройке пошел раскатами хохот,— смеялись португальцы, арабы, откуда ни возьмись вдруг появился старший мастер и опять стал говорить ему «ты»: «Ни на что ты уже не годен, бедный мой Меа Кульпа!» Бедный, бедный, бедный! Неужели это кошмарное слово так и будет преследовать его до гробовой доски?

Обливаясь холодным потом, он долго лежал неподвижно, с отвращением вдыхая запах собственной кожи. Потом милосердная усталость погрузила его в глубокий сон.

Спал он, как ему показалось, не больше секунды, но было уже шесть утра. Он услышал, как один за другим лопнули вдалеке шесть серебристых пузырьков и рассыпались брызгами по легкой пред-

утренней изморози, по прохладной росе. Меа Кульпа осторожно повернул голову вбок. При пробуждении у него всегда хрустели шейные позвонки. Но сегодня позвонки не хрустели. Он вытянул правую руку,— и локтевой сустав не издал ни малейшего хруста. Подвигал левой рукой. Рука была молодая, двадцатилетняя. Он подошел к зеркалу, висевшему над умывальником. Лицо выглядело отдохнувшим, морщины на нем разгладились, и даже волосы на макушке совсем не топорщились, словно он уже успел причесаться. Он дышал полной грудью, дыхание было свежим и чистым.

Меа Кульпа поскреб подбородок. Ему хотелось поскорее побриться, протереть лицо лавандовым лосьоном, но было еще очень рано, ведь если побриться перед самым приходом гостей, то к той торжественной минуте, когда все сядут за стол, физиономия Меа Кульпы будет сверкать еще лучезарней. А теперь надо было развести огонь. До сих пор Меа Кульпа имел дело с газовыми плитами. И вот в первый раз «Ла-Пергола» наполнится живым теплом очага.

Топливом Меа Кульпа запасся заранее. Он бросил в топку горсть лучин, поднес пламя зажигалки к газетному жгуту и быстро возвел над огнем целое сооружение из сухих щепок. Все это он проделывал с благоговением и любовью, весело напевая:

Старый колокол бьет, с непогодою споря,
Усмиряя волнение гневного моря...

Огонь загудел. На дрова пошли старые железнодорожные шпалы, настоянные на гудроне, вымоченные в ржавчине, высушенные солнцем тридцати сезонов. От них валил желтый дым, густой, как сироп, и от его крепкого духа хотелось съесть миску белых бобов со свининой. От голода Меа Кульпа почувствовал слабость. Он достал из кладовки круглый хлеб, специально для сегодняшнего завтрака заказанный у булочника Канаделя — хлеб был диаметром с колесо тачки,— и отрезал два толстых ломтя. Ловко орудуя ножом, как штукатурной лопаткой, он намазал их двойным слоем масла, положил между ними две наперченных сосиски и, подумав, добавил еще горчицы с эстрагоном.

В памяти юные наши деньки
Порхают, как белые мотыльки.

С аппетитом поглощая свой гигантский бутерброд, он шагал из конца в конец вагона, на мгновенье задерживался у каждого окна, и всякий раз перед ним открывался новый пейзаж, открывалось новое небо, и горизонт, разделенный оконными проемами, становился дорогой дальних увлекательных странствий. «Ла-Пергола» была сейчас центром бескрайних, распахнутых навстречу свету просторов, и легкий бег пушистых облаков увлекал ее за собой.

Меа Кульпа сел за последний стол в глубине вагона и опустил оконное стекло. В вагон потекла синева погожего утра. На ветку яблони села малиновка, ее песня прозвучала в шелковом воздухе с такой чистотой, что перед Меа Кульпой словно ожила картинка из молитвенника. Ему захотелось, чтобы рядом был Сабас. Меа Кульпа поделился бы с ним своими воспоминаниями. Как хорошо он умеет слушать, этот Сабас! Хотя и любит вечно его поддразнивать. Да, Сабас умеет хорошо слушать. Меа Кульпа почему-то вдруг вспомнил, что не пригласил на сегодня Отвертку. «...А вот этот изъездил весь мир, но по нему ни за что не скажешь! Он даже природу не понимает!» Бывший бармен глубоко вздохнул. Внезапно он ощутил острую тоску по деревне. Он прочистил горло и, устремив взор в былое, запел:

Старый дряхлый звонарь,
Вот он снова, как встарь,

На высокой своей колокольне!
Среди галочьих гнезд,
Среди россыпи звезд
Здесь ему веселей и привольней.

Проглотив последний кусок, он вытер руки о штаны и еще раз мысленно перебрал строчки праздничного меню:

Аперитивы
(«Чинзано», «Мартини», «Порто», «Дюбонне», «Пастис», «Кампари»)
Закуски
(колбасы, рольмопсы, анчоусы, крутые яйца, картофельный салат)
Норвежские омары
Жаркое с фасолью
Петух в винном соусе
Десерт
(пирожное, кремы, желе, фрукты)
Красное и белое вино
(вино в достаточном ассортименте; окончательный отбор будет произведен по консультации с гостями, когда все сядут за стол)
Кофе
Ликеры

В целом меню выглядело как будто неплохо, но когда он повторил его вслух, ему показалось, что оно звучит несколько скучновато. Не мешало бы назвать одно-два блюда как-нибудь позанимательнее. Вот, скажем, норвежские омары. Не обозначить ли их как «Усатые дары моря»?

Он уже видел себя единовластно царящим в своем уютном мирке, видел, как в испуге бледнеют лица вокруг, когда он надменно выпускает из ноздрей струйки синеватого дыма. А добрые старые товарищи радуются его триумфу.

Если делишься с друзьями хлебом и вином, можешь не бояться тоски вечернего одиночества.

И снова сердце Меа Кульпы вспыхнуло гневом:

— Видать, ты так и останешься дураком на всю жизнь! Ну-ка вспомни, кто и когда делился хоть чем-то с тобой?

Он налил себе еще рюмку вина.

— Делиться! С одним-двумя друзьями — не больше! А все остальные!..

Он залпом опрокинул рюмку и погрозил кулаком в сторону стройки.

Заскрипела щебенка, кто-то подходил к вагону. Сабас.

— А! Ты пришел в самое время! — воскликнул Меа Кульпа.

Глава пятая

— Чудесно! — сказал Меа Кульпа; с приходом Сабаса весь его гнев испарился.— Ты пришел прямо к кофе.

— Я уже завтракал,— сказал Сабас.

— Я тоже. Но за завтраком я обычно кофе не пью, вот разве только когда настроение надо подправить...

За ту неделю, что Сабас провел с Меа Кульпой, ему пока что не удалось подметить, к каким блюдам хозяин «Ла-Перголы» питает особую слабость.

— Я кофе еще не варил — ждал твоего прихода,— объяснил Меа Кульпа.

Он зевнул, привалился боком к спинке стула и, раскачивая на

кончике ступни темно-синий матерчатый шлепанец, щедро закапанный свечным воском, приступил к очередным наставлениям:

— Ты должен научиться хорошо варить кофе. Это в нашем деле очень важный момент. Со временем мы обзаведемся большой кофеваркой. Отличной итальянской машиной... Это, конечно, будет довольно крупным капиталовложением, но зато какой выигрыш на качестве! Только сперва мне нужно провести сюда газ, потом электричество и воду. Машину я поставлю здесь!

Наполеоновским жестом он протянул руку и указал на угол в глубине буфетной. Движение было исполнено волшебной силы, и Сабасу на мгновение показалось, что в углу и впрямь сверкает серебром окутанная благоуханным паром чудесная машина, а водопровод, электричество и газ, как верные псы, преданно заглядывают в глаза Меа Кульпы.

— И холодильник. Большой. Машину для мытья посуды. И стиральную машину. И вентиляторы — на случай жаркой погоды, вот как сегодня. Что купить для зимы — я еще не придумал... Сейчас начали выпускать люминесцентные лампы, их укрепляют на потолке...

Вытянутая рука прочертила дугу под жестяным сводом, от которого, несмотря на ранний час, уже шел жар.

— И шкаф для нашей с тобой спецодежды. Я уже купил два халата. Свой я тоже не стал надевать, пока ты не придешь. Мы их обновим ровно в двенадцать, чтобы заранее зря не пачкать... Здесь тесно, того и гляди что-нибудь опрокинем! Особенно я за тебя боюсь, потому что ты еще не знаешь секретов нашей работы. Я тебя многому научу,— в его голосе послышалась гордость.— Нужно уметь лавировать с большой скоростью между столами и при этом всегда улыбаться, и виду не подавать, что ты устал! О, это самый прекрасный вид спорта! Если человек изучил ресторанное дело, как я, его уже ничем на свете не удивишь! Он с первого взгляда может угадать характер людей, их социальное положение! И он не даст себя дурачить — не то, что те бедняги, которые любят разглагольствовать о деньгах, а сами-то и в глаза настоящих денег не видали...

— Бедняги? Это кого ж ты имеешь в виду?

Меа Кульпа опустил голову, вытащил из кармана полосатой фланелевой рубахи потухший окурок сигары и начал задумчиво его сосать.

— Ты обиделся? — спросил он.

— Нет,— сказал Сабас.— За что мне обижаться?

— Может, ты думаешь, что я имею в виду Корбана? Опять ошибаешься... Тебе не понять. Корбан не богат и не беден, он вообще выше этого, но он все знает и понимает все! Хотя его политические взгляды, честно говоря, иногда меня пугают... Нет, нет! Это я про тех кривляк, которые, видите ли, презирают деньги... Деньги для них — это роскошь, норковые манто, драгоценности и ничего другого. Но деньги — нечто гораздо большее... Деньги — это спокойствие... С деньгами ты в безопасности... С деньгами можно делать все, что заблагорассудится; можно и полицию оскорблять, и орать во всю глотку, что все вокруг надо сжечь и взорвать, а когда в один прекрасный день тебе надоедает играть в революцию, ты садишься в самолет и почитываешь спокойно газету, предоставляя другим выпутываться из этой заварухи. Ты знаешь, что можно сделать, когда у тебя есть деньги?

Он выплюнул окурок и добавил:

— Что люди делают, когда есть деньги? Что они делают ради денег? И еще того хуже — что они заставляют делать других?.. О, на это стоит поглядеть, уверяю тебя.

— Ты не находишь, что все это гнусно? — сказал Сабас.

— Гнусно? Ну, зачем такие слова!

Меа Кульпа обратил к юноше невозмутимое лицо и заговорил медлительно и сурово:

— Заметь себе, ведь никто никого не покупает... Да и зачем покупать? Станешь человека покупать, а он раз — и увильнул... Может, ты в неудачный момент попал, когда, скажем, его гордость голову подняла, а может, жизнь еще не очень его прижала... Лучше дождаться, когда он к тебе сам придет да попросит, чтоб ты его купил. Не он, так другой — но кто-нибудь придет обязательно.

Сабас глядел на него, как зачарованный, недоверчиво и возмущенно, точно ребенок, которому вдруг показали уродливую изнанку жизни.

— И потом,— продолжал Меа Кульпа,— я вообще не люблю, когда начинают произносить высокие слова и всякие случаи с миллионами и миллиардами в пример приводить. Сила денег в том, что они могут ждать. И не гляди на меня, пожалуйста, такими глазами! Деньги сидят себе в своем укромном углу и спокойно ждут. Остерегайся людей, которые станут говорить: «Плевать, мол, я на деньги хотел!» Это либо дураки, либо лицемеры. Я мог бы многое тебе рассказать... Всякие были истории. Они меня до сих пор мучают. А ведь родители мои были честные люди! И все-таки деньги и нас замарали... Да, Сабас! Иметь доброе сердце — этого мало. Благие намерения никогда ничего в жизни не меняли!

Меа Кульпа распалился; он даже сорвался на крик:

— Никогда ничего! Никогда ничего! — И грохнул кулаком по столу.— Ведь если хочешь спасти человека, нужно одно из двух. Либо заранее все рассчитать, а это очень трудно! Либо быть чуточку сумасшедшим.... Все молниеносно понять и в течение какой-то секунды решиться.

Глава шестая

В одиннадцать утра Меа Кульпа сел за руль небольшого фургончика, который стоял неподалеку от вагона-ресторана, у сооруженного в свое время на скорую руку моста. Он включил зажигание, крикнул: «Я на пять минут!» — и исчез в облаке пыли. На фургоне желтыми и зелеными буквами было обозначено занятие его владельцев: «Дьёлефи и братья. Столярные работы. Резьба по дереву»; надпись была выполнена любительской кистью — об этом свидетельствовал полный разнобой в написании букв, а также обильные потеки краски. Меа Кульпа взял машину напрокат у столяров из привокзального квартала, предварительно заказав им кое-какую работу.

Прошло около часа, а Меа Кульпа не возвращался. Сабасу оставалось лишь сторожить вагон — другого дела у него не было. Он сел на подножку и свесил ноги, инстинктивно приняв позу солдата, едущего на фронт. Войну он видел только в кино. Как стать героем в этих унылых буднях, не знающих грохота боя? А Сабас хотел быть героем, и особенно страстно хотел с той поры, как полюбил Лию. Лии хорошо говорить, что она знает истинную цену друзьям своей матери. Но все же именно эти люди задают тон общественным нравам. Приди время опасности — оно бы все смыло, как очистительный поток.

Новое облако пыли возвестило о возвращении Меа Кульпы.

— Братьев Дьёлефи сперва дома не оказалось! Потом пришлось дожидаться, пока торговец рыбой даст мне два бруска льда!

Он обежал вокруг машины, торопливо отворил заднюю дверцу. «Быстрее!» Кинул в руки Сабасу обернутый в мешковину кусок льда, схватил второй кусок, поискал глазами ведро, положил в него лед,

знаком приказал Сабасу последовать его примеру и кинулся снова к фургону:

— Бери эти козлы! Я возьму вторые!

Они установили обе пары козел в проходе вагона, Меа Кульпа чертыхался, натыкаясь на стулья:

— Я ведь измерил расстояние между стенами! Но Дьёлефи не пришел! Я так и знал, что эта штука сюда не влезет!

Он побежал к фургону за столешницей; она была сделана из трех струганых сосновых досок, пригнанных друг к другу на шпунтах. Длина столешницы соответствовала ширине вагона. Когда Меа Кульпа положил ее на козлы, она прикрыла собой два откидных стола, стоявших по обе стороны прохода, возле четвертого окна, в самом центре «Ла-Перголы».

— Ну, что скажешь?

— Скажу, что ты сам все усложняешь... Достаточно было положить на два стола кусок фанеры...

— Очень было бы мило! Задеваешь фанеру коленом, и все бутылки летят на пол!

— Совершенно не обязательно садиться посредине, тут и так по четыре места с каждой стороны, а нас всего шестеро...

— А посередке — пустота! Ты оставляешь между гостями щель! А я хочу поставить свой стул посредине, чтобы сидеть рядом со всеми! Я сяду спиной к буфетной... Ты — слева от меня, Небузен возле окна... Корбан напротив тебя... Термоли справа от меня, а напротив него Абилиу...

— Но как Корбан пройдет к своему месту?

— В другую дверь, через мой сад! Он это заслужил!..

На плите запела кастрюля с пряным наваром. Под ветром качались зонтики растений на лугу. В плите потрескивало пламя, из-под крышки кастрюли выбивалась струйками пена. Лавровый лист, перец, петрушка, лук, гвоздика — все вместе источали свой аромат, и Меа Кульпа, с наслаждением раздувая ноздри, бросил омаров в кипящую воду.

— Я мог бы все приготовить вчера, но мне хотелось показать тебе, как это делается! Омары еще успеют остыть. Судя по запаху, с ними все в полном порядке...

— А жаркое! А петух в винном соусе!

— Не беспокойся! Все идет как надо!

Он подошел к столу, провел по нему рукой, постучал в трех местах согнутым пальцем — звук был густой и чистый,— потом оперся о стол двумя ладонями и всей своей тяжестью навалился на него. Сооружение было солидным и прочным. И тогда он провозгласил:

— Сейчас я постелю скатерть.

— Разреши это сделать мне! — необдуманно воскликнул Сабас.

Меа Кульпа надменно скривил губы, и Сабас понял, что совершил святотатство.

— Речь идет не о бумажной скатерти! — презрительно процедил Меа Кульпа сквозь зубы. Он медленно двинулся к сундуку, стоявшему у входа в буфетную; каждый его шаг был торжественно мягок и одновременно внушительно тяжел — так ступает своими лакированными туфлями по мягким коврам герцогского замка величественный мажордом. Эхо этих шагов отдавалось сейчас не под жестяным потолком вагона, а под обитыми парчою сводами дворцовой галереи.

Меа Кульпа раскрыл сундук, вынул тяжелый сверток.

— Вот моя скатерть. Скатерть для людей, чье богатство насчитывает три сотни лет, а не для агентов по продаже недвижимости, не для коммерческих директоров и прочих содержателей гаражей. У нее не

хватает одного утла, но это пустяк. Если эту скатерть будет просить музей, я все равно ее не отдам.

Он раскрыл сверток, и перед Сабасом предстали вышитые шелком пальмы, паруса, якоря, розы ветров, навигационные приборы, гербы, корабль, обломки еще двух судов, голые дикари, матросы, офицер в старинном мундире и в треуголке.

Он протянул скатерть Сабасу.

— Прикинь на руке. Взгляни. Какая красота и какая тяжесть. Летом она прохладна, как рука герцогини, зимою согревает стоящее на ней вино...

Он велел Сабасу пролезть под стол, сработанный братьями Дьёлефи, дал ему край скатерти, развернул ее и накинул на стол широким движением, похожим на жест рыбака, забрасывающего в воду невод. На середину банкетного стола легли бренные останки компаса и астролябии. Справа, в медальоне, появилась озабоченная физиономия Лаперуза, который всем своим видом показывал, что он весьма сожалеет о том, что открыл Новые Гебриды. Слева Дюмон д'Юрвиль задумчиво и опечаленно молился о ниспослании вечного упокоения своему собрату, но при этом явно готов был продолжить свое кругосветное плавание, не опасаясь ни людоедов, ни противных ветров, ибо провидение наверняка уже предуведомило его, что он умрет не в открытом море, а в самом прозаическом железнодорожном крушении на пригородной линии, недалеко от вокзала Сен-Лазар. Меа Кульпа взглянул на эту сцену, секреты которой были сообщены ему графской домоправительницей, и стал прохаживаться взад и вперед по вагону, медленно поднимая одно колено, распрямляя ногу, с величайшей осторожностью опуская ее на пол, потом проделывая то же самое с другой ногой и всякий раз внимательно к чему-то прислушиваясь.

— Что с тобой? — спросил Сабас.— У тебя что-то болит?

— В том-то и дело, что ничего не болит... Весь мой артрит куда-то вдруг подевался...

— А это потому, что ты не ходишь больше на стройку... У себя дома ты как следует отдыхаешь, высыпаешься...

Меа Кульпа даже покраснел. «У себя дома!» С тех пор, как его первый раз назвали «Хозяином», он явно вступил на путь молодости и здоровья!

Глава седьмая

Лия держала в руках большой белый конверт, на котором крупным и нервным почерком было написано ее имя. В почтовом ящике лежал еще такой же конверт, адресованный ее родителям. Лия заранее знала, о чем сообщается в обоих письмах.

В этом двойном приглашении была, пожалуй, какая-то нарочитость. Натали всегда ратовала за простоту отношений между людьми — и между женщинами, в частности. Зачем она послала Лии отдельное извещение? Или это знак дружбы? Лия вскрыла конверт пилочкой для ногтей. Натали уродиной не назовешь. Но все-таки как примитивны мужчины, если они находят привлекательным это бездарное тело, эти глаза, в которых нет ни искренности, ни огня. Натали всегда была бесцветной. Почему же руки Лии слегка дрожали, раскрывая сложенный пополам листок картона яркой белизны, белизны несколько более церемонной, чем белизна конверта,— белизны лент для свадебных букетов... «Мосье и мадам ..» — фамилия Натали; параллельно «Мосье и мадам...» — будущая фамилия Натали; и формула: «...имеют честь известить вас о свадьбе...»

«Я буду со своим мужем откровенна,— говорила Натали,— потому что в наше время...» Значит, Натали рассказала своему молодому

дипломированному супругу, окончившему факультет политических наук, про то, как год тому назад она бежала из дому с одним мастером парусного спорта, женатым мужчиной, отцом двоих детей? Возможно, и рассказала... Для таких девушек, как Натали, в жизни все очень просто. Без особых раздумий, повинуясь своей естественной склонности, она решает проблему свободной любви, весьма трезво судит об истинной цене университетских дипломов, предает анафеме скромность и целомудрие, после чего столь же естественно и без всяких раздумий становится скромной и целомудренной невестой. Натали заняла в жизни свое настоящее место, ибо оно для нее не в рядах мучеников и пророков, а среди душ спокойных и мирных. Среди тех, кто не прочь поиграть такими словами, как «пытки», «каторга», «нужда»,— при условии, что за это им никогда не придется платить ни пытками, ни каторгой, ни нуждой. И еще эта неукротимая страсть говорить от имени «своего поколения»! Поколение Натали — и в дальних краях, и в ее собственной стране — насчитывает в своих рядах тьму-тьмущую бедняков. Но Натали — отнюдь не из их числа.

«А я,— подумала Лия,— я-то кто?» Чем она лучше Натали? Их товарищи, юноши и девушки, тоже лишь на словах штурмуют небо. На лицах многих из них Лия угадывала обещанье успешной карьеры, и только лицо Сабаса было отмечено печатью страсти.

Их любовь должна остаться в тайне, иначе она погибнет...

Лия взяла приглашение Натали, хотела его порвать. Но этот жест — он тоже был позой, в нем было что-то нарочитое и театральное, как в красных надписях на стенах факультета, как в зажигательных листовках, как в религиозном экстазе. Она положила белоснежный листок картона на мраморную каминную полку. «Так кончаются великие мятежи»,— подумалось ей.

Натали не хватает того, о чем говорил Сабас в тот памятный вечер, когда начиналась гроза. Его слова неотступно звучали у Лии в ушах. «Любить людей независимо от цвета их кожи...» Как он живуч, этот водораздел между благородными принципами и настоящей любовью к людям и к жизни!

Она села за письменный стол, открыла учебник, пытаясь насильно затолкнуть себя в его вязкую толщу, которая отдалила бы ее от Сабаса, как грязь строек и грохот заводов отдаляет Сабаса от нее. И оттолкнула книгу. За окном трижды прокричал буксир, органные звуки его сирены, на которые чутко отозвалась текущая под окном река, напомнили Лии поросшие полынью развалины возле доков, где они были недавно с Сабасом. Без любви Сабаса Лия никогда бы не поняла, не прочла бы, не угадала горькой красоты предместья. Никогда не ощутила бы сердцем, нервами, кожей суровой веселости пыльных пригородов, где дети арабов и дети французов упоенно играют в общие игры. «А что я могу дать ему?» — прошептала она.

Ей суждено жить среди людей, которые превращают свою жизнь в витрину рождественских или пасхальных праздников. Их нельзя представить себе без их домов, мебели, драгоценностей, без их вилл, отпусков, путешествий. Вне должностных своих функций, вне служебных постов и светских отношений они выглядели бы голыми, даже непристойными. Лии подумалось, что женщина может все отдать мужчине лишь за несколько слов, потому что эти незабываемые слова — наивысший ее триумф, и даже больше того, они — знак великого выбора, выбора ее, одной-единственной, из тысяч других женщин, и коронование ее, и посвящение. Сабас нашел для Лии эти слова, нашел и всегда будет их находить. Ей хотелось, чтобы они стали детьми из волшебной сказки, которые затерялись в снежной пустыне. Чтобы под черной бескрайностью неба поселилась радость, рожденная из вол-

чьего воя, из стоящих вокруг костра шатров. И тут она с удовольствием вспомнила про вагон-ресторан, где ее паладин восседает сейчас в веселом и шумном мужском застолье. И ей захотелось познакомиться с Меа Кульпой.

Первым в «Ла-Перголу» вошел Небузен. Ветер принес с востока звон далекого колокола. Услышав его, Небузен вытащил из жилетного кармана часы, поглядел на циферблат, убедился, что стрелки показывают без четверти час, завел пружину. Часы были серебряные.

— Да ты у нас франт! — воскликнул Меа Кульпа.— Только чего это ты вздумал надевать жилет в такую жару?

Небузен стоял перед зеркалом, вставленным в вагонную дверь, и любовался своим отражением.

— Я их шесть штук купил,— сказал он.

— Чего шесть штук?

— Шесть штук жилетов.

Меа Кульпа сделал круглые глаза.

— Что это значит? У кого ты их купил?

— Да так,— лениво отозвался Небузен и непонятно махнул рукой.— У одного приятеля. Ты его не знаешь.

— И очень рад, что не знаю! Где ты его откопал, этого своего приятеля?

— Да какое мне до него дело? Я знаю только, что у него есть жилеты, много, целая машина! Продает недорого... Видно, их сбывать трудно,— добавил он задумчиво.

Меа Кульпа и Сабас одновременно представили себе таинственную машину, которая колесит по предместьям, нагруженная пятью сотнями килограммов жилетов. Газеты в последние дни не сообщали ни о грабежах, ни о пожарах...

— Может, он портной, потерпевший банкротство? — предположил Сабас.

— Потерпевший банкротство? — возмутился Меа Кульпа.— Скажи лучше: впавший в безумие! Сшить полную машину жилетов! Это все равно что мне сварить полный грузовик яиц всмятку! Нет, нет, наверно, с Дальнего Востока прибыл корабль и привез контрабанду. Ты ведь знаешь, что в Азии работнице нужно сшить не меньше тысячи рубашек, чтобы купить себе килограмм рису!

— Рубашки — я еще понимаю, они хорошо продаются, но жилеты... — возразил Сабас.

— Ты не знаешь портовую жизнь, как знаю я,— нравоучительно произнес Меа Кульпа.— Я был официантом в кафе «Босолей», у самого порта, на углу улицы Пюи-де-ла-Мюль... Кафе просто невероятное, тридцать метров на десять! Потолок был такой низкий, что до него рукой можно было достать, и по всем балкам на тридцати языках было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Как-то вечером у одного матроса не хватило денег, чтобы расплатиться... Он подмигнул мне, я пошел за ним. Приводит он меня в сарай, поднимает брезент, и я вижу ящик. Огромный, как шкаф! На нем надпись: «Сингапур». Угадай, что там было.

— Опиум, — сказал Сабас.

— Жилеты! — сказал Небузен.

Меа Кульпа пожал плечами.

— Зубочистки! Целая тонна! Одна зубочистка и грамма не весит; значит, там их было больше миллиона!

— Ну и ты, наверно, весь ящик купил? — ехидно спросил Небузен.

— Пришлось, черт побери!.. Но лишь затем, чтобы все ликвидировать, ха-ха-ха! Их брали у меня только итальянские моряки, потому что в Италии едят телятину, а она очень волокнистая... За пятнадцать лет я их продал все до одной! И самое удивительное, скажу я вам, что на ящике было написано «верх» и «низ»! Выходит, зубочистки не могут путешествовать вверх тормашками... Но зубочистки — это другое дело, тут все законно, а вот жилеты... Какого они у тебя цвета, Небузен?

— Вот этот, значит, синий. Есть светло-красный. Один табачного цвета. Один серо-зеленоватый, потом серо-синий есть, а один темно-серый, в нем очень серьезным выглядишь. Если хочешь, могу тебе его дать поносить. Он мне широк, приходится сзади булавкой закалывать.

— Нет, нет, у меня и так забот хватает! Сабас, принеси еще два кувшина воды. Я забыл залить в умывальники. Так что потом сходишь за водой еще раз. Да, вот что,— обратился он опять к Небузену,— ты, когда сюда шел, не заметил случайно среди железного мусора какой-нибудь миски большой или бака? Может, такую штуковину кто-нибудь бросил возле изгороди?.. Мне бы она сейчас очень пригодилась. Поставил бы на цементные подпорки... А то дожидайся, когда сюда водопровод проведут...

Он приложил ладонь к глазам, вглядываясь в чьи-то фигуры, которые двигались по тропинке вдоль полотна к вагону. Людей было трое, они миновали сортировочную станцию и были еще метрах в трехстах. В одном из них — судя по походке, человеке довольно старом, хотя он и держался прямо,— Меа Кульпа узнал Корбана. Двое других были моложе, особенно тот, что шел рядом с Корбаном,— это, наверно, был Абилиу. Третий вел за руль велосипед. Но это был не Термоли.

Боясь не успеть, Меа Кульпа кинулся скорее бриться, но когда, благоухая лавандой, он спустился с подножки, группа была все в тех же трехстах метрах от вагона. Корбан неподвижно стоял посреди тропинки. Абилиу рассеянно поглядывал на изгородь. Третий широко расставлял руки, казалось, измеряя что-то в воздухе, потом указывал то на рельсы главной колеи, то на телеграфные столбы и устремлял палец к небесам, наклонялся к щебенке, задирал голову, глядел на семафоры, проводил какие-то невидимые линии, потом вытащил из кармана непонятный предмет — на солнце что-то ярко сверкнуло, и Меа Кульпа понял, что в руках у незнакомца металлическая рулетка. Человек произвел на земле загадочные измерения, помахал стальной лентой в воздухе, судорожно свернул рулетку (Меа Кульпе показалось, будто он слышит ее скрежет); рулетка исчезла в кармане человека, а тот скрестил руки, опустил подбородок на грудь и снова о чем-то заговорил, притопывая ногой.

Меа Кульпу прошиб холодный пот. Ему представилось, что незнакомец — это инспектор железных дорог, которому поручили проверить правильность описей наличного инвентаря, дабы не пропустить ни единого паровоза, ни единого вагона, ни единого колеса. За болотом, на старой колокольне с тонким, как болотный тростник, шпилем пробило час. Один-единственный удар, совсем не похожий на тот, каким был отмечен приход Небузена. Звук был более плотным и сочным — настоящий удар, а не тот, каким отбиваются четверти часа. Колокол нагрелся на солнце и словно проголодался. Небузен вытащил из жилета часы, и тревожную тишину наполнило нервное, лихорадочное тиканье. «Уже час»,— сказал Небузен.

Наконец, трио зашевелилось. Абилиу — это вправду был он — потянул за рукав Корбана. Третий пощупал карман, томясь, должно быть, желанием опять развернуть рулетку, подпрыгнул, хлопнул себя

по лбу, поглядел на свои часы, оседлал велосипед и мигом подкатил к вагону.

— Отвертка! — вскричал Меа Кульпа.

— Вот он я!

— Очень рад тебя видеть, но что тебе нужно?

— Что мне нужно? Хорошенькое дело! Я прибыл на завтрак, поскольку ты меня пригласил!

— Я тебя пригласил? Хорошо, хорошо, я поставлю еще один прибор, но все же мне хотелось бы знать, кто тебе сказал о моем приглашении?

— Термоли! Я встретил его в кафе у вокзала. Он и говорит: «Мы завтракаем в «Ла-Перголе». Меа Кульпа не знает, где тебя найти. Он приглашает тебя! Хорошо, что я тебя встретил, Меа Кульпа очень горевал бы, если б ты не пришел!»

— А где сам Термоли?

— Он придет! Обязательно придет! Наверно, подписывает еще один страховой полис. Он вот что еще сказал: «Я все думаю, как мне отблагодарить Меа Кульпу. На страховании жизни я разбогатею раньше, чем он! И когда мы с ним оба вернемся работать на стройку, мы будем прикатывать на работу в шикарном лимузине!»

— У Термоли нет деловой хватки,— надменно сказал Меа Кульпа.— Он создан для работы на стройке... Парень большой, сильный, его организму необходима тяжелая физическая работа на свежем воздухе! Но скажи, о чем ты сейчас толковал с Корбаном и Абилиу?

— Да об электрификации этой ветки! Поезда пойдут быстрее... Ах, здесь все вокруг переменится! Нужно поставить опоры, построить трансформаторную подстанцию. Не знаю, как ты, Меа Кульпа, но лично я люблю перемены! А ты?

— Перемены бывают разные,— ответил Меа Кульпа.— Перемены к лучшему — и перемены к худшему!

(Окончание следует)

ГЕРХАРД БОНДЦИН. ГДР. Воспоминания о Москве

ПОРТУГАЛИЯ

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА

На площади Маяковского

Когда на рассвете,
умытом струящимся золотом аистьев —
последние следы капитализма на осенних деревьях,—
я выхожу из гостиницы
и со стыдом за убитое время толкаю тяжелые двери,
ты не оборачиваешься ко мне,
товарищ поэт Маяковский,
на своем пьедестале — статуя из бронзы,
смертью отлитой,—
ко мне, к той стороне,
солнцем почти забытой,
где звучит земля
неустанным
священным барабаном.

Несправедливо, что, как прежде, ты стоишь спиной
к стране моей родной,—
пусть она маленькой кажется
и лишь в глазах гиганта уляжется:
Португалия нынешнего вчерашнему вопреки...
А вокруг —
щелкают волчьи клыки.

Обернись, Маяковский!

... И вот вчера ночью,
в те часы, что подобны колодца бездонному многоточию,
я услышал ужасный скрежет,
а сегодня утром, на улицу выйдя,
на площади Маяковского
я вдруг увидел,
что поэт стоит лицом ко мне,
в дерзком порыве вперед,
словно тот,
кто планеты запустил в небеса...

И он крикнул мне:

«Ты, поэт, неспроста оказавшийся тут,
я не знаю, кто ты,
как тебя зовут:
скажи своему народу —
пусть всегда
ему светит одна путеводная звезда —
Революция,
Поэзия,
чистым пламенем осененная рука,
рассекающая пропасть
крыльями стиха.
Тверди это всегда,
даже если поманит
свет мечты иной...»

И снова Маяковский
повернулся ко мне спиной.
И снова стал бронзой, изваянной смертью,
и продолжал читать свои стихи,
от которых оковы становятся тленом,
и стихам увлеченно внимал Ленин.

Перевела РИММА КАЗАКОВА

■

ПОЛЬША

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ

Здесь под Можайском

Боязно даже по лесу ехать,
столько здесь тел.
Зеленые полки
мхом поросли.
Фыркает конь,
нюхает снег,
будто не знает...

Может, забыл?
Столько ведь лет
прошло с тех дней,
когда он землею из-под копыт
их засыпал.
Может, забыл?
Свистнула плеть,
и вихрь небесный
глаза застлал.

Неисчерпаемость

Будем жить вечно.
Хоть у каждого из нас
времени много,
но распоряжается нами
дело мира во всем мире,
как весна распоряжается
каждым деревом,
независимо от климата.
Соки рвутся вверх,
чтобы придать
новые формы миру.
Идея так же неисчерпаема,
как пространство.

Перевел ЗИГМУНТ ЛЕВИЦКИЙ

■

МАЛИ

ГАУССУ ДИАВАРА

России

Если б вы видели
Ноги той старой России,
В трещинах, будто ствол пальмы,
Если б вы видели
Руки той старой России,
В язвах,
Будто изъеденные щелочью,
Если б вы видели
Спину той старой России,
Меченную горьким клеймом проклятья,
Вы бы поняли, почему
Русский народ перестал стенать и поднялся
На борьбу...

Россия,
Волны во мне бушуют,
Волны воспоминаний...
Россия, по венам моим,
Через сердце течет
Имя твое,
Необъятное,
Словно море...
Рябью морской
Дни утекают
И годы,
А твой образ,
Как парус белый,
С горизонта памяти
Не уходит.

Россия,
Мое открытие самого себя,
Первые мужские шаги,
Россия,
Рассвет моего сознанья
И постижения жизни,
Я росток
На древе твоей культуры...
Я полюбил,
Полюбил твои цветущие яблони,
Березы, уходящие ветвями
В симфонию небесной синевы...
Полюбил твои летние ночи,
Когда вместе с дымом костров
Пионерские песни
Поднимаются ввысь...
Полюбил воспаленное осеннее небо твое
И тропки, устланные багряными листьями...
Снега твои —
Цвета истины...
Россия,
Я полюбил весенние крики
Твоих журавлей,
Вернувшихся из моей далекой Африки,
Озера твои полюбил,
Долины,
Реки с плакучими ивами...
Волгу —
Героиню романов,
Сказаний и песен,
Историю народа твоего
Бегущие страницы,
Бессмертные страницы,
Несущие светлое Завтра...

Перевел АЛЕКСАНДР КАРЛОВ

КУБА

ЛУИС СУАРДИАС

Горы Таджикистана

Вечный снег лежит на вершинах.
По горной цепи скользит силуэт самолета,
а в нем наши тени и молчаливые мысли.
Всеми цветами радуги лед искрится внизу.

Над горами Таджикистана замер вечный огонь.
Реки, бурные, как сны человека,
берут свое русло в громаде камня
и нарушают смену времен года.

Долгое время тратилась всуе
эта безудержная прозрачность,
раздиравшая плоть земли,
давая жизнь мимоходом
худосочным растеньям.

Велико было время потерь.
Но наконец человек вышел из берегов:
он открыл рекам дорогу, убрал преграды,
он сквозь горы ведет туннели
и строит просторный дом
для долгожданной воды.

В этом — закон Революции,
ее животворный огонь.
Вечный снег лежит на вершинах.
И огонь, что горит в человеке,
ищет свое русло.
В этом — закон Революции.

Перевел ОЛЕГ ОСТРОВСКИЙ

■

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЯН ПИЛАРЖ

Следы на снегу

На свежевыпавшем снегу видны следы
ведущие в Разлив

Все что история увековечила в граните
вблизи совсем просто

© *Jan Pilař, 1975.*

Его охраняют обыкновенные люди
Не надо переодеваться
молодому лесорубу
веселому пастуху
кочегару на паровозе подбрасывающему в топку уголь
рыбаку отправляющемуся в дальнее плавание
архитектору будущего

Перо которым было написано «Государство и революция»
он сменил на косу и грабли
из котелка ел щи
и удлинял фитиль керосиновой лампы
чтоб было светлее

На свежевыпавшем снегу видны следы
ведущие в Разлив

Может быть здесь проходил он
смотрел на кроны берез
и приникал ухом к земле
не слышно ли из эпицентра землетрясения

Все что история увековечила в граните
в действительности так обыкновенно

В том году когда в моих зрачках впервые
отразились зеленые листочки над колыбелью
он взял в руки гигантский циркуль
и начал описывать окружности
все больше и больше
с точностью геометра

По их спирали
я подошел к замерзшему заливу
оставляя следы возле его следов

В шалаше из веток и сена
я сижу за накрытым столом
и деревянной ложкой
разливаю щи

У причала стоят легендарные корабли
они ждут команды к отплытию

На костях погибших ленинградцев
шумит высокий лес домов

Скоро треснет лед в Финском заливе

Следы на свежем снегу

Как будто он здесь только что прошел

Перевела ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ

■

Анкета «Иностранной литературы»

ОКТЯБРЬ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

КОБО АБЭ

ЯПОНИЯ

Было немало причин, побудивших меня избрать путь писателя, и одной из них было, несомненно, влияние русской литературы.

Я убежден, что русская литература с момента своего зарождения носила характер литературы мировой. Этот ее характер выражался в способности видеть сегодняшнее глазами завтрашнего дня, другими словами, он выражался в устремленности в будущее. Дух предвидения — это то, что лежит в основе литературы, является ее краеугольным камнем. Благодаря тому что в вашей стране народное стремление к революции совпало с расцветом литературы, русская литература получила огромный стимул к развитию.

Пытаться выразить влияние литературы с помощью цифр — глупейшее занятие, но тем не менее мне представляется, что процентов шестьдесят толстого слоя опавших листьев, удобривших почву моей души,— это листва русских лесов. Великими, недосягаемыми вершинами высятся передо мною в первую очередь Гоголь и Достоевский. Одно то, что на нашем свете могли существовать души, так глубоко любившие людей и жизнь, любившие даже отчаяние, в котором они пребывали, заставляет меня верить в людей и мир.

Сейчас русская литература воплотила в реальную программу мечты о революции, которые она вынашивала в своем сердце. Мне представляется, что дух, позволяющий видеть сегодняшнее глазами завтрашнего дня, продолжает жить в русской литературе. Я чувствую, как молодая любознательность, обращенная к реальной действительности, ярко пылает подобно огнедышащему вулкану.

Я испытываю огромную радость от сознания того, что мои произведения с интересом встречаются советскими читателями, ибо Россия для меня, да, собственно, для всей современной литературы,— Родина, забыть которую невозможно. Ведь настоящий писатель — это человек, обращенный всеми своими помыслами не столько в прошлое, сколько в будущее.

ЭРВЕ БАЗЕН

ФРАНЦИЯ

Три поколения людей, будь они сторонники или противники, вынуждены были рассматривать Октябрьскую революцию как событие, не имеющее себе равного по значению. С этим событием нельзя сравнить даже распространение христианства, ибо христианству потребовалось семьсот лет, чтобы завоевать Европу, в то время как социализм за шестьдесят лет завоевал половину нашей планеты и не перестает завоевывать все новые территории, способствуя расслоению в другой половине земного шара. Можно смело сказать, что политика всех стран, как внешняя, так и внутренняя, определяется в зависимости от силы примера этого общества нового типа и от тех надежд, которые оно рождает у сбездоленных и эксплуатируемых в нашей половине земного шара.

В этих условиях, какие бы аспекты ни принимал социализм в соответствии с традициями той или иной страны, его конечная победа не оставляет у меня сомнения.

ГАБОР ГАРАИ
ВЕНГРИЯ

Мир празднует!

Празднуют солдаты, ветераны революции и матери, воспитывающие своих сыновей для будущего; празднуют люди физического труда и ученые, исследующие тайны неведомых миров. Празднуют порабощенные жители колоний — они чествуют то, что является грядущим, то, что человечно.

Празднуют развевающиеся на ветру языки пламенеющих ребячьих галстуков, празднуют миллионы людей — даже те, кто, может быть, еще и не осознал, что они празднуют, только чувствуют: старое — нестерпимо, пусть придет Новое!

В середине прошлого века набатом прозвучало: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

И призрак стал обретать свою плоть, рабочие разных стран — особые люди, хотя ничего особенного в них не было, а сегодня они уже кажутся такими обычными — вступили в борьбу, какую еще никто не вел на этой планете и которая потребовала от них невероятных, сверхчеловеческих усилий, вступили в борьбу, потому что всем сердцем восприняли веление времени и надежду этого мира.

Какими были люди, которые взвалили на свои плечи груз такой надежды и которые веление времени преобразовали в волю, в действие? Кто эти люди во плоти и крови, которые стали олицетворением эфемерного Призрака?

Вот Ленин, самый великий; его гений даже после смерти светит светом ста тысяч свечей.

И я вижу солдат октябрьских боев с бородами пророков. Вижу матроса «Авроры», передавшего первую весть по беспроволочному телеграфу: «Революция победила!», «Декрет о мире!», «Декрет о земле!» — и не только город на Неве, весь мир вздрогнул потрясенный. И я вижу изголодавшихся в гражданскую войну лапотников Дона и Приамурья и добровольцев «помощи борцам революции», там, в низовьях Дуная, где мрак и беззаконье; вижу небритые, покрытые инеем лица тех, кто сооружал северные плотины; вижу восставших из мертвых защитников блокированного Ленинграда; вижу знамя всемирной свободы, водруженное на крыше рейхстага, и запущенные в космос солнечные шары межпланетных станций, похожих на ананасы; вижу капитанов звездных кораблей, деды которых понуро брели за деревянными плугами. И снова — живого Ленина: сияющий лоб его освещает мечту миллиардов.

Потребовалось, быть может, сто тысяч лет на то, чтобы первобытный человек спустился с дерева и создал первое орудие труда; прошли, вероятно, тысячелетия от первых попыток высечь искру до того, как вспыхнул на земле похищенный с неба огонь. Правда, величайшее изобретение — двуколка на деревянных колесах — через несколько сотен лет сменилась паровой машиной, и распознавание небесных тайн тоже за несколько столетий перешло от священнослужителей к ученым-естественникам.

Но последние шестьдесят лет не потому оказались самым значительным шагом вперед в истории человечества — из всех, сделанных до сего времени,— что были изобретены радио и космические корабли, создана теория относительности и освобождена атомная энергия, а прежде всего потому, что с победой Октября в первой стране социализма был заложен прочный фундамент свободы, планируемого будущего и завтрашнего — живущего в мире и согласии — человечества, и во все концы света стали излучаться надежда и реальность освобождения.

Освобождения, которое не только уничтожает все виды эксплуатации, но и рассеивает духовный мрак, в который были погружены массы, и освобождает отдельную личность от того, что разрушало, иссушало душу, ибо не только дает цель и надежду, но и повелевает жить в духе того закона, по которому люди необходимы друг другу.

Этот закон помимо всего еще и обеспечивает нам продление жизни. До победы революции это была лишь добровольно взятая на себя нелегкая привилегия коммунистов или миссия-предназначение некоторых поэтов — высочайшая обязанность отстоять человечество на вечной земле, потому что уже все, небо и земля, доверено нашим заботам, отдано под нашу ответственность.

Ибо только так мы подойдем к осуществлению фаустовской мечты,— путь этот реальный и закономерный, и нам не нужно будет приказывать мгновенью остановиться! — подойдем к тому состоянию, которое объединяет и достижение цели, и постоянное стремление идти дальше, как в большой счастливой любви, где осуществление желания и неутолимая жажда еще большего, невыразимого блаженства неразделимы.

И поэтому мир празднует!

Он зовет к своему столу миллиарды людей. Открывает отстоявшееся молодое вино свободы; если мы отведаем его, то лишь острее ощутим происходящее и ни на другой день, ни на третий не заболит голова.

Итак, поднимем бокалы
вместе с героями — за погибших,
вместе со счастливыми — за безутешных,
вместе с борющимися — за уставших,
вместе с восставшими — за угнетенных,
вместе с матерями — за их растущих сыновей,

вместе со всеми, кто живет в мире,—
за борьбу во имя святых идеалов.

Ибо для нас горит в сердцах и домнах неподдельный огонь. И мы творим чудеса, о которых тысячелетиями мечтали на земле. И расцветает новый росток на дереве Конституции, созданной много лет назад. И трепещут на ветру знамена памяти, как большие пылающие октябрьские георгины.

МИР ПРАЗДНУЕТ!

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС

ГДР

Октябрьская революция как политическое и идеологическое событие стало поворотным пунктом в моей собственной жизни и дала мне лично силы выстоять во всех тяжких испытаниях которые история уготовила моему народу, моим друзьям и мне самому, когда в 1933 году немецкие фашисты захватили власть и мы на десять с лишним лет попали за колючую проволоку; наших товарищей пытали, били, топтали ногами и убивали, тут и самый стойкий мог бы дрогнуть. И когда потом нацисты начали топтать своими сапогами одну страну за другой, не встречая серьезного сопротивления, многие на земле и впрямь потеряли веру в лучшее устройство мира. Но те, кто прозрел благодаря Октябрьской революции, сохранили стойкость духа и искренность. Их надежд и чаяний так и не удалось сокрушить. В этом мы были уверены. Я лично ни на миг не усомнился в том, что Советский Союз, это большое и сильное дитя величайшего сдвига в истории человечества, в состоянии выдержать любое испытание — даже такого, поистине глобального, характера — и что поэтому именно он, и только он, круто повернет ход этой безумнейшей из всех войн, которые знало человечество. Советский Союз оправдал наши надежды и будет оправдывать их и в будущем. «С тех пор мир вновь обрел надежду»,— говорит один из крупнейших наших поэтов. А без надежды человек вообще не может жить. Я обязан Советской стране и Октябрьской революции не только жизнью и свободой, я обязан им тем, что моя жизнь обрела смысл и цель в глазах истории.

Октябрьская революция сегодня? Это очень просто. Она — решающий факт мировой истории, без нее не существовало бы ни сбросившей иго колониализма Африки, ни независимой Индии, ни социалистической Кубы, ни национально-освободительной борьбы народов Азии и Латинской Америки, не говоря уж о социалистических странах Европы.

Октябрьская революция завтра? Это тоже очень просто. Ее принципы, ее успехи, ее сегодняшние победы — это и есть мир завтра. И мы, одухотворенные идеями величайшей революции и ее уникального кормчего, удивительного человека — Владимира Ильича, хотим плечом к плечу идти навстречу этому будущему, которое принесет с собой новые задачи; решение их потребует приложения сил и способностей от всех людей на земле.

АЛЕКС ЛА ГУМА

ЮАР

Сейчас в гаражах и подвалах домов, где работают разбросанные по всей Южной Африке подпольные типографии, вероятно, по ночам тайно печатаются листовки, приветствующие шестидесятую годовщину Великой Октябрьской революции. В честь пятидесятилетия Октября Южно-Африканская коммунистическая партия выпустила брошюру под названием «Революция, изменившая мир», а в ознаменование столетней годовщины со дня рождения Ленина в 1970 году — брошюру «Ленин — освободитель». Поэтому не подлежит сомнению, что и шестидесятилетие Октября будет достойным образом отмечено.

Мировая история знает немало событий, возвещавших о наступлении новых этапов в ее развитии, но ни одно из этих событий не произвело такой коренной перемены, как Октябрьская революция. Энгельс писал, что богиня истории — самая кровавая из всех богинь, потому что она едет в своей колеснице по горам трупов и морям крови. Так было в прошлом, до рождения социализма.

«Мир народам!» — провозгласила молодая Советская республика в качестве одного из первых своих лозунгов. Первым декретом Советской власти, подписанным Лениным, был декрет о мире. С того времени народы СССР и все сторонники мира на нашей планете стремились и стремятся сделать новую эру эрой мира и расцвета культуры.

Культура означает созидание, культура — это полная противоположность войне. Мир является для культуры величайшим благом. Вопреки уроку второй мировой войны реакционеры по сей день проливают кровь, разрушают культурные ценности. Миллионы африканцев поныне вынуждены вести борьбу за свободу, за свою собственную национальную культуру. Советский народ открыто выступает на стороне этих борцов и продолжает оказывать полную поддержку их справедливой борьбе. Это борьба сил культуры, стоящих на службе прогресса, против сил псевдокультуры, стоящих на службе зла и реакции.

Общеизвестно, что развитие науки может принести людям как счастье, так и ужасные бедствия. Сегодня работники искусства и науки призваны быть активными деятелями с повышенным чувством нравственной и социальной ответственности, причем не только в сфере своего творчества, но и во всемерных своих усилиях, направленных на то, чтобы сделать землю более благоустроенным и безопасным местом для жизни. Прогрессивно мыслящие деятели культуры — приверженцы высоких идеалов и принципов гуманизма — всегда содействовали укреплению позиций сил мира. Достаточно вспомнить имена таких писателей, как Анри Барбюс, Ричард Олдингтон.

Советский Союз внес самый большой вклад в утверждение принципов служения культуры идеям мира. В качестве первого социалистического государства СССР показал пример, лучшие его художники высоко подняли в своих произведениях

знамя мира. Как тут не вспомнить симфонии Д. Шостаковича, рассказы Шолохова! Оба художника подписали обвинительный приговор злу войны.

Огромный вклад социалистической культуры в мировую культуру вдохновлял великих художников всего света, стимулировал их творчество. «Герника» Пабло Пикассо представляет собой непреходящее и монументальное осуждение войны и фашизма; поэзия Пабло Неруды будет вечно жить в сердцах тех, кто желает торжества справедливости и мира на всей земле.

К сожалению, имеются также и такие художники и деятели культуры, которые проповедуют негативизм или апатию. Однако поступательного движения прогресса они помехи не остановят.

На протяжении всех шестидесяти лет своей жизни Советский Союз поощрял культурные связи и обмены. Стремление к широкому сотрудничеству в области культуры стало могучим стимулом и неотъемлемой частью советского образа жизни. Это необоримое стремление коренится в присущем советскому народу уважении к национальным культурным ценностям.

Все прогрессивные люди приветствуют этот интернационализм в области культуры, так как он способствует расширению контактов между народами, укрепляет взаимопонимание между ними, рассеивает недоверие и предубеждения. Искреннее международное сотрудничество помогает вести борьбу против пропаганды войны, против идеологии фашизма, шовинизма и расизма, против всего, что подрывает духовную, идейную и нравственную силу человека.

Речь, конечно, идет не о «конвергенции культур» и не о примирении идеологий. Ленин, основатель первого социалистического государства, учил нас, что, покуда социалистические и капиталистические государства существуют бок о бок друг с другом, между ними необходимо сотрудничество в той или иной форме. Однако социалистическая культура и буржуазная культура диаметрально противоположны, и противостояние это является проявлением идеологической борьбы между двумя социальными системами.

Поэтому, говоря о сотрудничестве и обменах, мы имеем в виду положительные и достойные культурные ценности. Мы убеждены в том, что советская общественность приветствует хорошее, доброе искусство и подлинные образцы национальной культуры, но категорически отвергает идеи и произведения, идущие вразрез с социалистической моралью. И в этом тоже Советский Союз подает пример всем тем, кто действительно стремится научиться отделять зерно от плевел, отличать правду от обскурантизма и реакции.

Нас окрыляет сознание того, что Советский Союз поддерживает культурные связи с десятками стран и международных организаций, занимающихся вопросами культуры; что советские писатели и деятели искусства руководствуются в своих произведениях методом социалистического реализма и вдохновляются одной главенствующей идеей — идеей служения интересам трудового народа в борьбе за создание нового человека, за мир и за сохранение бессмертных творений цивилизации.

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

ПОЛЬША

Воздействие идей Октябрьской революции, ее притягательная сила и, как следствие этого, неослабный, все возрастающий, поистине глобальный масштаб ее влияния, получивший подтверждение в неопровержимых исторических фактах, объясняются тем, что призывы, начертанные на ее знаменах, были адресованы каждому, кто чувствовал себя угнетенным, кто мечтал о ломке старого социального уклада.

А таких людей на белом свете было немало; это народ, трудящиеся массы. Нет такого уголка на земле, куда бы не проникли эти глубоко человечные, пламенные призывы революции, смысл которых заключен в словах: свобода, равенство, социальная справедливость, мир...

Претворение в жизнь на громадных просторах планеты идей, выдвинутых Октябрьской революцией, не совершалось и не может совершаться само собой — оно достигается путем упорной борьбы и труда. Ведь облагораживание и улучшение условий жизни в духе тех лозунгов, что начертаны на октябрьских знаменах, требует от человека высоких нравственных качеств: мужества, а нередко и героизма, трудолюбия и чувства собственного достоинства, а также неустанной заботы о сохранении идейной чистоты в повседневной практической работе.

В неизменно пополняемой новыми мыслями, постоянно обогащаемой теоретически программе, которую шестьдесят лет назад предложила миру Великая Октябрьская социалистическая революция, сегодня особенно ярко выделяется начертанное большими буквами слово МИР.

Это слово, это понятие, ныне выражающее самую насущную потребность всего человечества, ведет свою родословную от эпохального Октября 1917 года.

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

БОЛГАРИЯ

Человечество было бы безликим рабом — без путей в жизни, без будущего, без надежды на победу, если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции.

Октябрь — начало двух дорог: одной — к душам людей и другой — к небесным космическим безднам, к непознанным мирам и галактикам. Эти дороги ведут к познанию, к трудовым достижениям, к подлинной внутренней свободе, к коммунизму.

Если бы не Великий Октябрь, болгарский народ был бы обречен томиться в тесном

мирке мещанской алчности, низкого, беспросветного неба над клочком земли, гасящего творческие порывы и устремления.

И поэтому я бы сказал, что подобно тому, как воздух принадлежит целому миру, Великий Октябрь принадлежит всему прогрессивному человечеству.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

КУБА

Для людей моего поколения Великая Октябрьская революция 1917 года, несомненно, явилась событием величайшего исторического значения.

Невероятно запутанными и противоречивыми были первые известия о ней, доходившие вначале (я сказал бы — почти до 1920 года) до нас в латиноамериканском мире. Информационные агентства капиталистических стран пичкали нас лживыми сообщениями, негативным и пессимистическим изображением людей и фактов, фальшивым «анализом» некоего «хаотического положения», которое, по мнению «специалистов», подсказанному теми, кто страшился происходившего в России, «не могло продержаться длительное время». Нас уверяли в том, что революция обречена на неминуемое поражение и что, вообще-то говоря, она была не чем иным, как весьма благородной, но неосуществимой акцией исстрадавшегося народа (да, это приходилось признать!), хотя еще не вполне зрелого, не способного произвести радикальное преобразование социальной структуры, экономики, учреждений своей страны.

Однако, несмотря на все ухищрения буржуазной печати, которая старалась посеять замешательство в сознании людей, произошло нечто, ею не предусмотренное. Начиная с 1921 года, с изумительной быстротой стали зарождаться наши первые коммунистические партии, объединявшие вокруг идеи, в ту пору воспринимавшейся лишь как великая Надежда, не только трудящихся города и деревни, но и значительные группы студенчества, деятелей культуры.

Богатой и необыкновенно волнующей была история (сейчас у нас нет возможности касаться ее во всех подробностях) создания наших коммунистических партий, которые с самого первого дня своего существования были полны решимости оказать моральную и материальную поддержку новому государству, позднее получившему название Союз Советских Социалистических Республик.

Достаточно сказать здесь, что революционный подъем, распространившийся по всему континенту, захватил и Кубу, где благодаря революционному пылу и настойчивости ветерана борьбы рабочего класса Карлоса Балиньо, соратника великого Хосе Марти, и молодого, энергичного студенческого вожака Хулио Антонио Мельи в 1925 году была создана своя коммунистическая партия, в которую скоро вступил и в рядах которой стал активно работать поэт Рубен Мартинес Вильена — один из наиболее выдающихся и благороднейших представителей молодой кубинской интеллигенции тех дней. Другие коммунистические партии в Латинской Америке начали создаваться раньше — с конца 1921 года, но зато Кубинская коммунистическая партия создавалась в боевой обстановке: сразу же после своего основания она вступила в открытую борьбу против диктатора Мачадо.

В факте быстрого появления коммунистических партий во многих странах Латинской Америки следует видеть нечто большее, чем только результат энтузиазма, вызванного великими историческими событиями, какие происходили в России. Дело в том, что наиболее просвещенные умы эпохи, наблюдая за развитием пролетарской революции, у с п е ш н о о с у щ е с т в л е н н о й (чего, к сожалению, нельзя сказать о предшествовавших революциях, которые буржуазия подавила огнем и мечом, утопила в крови), поняли, что нельзя анализировать историю так называемого Нового Света, не обращаясь к марксистско-ленинскому учению. И это вскоре позволило им прийти к выводу, что вся наша история представляет собой прекрасную иллюстрацию непрекращавшейся классовой борьбы на протяжении четырех с лишним столетий.

Действительно, классовая борьба на нашем континенте — не стану сейчас входить в подробности длительного и сложного процесса — не прекращалась, начиная с дней открытия и завоевания европейскими конкистадорами (испанцами, португальцами, англичанами, французами и др.), проявляясь в непрерывной цепи антагонистических конфликтов. Коренные жители боролись против колонизаторов; африканские рабы, привезенные в Новый Свет, чтобы заменить здесь в качестве рабочей силы индейцев, полностью или частично уничтоженных новыми хозяевами, много раз выступали против своих владельцев — латифундистов; креолы (люди, родившиеся на латиноамериканской земле, мулаты или метисы) выступали против класса колонизаторов, против всемогущего — и зачастую совершенно бездарного — представителя испанской короны. После войн за независимость возник антагонизм между народившейся мелкой буржуазией и аристократическим «креольским» классом, унаследовавшим от колонизаторов «привилегию» эксплуатации сельских батраков-пеонов. И, наконец, в нашем веке развернулась упорная и самоотверженная борьба городского пролетариата и крестьянства, пользовавшихся значительной поддержкой со стороны нашей интеллигенции, а отчасти и мелкой буржуазии, зачастую страдавшей от тех же несправедливостей, против крупной буржуазии — землевладельцев, латифундистов, крупных коммерсантов и промышленников,— действовавшей в союзе с Соединенными Штатами, которые проводили в

Латинской Америке свою политику экономической и культурной экспансии, захватывая богатства наших стран и пытаясь навязать нам свои обычаи и навыки, свои понятия, а нередко — как у нас на Кубе — свой язык.

Одна за другой, словно мощные взрывы, разгорались войны за независимость в Латинской Америке. С 1810 по 1824 год длилась борьба — вплоть до решающей победы при Аякучо, когда испанцы были изгнаны с континента; но некоторым латиноамериканским странам, меньшим по размеру, в силу их особого географического положения удалось завоевать свободу лишь значительно позже и в результате героической, тяжелой борьбы. Так обстояло дело и на Кубе, где первая война за независимость, продлившаяся целых десять лет, началась лишь в 1868 году а вторая, вдохновлявшаяся и направлявшаяся мыслью Хосе Марти, разгорелась в 1895 году. Но и эта война привела лишь к относительной независимости нашего острова, потому что на смену испанской колониальной власти пришла североамериканская экономическая власть.

Действительно свободной и независимой Куба стала лишь в 1959 году — с победой Революции, совершившейся под руководством ее главнокомандующего Фиделя Кастро.

В памятный день штурма казармы Монкада в 1953 году кубинские деятели культуры, и те, что находились на родине, и те, что были за рубежом, еще не могли предвидеть, какое значение будет иметь это событие для будущего... А ведь в тот день было положено начало коренному преобразованию кубинской жизни: уже в ближайшем будущем должен был совершиться переворот в нашей судьбе. Скоро, скоро должны были окончиться для писателя времена бесполезности и одиночества, ужасного одиночества. Вскоре настал тот час, когда перед нами, писателями, были поставлены новые задачи. То были великие задачи, подобные тем что во весь рост встали перед русскими писателями спустя какой-нибудь год после «десяти дней, которые потрясли мир» и которые превратили их в активных и полезных граждан рождавшегося Советского Союза.

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ
ЮГОСЛАВИЯ

Идеи Октября оказали столь мощное и вдохновляющее воздействие на весь мир, что без них — мы можем утверждать это без всякого преувеличения — не было бы ни завершения первой мировой войны, ни победы прогрессивного человечества во второй мировой войне. Без этих идей не завершились бы успехом ни наша народно-освободительная борьба, ни Великая Отечественная война в СССР. Мы, югославы, сражались и за освобождение нашей земли от врага, и за победу социализма в нашей стране и во всем мире, имея перед собой пример первой страны социализма; народы Советского Союза сражались за сохранение уже завоеванных человеческих прав, за свободу и равенство людей, за утверждение социалистического строя, рожденного Великим Октябрем.

Идеи Октябрьской революции способствовали распаду некогда могущественной империи и ликвидации колоний крупных западных держав, сделали бессмысленными всякие теории о якобы избранной роли отдельных народов и их праве угнетать других. В результате Октябрьской революции, благодаря огромному ее влиянию мы являемся ныне свидетелями возникновения новых, независимых государств.

Во всем мире, в странах, где утверждался социалистический строй, рождались и совершенствовались новые общественные отношения — процесс этот продолжается и поныне, в современных условиях.

Если бы, представим себе не было Великого Октября в России, до сих пор существовали бы Чичиковы, имелись бы «мертвые души» и «мертвые дома», до сих пор царила бы в мире обломовщина и нередки были бы у людей судьбы, подобные судьбе Жана Вальжана. В современном мире социализма, даже если и обнаруживается какая-либо несправедливость, люди по крайней мере не считают ее неизбежной, ибо тут господствует стремление к равенству и справедливости. Без победы Октябрьской революции повсюду сохранились бы классовые различия между людьми: их продолжала бы разделять глубокая пропасть: люди белой расы продолжали бы считать себя выше людей черной и желтой рас, а белая девушка с черным парнем не посмели бы открыто обниматься, подобно паре из стихотворения «В Гайд-парке» Маргариты Алигер; по-прежнему происходили бы истории, подобные той, что описана в романе «Королевская кровь» Синклера Льюиса.

Если изредка и встречаются отрицательные явления, которым социализм еще не положил конец, то происходит это по той причине, что укоренившиеся привычки, консервативные мысли труднее выполоть, чем бурьян,— ту сорную траву, корни которой крепче стебля и глубоко сидят в почве.

Великий Октябрь возвысил в представлении людей духовные ценности. В мире социализма поддерживают веру в искусство и веру в людей. Хозяевами мира сделаны труд и знание.

ИВАН СКАЛА
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Труднее всего говорить о том, что мы привыкли считать само собой разумеющимся. Мы не задумываемся над тем, какое чудо природы наше кровообращение, мы просто благодаря этому живем. Мы не

задумываемся над тем, какое чудо геофизического развития — воздух, мы просто вдыхаем его, как субстанцию, необходимую для жизни. А такое чудо исторического развития, как Великая Октябрьская социалистическая революция, за шесть десятилетий последующего развития настолько прочно утвердилось в нашем сознании как естественное и непременное условие всей нашей жизни, что мы считаем ее чем-то безусловным, изначально данным. Нам очень трудно представить себе, как развивались бы судьбы мира, если бы не произошла Октябрьская революция и если бы пламя Октября, его идеи, нашедшие воплощение в первом социалистическом государстве, не воздействовали словно мощный катализатор на ход мировой истории, на судьбы классов, народов и государств и прежде всего — на судьбы трудящихся во всех частях света, судьбы мира. Сотни и тысячи книг, которые уже написаны и еще будут написаны, не могут во всей полноте отобразить влияние Октября, проявившееся во всех областях материальной, политической и духовной истории человечества в прошедшие десятилетия. И обретение нашей страной национальной самостоятельности в 1918 году, и утверждение нашей национальной независимости в 1945 году благодаря освобождению Советской Армией, и социалистическое сегодня нашей республики — все это обусловлено победой Великой Октябрьской социалистической революции. Сколько книг понадобилось бы, чтобы рассказать о том плодотворном влиянии, которое оказали Великий Октябрь, а также пример и опыт Советского Союза на развитие советской, мировой и нашей культуры и искусства, о том сколько культурных ценностей возникло непосредственно благодаря им! Все лучшие достижения передового искусства в нашей стране в период между войнами и после освобождения были бы просто немыслимы без гигантского гуманистического и культурного влияния Октября. Невозможно даже бегло охарактеризовать всю широту положительного и плодотворного влияния Великой Октябрьской социалистической революции, которым пронизана вся жизнь на нашей планете.

Но я как писатель хотел бы указать еще на один результат Октября, животворный для человека и его судеб. Октябрь дал людям надежду. Надежда возвышает человека над простым физическим существованием, если эта надежда опирается на определенные представления о мире, на определенную совокупность личных и общественных целей, на их последовательное осуществление. Все это вместе взятое дает человеку ответ на вопрос о смысле человеческой жизни. Отнимите у человека надежду — и вы отнимете у него все, потому что его жизнь тотчас же потеряет смысл.

Октябрь вселил в трудящегося человека надежду и показал ему, как нужно последовательно претворять ее в жизнь. Мы понимаем это, видя, как многообразна и осмысленна жизнь людей в странах социализма. Мы понимаем это, наблюдая тяжелую, во многих случаях героическую, упорную борьбу тех трудящихся, тех участников революционного движения в несоциалистических странах, для которых Октябрь стал путеводной звездой в жизни, труде и борьбе, источником надежды. Но мы понимаем это и тогда, когда наблюдаем душевную и моральную депрессию, безысходность и разлад с собой, на которые жестокий механизм классовой системы капитализма обрекает тех, кто не дорос до идей Октября, кто не видит перед собой надежды, для кого жизнь лишилась смысла. Как грустно видеть, например, нарастающую лавину наркомании, хулиганства, самоубийств и преступности среди молодых людей западного мира! Ведь и они родились здоровыми людьми, с определенными способностями и хорошими задатками; однако без реальной надежды их жизнь лишилась смысла, душа одичала, и они предпочли уйти в мир наркотических фантазий или в небытие. Как далеки от этого жизнь и перспективы молодых людей в наших странах! Они исполнены надежды, которую поселил в их сердцах Октябрь. Они являются и нашей надеждой — надеждой, что они будут развивать дальше и завершат то, чему мы посвятили десятилетия нашей жизни. В их лице наша надежда будет непрестанно обновляться и претворяться в счастливое будущее трудящегося человека на всей земле ибо они исполнены решимости помочь рождению будущего.

Шестидесятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции — это не взгляд в прошлое. Октябрь — это наше сегодня, он присутствует в истории нашего времени, во всем, что мы делаем. А шестьдесят лет, которые прошли со времени залпа «Авроры»,— это шестьдесят лет нового летосчисления в истории человечества.

◆

Публицистика

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Зарубежные писатели о новой Конституции СССР

Абд ар-Рахман аль-Хамиси

АРЕ

ТОЧКА ОПОРЫ

Конституция того или иного народа является как бы зеркалом, в котором отражается уровень его общественного и духовного развития. Более того, конституция в известной степени отражает и то, с какой мерой ответственности относится данный народ к самому себе и к международным проблемам, записанным в Уставе ООН, иными словами, к проблемам человечества в целом. Дело в том, что каждый народ, каждая нация является как бы членом огромной общечеловеческой семьи, и деяния этого народа, хорошие или дурные, неизбежно отражаются на судьбах всего человечества. Поистине достойно сожаления, что некоторые забывают о том, что наша планета едина и поэтому происходящее на западе находит немедленный отклик на востоке, а то, что случается на севере, неминуемо отражается на событиях на юге. Да, поистине достойно сожаления, что некоторые забывают о том, что земной шар — единый организм и болезнь, поражающая одну из его клеток, неизбежно распространяется на все остальные — будь то простой конфликт или война...

Именно в силу этого новая советская Конституция представляется мне своего рода лучом света в темном царстве. Впервые в истории человечества Конституция закрепила в законодательном порядке принципы отношений государства — в данном случае Советского Союза — с другими странами. Да... Впервые в истории человечества конституция — именно новая советская Конституция — определила основы внешней политики страны, провозгласив ее главными принципами мир, международное сотрудничество и взаимный отказ от применения силы или угрозы ее применения.

Являясь принципиально новыми моментами для конституций мира, эти положения советской Конституции, безусловно, представляют собой творческое развитие ленинской политики и с этой точки зрения являются неоценимым вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма.

С другой стороны, можно сказать, что, будучи записаны в советской Конституции, эти положения вызывают уважение и доверие народов мира к принципам советской внешней политики, идет ли речь о сфере международного сотрудничества, или укреплении позиций мировой социалистической системы, или о поддержке национально-освободительного движения. Закрепленные в основном законе страны, эти положения являются убедительным свидетельством реальности основополагающих идеалов, в духе которых воспитан советский человек.

Вот почему я убежден, что во всех уголках земли люди, читая новую советскую Конституцию, видят в ней подлинное отражение того социального и духовного прогресса, который достигнут народами Советского Союза, воплощающими высокие идеи революции во всех областях своей жизни и культуры, сумевшими борьбу за установление социальной справедливости на земле своей страны и во всем мире сделать основным принципом своей Конституции.

Однако сказанное выше отнюдь не исчерпывает то принципиально новое для международной конституционной практики, что содержится в этом тексте. Возь-

мем, к примеру, те статьи, в которых речь идет о правах советского человека на труд и отдых, на медицинское обслуживание и социальное обеспечение в старости и по болезни или его праве на образование и на пользование достижениями культуры, праве на свободу творчества, праве участвовать в управлении государством и в общественной деятельности, праве входить с предложениями в общественные и государственные учреждения. Немногие конституции мира подтверждают право человека на труд. Новая же советская Конституция не только гарантирует право на труд и на отдых, но и гарантирует каждому советскому гражданину право на жилище.

Читая эти статьи новой советской Конституции, люди в капиталистических странах, особенно в странах колониально зависимых, невольно сравнивают положение советского человека с жизнью простых людей своих стран, которым приходится ежедневно сталкиваться с безработицей, нищетой, отсутствием крова, не говоря уж об отсутствии всякого социального обеспечения для таких категорий общества, как дети, студенты, старики и больные. И естественно, при этом не может не броситься в глаза огромная разница, существующая между жизнью в государстве, первым построившем социализм, и жизнью в странах, для которых социалистическая революция является пока еще будущим.

Каждый объективный человек не может не осознать, что советская Конституция — это еще один шаг на пути к воплощению идеалов социальной справедливости на земле, это новая точка опоры для более глубокого всестороннего решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

И в заключение несколько замечаний о проблеме прав человека, как они зафиксированы в новой советской Конституции, подкрепленные надежными гарантиями, не позволяющими повернуть историю вспять. Свобода, о которой кричит Запад,— это право человека бросаться под поезд, кончая жизнь самоубийством, или его право на то, чтобы умирать от голода или совершать преступления. Что же касается свободы, которую гарантирует советская Конституция, то это свобода в подлинном — социальном смысле этого слова. Эта свобода дает человеку достаток, крышу над головой, право творчески мыслить и приносить реальную пользу своему обществу.

О каких же еще «правах человека» печется империалистический Запад? Быть может, о свободе империалистических монополий, в особенности американских, беспрепятственно проникать в экономику других стран и грабить их национальные богатства? Или речь идет о свободе для монополий лишать народы этих стран их законного права пользоваться по своему усмотрению природными благами? Или, может быть, речь идет о свободе плести империалистические заговоры и готовить профашистские перевороты, скажем в странах Африки, или свободе защищать антинародные режимы на этом континенте?

Не об этих ли правах трубят пропагандистские службы Америки и империалистического Запада? Позволительно спросить, куда девается их пыл, когда речь идет, к примеру, о попранных правах человека на оккупированных Израилем арабских территориях?

Гарантируя подлинные права человека, ставя ему на службу все достижения прогресса, советская Конституция освещает всем народам мира путь к новым свершениям и социальному благополучию и процветанию.

Майк Дэвидов

США

РЕАЛЬНОСТЬ САМОГО ГУМАННОГО МИРА

Гармония между словом и делом

Для меня вдохновляющее значение новой советской Конституции прежде всего состоит в том, что она отражает советскую реальность. Быть может, для советских граждан, которые считают гармонию между словом и делом чем-то вполне естественным, это само собой разумеется. Но в мире, куда я вернулся, прожив у вас почти шесть лет, ничто не находится в более резком противоречии, чем слова и дела. Собственно, это противоречие является основным источником множества коллизий между нашим правительством и нашим народом и периодических взрывов, принимающих характер восстаний в гетто, населенных черными, итальянцами и пуэрториканцами, в наших пораженных кризисом горо-

дах. Поэтому, когда вас, живущих в самом гуманном обществе, поучают с наших берегов по поводу «прав человека», воспринимаешь это как чистой воды иронию.

Разрыв между велеречивыми высказываниями и жалкими делами стал совершенно непереносимым. Вот почему «жаркие лета» и массовые вспышки гнева превратились в обычные эпизоды уличной жизни в США. Указывая, что «даже по официальным данным безработица среди черной молодежи составляет 40 процентов, а в некоторых случаях доходит до 65 процентов», журналист Уиккер язвительно замечает в «Нью-Йорк таймс», что «мистеру Картеру следовало бы позаботиться о благоприятствовании собственной экономике». Можно было бы добавить — «и собственным правам человека».

Мое возвращение домой в декабре 1974 года было поистине мучительным: когда я увидел пустые улицы тех кварталов, где я жил в Восточном Бронксе, с сотнями заброшенных, полуразрушенных домов, я понял, насколько опасно увеличилась эта пропасть. С чувством глубокой озабоченности я писал в своем «Письме к советским друзьям из «свободного мира»: «Хотя пламя пожаров и не пылает сейчас так ярко, оно далеко не погашено. Более того: горючий материал все накапливается. Фитиль, ведущий к пороховой бочке, ждет искры». Перерыв в подаче электроэнергии 13 июля этого года явился такой искрой. Президентская комиссия в 1967 году предупреждала, что «наша страна движется к возникновению двух общин: черной и белой, разделенных и неравных». Отмечая это, Уиккер с горечью пишет: «13 июля 1977 года ночью... пророчество свершилось. Мы стали двумя общинами, разделенными и неравными». Так что, как видите, предсказания наших пророков весьма мрачны, и они сбываются. Мы — народ, который по уши сыт словами. Ни одна страна в мире так тщательно не изучала свои беды и, несмотря на публичные признания в них, не достигала столь малых результатов, как США.

Обеспеченность жильем

Статья 44-я, глава 7-я, в вашей Конституции гарантирует каждому советскому гражданину нормальное жилище по низкой квартирной плате. Плата эта не просто «низкая». По нашим стандартам это почти бесплатно. Ни одно общество в истории еще не осмеливалось идти на такое. Живя среди вас, я понял, сколько героизма за этим вашим чудом жилищного строительства.

Знаете, что особенно занимало нас, мою семью и меня, в течение тех лет, что мы жили среди вас? Ведь мы забыли за это время об одном из самых важных людей в нашей жизни — о нашем х о з я и н е! Мы жили б е з х о з я е в! Мы жалели, хотя и понимали, почему это происходит, что столь многие из вас относятся к этому как к явлению само собой разумеющемуся. А когда мечты человечества осуществлены и воспринимаются как нечто само собою разумеющееся — что-то очень важное теряется, уходит. Особенно в том случае, когда для большей части человечества это все еще мечта. Мне кажется, ваши писатели и ваши художники должны считать одной из своих основных задач необходимость поддерживать высокий тонус атмосферы вашей Великой Октябрьской революции, романтики ваших беспрецедентных достижений, волнение, которое нельзя не испытывать, шагая к величайшей цели, взбираясь на высочайшую вершину — коммунизм. В вашей Конституции отмечены уже достигнутые вами вершины и намечены величественные высоты, которые еще надлежит завоевать.

Я остановился сейчас в своем повествовании, чтобы отметить взятие вами вершины, именуемой «жилье для всех», так как, вернувшись домой, я обнаружил, что здесь эта вершина еще недосягаемее для нас, чем когда-либо. Вы воздвигли свои дома из развалин, когда 25 миллионов ваших людей остались без крова. Я прекрасно знаю, что есть еще немало трудных проблем, которые остаются неразрешенными. Но ваша Конституция теперь гарантирует, что пик «жилье для всех» скоро будет взят. А наша конституция не только никогда не намекала на такую гарантию — в истории США н е б ы л о еще такой поры, чтобы столько американцев чувствовали себя до такой степени неуверенными в возможности иметь жилье! Никогда еще квартирохозяева не вели себя так, точно они — властители земли! И для нас не было ничего труднее, чем вновь привыкать к жизни, где есть квартирохозяева. Трудно было снова считать «нормальным» то, что кто-то имеет право и власть решать, сколько мы должны платить, если хотим временно наслаждаться жильем. Мы по возвращении домой начали лихорадочно искать квартирохозяина, который оказался бы нам по карману (да и это мы могли себе позволить, лишь урезав себя в чем-то необходимом). И мы сочли, что «нам повезло», когда мы нашли трехкомнатную квартиру с кухней всего лишь за 232 доллара в месяц!..

Значение того, что в вашей Конституции гарантировано жилье, состоит еще и в том, что это является вызовом нашей безумной системе.

Право на здравоохранение

В статье 42-й, глава 7-я, сказано, что «советские граждане имеют право на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь». Как просто! В конце концов, что может быть важнее для государства, чем здоровье его народа? Так и я привык думать, пока жил среди вас. И набил себе основательную шишку, когда неожиданно столкнулся с жестокой реальностью нашего мира «свободного предпринимательства». 8 января 1976 года с моей Гейл и мной произошел несчастный случай, который чуть не кончился трагически. Одна соседка из нашего дома, оставив машину в гараже под нашей квартирой, забыла выключить мотор. Нашу квартиру наполнил угарный газ. По счастью, нас успели вовремя отвезти в больницу, но мне пришлось провести ночь в палате для больных коронарной недостаточностью.

Вернувшись домой, мы постарались забыть об этом кошмарном происшествии. Но не забыла о нем больница. Вскоре после этого мы получили счет на 661 доллар. В счете было указано: «441 доллар за комнату и питание». Ничто в нашем свободном мире не стоит так дорого, как охрана собственного здоровья: день в больнице стоит сейчас 164 доллара (включая гонорар врачу и прочие расходы). Стоимость медицинского обслуживания каждый год возрастает на 15 процентов. Серьезная болезнь ставит под угрозу не только здоровье человека — она является для него финансовой катастрофой.

А наш президент еще читает вам лекции о «правах человека»!

Мир — основа вашей внешней политики

Впервые в истории страна посмела вписать в закон государства, что основой его внешней политики является мирное сосуществование (глава 4-я, статья 28-я). А в нашей конституции лишь говорится о том, кто в правительстве наделен правом определять внешнюю политику. И хотя там совершенно ясно сказано, что правом этим обладают сенат и конгресс, десятилетие грязной войны во Вьетнаме показало, что правом развязать варварскую, дорогостоящую войну воспользовался один человек — президент. Собственно, конгресс США никогда официально не объявлял войны. Более того, война эта принимала все более широкий размах, невзирая на массовую оппозицию со стороны американского народа. Десять лет голос нашего народа звучал в бесчисленных демонстрациях, которые особенно часто устраивала наша мужественная молодежь. И тем не менее никто ему не внимал. Только когда стало ясно, что уже нельзя противостоять героической борьбе вьетнамского народа, мощной моральной и материальной поддержке, которую оказывали ему социалистические страны и особенно Советский Союз, нельзя игнорировать все возрастающие протесты миролюбивых сил всего мира — американский империализм нехотя отступил. Этот горький опыт, помимо всего прочего, показал миллионам американцев, сколь несостоятельна американская демократия, которую наш правящий класс рекламирует в качестве образца.

Я присутствовал в Кремле, когда в мае 1972 года главы государств подписывали историческую Декларацию о принципах, которыми должны руководствоваться две наши великие нации в своих отношениях; там было сказано, что мирное сосуществование должно лежать в основе отношений между странами с различными системами правления. Я пережил это незабываемое волнение, когда в Георгиевском зале звучали национальные гимны наших двух стран. Я присутствовал на XXIV съезде КПСС и был свидетелем зарождения вашей Великой мирной инициативы. Я знаю, что на языке людей нет более ценного для советского народа слова, чем М И Р. Для вас мир — это не просто слово. Это сама жизнь! Здесь я должен попросить у вас прощения за бесстыдство моего американского коллеги Роберта Кайзера. В своей книге «Русские» Кайзер оскорбляет вас, обвиняя в том, что вы не можете забыть ваших мертвых и тысячи дней и ночей жестокого испытания, которое выпало на вашу долю. Ну что можно сказать такому «человечишке»? Ему можно лишь ответить словами Шекспира: «Тот злословит по поводу шрамов, кто в жизни раны не видал».

Поскольку я жил среди вас, я на это реагирую совсем иначе, чем, наверное, реагировали бы многие рядовые американцы. Я впервые полностью осознал, сколь мало мы пострадали по сравнению с вами, хотя сам участвовал в кровавой оккупации Окинавы во вторую мировую войну в качестве пехотинца. Начиная с Великой Октябрьской революции советский народ беззаветно жертвовал собой, как ни один другой народ в истории,— жертвовал не только во имя своего будущего, но и во имя будущего всего человечества. Свыше трети из своих шестидесяти лет вы провели либо в войне, либо в восстановлении послевоенной разрухи. Я видел, что вы создали за три мирных десятилетия, и радовался этому. Вам нужен лишь мир, чтобы показать всему свету, какие чудеса ваш гуманный мир способен создать; понятно, что ваша Конституция исполнена духа интернационализма — в ней

впервые провозглашен мир в качестве основы вашей внешней политики. С первым аккордом вашей Октябрьской революции под водительством великого Ленина вы обратились к истерзанному войной, усталому от войны миру с историческим Декретом о мире.

В прошлом году в связи с моей книгой «Города без кризиса» мне пришлось беседовать с тысячью американцев самых разных воззрений. Я обнаружил, что между нашим народом и теми, кто сидит в Вашингтоне и стремится продолжать политику «холодной войны», существует сегодня глубокая пропасть. Я обнаружил — кстати, все опросы подтверждают это,— что дух трех встреч на верхах все еще живет в американском народе, хотя некоторые из тех, кто рядится в тогу борцов за «права человека», судя по всему, по-прежнему ищут сомнительной чести стать поджигателями «холодной войны». Однако я не был бы честным человеком, если бы вздумал утверждать, что военно-промышленная пропагандистская машина, отчаянно пытающаяся возродить миф о «советской угрозе», не представляет опасности. Конечно же, представляет. Но уроки Вьетнама и Уотергейта не прошли даром для нашего народа. Чудовищная тень нейтронной бомбы побуждает многих американцев признать, что, видимо, настало время устроить марш мира! Предстоят решающие испытания. Они определят, будем ли мы продвигаться вперед и вверх по дороге разрядки или будем отброшены назад к дням «холодной войны». Я полагаю, что сторонников новой «холодной войны» можно обезвредить. Я верю, что ваша новая Конституция и провозглашенная ею политика мирного сосуществования могут сыграть и сыграют здесь важную роль.

Демократия в действии

Никто не говорит о демократии больше, чем наша пресса большого бизнеса. Смысл ее тонет в море беспочвенных словопрений. В вашей стране дело обстоит наоборот, ваша Конституция фиксирует и узаконивает реальность. В статье 102-й, глава 14-я, говорится очень просто: «Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью». За этими «простыми словами» — реальность нового мира, мира подлинной народной демократии. Я вспоминаю маленькие значки на лацканах мужских и женских курток ваших строителей — значки депутатов Верховного Совета. На наших стройках или любых других предприятиях я ни разу не встречал ни одного конгрессмена или сенатора. А свыше половины ваших депутатов Верховного Совета — рабочие и крестьяне, непосредственно занятые производством, а большинство остальных — люди, работающие в области науки и культуры, литературы и искусства. В сенате США сто сенаторов. Рабочих среди них — ни одного. В палате представителей заседает 435 членов. Только шестеро из них — рабочие, но они вовсе не продолжают работать — они давно перестали быть рабочими. В сенате или в палате представителей нет ни одного ученого, писателя или художника, и только два врача — члены палаты представителей. А знаете, сколько там юристов (причем, как правило, связанных с крупными корпорациями)? 215! Да еще 81 банкир или бизнесмен. То же происходит и в сенате: 65 юристов и 13 банкиров и бизнесменов.

Около 31 процента депутатов вашего Верховного Совета — женщины. Сегодня в американском сенате нет ни одной женщины и только 17 женщин — то есть около 4 процентов от общего числа — являются депутатами палаты представителей. Большинство ваших национальностей заметно представлены в Верховном Совете. А у нас черные составляют 12 процентов населения и лишь один человек (один процент) в сенате и 17 человек в палате представителей (около четырех процентов). Не менее важное значение имеет и то обстоятельство, что ваши депутаты не профессиональные политики. В статье 102-й сказано, что депутат не только не освобождается от своей основной работы, но что за выполнение государственных обязанностей он получает лишь свою обычную зарплату. Не так обстоит дело в нашей «демократии». Наши конгрессмены и сенаторы — это профессиональные политики. Занятие политикой—их бизнес, и притом очень доходный (политика помогает их частному бизнесу, как это явствует из возникающих то и дело скандальных происшествий). Конгрессмен получает 57 500 долларов в год (конгресс недавно проголосовал за то, чтобы увеличить денежное содержание своим членам на 12 900 долларов, то есть на 29 процентов). Но это лишь небольшая часть тех расходов, которые несет казна. Подсчитано, что каждый конгрессмен обходится американскому народу в год примерно в 400 000 долларов. Кстати, бывшие президенты неукоснительно становятся миллионерами. Бывшему президенту Форду на ближайшие пять лет гарантирован полумиллионный годовой доход от передач по телевидению его мемуаров и т. д. Между американским народом и его политическими представителями ширится пропасть недоверия.

В богатом английском языке одним из самых дискредитированных слов сегодня является слово «политик». Кандидат в президенты Картер стал президентом, возглавив кампанию против Вашингтона, столицы нашего государства.

Ни одна сторона советской жизни так сильно не искажается в нашей прессе, как советская демократия. Наш правящий класс ничего так не боится, как того, что американские рабочие и американский народ тоже могут стать хозяевами своей страны. Вот почему так важно нам, чтобы подлинная картина вашей демократии и то, как она работает, были показаны американскому народу.

«Обеспечить всеобщее благосостояние»

В преамбуле к нашей конституции говорится, что она предназначена «обеспечить всеобщее благосостояние». К сожалению, эти лозунги в значительной степени остались на бумаге. История американского народа и особенно нашего рабочего класса — это история непрекращающейся борьбы за претворение в жизнь этих лозунгов. Любое завоевание давалось нам лишь ценой длительной и неустанной борьбы: в молодости я сам принимал участие в «голодных походах» и битвах во время Великого кризиса 30-х годов,— той борьбы, которая спасла миллионы от голода и привела к введению страхования по безработице, социального обеспечения и тех законов, которые и по сей день предохраняют нас от гибельных последствий капиталистического экономического кризиса. Сегодня американскому народу приходится вести трудную борьбу, чтобы сохранить статус-кво.

Если бы мне пришлось в нескольких словах обобщить вашу Конституцию, я бы сказал, что она действительно обеспечивает то, что наша конституция обещает для поддержания всеобщего благосостояния нашего народа. Ваша Конституция — глава за главой, статья за статьей — говорит об экономической и политической структуре, которая отдает экономическую и политическую власть в руки трудящихся.

Трагедия антисоветизма

Глядя на разрушения, произведенные слепой яростью угнетенных в страшную ночь 13 июля, когда Нью-Йорк погрузился в темноту, Клейтон Райли, литератор и преподаватель Корнельского университета, писал в «Нью-Йорк таймс» 17 июля 1977 года в статье, озаглавленной «Время не истекает — оно ушло!»: «Мы умеем описывать, и мы умеем наблюдать, мы умеем спорить и делать выводы, и все же мы не знаем — не знаем, хотя три четверти двадцатого века уже остались позади, все еще не знаем, что делать». И эти искренние, горькие слова Райли очень точно описывают гнев и беспомощность миллионов американцев, истерзанных повседневным напряжением жизни в условиях кризиса. Райли мог бы добавить: «...после шестидесяти лет социализма, которые показали, особенно в СССР, стране — родоначальнице социализма, что существует более разумный и более человечный образ жизни».

Вот уже 60 лет, как вы показываете миру, что построили более справедливое общество. Более трети человечества уже последовало вашему великому примеру, и движение к социализму продолжается.

Борьба за то, чтобы восстановить правду о вашей стране, на которую столь долго и упрямо клевещут,— это борьба за наше национальное здоровье, это борьба за наше право знать, наше право учиться у тех, кто построил нечто лучшее. Ваша Конституция — живое воплощение этого лучшего. И я уверен, что наши очень земные люди еще проложат путь к вам, строителям-новаторам.

◆

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Полная чаша

Перевод со словацкого Н. АРОСЕВОЙ

Когда совсем стемнело, мы ушли в дом и там Марьена, мать Оты, вдруг тихо сказала мне:

— Что ж, Андрей, сам знаешь, я тебе счастья желаю, только... не сердись, а все-таки жаль мне Ланку...

Не только я, но и все, кто знал Марьену, считали ее просто святой. Ребенком я представлял себе святых так: верх доброты, ласковости и справедливости. Такой и была Марьена, но к этому у нее присовокуплялось еще одно редкостное свойство, чисто человеческое, и только человеческое — неистощимое трудолюбие; его никогда не было у святых, ведь им не приходилось трудиться.

Они запали мне в душу, эти слова Марьены — такие мягкие, что не разбередили совести. И все же я ощутил короткий болезненный укол в рану, которая, как я тогда воображал, уже затянулась, но которая не заживала никогда. Марьена, человек в высшей степени справедливый, очутилась в большом затруднении. Ланку она знала хорошо и давно, в самые тяжелые моменты войны и Восстания, знала ее еще раньше, чем даже зятя своего, а моего брата Юло. И меня она отлично знала, и Яну тоже. Как же было ей, бедненькой, рассудить, кто прав? Я по глазам видел, как все это мучит ее, как хочется ей устроить так, чтобы все были довольны и счастливы. Не раз, когда мы сиживали вместе — чаще всего в кухоньке, и она опускала, бывало, свои работящие руки на колени, мне казалось, будто этими своими руками она осыпает нас полными пригоршнями счастья. И вот теперь, как раз теперь-то этого у нее не получалось. Знаю почему, я уже и тогда хорошо понимал, почему: виной был я, один я. Даже святые руки Марьены не в силах были прикрыть мою вину — она просвечивала сквозь ее ладони, она словно поглотила весь жар святого сияния, так она была сильна, моя вина. Кто закроет ее, кто смоет, заслонит, затмит ее еще более ярким сиянием? Да как же смыть мою вину, чем затмить, если источник ее — в победительном блеске Яниных глаз, в улыбке, пробуждавшей во мне мечты, о каких я прежде и понятия не имел, в том жесте, каким Яна поднимает к голове руки, подобные белым крыльям, в том, как вздрагивает под блузкой ее грудь в неясном предощущении сладостной бури, которую я так неистово жду?! Ах, как же слабы, как страшно слабы твои святые руки, моя Марьена! Не поможет мне ни доброта твоя, ни жалость, ни справедливость. Справедливость — меньше всего, ибо такая яростная любовь не очень-то дружит с ней. Такая любовь беспощадна, как справедливость сама, она — как смерч, как ураган. Отойди, отойди же, милая Марьена, спрячься куда-нибудь, чтоб, не дай бог ненароком не задело и тебя...

Яна не виновата. Не виновата, что у нее такие глаза, и руки, и улыбка,— как не виновато солнце, что восходит оно и закатывается, как не виновато море, что шумит, и вздымается, и топит корабли. Быть может, потону и я с утлой своей лодчонкой, вместе с моим счастьем и ужасом, но полный надежд и ожидания новой любви, которая должна заполнить всю нашу будущую жизнь. Разве открыли бы хоть один материк, если б не было отважных мореходов,— так в чем же тут вина? Я вопрошал себя, отгоняя покусывающие угрызения совести, и ста-

Продолжение. Начало см. в № 10.

рался укрепиться в своем решении, которое считал более нравственным, чем ханжество и обман супружества. Конечно же, я прав, и это должен признать всякий разумный человек. Убаюканная совесть утихла, заснула крепко.

Потом мы с Отой пошли к Яне; она со своей шестилетней дочуркой Любой жила в скромной, но уютной квартирке. В сущности, отправились мы на своего рода сговор — сговор на современный лад. Свита моя была невелика, зато красноречива. Ота без труда могла заменить хоть семерых сватов, она умела поддерживать беседы, порой даже слишком...

Яна улыбалась, комната вся светилась от блеска ее темных глаз, все, на что падал его взгляд, начинало сиять. Все казалось мне таким милым, каждый предмет, даже скатерка на столе, на которую Яна поставила поднос с угощением.

— Не угодно ли закусить? — промолвила она со смехом.

Эту реплику из пьесы Петера Звона «Танец над плачем» мы, коренные быстричане, часто повторяли, когда ходили в гости друг к другу, особенно если разговор иссякал и никто не знал, что бы такое сказать еще. Мы с Отой даже играли в этой пьесе... Стало быть — «не угодно ли закусить?» Вот мы и дома.

Бракосочетание состоялось шестого октября в Братиславе. Ясным погожим днем я повел Яну в Зеркальный зал братиславской ратуши, чтобы там она сказала мне свое «да». На ней был светло-коричневый костюмчик, отлично сидевший на ее прелестной, стройной фигуре. Я невольно разглядывал ее во всех бесчисленных зеркалах зала, и меня так и распирало от гордости и волнения.

Свадебный стол был накрыт в ресторане в Железной Студничке [1]; был, конечно, и цыганский оркестр, без которого я не мог себе и представить подобное торжество. В восемь часов вечера над Братиславой загремели орудийные залпы, разносясь далеко, отлично слышные и в Железной Студничке.

— Слышите? — с улыбкой спросил я гостей.— Вот это свадьба, при полном параде! Слышишь, Яна, это в твою честь!

Я, конечно, знал, что сегодня — День армии. Все прекрасно сочеталось... А главное, гости — мои добрые друзья, да несколько сослуживцев по «Татрану» — чувствовали себя хорошо. Хорошо себя чувствовал и я, прямо можно сказать — я был счастлив. Но немного позднее, когда я вышел подышать свежим воздухом, опять кольнула меня эта неотвязная заноза: а что теперь поделывает Ланка? Нет, счастье мое не было и не могло быть полным; и я уже тогда смутно угадывал, что и Яна где-то в глубине души думает об этом и наверняка понимает, какая заноза колет меня. Быть может, это и было одной из причин, почему она колебалась выходить за меня, только не говорила. Естественно, я старался подавить такие мысли в самом зародыше — но поди, помешай семечку пустить росток! Или — затопчи родник!

Мысли о Ланке тем более навязывались мне под этим ясным звездным небом, что за несколько дней до этого моя бывшая жена пришла взглянуть на мою новую квартиру (я только что обменялся) и навела в ней образцовый порядок. Чтоб не стыдно было привести невесту... Это подкосило меня вконец, растрогало до слез, когтями впилось в мою совесть — я дрожал, как осиновый лист. Ланка хорошо знала, как я непрактичен в таких делах, не умею даже показать уборщице, что да как надо сделать. Я вышел тогда на балкон, стал смотреть на здание напротив — раньше в нем помещался санаторий Коха, а теперь родильный дом. И долго стоял я, слушая крики рожениц, доносившиеся через открытые окна, а когда вернулся в комнаты — Ланка ставила розы в вазы... Потом она уехала к родителям в Нитру и пошла работать на табачную фабрику.

Все это и вспоминалось мне теперь. Музыка звенела в осенней ночи, но и музыка стала мне несносной. Что ж не веселишься, счастливый новобрачный? Но в эти минуты я чувствовал себя скорее взволнованным поэтом, чья душа полна непритворной боли, перерастающей счастье...

Я вернулся в ресторан, заказал бурный чардаш — и плясали мы с Яной тогда до полного изнеможения.

■

Не прошло и недели после свадьбы, а я снова уезжал, на сей раз в Советский Союз. Только успела Яна освоиться в новой квартире, устроиться на свой лад, как пришлось ей собирать меня в дорогу. Медовый месяц сжался до нескольких дней, но я не слишком огорчался — поездка в СССР меня очень радовала.

Двенадцатого октября мы, двенадцать чешских и словацких писателей — официальная делегация Союза чехословацких писателей,— поднялись на борт комфортабельного «ИЛа» в Рузыньском аэропорту под Прагой. Кроме двух человек, Иржи Тауфера и Яна Костры, кажется, никто из нас еще не бывал в советской стране, и, пускаясь в этот новый для нас путь, мы были полны любопытства, ожиданий и волнения.

Перелет до Москвы занимал тогда куда больше времени, чем теперь. Летели

[1] Небольшой курорт поблизости от Братиславы.

мы целых семь часов по маршруту Львов — Киев — Москва, где и приземлились уже в сумерках; нас встретил осенний московский холодок, легонько пощипывавший за нос. Я попал в машину вместе с Ладиславом Штоллом и Николаем Тихоновым. Я страшно стеснялся выскакивать со своим убогим русским языком и сидел молча, стараясь побольше разглядеть в окно. Когда мы въезжали в Москву, уже зажигавшую свои огни, меня забила дрожь от волнения. Поселили нас в гостинице «Националь», недалеко от Кремля. Мы приехали посмотреть на советскую действительность, на сегодняшний день Страны Советов — другими словами, на наше будущее. Я тогда записал:

«Будущее наше, каким мы увидели его здесь, прекрасно. Оно не таково, как то, о котором когда-то, в 1930 году, писал, вернувшись из Америки, Жорж Дюамель в своей книге «Сцены будущего». Грустно было ему от такого будущего, которое, как он думал, явится в Европу из Америки, накрыв покровом цивилизации мятущиеся в кризисе европейские народы. Дюамель писал о таких сценах будущего: «Я видел: книготорговцы действуют поистине как торговцы, то есть они всеми средствами стараются распродать свой товар. Результат известен: некоторые писатели, утратив всякую порядочность, всякую честь, терпят, что плоды их вдохновения предлагают публике, словно какие-нибудь продовольственные товары, что их восхваляют устами болтливых и к тому же анонимных поденщиков. Художники, не лишенные души и таланта, состязаются в страстной игре конкуренции с торговцами шоколадом и аперитивом». В конце же своей книги, немало нашумевшей в те годы, тот самый Дюамель, который не сделал ничего, чтобы преградить такому будущему путь в Европу, писал: «Как подумаю, что у Европы, истощенной бедствиями и преступлениями, могло быть по ту сторону океана преданное потомство, верное старым идеалам, которым служило столько великих людей... Куда там!..»

Писатель Иван Ольбрахт дал своей книге, написанной им после его первого посещения СССР в 1920 году, сходное название: «Картины современной России». И уже тогда, в двадцатом, когда еще только закладывались основы нового, советского государства, переживавшего в ту пору невероятные трудности становления, отбивавшегося от интервентов, Иван Ольбрахт записал следующее: «РСФСР. Эти буквы надо запомнить, эти слова заучить, ибо они означают завтрашний день мира». Верность этих пророческих слов проверили на собственном опыте миллионы людей во всем мире, убедившись в том, какую роль играет Советский Союз с того двадцатого года и по сей день. Какую роль играет он не только для процветания своих народов, но и для мирной жизни, для сосуществования всех народов мира, при каком бы строе они ни жили.

Говоря о торговле книгами в дюамелевских сценах Америки, как же по меньшей мере не удивляться такой, например, рекламе журнала «Миррор»: «Пять больших захватывающих книг всего за доллар: «Великие выстрелы гангстера», «Крупнейшие во все времена побеги из тюрем», «Десять самых ужасных во все времена преступлений», «Как ловят на удочку детективы», «Загадочный маг»... При чтении этих книг у вас волосы встанут дыбом, задрожат колени, глаза вылезут из орбит и вскипит кровь Вы найдете в них кровавые подробности потрясающих, смелых, волнующих подвигов гангстеров, проиллюстрированные в самых жестоких деталях...» Неудивительно, что в Америке столько хлопот с преступностью среди молодежи.

В этой связи небезынтересна и такая заметка, которую я прочитал недавно в газетах: «В США вышла книга под названием «The Nothing Book» («Пустая книга») В ней отпечатан только титульный лист, остальные страницы чисты. Первый тираж в 25 000 экземпляров разошелся мгновенно, готовится второе издание». Тем самым подтвердилось подозрение американских критиков: большинство американцев покупает книги только для того, чтобы заполнить книжные полки, а в сами книги даже не заглядывают.

В Москве же, в проезде МХАТа, на одном из многочисленных книжных магазинов висел плакат, извещающий, что подписка на собрание сочинений Бальзака открыта до определенного срока. И мы видели очередь желающих подписаться на это издание, а в самом магазине — объявление о том, когда выйдут очередные тома собраний сочинений Толстого, Гёте, Шекспира и других классиков мировой литературы, чьи произведения печатаются гигантскими тиражами, какими никогда не выходил ни Бальзак во Франции, ни Шекспир в Англии, ни Гёте в Германии. На другой день мы выяснили, что 175 000 экземпляров, выделенных для книжных магазинов Москвы, разошлись в три дня.

Вот на такие «сцены будущего» приятно смотреть, и надо постараться, чтоб подобные им стали как можно скорее настоящим и в нашей стране.

Записывая с первого же дня свои впечатления об этой поездке, я с самого начала жирно подчеркнул имя А. С. Макаренко, поставив рядом слово «счастье». Сделал я это потому, что вспомнил его известную статью, опубликованную в «Известиях» к 20-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, переведенную тогда же у нас и достаточно часто цитированную. Я и сам не

раз приводил выдержки из этой статьи, так как мне казалось — и до сих пор кажется,— что в ней очень точно характеризуются чувства советских людей и весь комплекс их настроений.

«Ведь наше счастье уже в том,— писал Макаренко,— что мы не видим разжиревших пауков на наших улицах, не видим их чванства и жестокости, роскошных дворцов, экипажей и нарядов эксплуататоров, толпы прихлебателей, приказчиков и лакеев, всей этой отвратительной толпы паразитов второго сорта, не видим ограбленных, искалеченных злобой масс, не знаем беспросветных, безымянных биографий. Но счастье еще и в том, что и завтра мы не увидим их, счастье в просторах обезза[illegible]женных наших перспектив...

Мы научились быть счастливыми в знании, потому что знание перестало быть привилегией грабителей... Мы научились быть счастливыми в ощущении нашей страны, потому что теперь эта страна наша, а не нашего хозяина...

Законы нашего, советского счастья требуют пристального и глубокого изучения, но мы не беспокоимся по этому поводу, в отличие от всякого другого мира, наш закон общий, закон государственный есть, собственно говоря, закон о счастье».

На каждом шагу, с первого же дня, встречали мы советских людей, действительно проникнутых этими мыслями, этими чувствами. Здесь где-то источник их гордости, смысл и суть Великого Октября. Если прибавить к этому еще победу над фашизмом, героические дела миллионов советских людей в Великой Отечественной войне и непосредственно после нее, в период стремительного восстановления разоренных дотла областей,— мы сразу глубже вникнем в душу советского человека, лучше поймем его неугасимый патриотизм и гордость за свою, советскую родину.

После сказанного, естественно, не удивляешься, видя ежедневно длиннейшую очередь, медленно продвигающуюся по Красной площади к мавзолею Ленина, нескончаемый поток советских граждан, пришедших поклониться Ленину — создателю их государства, творцу их счастья.

В один из первых дней нашего пребывания в Москве и мы, делегаты чехословацких писателей, принесли венок к мавзолею. Длинная колонна людей остановилась ненадолго, и все те, кто, может быть, не один час шаг за шагом медленно приближались к заветной цели, охотно пропустили вперед нас, иностранных гостей. Я невольно заглянул в глаза деревенской женщины в черном шерстяном платке — бог весть из каких далей приехала она сюда; она смотрела на нас доброжелательно и в то же время с какой-то гордостью — гордостью за Ленина, за то, что Ленин — их, что они дали его всему миру, а следовательно, и нам, тоже вот пришедшим на поклон к нему. Все это легко мне было прочитать во взгляде женщины, верном зеркале ее простой души, гордой и доброй.

Мы приблизились ко входу в мавзолей. По обе стороны двери застыли неподвижные солдаты — почетный караул. Входим в мавзолей, в безмолвном волнении устремляем взоры на стеклянную крышку гроба, под которой такое знакомое, на сей раз подлинное лицо Ленина, освещенное мягким светом плафонов. Здесь покоится Ленин — человек, который привел в движение века, основатель первой страны социализма на земле, поднявший пролетариат всего мира, гений, продвинувший развитие человечества к солнечным далям правды и счастья. Образ его неизгладимо врезается в память — образ спокойно спящего человека, как бы хорошо знающего, что семена, брошенные им, упали на добрую почву. Еще, еще взгляд, хорошенько запомнить каждую мелочь, чтоб все осталось в памяти надолго... И осталось. Эта мраморная внутренность мавзолея на Красной площади, где под мягким светом плафонов покоится Ленин, глубоко впечаталась в памяти моей, как и вся атмосфера того октябрьского дня, когда мы, писатели Чехословакии, влились в ряды миллионов, воздающих дань уважения величайшему человеку нашего столетия...

Холодный, спокойный октябрьский день. Сквозь тонкие серые облака просвечивает косматое солнце, бросая луч на высокую стройную башню, колокольню Ивана Великого, и высоко над кремлевской стеной возносится ее золотой купол. Обойдя здание Манежа, мы проходим по Александровскому саду к входу в Кремль...

Здесь, за стенами его, почти не слышен шум огромного города. И нас разом охватывает особое, благоговейное чувство, усиливающееся с каждым нашим шагом по этому историческому холму. Все дышит здесь величием прошлого, славного и жестокого, великолепного и кровавого, богобоязненного и святотатственного. Дворцы стоят, но в них пишется уже новая история народов великой страны. В Большом дворце заседают Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР. Над былой роскошью русских царей, над жестокостью их шумят теперь только красивые темные ели, что выстроились перед дворцом,— сон, давно переставший сниться новым поколениям...

Перед зданием Арсенала лежат стволы орудий с монограммой «N» — память о нашествии Наполеона, который задумал тут, в Москве, воздвигнуть памятник

себе, да погорел со всем своим войском прежде, чем его солдаты успели свезти камни для пьедестала.Точно так же погорел и Гитлер, который уже объявил о своем торжественном въезде в Кремль и назначил на 7 ноября 1941 года парад своих войск на Красной площади.

Покидая Кремль, мы с новой силой поняли его значение для современной истории не только наших народов, но и всего мира, его роль в гигантской борьбе всех миролюбивых сил за длительный мир на земле, за мирное сосуществование народов, наконец-то без войн и нечеловеческих страданий. И тот спокойный октябрьский день был как бы символом тех усилий, какие прилагают ответственные деятели советской власти, чтобы достичь такого же мира и ясного неба на всем земном шаре. Труды их внушают нам надежду на будущее, более счастливое, чем прошлое: особенно чем наше прошлое, тех, кто постарше, кто пережил две мировые войны. Дай-то бог, чтоб уж ни нам, ни детям нашим не довелось пережить новую...

■

Четверг, 18 октября, хмурый, холодный осенний день. Дождя нет, нет и ветра, облака высоки, видимость хорошая. Перед гостиницей — три больших «ЗИСа»: мы отправляемся в экскурсию на целый день. Экскурсия не какая-нибудь — едем в Ясную Поляну. Сопровождающая нас Софья Александровна Шмераль и сын ее Ян ходят по нашим номерам, торопят: на дворе октябрь, дни коротки, так что если мы хотим что-нибудь увидеть... Маленькая информация: Софья Александровна — вдова известного чешского революционера Богумира Шмераля [1]. Все время, пока мы гостили в СССР, она окружала нас доброй материнской заботой.

После оживленной Москвы с ее шумными бульварами, высотными зданиями, с ее людским муравейником — как вольно сразу вздохнулось среди тихих, необозримых далей, на этой слегка всхолмленной равнине, от которой веет осенней грустью,— пейзажи, столь типичные для Руси, знакомые нам до сих пор только по картинам, по снимкам да еще, главное, по книгам. А вот она, Русь, как на ладони, любуйся — именно такая, какой ты ее представлял. Березовые, сосновые, дубовые перелески разбросаны по сторонам дороги, уходят куда-то к горизонту, теперь серовато-сиреневому. Туда же, за горизонт, тянутся бесконечные провода электропередач, чьи мачты высятся над садами и домиками деревень, глядящих окнами на дорогу.

Проехав Тулу и свернув с шоссе направо, мы увидели с холма широкий зеленый массив яснополянского парка. Немного озябшие, мы, уже пешком, вошли в музей, где нас встретил его директор. Итак, мы — здесь... Дрожим — немножко от нетерпения, немножко от озноба: вдруг резко похолодало. Директор тотчас повел нас в белый одноэтажный дом, где мы хорошо отогрелись в натопленной комнате, за славным русским чаем. Затем он поведал нам историю музея. Советская власть, сам Ленин позаботились о том, чтоб сохранить Ясную Поляну такой, какой она была при жизни Льва Николаевича. И в этом неизмененном виде усадьба содержится на государственный счет.

Потом мы пошли в парк, занимающий площадь в 400 гектаров, причем 170 из них собственноручно засадил Толстой. После его смерти Софья Андреевна старалась поддерживать Ясную Поляну как музей. До самой революции Софья Андреевна одна, напрягая все силы, удерживала усадьбу и наследие Толстого в том виде, как было при нем. Во время революции Ясную Поляну оберегали рабочие с Косой Горы, а когда власть взяли в руки Советы, то одним из первых декретов Ленина был декрет об охране Ясной Поляны как народного достояния.

И теперь еще все строения, вся обстановка и прочее остались прежними. Все мельчайшие предметы, напоминающие о Толстом, бережно хранятся, не разрешается даже переставлять мебель.

Мы углубились в парк. Облетают с кленов желтые листья, широкие, разлапые, жилки просвечивают на них.

— Янко,— говорю я Костре,— возьмем-ка на память несколько листочков...

Ян остановился, странно как-то посмотрел мне в глаза и покачал головой. Потом все-таки нагнулся, поднял листок, спрятал в записную книжку. Позже он написал одно из лучших своих стихотворений: «Кленовый лист из Ясной Поляны». Так же назвал он и целый сборник своих стихов, одну из самых драгоценных книг нашей поэзии.

И у меня дома лежат два яснополянских кленовых листка; когда я сел писать эти строки, вынул их из книги, положил перед собой — пусть освежат мою память, вдохновят меня. Как хорошо, что не затерялись они подобно многим другим вещам! Целы, возвращают мою память к Ясной Поляне, где родился, жил

[1] С. А. Шмераль — участница гражданской войны, член КПСС с 1920 г., член Союза писателей СССР. Умерла в 1971 г.

и творил Толстой, проведший в этой усадьбе шестьдесят лет из своих восьмидесяти двух.

Дом-музей Толстого — светлое двухэтажное здание. Тщательно вытираем ноги; восхищаемся резными перилами, каждой подробностью, столь нам дорогой. Но самый большой сюрприз, по крайней мере для меня, ждал нас в доме.

— Пан Плавка, как я рад видеть вас здесь! — обращается ко мне беловолосый старик, но бодрый еще, даже живой в движениях: последний секретарь Льва Николаевича, Валентин Булгаков.

Мы обнялись. Мы встречались с ним в последний раз ровно двадцать один год назад, в Лученце. Он приехал туда по моей просьбе — читать лекции о Толстом; было это в 1930 году. Булгаков жил тогда в эмиграции в Праге и хорошо освоил чешский язык. Позднее он вернулся в Ясную Поляну. Советское правительство пригласило его быть хранителем Яснополянского музея. Надо было видеть, с какой великой любовью прикасался Валентин Булгаков к каждому предмету, как увлеченно рассказывал...

Мы ходим по дому, внимательные ко всем мелочам, которые показывает нам Булгаков.

— Дом этот был одним из культурных центров в царской России,— замечает он.

Да, именно здесь были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и многое другое. В библиотеке Толстого, насчитывающей 22 тысячи книг, есть издания на словацком языке, присланные с автографом Светозаром Гурбаном Ваянским. Любопытно, где только не встречался я с нашим Ваянским, особенно в славянских странах!

В кабинете Толстого наше внимание привлек подарок яснополянского крестьянина — вырезанный из дерева чернильный прибор с надписью: «Что написано пером — не вырубишь топором». Да уж, никаким топором не вырубишь, коль слово написано, или, как говорят у нас: выпустишь слово — девятью парами волов обратно не затащишь.

Спускаемся по деревянной лестнице на нижний этаж, где большая веранда с простой плетеной мебелью, кухня, комнаты для гостей, буфет — и знаменитый рабочий кабинет Толстого «под сводами», который он облюбовал еще в 1862 году и в котором уединялся иногда для работы. Комната эта обставлена прямо-таки аскетически, у нее толстый сводчатый потолок; здесь же Толстой держал свои инструменты. Известно полотно Репина, созданное в 1891 году, «Л. Н. Толстой в кабинете под сводами», отлично передающее атмосферу этого уединенного, простого рабочего места великого писателя.

Двойные двери рядом ведут в «комнату Душана Маковицкого», тоже сохраненную в прежнем виде; и здесь находишь ту же аскетическую простоту: обыкновенная деревянная кровать, столик, стул, два простых шкафа, вешалка и шкафчик для лекарств.

Весь дом Толстого дышит этой простотой, в ней протекала вся его жизнь. Кончина его в 1910 году всколыхнула не один только русский народ, но и весь мир. Ленин тогда писал: «Умер Лев Толстой. Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции». И тут же добавляет: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».

Толстой похоронен в яснополянском парке, в конце его любимой аллеи, которую он сам посадил. Похоронен без церковных обрядов.

Тихой аллеей подходим к могиле — скромному холмику, без памятника; могила всегда обложена свежим дерном, и нет на ней никакой надписи, ни единого словечка — так пожелал сам Толстой. Здесь покоится художник из художников, гений слова, один из величайших, когда-либо порожденных человеческим родом.

В молчании склоняемся перед его могилой; задумались о великой и плодотворной жизни, столько давшей всему миру,— и на глаза наши навертываются слезы. Нет, не слезы печали — слезы робости перед огромностью этой жизни и этих трудов, слезы робости человека перед гигантом.

После ужина, устроенного в нашу честь, мы, уже в темноте, рассаживаемся по машинам. Снова прощаюсь со старым знакомцем, Валентином Булгаковым; обнимаемся с ним, и я чувствую, что, скорее всего, в последний раз.

Наши «ЗИСы» тронулись к главному шоссе, еще раз мощными фарами выхватив из темноты желтеющий яснополянский парк. В машине тихо — разговаривать никому не хочется. Только мотор гудит-мурлычет свою монотонную песню в ночи...

Кто бывал в Татрах, когда только что выпал снег, а небо над горами такое чистое, лазурное, тот, конечно, согласится со мной, что тогда пробуждается вдруг в душе какое-то особое, блаженное ощущение чистоты и простоты, словно разом улетучилось все злое, гнетущее, мучительное, развеялся клубок тяжелых мыслей, и стоит человек в целомудренной наготе, полный ожидания новых чувств и событий, которые может принести нам зимнее время.

Полные именно таких чувств, сошли мы с Яной сверкающим декабрьским днем с татранской электрички на станции Старый Смоковец, где собирались провести несколько дней зимнего отдыха. В сущности, это было наше свадебное путешествие, так как с самого начала октября, когда мы поженились, у нас еще не было возможности уехать куда-нибудь вдвоем. Я ведь совсем недавно вернулся из Советского Союза.

Погода нам благоприятствовала, в Гранд-отеле нас ожидал небольшой номер, так почему бы мне и не быть в хорошем расположении духа? На подъеме, тотчас за станцией, встал перед нами, привораживая взор, Славковский пик. Сверкая белизной, вонзился он в ясное голубое небо, гордый, даже грозный в своем величии. Яна старательно вышагивала рядом, снег скрипел под ногами, мы переглядывались с улыбкой, немного запыхавшиеся — спешили так, словно времени у нас в обрез.

— А чего это мы летим? — вдруг остановилась Яна посреди дороги.— Ведь за нами турок не гонится!

Она зажмурила глаза и глубоко перевела дух, как бы сбрасывая тяжелую ношу.

— Турок-то не гонится,— согласился я,— но, думается мне, когда человек счастлив, он двигается как-то проворнее, нет?

Мы заняли угловой номер в Гранд-отеле, теплый, приятный, с окнами на три стороны света — юг, восток и север. Я, конечно, первым долгом выглянул во все окна, выворачивая шею, чтоб увидеть побольше, и лишь после этого удобно развалился в кресле, с наслаждением пуская к потолку дым сигареты. Яна раскладывала наши вещи, бегала от шкафа к ванной, изредка отвечая мне — точно паровоз, время от времени выпускающий пар.

А я размышлял о гостиничных номерах, философствовал на тему о том, сколько вокруг них тайн и даже загадок, а вместе с тем и поэзии, исполненных и неисполненных желаний.

— Что ты там бормочешь? — подошла ко мне Яна, покончив с устройством.— Над чем философствуешь?

— Над гостиничными номерами: что за интересный мирок!

— Интересный или нет, а мы спускаемся! Поедим, а потом — айда на вольный божий мир! Не торчать же в комнате, когда на дворе так чудесно...

Я не двинулся. Сидел, глубоко уйдя в кресло, вытянув ноги, и любовался Яной, глаз не мог оторвать. Желтый свитер Яны так и светился, контрастируя с черными волосами, а главное — с темными глазами, и взгляд ее становился более проникающим, прямо-таки завораживающим. А вместе с тем взгляд ее был просто веселым, он так и играл. Даже женская зрелость словно ушла из него, осталась только детская — или девичья — игривость, настойчивое желание шутить, шалить... Право, передо мной стояла будто шестнадцатилетняя девчонка, беспечно весело щуря глаза, и звала меня на воздух, на природу, такую великолепную и влекущую, из которой она будто сама сюда явилась.

Я не выдержал, встал, обхватил ее за плечи обеими руками, глубоко-глубоко заглянул в темные глаза, в ту глубину, где можно было бы разглядеть источник того жаркого чувства, которое она дарила мне взглядом. Прижал ее к груди, крепко обнял, растрепал волосы, вдыхая их горьковатый аромат, тот, что лишает воли даже самых сильных мужчин.

— А теперь пошли, ладно? — сказала Яна и, высвободившись из моих объятий, поправила прическу.

Она быстро взяла со стола шапочку с кисточкой того же цвета, что и свитер, и потащила меня за руку к двери.

Пока мы обедали, солнце уже село за горы; теперь оно озаряло только снежные вершины. Снег на них окрасился в розоватый цвет, серые утесы — в голубой, а все, что лежало в тени, стало лиловым — краски наступающих сумерек. Мы вышли, пощипывал мороз, люди кутались в шарфы, и слышалась разноязычная речь — венгерская, немецкая, чешская... Одни возились с лыжами, другие бросались снежками — в общем, зимняя картинка, хоть на открытку.

Мы спустились на дорожку к шоссе и пошли, держась за руки, как дети; скользили по накатанному снегу, стряхивали густые снежные пласты с веток и радовались белоснежной пыли, что так ласково осыпала нас, веселя душу, вечно жаждущую таких вот мгновений невинного счастья: и оно слетало к нам с елей, чтоб мягко погладить нас белым своим крылом.

Не удивительно, что в таком расположении духа, переполненные счастьем, мы и после ужина не могли остаться в номере, хоть и очень уютном, а стремились найти такое местечко, которое бы больше отвечало нашему настроению. Такое местечко мы нашли в гостинице «Парк» в Новом Смоковце; там, в ресторане, играла цыганская музыка — единственное, что могло быть созвучным нашим чувствам. Тем более, там, оказывается, играл оркестр Матё Пигика, которого я хорошо знал еще по Банской Быстрице.

Посетителей в кафе было не так уж много. Матё Пигик улыбнулся нам, но я сделал ему знак, чтоб он к нам не подходил. Во-первых, было еще слишком рано для того, чтобы склонился над тобой скрипач, тихонько наигрывая твою любимую мелодию, а во-вторых, я хотел быть с Яной наедине. Пусть звучит скрипка Матё Пигика, только издали, сопровождая и беседу нашу, и молчание, и взгляды, которые, отбежав немного в сторону, снова возвращались друг к другу, подтверждая: мы счастливы. Вот и сейчас: вернулся ко мне взгляд Яны, довольный, веселый, чистый, полный ожидания.

— Твое здоровье, Яна.

— Твое здоровье, Андрей.

И вдруг Яна стала серьезной, будто чего-то испугалась.

— Что с тобой? — спросил я очень тихо, чтоб не спугнуть даже самую робкую мысль, причину ее внезапной серьезности.

— Так, ничего,— чуть усмехнувшись, отвечала она.— Просто иногда приходит на ум всякая чепуха...

«Вот как, просто чепуха, ничего серьезного»,— подумал я. Видно, так оно и было, потому что уже через минуту к Яне вернулось прекрасное настроение. Она даже не возражала, когда Матё Пигик протянул мне свою скрипку и я занял его место в оркестре. Под конец вечера за столиками оставалось всего несколько человек, да и те задержались только ради того, чтобы попеть песни. Они присоединились к нам, и мы пели наши любимые, а их было — несть числа...

Потом мы пошли в тихую звездную ночь.

...Фонари перед гостиницей бросали в окно слабый свет, но видно было и несколько звездочек. Я смотрел в небо, слегка ероша волосы Яны, тихо лежавшей рядом.

— Надолго ли оно, наше счастье? — спросил я, не отрывая взгляда от одной из звезд.

— Надо бы, чтоб до смерти, правда? — отозвалась Яна.

— Надо бы...— И я поцеловал ее в щеку.— Это зависит прежде всего от нас самих, но и от многого другого...

Долго стояла тишина после этих слов. Такая тишина, что мы слышали дыхание друг друга. Волшебная, чистая декабрьская ночь... Едва я начал думать о ней, в окне, с самого края, стал вырезываться рог месяца, выпутываясь из сплетения темных еловых ветвей. Я приподнял голову и увидел месяц целиком. Он сиял чистым светом. Вскоре он уже выплыл на середину окна.

Уж не знаю, что именно, быть может, чистое сияние месяца, привело мне на память один случай. Раз как-то первая моя жена смертельно оскорбилась, когда я, после какой-то ссоры, сказал — негромко, спокойно, чуть ли не грустно: «Вновь и вновь убеждаюсь, что мужчина может быть суровым и вульгарным, но сколько бы он ни ругался и бранился, хоть часами — не выльет он на твою голову столько яда, сколько злобная женщина в едином слове». «Да,— закончил я теперь эту мысль,— женщина многословна, но как раз в этом отношении у нее врожденный талант быть лаконичной».

Я рассказал об этом случае Яне; она промолчала, не ответила. И только после долгой паузы, когда и я молчал, она нерешительно спросила:

— Из-за этого вы и разошлись?

— Не только, но из-за этого тоже.

— А мы из-за этого не разойдемся, правда? — И она засмеялась.

— Надеюсь,— я опять поцеловал ее.— А теперь давай спать.

Я закрыл глаза, пытаясь заснуть. Но через некоторое время Яна заговорила снова:

— Андрей, ты веришь в бога?

— Нет, а уж тем паче после смерти Юло.

— Как странно. Ведь если б мой муж не умер — я бы не вышла за тебя...

Рог месяца уже коснулся верхней рамы; на недальней станции свистнула первая электричка...

И следующий день, и все остальные дни в Татрах были исполнены радости, довольства, любви, и все это сливалось с наслаждением прекрасной природой; красота ее глубоко волновала, вновь и вновь вызывая жажду ласк. Воздух Татр, свежий, благоуханный, чуть ли не дурманящий, вливал в нас небывалую силу, творил настоящие чудеса. На этом воздухе прямо на глазах приходишь в себя, если хлебнул через меру, скорее, чем где-либо в другом месте, силы возвращают-

к тебе, а уж всяких депрессий, уныния, тоски, убивающих душу, здесь и в помине не бывает. Мы в полной мере пользовались благодатным воздухом, и эти несколько дней в Татрах были самым прекрасным временем недолгого нашего брака. Едва мы вернулись в Братиславу, над нами стали собираться тучи, а там и молния ударила... Вот уж, право, как гром среди ясного неба.

Всякий раз, когда я раздумываю над причинами распада нашего с Яной союза, приходит мне на ум тот чужеземный хлыщ Дантес-Геккерен, убивший на дуэли Пушкина, который защищал честь своей жены. Нет, я вовсе не хочу сравнивать свой случай с трагедией Пушкина, однако всякий раз мне приходит мысль, что, живи я в пушкинские времена, я бы тоже вызвал на дуэль чужеземного хлыща, чтобы защитить честь жены. Но мой случай происходил на сто двадцать лет позже, решался он иным способом и, конечно же, в совершенно иных условиях.

Когда в садах на Партизанской улице начали распускаться первые почки, мы с сыном Иваном снова остались одни в нашей уютной квартире. С Яной мы разошлись.

■

В Нитру, у горы Зобор, я начал ездить осенью 1942 года; и почти десять лет спустя, весной 1952-го, снова стал являться туда через день. Мой знакомый, владелец винного погребка, Зи́ма, и его семейство снова приветливо встретили меня, как и другие знакомые, жившие повыше, у зоборской церквушки. Вся эта часть Нитры недаром носит название «Под золотым склоном». Она великолепна, она роскошна со своими виноградниками, персиками и абрикосами, среди которых тут и там разбросаны миндальные деревья, на цветы которых будто легонько дохнули розовым отсветом. Весь склон широкой горы Зобор, когда цветут абрикосы и персики, черешни и ранние сорта вишен, развертывается перед вами исполинским полотном великого художника, и к этому полотну ничего уже не прибавишь вдобавок ко всей этой оргии красок веет свежий весенний ветерок, словно то дышит сама отдохнувшая земля, просыпаясь от зимней спячки. Так вот она какая, моя словацкая Каносса, куда следует мне явиться со смирением — мне, потерпевшему поражение, но не разбитому; сокрушенному, но не потерявшему надежды. Моя Каносса прекрасна в своем бело-розовом весеннем убранстве, а что под этой внешностью — еще не знаю. Как-то все сойдет? Да, пожалуй, в том, что меня ждет, розовой краски будет поменьше...

Как я сказал, шел я не без надежды — Ланка успела подготовить родителей и даже сообщила мне, что у них нет возражений против ее нового брака со мной. Все это так, но... Где это слыхано, чтобы в доброй лютеранской семье дочь дважды выходила замуж за одного и того же мужчину? И что он за диво такое, этот мужчина? Каким я был «дивом», родители Ланки знали, конечно, хорошо, но как объяснить все это многочисленным родным и знакомым? Тесть директорствовал в школе, имел обширные знакомства не только в среде учителей, но и среди родителей своих учеников. Обе сестры Ланки тоже были учительницами, один брат преподавал в старших классах, второй заведовал сберегательной кассой и так далее, и так далее... Да, этаких «но» было более чем достаточно.

Но — да будет воля божья.— так или иначе, а придется мне оттерпеть свое. Когда я переступил порог дома и с маленькой веранды вошел в прихожую, то почувствовал себя словно на скользком льду. Право, я плохо помню, что говорил родителям Ланки. Знаю только — больше всего мне помогла теща, как всегда остроумная и сообразительная. Ланка, бедняжка, раза два пробежала через комнату, в которой мы сидели, какая-то всполошенная, нервничающая больше, чем десять лет назад, когда я сватался к ней в первый раз. Неудивительно — тогда-то все было ясно и естественно, а вот теперь... Эх, что говорить! Впрочем, конечно, все зависело только от нее самой, так и родители сказали. Если она действительно любит меня и хочет ко мне вернуться, то перед этим должно отступить все прочее, все условности, разговоры, сплетни...

И больше мы к этой теме не возвращались. Родители Ланки были люди тактичные и понимали, что мне это было бы неприятно.

Итак, Ланка выбралась из своей комнатушки в родительском доме и вернулась в Братиславу, в дом на Партизанской улице, чтобы вторично стать пани Плавковой Кстати, она даже не так уж пропахла табаком на нитранской табачной фабрике. Только похудела от забот — впрочем, близкие ей люди уверяли, что это от любви. С этой самой пани Плавковой, при заключении ее второго брака в Зеркальном зале братиславской ратуши, произошел случай, достойный упоминания. Представитель городского Национального комитета, проводивший церемонию, следуя правилу, возьми да и спроси новобрачную, какую выбирает она фамилию, свою или супруга. Но тут же он осекся и с улыбкой добавил:

— Впрочем, вопрос излишний, ведь за пана Плавку выходит пани Плавкова.

В пояснение скажу, что после развода Ланка сохранила мою фамилию.

Последующие месяцы этого года были для меня весьма плодотворны, особенно в творческой работе. Я готовил новую книгу стихов «Отчизна моя».

Центральную поэму я писал долго, несколько недель, причем меня часто отрывали, и всякий раз надо было сызнова вживаться в материал и связывать воедино прерванные нити мыслей. В Будмерицах я сблизился с Миланом Лайчаком, с которым был знаком еще с пятидесятого года. У меня в ту пору зрела идея стихотворения «Стерня», впоследствии включенного в сборник «Отчизна моя» с посвящением Милану Лайчаку — поэту намного моложе меня, человеку задорному и энергичному. Позднее кое-кто из моих сотоварищей-поэтов упрекал меня за это посвящение, не говоря о критиках, которые вообще не выносят никаких посвящений, поскольку им самим почти никогда ничего не посвящают. Но они не поняли моего замысла, не прочитали как следует это стихотворение, которое, без всяких иносказаний, выражает следующую мысль: да будет стих наш тяжелым, как зерно, не легковесным, как полова, которую может развеять слабый ветерок. В сущности это было моим ответом Милану Лайчаку, с которым мы много спорили о поэзии и об искусстве вообще, ответом на дискуссии, порой бесконечные, которые я считал в общем-то совершенно бесплодными. И мне захотелось просто ответить на них стихотворением. Тот, кому я его посвятил, так это и понял.

Идет зерно. Девчата песни нижут —
в историю они страницу впишут.
И со стерни я слышу тихий голос:
«Да будет стих блистать, как зрелый колос».

(Перевод Н. Бялосинской)

В июле 1952 года мой добрый приятель, лесничий, инженер-лесовод, знаток природы и ее хранитель, Рудольф Кришка, затащил меня с моими друзьями в очаровательный уголок Верхнегронья, носящий название Три Воды. Впоследствии я несколько лет подряд отправлялся летом туда отдохнуть телом и душой. В скромном домике государственного лесничества с милым названием «Павлинка» было всего два помещения: комната для ночлега с четырьмя двухэтажными нарами и кухня. Домик служил пристанищем главным образом охотникам.

Я был безгранично благодарен Рудольфу Кришке за то, что он открыл мне этот чудесный уголок верхнегронской природы, удаленной от шумного мира, еще чистой и нетронутой; здешняя природа сразу так меня очаровала, что я не мог удержаться и то ли на второй, то ли на третий день, захватив блокнот, спустился в ближайшую ложбинку, чтобы там, в совершенном уединении, написать первое, вступительное стихотворение для будущей книги.

ТРИ ВОДЫ

Город шумящий покинув,
далёко, далёко,
я — в непорочных долинах,
в диком краю ястребиных
полетов.

Город шумящий покинул,
усталый, усталый.
Лето меня тихокрылым
под синим своим балдахином
застало.

Горе несли эти дали —
познали отраду.
Здесь, где бои грохотали,
мы принимали медали
в награду.

Здесь Три Воды, слово в слово,
журчат воедино.
Учит любить меня снова,
будто совсем молодого,
долина.

заново каждому шагу,
шагам, словно взлетам.
Шли партизаны по логу —
кровью полили дорогу
и потом.

Вновь побратимов встречаю,
где шел я с боями.
Здесь я обмана не знаю,
к этой земле припадаю,
как к маме.

чтоб возвратиться на встречу
с собственной силой,
горе и противоречья
выдохнуть, словно под вечер
у милой.

К пастбищам с посохом верным
взойду высоко я —
слушать, как робко и нервно
кличут детеныши серну
в жажде покоя.

(Перевод Н. Бялосинской)

В жизни моей, да и в творчестве Три Воды значили гораздо, гораздо больше, чем просто место отдыха. Три Воды стали для меня опорной точкой, они придавали мне чувство уверенности в себе, от них, как от материнского молока, вливались в меня новые силы. Пятидесятые годы, как я уже говорил, были у нас не из легких, и вот я почти в течение десяти лет уезжал к Трем Водам в чаянии набраться сил, физических и духовных, для продолжения борьбы. Не только это: мне хотелось озарить, просветить той красотой и собственное творчество, чтоб на весь год хватило мне этого сияния. Там, у Трех Вод, — корни стихотворения «Отчизна моя», созданного в том же, 1952 году.

Три Воды — место, где встречаются три горных потока, три бурные речки: Гаморна, вытекающая из долины под названием Червена Яма, где когда-то были металлические мастерские, в которых во время Восстания изготовлялись мины, затем Простредна, протекающая чуть ниже «Павлинки», и Газдова, бегущая от подножия суровой горы Турников. За «Павлинкой» эти три речки сливаются, чтобы единым потоком пробежать по долине, через Осрблие и Гронец и, приняв в себя все горные ручьи, излиться в Грон, вечно жаждущий родниковых вод этого прекрасного края. В ту пору в Трех Водах владычествовал лесник Чупка — у меня дома хранится его подарок: прекрасно отделанные рога серны, быть может, такой же, какую я когда-то должен был подстрелить в Якубянском лесу. Лесник Чупка знал природу не хуже моего друга Рудо Кришки; он был нам советчиком и помощником, часто, обходя свой участок, заглядывал к нам в «Павлинку», и тогда завязывались у нас интереснейшие разговоры о природе и ее тайнах. Многому научился я у него — жаль, что потом его перевели на участок по ту сторону Грона. Сменившему его леснику далеко было до Чупки.

Жили мы в «Павлинке», близко к природе, вдали от цивилизации, городов — без электричества, радио и телевизора. Вставали и ложились с солнцем, разве что вечером посидим еще немного при огне, рассказывая разные истории, чаще веселые. Читали мало — днем некогда было, а вечером, при тусклом свете керосиновой лампы, не очень-то и почитаешь. Не беда — за весь остальной год достаточно наглядишься на печатные буквы, полезно и глазам отдохнуть. И полечить их невредно, что отлично удавалось, особенно при рыбной ловле.

Но самым изумительным были, пожалуй, рассветы и тот час, когда только начинает смеркаться, да еще, пожалуй, вечера у костра; когда ранним утром переливается в траве обильная роса, горит огнями, озаренная солнцем, восходящим над Доброчским лесом, из-за Заклюк,— только глянь на это сверкающее великолепие, и душа твоя так и вскрикнет от счастья! Раскинь руки навстречу солнцу да беги в эту траву, в эту росу — и разом расширится грудь, очистится дыханис, изгнав последние следы тяжелых дум и всяких протухших мыслишек. Просто чувствуешь, как ласкает тебя природа, словно добрая мать свое дитя, как лелеет она тебя, обняв широкими своими, благоуханными руками, полными цветов, чтоб не забыл человек: он все еще сын ее! И ласково кланяются тебе колокольчики и маргаритки, поповник, пахучий тмин, тимьян, смолевки, тысячелистник, козлобородик, покачивающий свои желтые звездочки выше прочих трав,— всё, всё приветствует тебя, увлажненное слезами радости, утренней росой, так расточительно блистающей на горных травах, бессчетно увеличивая их красоту.

Однажды таким вот утром пришли в этот райский уголок косари, человек десять, все ребята что надо. Смотрел я, смотрел, как точат они свои косы,— попробовать и мне, что ли? Пойдет ли еще дело-то? Сколько же лет не держал я косу в руках? Не выдержал, подошел к одному из парней:

— Ну-ка, приятель, дай ненадолго косу, не разучился ли я?

Тот глянул на меня довольно холодно, даже, пожалуй, презрительно, во всяком случае — недоверчиво: куда, мол, такому очкастому косить, еще косу испортит... Дал все-таки.

— Так ты уж и оселок давай,— протянул я руку.

Дал он мне и оселок; сунув его за пояс, я нагнулся, взял клок свежескошенной травы, обтер косу. Потом поточил ее оселком. Не забыл — получилось неплохо. Да и сама косьба, к моему собственному удивлению, пошла вовсе не дурно. Конечно, я не мог пройти весь ряд вровень с прочими, все-таки привычки уже не было, поясницу заломило и на ладонях пузыри вздулись. Тем не менее я снискал уважение косарей — поняли их поля ягода. А вечером я, просто так, для себя, написал такой стишок:

Косари, меня приметив,
спросят: Чей ты? Не иным
стал ли, тот ли я — ответит
оселок и мне, и им.

Руки мягче, воли — вдвое.
И коса моя поет.
Душу силой молодою
напоил ее полет.

(Перевод Н. Белосинской)

Год или два спустя заглянул к нам в Три Воды и Александр Матушка. Приехал он со своей женой Ольгой и с тестем Адольфом Данко, хорошим нашим другом. Матушке здесь понравилось: он ходил, все осматривал, хмыкал, однако лечь в траву никак не соглашался — слишком, мол, много там всякой пакости, муравьи, жуки, букашки, гусеницы да еще уховертки — как бы в ухо не заползли! Нет, лучше сядем-ка вот тут, на лавочку, к столу перед домом: природа и отсюда хороша, с безопасного местечка. Что ж, можно и так...

«Ну погоди же,— сказал я себе,— все равно я тебя расшевелю!»

Мне удалось уговорить Матушку прогуляться к старому, вековому лесу, где росли сорокаметровые ели. В такой лес входишь словно в величавый кафедральный собор: здесь вдруг начинаешь чувствовать себя жалким червем, беспомощным созданием, отданным на милость природы... И уже не удивляешься тому, что первобытный человек так легко выдумывал разные божества и приносил им жертвы, чтоб смилостивились они над ним, маломощным.

Матушка покачал головой, похмыкал — видно, все-таки проняло его,— и очень тихо проговорил:

— Да, вот это лес так лес!

Как я уже упомянул, Три Воды вдохновили меня на несколько произведений, в том числе на поэму «Три Воды»; отсюда же протянулись и тоненькие корешки-присоски многих других стихов, особенно о природе. Порой, когда я долго не могу уснуть, когда тревожат меня недобрые мысли, я всегда обращаю память к утренней, сверкающей от росы лужайке у Трех Вод, к солнцу, встающему или закатывающемуся за исполинские ели, и к дрозду, тихонько замыкающему день: спать пора, спать пора...

Вот почему поэму «Три Воды», посвященную десятой годовщине Восстания, я завершил приветом этому уголку Верхнегронья, образ которого унесу с собой — быть может, даже в могилу...

ЗДРАВИЦА

Лес шумит и незаметно
вновь смычком по струнам ветра
водит еле-еле,
и ручьи опять запели,
и в тени у старой ели
одни только звери.
Я на вырубках и выше
тихий шепот рощи слышу,
шепот материнский.
Словно мать, она мне шепчет
в час, когда наступит вечер,
когда темень близко.
И когда заря соткала
для округи покрывало
и покрыла кручи,
вниз с вершины сходят серны,
совы стонут глухо, мерно,
и нависли тучи.
А с утра разбудит рощу
соловей руладой мощной
и засвищут бойко
вслед за ним щегол и зяблик.
Жаворонок день восславит,
и — последней— сойка.
Снова твердь заголубеет,
лишь от тучи потемнеет,
от грозы, от ливней.
А на вырубках олени
вновь ведут свои сраженья —
кто в любви счастливей!
Вновь полна осина дрожью,
с девушкой береза схожа,
хоть седее снега.
Ель качается, но твердо
на ногах стоит и гордо
устремилась в небо.
Лес грустит и держит тихо
свой смычок на струнах вихря,
меряет столетья.
Лес — любовь, защита наша,
нет у нас надежней стражи,
все мы — леса дети.

(Перевод Б. Слуцкого)

Последующие месяцы и годы были заполнены главным образом работой в «Татране», в 1953 году преобразованном в Словацкое издательство художественной литературы. Тогда реорганизовалась вся система наших издательств, учреж-

дено было главное управление ими и каждому издательству был придан свой профиль. Возникла центральная организация книготорговли — «Словенска книга», на которую возложили заботу о распространении книг, осуществлявшемся до тех пор каждым издательством в отдельности. Этим, однако, не все еще проблемы были разрешены, нередко возникали трудности экономического порядка, от которых у руководителей издательств частенько болела голова.

Пятидесятые годы не были легкими и в отношении самой издательской политики. Не раз приходилось нам биться за какую-нибудь книгу только потому, что кто-то из ответственных товарищей, утверждавших планы изданий, понятия не имел об авторе и о самом произведении. Нередко болела у меня голова и по милости ложно понятой кадровой политики, и требовалось много терпения, даже упорства для того, чтоб отстоять на первый взгляд совершенно ясные и верные критерии. Немало было случаев, когда догматическая и сектантская позиция приносила большой вред, который потом нелегко было устранить. В такие времена от директора подобного предприятия требовались крепкие нервы, ну и, конечно, прежде всего настоящая любовь к книгам, которые мы хотели пустить в широкие читательские массы.

Но со временем работа наладилась, опыта стало больше, молодые работники освоили дело, меньше стало забот начального периода. Рад признаться, что на работу я ходил с удовольствием, любил свое дело и людей, с которыми соприкасался, будь то мои ближайшие помощники или работники типографий, бумажных фабрик, книготорговли, книжных магазинов, во главе которых стояли порой замечательные энтузиасты, как, например, давно сотрудничавший с нами Йозеф Гайко. Я любил бывать в типографиях, знакомиться с новой полиграфической техникой, в Мартине ли, в Кошицах и на других предприятиях в Ружомбероке, Липтовском Микулаше, Банской Быстрице и других, где только печатали наши книги.

Мы установили очень тесный контакт с братским предприятием в Праге — Государственным издательством художественной литературы и искусства. Директором пражского «Худлита», как мы коротко называли это издательство, был тогда Йозеф Калаш, главным редактором — Ян Ржезач. Сотрудничество наше было весьма плодотворным и полезным для обеих национальных литератур. Позднее Калаша сменил Франтишек Нечасек, бывший личный секретарь товарища Готвальда.

Упомянув имя Готвальда, не могу обойти молчанием печальный день 14 марта 1953 года — день его внезапной кончины, потрясшей всю нашу страну. И мы, словацкие писатели, собрались в Братиславе на траурный митинг, читали свои стихи, в которых звучали не только боль и печаль, но и решимость следовать по пути, проложенному коммунистической партией и первым рабочим президентом — Клементом Готвальдом.

Милан Лайчак, тогдашний председатель Словацкой секции Союза чехословацких писателей, сказал в своей траурной речи:

«С именем Клемента Готвальда для нас навсегда соединилась новая эпоха в истории наших народов, эпоха свободной жизни, творческого, благородного труда. Ушел от нас человек необычайной энергии, стального характера, который отдал все, что имел,— свой разум и силы служению рабочему классу... Он учил нас любви к лучшим традициям нашей литературы, указывая на патриотизм писателей, помогавших народу, понимавших его чаяния, работавших и боровшихся за народ. Кампания по пропаганде трудов Ирасека и Гвездослава, проведенная по инициативе товарища Готвальда, была важным этапом борьбы за социалистическую литературу. Он учил нас новым отношениям между интеллигенцией и народом, прояснив для нас роль культуры в строительстве социализма...»

Я был в составе делегации словацких писателей на похоронах товарища Готвальда, которые состоялись 19 марта в Праге. Доступ к телу был открыт круглые сутки, и все-таки не было конца толпам тех, кто пришел проститься с Готвальдом.

...Я смотрел на его мертвое лицо и вспоминал... Видел его таким, как тогда, у костра в будмерицком парке, и то, как он потом слушал песни оравских детишек, и как его торопили к поезду, а ему так не хотелось уезжать от нас...

И смотрел я на моравских женщин в черных платочках — преклонив колени у катафалка, они, утирая слезы, неудержимо катившиеся по их старческим лицам, молились за того, кого искренне любили, за родного своего, за земляка. Никого не коробила молитва этих старых женщин из каких-нибудь Дедиц или Вышкова — слезы их были так же искренни, как и слезы пионеров, прощавшихся с президентом уже по новому обычаю.

В торжественной траурной тишине, нарушаемой лишь шорохом венков да приглушенным всхлипом или кашлем, задумался я об истории, прошумевшей над Пражским Градом — чешские короли Пржемысловичи, Иржик Подебрадский, Габсбурги, падение Австро-Венгерской монархии, образование Первой буржуазной республики с президентами Масариком и Бенешем... Припомнились мне годы учебы на юридическом факультете Пражского университета, лекции по истории права в Чехии, которые читал профессор Капрас (впоследствии, во

время оккупации, министр просвещения), вспомнилось, что и как мы учили по этому предмету. Поистине интересен ход нашей истории, особенно когда уже знаешь, как в феврале 1948 года трудящийся люд окончательно взял власть в свои руки, чтобы стать хозяином своей судьбы. И вот один из самых замечательных организаторов этой победы лежит теперь мертвый на том самом месте, где эта победа решалась. Но лежит он как победитель, и те, кто бесконечным потоком идут и идут к его гробу, несут свою благодарность и уважение человеку, который привел к завершению многовековую борьбу трудящегося народа за свои права, за правду. Разные формы принимала в ходе столетий эта борьба, и вот — в наш век принесла плоды. Здесь, у гроба президента Готвальда, окинув взглядом нашу историю, я, быть может, впервые в полной мере постиг смысл и значение революционного свершения в переломный 1948 год,— ровно столетие спустя после того, как народы Европы поднялись против угнетателей, когда слово «свобода» стало самым желанным и начало разбивать вековые оковы униженных и порабощенных.

Спустя несколько недель я уехал в одно из красивейших мест на Ораве — в Зазриву, где еще в прошлом году писал одну из своих книг. Стояло жаркое лето, редкое для сравнительно холодной Оравы. Мой приятель Йожко Клепач и его жена Мария предоставили мне с Ланкой комнатку в своей новенькой рубленой избушке; тут я и отстукивал на пишущей машинке очерки о Советском Союзе, которые еще в конце того же года вышли в «Татране» под названием «В стране счастливых людей». Ланка завешивала окна нашей комнатки мокрыми простынями, чтоб хоть немного освежить душный воздух. Я обещал сдать рукопись к первому сентября, нельзя было откладывать работу.

Но у меня была тогда и другая цель. В конце апреля около Устья на реке Ораве заканчивалось строительство мощной Оравской плотины, и я хотел побывать там. Поэт Рудольф Фабри уже уехал туда и поселился прямо в Доме культуры. А я каждый день ходил туда из Зазривой. Начальник строительства, мой знакомый и земляк Петер Дзурошко, встретил меня улыбкой и словами:

— Видно, и впрямь хороши наши дела, коли уж и поэты прискакали!

— Не одни поэты,— возразил я.— Прозаики тоже явились. Кое-кто уже пишет очерки, например Владимир Минач.

Я спросил, не видел ли он Фабри.

— А, коренастый такой товарищ, скорый на язык?

— Он самый. Такой и в вашем муравейнике не затеряется!

— Еще бы, все мы его хорошо знаем, ой, знаем мы товарища Фабри! Он, поди, где-нибудь около нашего бетонщика Загора.

Действительно, я нашел Фабри в Доме культуры вместе с Загором, у которого кончилась смена, и оба теперь отдыхали за чаркой вина. Я присоединился к ним. Пили мы за то, чтобы воды новых времен поскорей затопили старый мир. Мне было весело, эта стройка социализма радовала меня: тогда я еще не подозревал, что пройдет два-три года, и мне станет немножко грустно по милости другой такой же стройки — новая плотина в родном моем Липтове должна была затопить деревню, в которой я родился. Но тогда я еще ничего не знал о Липтовской Маре.

Каждый день следили мы, как поднимается вода за бетонной стеной, вбирая в себя бурные струи Белой и Черной Оравы, воды речушек под широкой Бабьей горой, Полгорой и около того лесного дома, который воспел Гвездослав в своей поэме «Жена лесника». Мы без конца удивлялись, что кое-кто из крестьян Устья наперекор всему еще распахивал свои полоски, обреченные на затопление. То ли не верили технике, то ли так любили свою землю, что просто не могли не обрабатывать ее каждую весну, что бы там ни творилось вокруг. А может, и то, и другое вместе — во всяком случае, они не слушали никаких уговоров.

На торжественный пуск плотины, состоявшийся Первого мая, явились члены правительства, многочисленные гости со всей республики и из зарубежных стран, а также толпы любопытствующих ораванцев. Некоторых из нас начальник строительства пригласил осмотреть весь комплекс электростанции, в том числе очень интересные сейсмографические приборы, вмонтированные непосредственно в бетонную стену и способные отмечать малейшие, незаметные для человека, колебания почвы. Глубоко под землей была сделана сеть скважин, укреплявших землю цементом. Поистине умная, хорошо продуманная система безопасности. Мы только восхищенно качали головой, прохаживаясь по чистеньким катакомбам, еще пахнувшим свежим бетоном,— при виде наземных частей плотины об их существовании и не догадаешься.

Вернувшись в тот вечер в Зазриву, я никак не мог успокоиться. Все вставали передо мной образы старой Оравы, куда я мальчиком приезжал с отцом на ярмарки и праздники — в Хлебницы, Зуберец или Малатиную. Тамошние крестьяне еще носили тогда самодельные постолы, и электричества не было. Ночевали мы там с отцом, бросив на глинобитный пол охапку соломы. Много мыслей теснилось в тот вечер у меня в голове — и вот взял я свой блокнот и стал

их записывать; они легли затем в основу стихотворения «Орава». Поскольку оно сравнительно мало известно, приведу отрывок из него:

От гнева песни выткались клоками,
от горя были долгими, как даль.
В свирепой пляске боль росла веками,
а правды ждали лишь за облаками,
и красоту лишь свет луны видал.
Еще мальцом на жизненном пороге
я этой болью дух свой бередил —
оравских гор я исходил отроги,
по деревушкам хорхотской дороги —
по арестантке-красоте бродил.
Твои сыны, Оравушка, из дома
за сине море уплывали прочь.
В котомках корка, в постолах солома.
К чужим краям, надеждою влекома,
гнала их бедность, чтоб родным помочь.
Но кулаком о стол, бывало, барам
они же грохнут. Больше невтерпеж
свой подневольный труд почти что даром
веками к панским приносить амбарам.
И в шарабан веков вонзали нож.
И робкий ветер задышал резвее,
сдувая нищеты и вонь, и прах.
Ах, не одни уже вы стали верить,
что кривду можно навсегда развеять
и уничтожить все, чье имя — страх.
Помчалась весть, журча живым потоком.
Привет вам шлет задумчивая высь.
И Хоч глядит, и Рогач сизым оком:
что за дела пошли по их отрогам,
какие чудеса там начались.
Забота изумленно и тревожно
владеет квочкой Бабьею горой —
века живет, но вспомнить невозможно
такой поры, чтоб у ее подножья
вздыхал по берегам морской прибой.
Чтоб чистые, огромной силы струи
снесли больной нанос былых веков,
и пели электрические струны,
и гнали тьму, сияние даруя
глазам весенних светлых берегов.
Чтоб осветить измученные лица,
снять светом копоть с обветшалых стен,
чтоб каждый дом и угол стал светлицей
и двери и сердца смогли открыться
навстречу дням великих перемен.

(Перевод Н. Бялосинской)

■

В 1954 году мы готовились отпраздновать десятую годовщину Словацкого национального восстания, и в моем блокноте накопилось немало набросков разных замыслов; наброски эти подстегивали меня, торопили где-нибудь в уединении заняться серьезной работой. Давно уже гвоздем засела у меня в голове мысль написать лирико-эпическую поэму, которая перебивалась бы обработанными народными песнями-балладами,— в общем, задумал я нечто вроде гвездославовской «Жены лесника» на нашем современном материале. Я все время чувствовал себя в большом долгу перед Восстанием. Частые посещения Трех Вод освежили мои воспоминания, и явилась у меня мысль показать, с одной стороны, собственные переживания, но главное — незабываемые подвиги партизан, действовавших под Вепором. Эту эпопею я решил назвать именем Трех Вод, над которыми высятся легендарная Кичера и другие вершины, расположенные между Поляной и Черным Балогом. Я так полюбил этот край, что память о нем вдохновляла меня все время, пока я писал эти две тысячи пятьсот строк, воспевая природу тех мест и героические дела бойцов Восстания — от главного героя поэмы Яна Дубравца до его тринадцатилетнего сына Юрко, ставшего жертвой фашистов.

«Три Воды» вышли к десятой годовщине Восстания — летом 1954 года. Отзывы были вполне благоприятны, но сам я позднее находил в поэме много недостатков и очень жалел, что подольше не поломал себе головы, когда заканчивал поэму и правил корректуру.

Хорошо помню, как долгими неделями просиживал я за полночь, восстанавливая в воображении атмосферу Восстания, и как трудно было мне каждый раз вырываться из этого состояния, когда приходила пора гасить свет и ложиться. И никогда не забуду, до чего помогала мне воссоздавать эту атмосферу наша народная армия — именно в это время в районе Будмериц проходили маневры. Автоматные очереди, каждый день оглашавшие окрестности Дома писателей, переносили меня в обстановку Восстания — даже не надо было закрывать глаза. Кое-кому из моих коллег мешала трескотня выстрелов, они ворчали, жаловались, а я молчал, радуясь в душе такому совпадению и желая, чтоб маневры продлились подольше. Когда же из недальних лесов на Малых Карпатах, где проходили артиллерийские учения, время от времени долетал до нас орудий-

ный гул — тут уж прямо казалось, будто мирные Будмерицы превратились в повстанческий район специально для того, чтобы мне лучше писалось.

Главные торжества по случаю десятой годовщины Восстания состоялись уже не в Банской Быстрице, а в Братиславе. Но весь тот год мы жили под знаком гнетущего чувства: в ходе политических процессов были несправедливо обвинены и некоторые главные инициаторы Восстания — Густав Гусак, Карол Шмидке, Лацо Новомеский... Трудно было поверить неслыханным обвинениям. Многие только головой качали, тая подозрение — а нет ли тут страшной ошибки, которую потом долго придется исправлять? Как выяснилось позднее, так оно и было.

Но говоря об этом периоде, нельзя не упомянуть о некоторых событиях, запечатлевшихся у меня в памяти и имевших большое значение в нашей культурно-политической жизни. Именно весной 1954 года образовался Союз словацких писателей, существовавший до сих пор в форме то Общества словацких литераторов, то Словацкой секции Союза чехословацких писателей. Пятого-шестого апреля того года в Праге работала общереспубликанская конференция Союза чехословацких писателей, на которой очень подробно обсуждались вопросы идеологической и организационной работы и принят был новый устав, определивший, что отныне Словацкая секция преобразуется в самостоятельный Союз словацких писателей. В конференции принимали участие и два видных советских гостя — Борис Полевой и Степан Щипачев. Я рад был увидеться с ними после трехлетнего перерыва. Они тоже хорошо помнили нашу поездку в Советский Союз, встречи в Москве, наши откровенные, задушевные разговоры, затягивавшиеся до поздней ночи.

Первую конференцию чехословацких писателей приветствовал в личном послании президент республики Антонин Запотоцкий.

В доме на Национальном проспекте в Праге, где помещается Союз чехословацких писателей, царило большое оживление, особенно на втором этаже, в клубе, где за чашкой кофе или бокалом вина завязывались более тесные контакты между словацкими и чешскими писателями, личные связи, дружеские отношения, которым суждено было потом длиться годами. Тогда еще появлялись в клубе Мария Майерова, Мария Пуйманова, Витезслав Незвал, Карел Конрад, Вацлав Ржезач, Карел Новый, Франтишек Бранислав и многие другие чешские прозаики и поэты. Два-три раза приходил к нам даже президент республики Антонин Запотоцкий. Сам писатель, он был членом Союза, а как государственный деятель живо интересовался работой его, контактами писателей с широкими массами трудящихся, новыми произведениями и вообще всем, что связано с развитием нашей культуры. Антонин Запотоцкий был человеком чрезвычайно непосредственным и прямым, глубоко человечным, он сразу завоевывал симпатию и доверие собеседника. При всем том он никогда не поступался своей принципиальностью, умел обосновать и отстоять ее в любом споре.

В конце апреля в Доме творчества чешских писателей в Добржише, под Прагой, собрался пленум центрального правления Союза чехословацких писателей, и там было избрано новое руководство как этого Союза, так и Союза словацких писателей. Председателем первого стал Ян Дрда. Вновь избранный председатель Союза словацких писателей Франтишек Гечко сделал обзор положения писателей в Словакии, перспектив развития словацкой литературы, а под конец сообщил состав нового правления Союза словацких писателей, в числе двадцати членов которого были и представители национальных меньшинств.

Подводя итоги первой республиканской конференции, Ян Дрда констатировал, что она «зафиксировала идейное единство чешских и словацких писателей, способствовала их личному сближению и показала, что они одинаково понимают основные задачи нашей литературы».

Конечно, то были всего лишь конференции, обсуждения, заседания, дискуссии — теперь нужны были и дела, новые творения. А поскольку год-то был юбилейный — десятилетие Словацкого национального восстания,— то хотя бы нам, словакам, следовало выйти с чем-нибудь новым. Это и случилось осенью, в рамках празднования годовщины СНВ: тогда в Праге состоялись три представительных вечера словацкой поэзии, на которых читались стихи — от поэтов-штуровцев до современных. Все три вечера имели исключительный успех, причем не только благодаря самим стихам, но и выдающемуся их исполнению. Академик Зденек Неедлы тогда воскликнул: «На сей раз словаки завоевали Прагу!» Действительно, они завоевали ее в самом прекрасном смысле слова, какой только можно себе представить.

В перерыве мы разговорились с ним и словацкими писательницами Ганой Грегоровой и Зузкой Згуришкой (обе жили в Праге), с искренней радостью принимая их сердечные поздравления. Больше всех поздравляли нашего председателя Франтишека Гечко, а он ответил Зденеку Неедлы примерно так:

— Пожалуй, и я снова вернусь к поэзии!

Все знали, что Гечко вступил в литературу как поэт, а уж после перешел к прозе. Известна и его большая статья «От стихов к романам».

Зденек Неедлы снял пенсне, вытер глаза и с улыбкой подхватил:

— Пожалуй, вы, словаки, и в прозе как-то более поэтичны, все еще своеобычны, не заражены мнимой всемирностью. Не отдавайте, берегите это свойство — только такой путь ведет ко все более крупным успехам и на родине, и за рубежом.

Мария Пуйманова, восхищенная и взволнованная первым вечером словацкой классической поэзии, выступая по пражскому радио, сказала: «У меня такое чувство, будто поэзия эта просто благоухает, источает сладостный аромат, будто есть в ней что-то от цветов, от весеннего воздуха — слушать ее наслаждение... Спасибо словацким поэтам-классикам и ныне живущим, артистам, вдохнувшим жизнь в их творения, заново сумевшим выразить понятия и мысли, с какими те, умершие, обращаются к нашему времени...»

Да, в ту пору мы интенсивнее прежнего возвращались к непреходящим ценностям классического наследия, но многие из нас упорно продолжали поиски нового, новых форм и нового содержания и бились над преодолением многих препятствий, преграждавших нам путь к подлинно социалистическому искусству. Не все, что написано нами в те годы, хорошо· немало произведений носит печать схематизма, и заложено в них, пожалуй, больше нашего желания, воли, мечты, чем художественной правды. Но ведь такое течение захватило тогда не только область художественного творчества — всю нашу жизнь. Мы будто с самим воздухом вдыхали эти флюиды, они были везде — в нас и вне нас, они сами стекали с пера вместе с чернилами. Легко было тем, кто стоял в сторонке простым зрителем — то злорадствующим, то, в лучшем случае, сожалеющим. Однако и на эти годы нельзя смотреть нигилистически: и тогда ведь возникали крупные и мелкие произведения, которые останутся в сокровищнице нашей литературы. Пусть всего два-три стихотворения, две-три книги — но огромная фреска нашей литературы, исполинская мозаика была бы неполна без этих камешков.

Итак, при обновленном почитании классики налицо было сильное тяготение к новому творчеству, к изображению новой жизни, новых людей, вырастающих и формирующихся уже совсем в иных условиях, чем были те, о каких я писал, вспоминая годы юности моей и моих сверстников. Я и теперь не хочу быть только учетчиком событий, «протоколистом», который просто записывает даты и людей, промелькнувших в его жизни,— я всегда хотел и хочу, даже на склоне лет, участвовать в формировании, созидании жизни, хочу, чтоб дано мне было радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтоб и на моей совести и осталось что-нибудь — заслуга или вина: заслуга — за чувства радости и счастья, вина — за слезы, за которые я готов нести ответ и страдать, ибо ведь страдание — тоже неизбежный удел человека. Не только законы биологии предопределили, чтоб подлинные человеческие ценности рождались от великой радости и великого страдания: часы творческого счастья художника, вероятно, тоже частица этого сложного, правда, и все же такого необходимого сочетания, или созвездия земных галактик, из которых образуются наши микрокосмы. Эти часы неотделимы от нашего порой воображаемого, но часто все же подлинного счастья, нередко помогающего пройти над пропастью или трясиной. Но хватит философии! Просто я хотел как-то объяснить поэтическую подпочву, на которой вырос сборник моих стихов «Слава жизни», написанных именно в те годы. К сожалению, критика наша не разглядела эту подпочву, а потому и не сумела дать надлежащую оценку именно тем стихам, в которых я видел свидетельство времени. В сборнике «Слава жизни», с одной стороны, я отдаю дань почитания великому моему учителю, гиганту словацкой поэзии (в стихотворении «Гвездославу»), с другой стороны, в стихотворениях «Будни», «Слава жизни», «Орава», «Сыну, уезжающему учиться в СССР» и других воздаю должное нашей действительности.

Упомянув стихотворение «Сыну...», я позволю себе небольшое отступление. Сын мой Иван, при всей шаловливости, свойственной мальчишкам, в отличие от меня учился хорошо, выделяясь в точных науках, особенно в математике. Вероятно, он унаследовал эту способность от матери или от деда — мой отец отлично умел считать, иначе ему, простому ремесленнику, не выдержать было бы свирепой конкуренции, существовавшей в то время. По окончании школы Ивану предложили поехать учиться в Советский Союз, в Московский энергетический институт, который он впоследствии успешно закончил.

Отправиться на учебу было делом не простым, пришлось Ивану побегать за разнообразными характеристиками и утверждениями, да и для родителей, при всей их радости, это означало немало хлопот и забот. Отъезд сына превратился чуть ли не в торжественную церемонию. Наконец, одним сентябрьским днем мы с добрым моим другом Янко Пацановским повезли Ивана на вокзал. И стояли мы на перроне, обрушивая на бедного Ивана кучу мудрых назиданий и советов — которые он вряд ли способен был запомнить,— до той минуты, когда поезд тронулся, пошел — и вот уже не видно стало руки сына, махавшего нам на прощанье. Я несколько расчувствовался, мой друг Пацановский тоже — он любил

Ивана как родного. И мы, в размягченных чувствах, отправились с вокзала отнюдь не по домам — мы ощущали потребность посидеть, потолковать о таком событии. Заглянули к нашим общим знакомым. Угостившись у них славным винцом, зашли в кафе выпить по чашечке кофе; потом я проводил приятеля до его дома — а это было очень далеко — и согласился зайти еще к нему, да и остался ночевать. Разговорам нашим об учебе Ивана не было конца-края, мы продолжали их еще на другой день, перебирая все его будущее, которое нам, естественно, виделось необычайно розовым. Со страстью толковали мы и о политике, о роли Советского Союза на мировой арене, и его борьбы за мир и никак не могли добраться до какого-нибудь вывода, которым можно было бы заключить нашу столь широко разветвившуюся дискуссию — даже и на третий день.

Так случилось, хотите верьте, хотите нет, что Иван-то уже приехал в Москву, а я еще не вернулся домой с его проводов. Он же, как и обещал, тотчас позвонил домой о благополучном прибытии, но я-то с ним поговорить не мог, дома была одна Ланка. Знакомые потом долго насмехались надо мной, твердя, что я остроумнейшим образом на практике подтвердил Эйнштейнову теорию относительности, даже с учетом незначительной двухчасовой разницы между московским и среднеевропейским временем.

СЫНУ, УЕЗЖАЮЩЕМУ УЧИТЬСЯ В СССР

Много, много лет тому назад
выходил я в жизнь, как путник пеший...
Вижу молодость свою в твоих глазах,
сын мой, в одночасье повзрослевший.
Сколько пред тобой дорог,
сынок!

Девятнадцать лет — надежды цвет,
словно роза утром, мир распахнут,
мир благоухает в девятнадцать лет,
а мои цветы уже не пахнут.
Для всего приходит срок,
сынок.

Не о том грущу, что мир таков,
что отец дает дорогу сыну,
а о том грущу, что множество цветов
погубил я, затоптал в трясину,
и о том, чего не смог,
сынок...

Я затем все это говорил,
приурочив к твоему уходу,
чтоб ошибок ты моих не повторил,
чтобы лучше послужил народу.
Будь с собою строг,
сынок.

Не забудь о страшных днях войны.
До тех пор, пока грохочут войны,
до тех пор, пока уходят в бой сыны,
разве могут быть отцы спокойны?
Палец на курок,
сынок!

Ничего прекрасней жизни нет.
Едешь в светоносную страну ты.
Не теряй, мой сын, из этих светлых лет
ни единой солнечной минуты.
Запасай их впрок,
сынок.

Едешь ты в страну, чей свет сильней
маяков, горящих над морями.
Дерево своей весны взрасти ты в ней,
мужество ее впитай корнями.
Пред тобой — мечты твоей порог,
сынок!

(Перевод Г. Плисецкого)

Поскольку я заговорил о том, что в 1954 году словацкая поэзия имела такой успех в столице республики, то, в завершение этой темы, должен упомянуть еще об одном важном событии. Оно произошло в Словакии, в оравском городе Дольни-Кубин, где в одну из суббот ноября открылся музей Гвездослава — единственное в своем роде культурное учреждение. Помимо сотрудников Института литературы Словацкой академии наук в этом торжестве приняла участие и делегация словацких писателей, в которую имел честь входить и я. Так случилось, что после годичного перерыва я снова попал на Ораву, куда любил ездить с самого детства.

Музей Гвездослава разместился на втором этаже здания библиотеки имени Чапловича, что на Кубинской площади, прямо напротив дома, в котором Гвездослав жил и умер. Работники Словацкой академии наук с помощью своих коллег из Института памятников чешской словесности собрали множество редких

и ценных экспонатов — от детских рукописей Гвездослава, от первых поэтических опытов и уже прославленных творений вплоть до памятных, личных его вещей. Люди, растроганные, останавливаются перед письменным столиком с принадлежностями для письма, перед одеждой — характерной пелериной и галстуком в горошек, перед знаменитой тростью поэта — я сам имел счастье видеть эту трость в его живых руках, это было на Кубинской площади в 1919 году... Посетители испытывают глубокое чувство благодарности к работникам Словацкой академии наук, сумевших собрать эти драгоценные предметы, оставшиеся после великана нашей литературы; здесь их будут бережно хранить, словно это семейные реликвии всего словацкого народа.

А на площади разносится с трибуны голос Яна Костры, он воздает дань почтения памяти Гвездослава от имени словацких писателей, которые словами последнего поклялись в верности народу, идеалам гуманизма и человечности, пронизывающим все творчество великого поэта. Холодная оравская осень — а Войтех Мигалик более четверти часа читает наизусть стихи Гвездослава «Свободу всем народам мира!». Оравский ветер обдувает обнаженную голову Мигалика, треплет его волосы, и пафос, с каким он читает гвездославовские строки, глубоко трогает сердца сотен слушателей, сошедшихся из ближних и дальних мест, чтобы здесь, в Кубине, почтить память великого земляка. Этот праздник был одним из тех, что не проходят впустую, это было подлинное торжество в честь гения, какие не часто рождаются.

А вечером большой зал Дома просвещения не мог вместить всех желающих, многие стояли в коридорах, многие заговаривали с нами, писателями, молодые люди просили автографы.

Свои стихи читали Милан Лайчак, Войтех Мигалик и Юлиус Ленко; я тоже прочитал свое, недавно написанное, стихотворение, посвященное Гвездославу, в котором использовал его ритмы, намеренно подчеркивая связь с великим учителем.

Это празднество положило начало традиции «Гвездославовского Кубина», фестивалей поэзии — главным образом в исполнении молодых чтецов. Традиция эта насчитывает уже несколько лет и приносит большую пользу как самим исполнителям, так и делу пропаганды поэтического слова среди широких народных масс.

Наш молодой литературовед и критик, Станислав Шматлак, заглянув в рукопись моего стихотворения, обращенного к Гвездославу, покачал головой, еще раз прочитал и, подумав, проговорил.

— И великий же ты выдумщик, Андрей! Как точно тронул гвездославовскую струну... Вот что называется настоящей преемственностью!

Все улыбнулись, улыбнулся и наш гость Иржи Грубеш из пражского Института памятников чешской словесности, который вместе с нами ночевал в Кубине; и мы заговорили о литературе, о литературных музеях да еще о делах литературоведческого «цеха». Карол Розенбаум все не выпускал из рук текст моего стихотворения, две средние строфы которого ему особенно понравились:

В таком же духе, в том же стиле,
словам, созвучным вашей лире,
и нынче дарит жизнь поэт
в краю, что сбросил бремя бед,
где голос правды грянул песней,
всей красотою поднебесной
забрезжил радостный рассвет.

Довольно. Не хотят поэты
писать кровавые сонеты,
будить детей грозой войны.
Стихами вооружены,
покуда мы живем на свете,
да будут все слова не смерти —
всему, что — жизнь, посвящены.

(Перевод Н. Белоцинской)

■

Следующие годы. 1955-й и 1956-й, были заполнены разными конференциями и съездами словацких и чешских писателей. Ознакомившись с итогами II съезда советских писателей, прошедшего в декабре 1954 года в Москве, мы с чувством большой ответственности готовились к своему второму съезду.

В течение всего года у нас и в Чехии проходило множество встреч писателей с трудящимися, мы ездили на заводы, в учебные заведения, в сельскохозяйственные кооперативы, которым тогда еще приходилось бороться с разными трудностями начального периода. Не раз доводилось нам слышать критические слова — и заслуженные нами, и несправедливые,— но многим из нас было полезно узнать мнение о писательском труде. Любое сближение может произойти, только если обе стороны хорошенько узнают друг друга. И вот мы взялись за этот долгий труд. писатель стал являться к своему читателю уже не только

книгой своей, но и лично. Многолетняя практика подтвердила впоследствии всю пользу этого как для самой литературы, так и для общества.

В июне 1955 года в Праге, а в сентябре — в Братиславе проходили республиканские конференции, посвященные состоянию нашей поэзии. В конце же года, под самое рождество, в Словакии прошла конференция по прозе; основной докладчик Александр Матушка с удивительно точных классовых позиций раскрыл связи между состоянием нашей прозы и историческими процессами.

Благодаря этим конференциям можно и 1955 год счесть довольно плодотворным для словацких писателей — что-то сеяли, что-то жали, не просто молотили пустую солому.

Но в том же году наша литература понесла две большие утраты: 6 января мы прощались с Франё Кралем, а полтора месяца спустя, 21 февраля,— со Штефаном Крчмери. Над гробом его Александр Матушка сказал:

«Трагична судьба Штефана Крчмери: он отдалился от нас еще двадцать лет назад, когда оборвалась нить его сознания, и он, разбитый недугом, проживал дни свои и годы вне жизни живых. Сегодня мы прощаемся с ним навек, утратив и ту искорку надежды на его выздоровление, которая тлела в нас хотя бы первое время. Конец писанию, творчеству — отжил человек, отстрадал. В лице Штефана Крчмери мы прощаемся с крупной фигурой нашей словесности, нашей культуры — с фигурой крупной, ибо, хотя из шестидесяти двух отпущенных ему лет только пятнадцать было отмерено на творчество, он и за этот недолгий срок успел охватить жизнь Словакии во всем многообразии, проникнуть в глубочайшие глубины ее, проследить ее высочайшие устремления».

Я тоже произнес прощальное слово над могилой моего учителя. Помню, как трудно было говорить и мне, и Матушке, какая дрожь била нас обоих. Мы всегда относились к Штефану Крчмери с сыновним почтением, восхищались его всесторонней эрудицией, его истинной, деятельной любовью к родине, безграничной любовью к литературе и искусству вообще, но превыше всего поражало нас беспримерное умение Крчмери помогать молодым писателям, в которых он подмечал хоть искру таланта и старания. Ушел от нас большой человек, один из тех, которыми может гордиться наш народ, личность в высшей степени благородная, человек редкостного обаяния и невероятного трудолюбия, доходящего до самопожертвования. Я лично до смерти буду благодарен Штефану Крчмери за то, как он понял меня и как помогал мне при первых моих шагах в литературе, за его ласковые письма, которые долгие годы служили мне не только живой памятью о нем, но и указывали путь в нелегких поисках слова и стиха; эти письма осветили и обогатили мою жизнь светом подлинного искусства. Мне кажется, что после Крчмери, пожалуй, один лишь Лацо Новомеский может представлять нас перед народом своим высоким благородством и величайшим нравственным авторитетом. Какое счастье для нас, что в Новомеском сочетается проницательное понимание революционных, исторических перемен с искристым поэтическим видением мира, что он облекает в поэтическое слово предчувствия, чаяния, малейшие движения самых широких народных масс!

II съезд чехословацких писателей открылся в Праге, в здании парламента, в конце апреля 1956 года, собрав очень многих чешских и словацких писателей, а также иностранных гостей, среди которых были, например, Борис Полевой, Назым Хикмет, Роже Вайян, Андре Вюрмсер и другие. О важном значении съезда свидетельствует то, что послание ЦК КПЧ прочитал сам президент республики Антонин Запотоцкий.

Съезд проходил в период серьезной переоценки философских, эстетических и нравственных ценностей, вскоре после XX съезда КПСС, разоблачившего вредоносность культа личности. Чешские и словацкие писатели готовились к своему съезду серьезно. Смелые, откровенные дискуссии, касающиеся недостатков в нашей жизни и литературе, сделали предсъездовский период и сам съезд важным событием в писательской и идеологической работе, за которым с глубоким вниманием следило все наше общество. Ожидалось, что писатели на своем съезде скажут веское слово о причинах и следствиях многих недостатков в нашей жизни и их отражения в литературе. Только таким путем можно было достичь большей правдивости и более сильного воздействия новых произведений.

В послании ЦК КПЧ II съезду чехословацких писателей говорилось:

«...Наша коммунистическая партия не будет прописывать рецепты писателям для их литературной работы. Мы всегда были против регламентации литературы, против связывания ее творческих сил. Мы исходим из того, что писатель должен быть совершенно свободен и сам выдвигать перед собой художественные задачи. Партия, конечно, видит и будет видеть свою политическую цель в том, чтобы открыто и честно привлекать на свою сторону всех писателей во имя дела социализма и коммунизма».

Многие выступления на съезде отразили социальную обстановку в нашей стране того времени, для которой характерно было своего рода оттаивание; и вместе с тем начиналось наступление на догматизм, а в художественном творчестве — главным образом на схематизм. Конечно, порой кое-кто ударялся и в другую крайность, доходил до того, что подвергал сомнению начатый путь к со-

циалистическому реализму, а то и прямо поддавался нигилистическим настроениям, которые позже, особенно в шестидесятые годы, стали тучной почвой для оппортунистических и прямо антисоциалистических тенденций. Все это, как известно, причинило впоследствии много вреда не только культуре, но и всему нашему обществу.

Съезд принял резолюцию, в которой провозглашалось, что «смысл жизни и творчества чешских и словацких писателей состоит в том, чтобы способствовать развитию справедливого социалистического строя, и они готовы применить все свои способности, силы и опыт для создания художественных произведений, достойных нашей великой эпохи».

Итак, чтобы выполнить это наше съездовское обязательство, надо было и мне заняться творческим трудом. В то же лето отправился я бродить по красивейшим уголкам Словакии — после столь долгого сидения в прокуренных помещениях мне страстно захотелось подышать озоном. И с самого начала этих моих скитаний у меня начали складываться стихи, которые я записывал по вечерам.

В июле я прожил некоторое время на речке Чертовице, куда всегда любил приезжать и где писал свои рассказы. Мы подружились с прекрасными людьми — заведующим туристской базой Йожо Стракотом и его женой. Я несколько раз поднимался на Дюмбьер, конечно, это было почти двадцать лет назад; теперь, когда я приближаюсь к семидесяти годам, я бы уже не решился на такой маршрут. Но я с детства много ходил по горам, и теперь мне не следует тосковать по таким прогулкам, а на менее трудные восхождения я с радостью готов и сейчас.

Часто бывая на Чертовице, я полюбил этот чарующий уголок и написал о нем стихотворение, потом его вывели на стене турбазы, и, кажется, его можно там видеть до сих пор.

ЧЕРТОВИЦА

Два ветра — с Верхнегронья
и с Липтова друг друга
целуют. Ель воронью
гнут с севера и с юга.
Там свадьба у чертовки.
Плясуньи — мастерицы.
Сам черт колдует ловко.
Кружится Чертовица.
То щеку ледяную
она подставит югу:
«Давай-ка поцелую,
согрей свою подругу!»
И тут же глянет косо
и к северу отпрянет:
«Держи меня за косу,
а то на юг утянет!»
Так кружится и вьется,
лукавит озорница —
обоим не дается
плутовка Чертовица.

А за Ярабой ветер —
ее поклонник третий.

Когда же Лайштрах старый
туман в Ровенки пустит,
развеются все чары
тончайшей дымкой грусти.
Не пляшут ветер с ветром.
Лишь тетерев токует.
В тиши перед рассветом
зовет зарю, тоскует.
Светлейший час прозрачный.
Сменилась трелью пляска.
О, чудо песни брачной —
она, и он, и ласка.

Поют дрозды. От Боца
сейчас заря займется.

(Перевод Н. Бялосинской)

А в начале августа мы с сыном Иваном отправились на Пиенины, в Красный монастырь. Сын приехал из Советского Союза на летние каникулы, и я хотел доставить ему удовольствие.

Пиенины, с бурным, зелено-голубым Дунайцем, с детства привлекали меня. Сюда наезжали еще мои дедушка с бабушкой, а позднее и вся наша семья — дядья, двоюродные братья и сестры, и, конечно же, когда мы с братьями гостили в Старой Любовне, они, к нашей неиссякаемой радости, брали с собой и нас. Уже сама поездка в колясках или бричках — через Гнездное, Каменку и Большой Липник, мимо пещеры Аксамитки до самой Смерджонки, где в ту пору был еще курорт,— была для нас настоящим приключением.

Красный монастырь и его окрестности имеют давнюю, интересную историю. Церковь святого Антония Пустынника и картезианский монастырь возник-

ли еще в начале XIV века. Монахи, давшие обет молчания, столетиями безмолвно ходили по берегу шумного Дунайца, возводили взоры к задумчивой горе Три Короны, к небесам, моля о милости божией, о спасении души. Вероятно, уже в те времена перед монастырем высадили липы, чтобы укрепить высокий берег бурной реки. Липы эти разросшимися, могучими кронами своими еще и сегодня нашептывают нам легенды и были о давних временах, повествуют о жестоких делах, молчаливыми свидетелями которых были не только монахи, но и они сами. И действительно, возраст этих лип определяют почти в пятьсот лет. О, они-то могли бы многое порассказать, если б не были скованы обетом безмолвия, как те картезианские монахи. Но тот, кого природа наделила редким даром понимать шелест липовых листьев, поймет, несомненно, и шепот самой истории в кронах этих пятисотлетних ветеранов.

А история медленным, размеренным шагом шествовала — от готики, высоко взметнувшей в мольбе свои шпили, к расточительному барокко, заставившему даже святого Антония Пустынника смотреть на мир его глазами. Но на пороге просвещенного века, в самом начале XVIII столетия, в трехкелейных домиках монастыря берутся орденские братья за новую благородную работу — за перевод Священного писания на тот язык, каким говорил простой верующий люд — на словацкий. Бывший безмолвный монастырь картезианцев становится обителью просвещенных иноков, которые вместе со своими коллегами в Нитре составили даже разговорник и словарь словацкого языка и завершили первый полный перевод Библии на словацкий язык.

Поскольку речь у нас зашла о монахах и о церкви Антония Пустынника, не лишне будет рассказать и о современном, реальном отшельнике, жившем еще в годы моей молодости в пещере на горе Три Короны; гора эта вздымается за Дунайцем на польской стороне. Имя хитроумного отшельника я уже, к сожалению, позабыл за столько лет, но образ жизни его достоин упоминания. Сей пустынножитель проводил в пещерах на Трех Коронах три летних месяца, а при хорошей погоде и больше. Благочестиво восседал он перед своей пещерой, благословляя паломников, которые ходили к нему толпами, причем носили ему еду, а то и паленку: шел слух, будто он питался только тем, что ему приносили. В пещере был у него большой ларь, в котором он будто бы спал. На скале он повесил образ девы Марии Ченстоховской, перед которым всегда горели свечи. Если шел дождь, пустынник приглашал богомольцев поважнее в пещеру, прочие уходили, только самые набожные оставались, выпрашивая еще одно благословеньице «святого». Принесенные дары отправлялись за занавес, где была устроена превосходная кладовка. Там висели окорока и добрые польские колбасы, а в ямах хранились бутылки с зубровкой, водкой, даже с чистым спиртом. И за этим занавесом скрывалась от взоров посетителей удобная постель с мягкими матрасами: ларь служил только для обмана доверчивых паломников. Когда отшельник ложился в этот ларь и, закатив глаза, вытягивался и цепенел, со своей длинной, до пупа, бородой,— паломники приходили прямо в священный экстаз. Особенно если он начинал бормотать молитвы, шевеля своими жирными, чувственными губами, почти закрытыми густыми волосами. Вот это, я понимаю, отшельник! А люди стекались к нему из ближних и дальних мест, носили и носили — чтоб самим унести отсюда душевный покой и согревающее сознание хорошо исполненного благочестивого долга. А носили они не одну только снедь: дарили они святому и денежки, в набожном своем легковерии как бы загипнотизированные этим служителем божьим, принимая его советы и пожелания за веления самого господа бога.

Все, что наш пустынник накопит, бывало, за три месяца, он потом спускает в остальные месяцы года в Кракове — сладко ест, пьет по краковским кабакам, а к началу лета возвращается к неиссякаемому источнику щедрости — и глупости — людской, которые он столь мастерски эксплуатировал несколько лет подряд. Дело лопнуло, когда кто-то из благоверных паломников узнал его в одном из краковских кабаков, в обществе непотребных девиц...

Мы с Иваном походили в то лето по окрестным горам, наелись малины, заглянули в приграничную, полную своеобразия, деревню Лесницу, послушали речь спишских гуралов, которая заметно отличается от диалекта жителей Старой Любовни. Сплавали раза два на плотах по Дунайцу до самой польской границы, до того места, где река покидает нашу территорию.

То лето вообще было щедрым — солнце припекало еще и в сентябре, когда мы с Ланкой отправились в северную Ораву, в Оравицы, чтоб насладиться красотами природы, которые всегда манили меня, какие бы срочные дела меня ни ожидали. Я всегда умел так организовать и распределить работу, чтобы хоть два-три раза в год покидать город, на короткий или на долгий срок, отдохнуть, набраться сил, почерпнуть в этом неиссякаемом источнике вдохновение для своего писательского труда. Без гор и леса жизнь всегда казалась мне пустой, я прибегал к ним, как к родной матери, и всякий раз находил у них не только прибежище, отпущение грехов, своего рода катарсис, но и решимость бороться с жизненными трудностями, невзгодами, несправедливостью, обидами и всякого рода неприятностями, которых, увы, всегда хватало.

Первые дни на Ораве шли бесконечные дожди,— а там, как зарядит дождь в сентябре, так уж и залезай в хату да грейся у печки. В такое время в северной Ораве очень холодно, но мы выдержали, и за это природа щедро вознаградила нас. Целую неделю после дождей стояли голубые дни, очень редкие в том краю в такое время года.

Как не упомянуть о речке Быстрой с ее хрустально-чистой водой... Ах, эта речка Быстрая, чистая, журчавшая нам древние саги о сотворении мира, стала тогда нашим раем, а мы — Адамом и Евой, только не изгнанными из рая, а призванными в него, чтобы раз и навсегда убедиться: был он всегда и теперь еще есть на земле. Мы нашли наш рай там, где горы стерегут его тишину, охраняют тропки к нему, и звериные тропы, и родники, извивающиеся в мягком мху, чтобы, сбежав глубоко в долины, куда уже и глаз не хватает, утолить жажду земли. А на склонах, где человек вырубил качающиеся ели, оставив открытым купол горы, вырос из желтоватого корня лазурный цветок горечавки, чтоб утишить людские боли. Пройди тихонько мимо него — голубые колокольцы его зазвенят нежно-нежно, а ты слушай их звон, слушай шепот горы, как верный, родной ее сын.

Подружились мы там с пастухами, попили жинчицы [1], поели свежего, ароматного творога и знаменитого оравского овечьего сыра, да и сами малость прокоптились: я хотел доказать пастухам, что мы не боимся дыма, не щиплет он нам глаза, как бы долго ни сидели мы в хижине. А пастухи любят таких, сразу замечают — не вовсе еще забарствовались люди в городе. Совсем уже рядом с польской границей я хотел купить у одного бачи [2], типичного гурала, валашку — топорик на длинной, красиво инкрустированной рукоятке. Но бача не соглашался продать ее даже за самые безбожные деньги, и еще в местной корчме назло мне щеголял ею, скалил зубы, пил, подкручивая усы, но даже под хмельком все равно не смягчился. А сам так и вертел свою валашку, она сверкала у нас перед глазами, но расстаться с ней ни за что не желал. Так и вернулся я с Оравы без валашки.

Зато я привез несколько корней горечавки, сам буквально выгреб их руками из земли на широкой вырубке, где она росла в изобилии — высокая, пышная, в рост человека. Радостно смотреть на ее ярко-голубые соцветия, на высокие, прочные стебли, вырастающие из желтоватого корня, который с незапамятных времен ищут люди ради его целебной силы. Цветок этот вдохновил меня на стихотворение, которое я записал там же, в Оравицах, и включил в свой новый сборник «Стланик». Сборник вышел в начале 1958 года и являет собой как бы плод моих скитаний в прекрасных наших горах.

Мы с Ланкой возвращались с Оравы как из счастливого свадебного путешествия.

■

Следующий, 1957 год принес два знаменательных для меня события: в начале июня я стал первым секретарем Союза словацких писателей, а в ноябре мне исполнилось пятьдесят лет. Что касается моей новой должности, то отправлять столь ответственную функцию в не очень-то спокойное время было, право, нелегко. Достаточно напомнить о вспышке контрреволюции в Венгрии, которая не осталась без отклика и в нашей стране. Как известно, в этой контрреволюции значительную роль сыграли венгерские писатели. В связи с этим да будет мне разрешено упомянуть, что я, совершенно случайно, присутствовал на пресловутом собрании венгерских писателей в будапештской ратуше 6 сентября 1956 года. Тогда мы, несколько сотрудников «Татрана», находились в Венгрии в служебной командировке, и я как-то встретил на улице писателя Петера Вереша: он шел на это собрание и уговорил меня пойти с ним. И я не пожалел. По крайней мере я стал свидетелем бурных дебатов, можно сказать — борьбы вокруг социалистической литературы. Я чуть ли не рот раскрыл, услыхав, как некоторые писатели, хорошо знакомые мне еще по первой моей поездке в Венгрию, требовали «либерализации» литературы и ополчались на социалистический реализм. Не забуду и того, как страстно, горячо отстаивал социалистический реализм Дарваш. Тогда, в будапештской ратуше, меня охватило недоброе предчувствие чего-то страшного, что и началось месяцем позже. Но в тот день я еще и подозревать не мог, что многие венгерские писатели перейдут от академического теоретизирования к активным контрреволюционным действиям. К сожалению, они это сделали.

Так что отнюдь не тихая, ясная погода ожидала меня в тот светлый июньский день, когда я взял на себя обязанности первого секретаря нашего Союза.

О том, насколько нелегким было положение первого секретаря Союза словацких писателей, свидетельствует и тот факт, что 26 июня того же года на общем собрании чешских и словацких писателей в Праге выступил президент республи-

[1] Сыворотка из овечьего молока.
[2] Старший пастух.

ки Антонин Запотоцкий с резкой критикой позиции некоторых наших коллег по отношению к культурной политике коммунистической партии и более того — идейных колебаний и влияния руководства Союза чехословацких писателей. К сожалению, из руководства нашим Союзом не нашлось никого, кто выступил бы после речи товарища Запотоцкого, хотя бы с объяснением кое-каких открытых вопросов и подробнее охарактеризовал бы ситуацию в Союзе словацких писателей, особенно ту, что сложилась после изменений в составе правления. Пришлось это сделать мне самому, новоиспеченному первому секретарю, и чувствовал я себя при этом как человек, не умеющий плавать, которого бросили в бушующие волны моря. Право, очень скверно было у меня на душе, но я не забуду ту сердечную непосредственность, то глубокое человеческое понимание, с каким потом разговаривал с нами, словаками, товарищ Запотоцкий. Многие из нас признали, что, хотя он был не совсем точно информирован о нас, все же критика его была в принципе правильной и своевременной.

Для меня встреча с Запотоцким имела большое значение, я навсегда запечатлел в памяти его советы и придерживался их не только в делах, но вообще в жизни. Проблемы творчества всегда надо решать чрезвычайно деликатно, и так же надо подходить к людям, особо ранимым в своем творческом вдохновении, но, с другой стороны, коль скоро мы решили идти по пути социалистического искусства, то не имеем права отступать от его принципов, от его правды и от стремления внести свою, художническую, лепту в дело преобразования мира.

Мне предстояли месяцы и годы нелегкого труда; были люди, помогавшие мне,— кто больше, кто меньше,— но были и такие, которые не только не помогали, а напротив, мешали. Некоторые даже угрожали мне. Трусливые грозили анонимно. «Что ж, коли вышел ты на бой, то и воюй»,— думал я. Я старался привлечь, сплотить всех наших писателей, принимая при этом во внимание все разнообразие их характеров и творческих манер, их личные пристрастия; выполнить такую задачу не всегда удается, тем более в такой сложной среде, как писательская. Я стал плохо спать, по ночам нередко заносил в блокнот уже не замыслы стихотворений, как прежде, а заметки о срочных делах: что да как организовать, кого да как успокоить, кому да чем помочь.

И все же я любил свою работу, хоть и знал, что одна только организация еще не может побудить писателей создавать выдающиеся произведения; тем не менее Союз должен быть хорошо, надежно функционирующей организационной базой, создающей условия для общественной деятельности писателей и в своей стране, и в международных контактах; Союз должен быть той организацией, которая заботится о росте молодого поколения писателей, об их социальном положении и о множестве других дел. Идейную линию, соответствующую генеральной линии коммунистической партии, руководство Союза проводило на заседаниях своих выборных органов, то есть секретариата и правления, но отстаивало эту линию и на других собраниях, на разного рода активах, конференциях и так далее. У Союза был свой печатный орган — еженедельник «Культурни живот», руководимый редакционным советом. Не всегда взгляды редсовета «Культурни живот» совпадали со взглядами руководства Союза (хотя это и был его печатный орган), более того, в шестидесятые годы расхождения обострились, превратившись в прямые противоречия.

Да, сухой, горький хлеб приходилось мне порой жевать в нашем прокуренном полуподвальном клубе, где мы еще так недавно посиживали с другом моим, писателем Людо Ондрейовым, беспечно распевая песенки Верхнегронья, когда все уже, бывало, разойдутся и останется только один слушатель — Вил Герингеш, тогдашний заведующий клубом. Но что поделаешь, обязанность есть обязанность. В писательском клубе все чаще и чаще происходили собрания, диспуты, иной раз мы просиживали в этом задымленном насквозь, к тому же очень плохо проветриваемом помещении целыми днями, что было довольно-таки вредно для здоровья,— но мы, в полемическом запале, не обращали на это внимания.

Коли уж зашла речь о нашем клубе, надо сказать, что в те годы он был настоящим центром общественной жизни писателей, хотя и располагал всего двумя отнюдь не подходящими для этой цели помещениями. Порой он больше смахивал на пастушью хижину с чадным очагом, но другого не было — мы и привыкли. Серьезные споры, доходившие иной раз до крайностей, кончались то примирением за бокалом вина, то вспышкой гнева, сильным сердцебиением.

Когда я жил на улице Защитников Мира, недалеко от Союза словацких писателей и клуба, мы частенько продолжали беседы у меня дома: естественно, в ночные часы и к малой радости моей супруги. Хуже было, что друзья иногда не стеснялись стучаться к нам ночью даже без меня. И не раз, когда в нашем клубе отмечали какое-нибудь событие, мы с Ланкой так и замирали в страхе — не постигнет ли нас, в нашей квартире, продолжение гулянки. Кстати, это было одной из причин того, что мы постарались переехать подальше отсюда, в более безопасное и спокойное место Братиславы.

Я писал уже, как много советов давал нам, писателям, товарищ Запотоцкий, как критиковал он нас, как приходил к нам, всегда с теплым человеческим чувст-

вом и откровенностью, как умел он нас и отчитать, и ободрить — и то, и другое мы всегда принимали с глубокой признательностью и пониманием. Увы, не успели мы воплотить в жизнь его добрые советы, как его не стало. Скончался он 13 ноября того года на горе всем честным гражданам нашей страны, оплакивавшим неустрашимого борца за права рабочего люда, подлинного революционера и строителя нового, более справедливого мира, человека с особым даром непосредственности и откровенности, который хорошо видел путь к счастью своей родины. Еще не отзвучали в нашей памяти слова, сказанные им на недавней встрече с писателями, слова человека, органически заинтересованного в писательском труде, понимающего весомость этого труда, его общественное значение и направленность; еще видели мы внутренним взором его лицо, его проницательный взгляд, его жесты, подчеркивающие смысл его бичующих слов, и ласковую улыбку, появившуюся у него, когда он заметил, что мы его поняли и готовы отрешиться от ошибок и ступить на правильный путь...

Я был членом словацкой делегации на похоронах Антонина Запотоцкого. Все мы испытывали искреннее горе; всего четыре года назад мы хоронили сравнительно молодого еще товарища Готвальда, и нас теперь не покидала гнетущая мысль: какое преследует нас несчастье — теряем капитанов, которые в нашем дальнем плавании лучше всех знали и мели, и коварные течения, знали, где проложить надежный курс нашему кораблю...

Такая горестная для нас кончина товарища Запотоцкого тем сильнее поразила меня, что я в эти дни готовился отметить свое пятидесятилетие. И, вернувшись из Праги, попал в атмосферу юбилея: последовали дни, когда со всех сторон сыпались на меня поздравления, рукопожатия, умильные взгляды, ласковые слова и формальности — все, как бывает в подобных случаях.

Много поздравлений получил я тогда из провинции, не только из Липтова, Верхнегронья и Оравы, но со всех концов родины, и это тронуло меня больше всего. Впервые в жизни почувствовал я себя по-настоящему писателем, я счастлив был ощутить первое, самое сладостное дуновение ветерка, донесшего отзвуки моих песен: значит, пел я не впустую! А это самое ценное для поэта. И именно где-то здесь — корни моего большого стихотворения «Признание», которое я включил в сборник под тем же названием.

Приняв из рук уполномоченного по делам просвещения и культуры, Эрнеста Сикоры, почетное звание «Заслуженный художник», я тотчас, вместе с моими ближайшими помощниками, взялся за подготовку общего собрания словацких писателей, которое и состоялось месяцем позже, 19 декабря. Основной доклад я должен был написать сам и, как обычно, уехал для этой цели в Будмерицы. Писал я на сей раз не художественное произведение, но все же страстно желал, чтоб доклад вышел не сухим. Получился он, естественно, довольно пространным, но, вспоминая его, я, право, вижу, что стыдиться мне за него нечего. А так как начало его мне просто нравится, то, пожалуй, нелишне будет включить его и в мои мемуары:

«Ровно сто десять лет минуло с тех пор, как словацкие литераторы и общественные деятели съехались в Новое Место на Ваге на четвертое общее собрание «Татрина», чтоб окончательно признать среднесловацкое наречие литературным языком. В городе, однако, не оказалось «подходящего и достаточного помещения и пришлось позаботиться о другом, лучшем». Решили перебраться в Чахтицы, где и состоялось это четвертое «сидение» «Татрина», программа которого и широчайшее участие представителей всех направлений национального движения превратили его в общесловацкий съезд. Участники сплавились в Чахтице по Вагу на плоту, шутя, что на одном этом плоту уместилась вся культурная Словакия!

Сколько прогремело гроз, сколько пролито слез, пота и крови за эти сто десять лет не только нашим, но и всеми народами мира во имя свободы, счастья и прогресса! И вот ныне уже не только вся культурная Словакия, но даже и один культурный Липтов не уместится на плоту, чтобы отправиться в Новое Место или в любое другое манифестировать свою любовь к родной речи, к своему народу, к своей культуре...

В страстных речах Штура в венгерском сейме, в мятежных песнях Само Халупки и Янко Краля, в сердечной преданности Андрея Сладковича «люду дурнопрекрасному»,— наконец, в гнездославовских «Кровавых сонетах» трепетала, билась и гремела тяжелая доля народа, гулко отдаваясь в слове великанов его, столь же могучих, как и кулаки простого люда, ограбленного, задавленного, эксплуатируемого господами любых названий. Но всегда было так, как сказал Янко Краль в примечании к своим стихам, ставшим народной песней: «Несолон хлебушко, что заработал? Ничего, слезами горькими посолишь...» Семьдесят тяжких лет прошло от майского собрания в Микулаше до первомайского митинга словацких рабочих в том же Микулаше в 1918 г. Этот митинг вместе с тем достойно отметил и 70-летие коммунистического манифеста, который после победы Великой Октябрьской социалистической революции в России пробудил сознание пролетариев — и они уже не боялись написать в первомайских листовках: «В годы этой бесконечной кровавой бойни рабочие Венгрии лишены были права достойно отмечать свой великий праздник Первомая, но ветер с востока

донес и до нас свое теплое дыхание. Майский праздник в этом году отмечается в условиях, не имеющих себе равных в истории, и надо, чтобы он прошел особенно торжественно и широко».

И вот сегодня мы, словацкие писатели, сошлись на свое собрание, через сто десять лет после «сидения» «Татрина» и через сорок лет после Великого Октября — поистине свободные писатели свободной страны; память одних достигает еще времен Октябрьской революции, другие, помоложе, помнят недавнее прошлое, свое трагическое детство: это — очевидцы второй мировой войны, дождавшиеся румяных зорь подлинной свободы. Вот собрались мы, продолжатели дела наших дедов и отцов в литературе — не надлежит ли нам теперь заявить о нашей верности им, вспомнить их борения, чтобы тем серьезнее и ответственнее обсуждать наши теперешние дела? И разве не столь же важно для нас сравнить наше настоящее с прошлой историей нашего народа? Окончилось владычество феодализма и капитализма, буржуазия доживает свой век, произошел великий перелом в социальном устройстве, нацеленный на довершение строительства социализма и коммунизма; так разве все это — не знаменательная веха для писателей, которую именно они должны вписать, как одну из славнейших глав, в историю нашего народа?

Мы собрались в период, когда весь наш народ, всех трудящихся нашей республики занимает мысль о том, как нам приблизить завершение социалистического переустройства нашего государства».

Наше общее собрание имело широкий отклик у общественности Словакии. После дискуссии, в которой приняли участие Александр Матушка, Альфонз Беднар, Карол Розенбаум и другие, собрание приняло резолюцию, где наряду с прочим говорится: «Словацкие писатели единодушно поддерживают мирную инициативу Советского Союза и других стран социалистической системы. Они готовы отдать все свои силы делу защиты мира и победного шествия социализма. Они идут за Коммунистической партией Чехословакии — ведущей силой нашей жизни. В этом нас не разделяет даже различие взглядов на отдельные проблемы художественного творчества, ибо в главном, общем принципе — партийности и идейности литературы — мы едины. Мы заявляем об этом и нашим друзьям, и недругам».

До и после этого большого собрания работы в Союзе было невпроворот, а я с каждой неделей чувствовал себя все хуже и хуже. Тогда я зашел все-таки в Государственную больницу, где состоял на учете. Меня осмотрели — и, так сказать, приперли к стенке. В ближайшее время, уже в январе 1958 года, меня отправили в санаторий Бельвю в Верхнем Смоковце, где я, не считая двух коротких перерывов, пробыл чуть не до октября. Обычно я не люблю обращаться к докторам, тем более валяться по больницам, но здоровье мое расшаталось до такой степени, что я покорно отправился в Татры. Через неделю-другую, по прибытии в санаторий, прекрасным зимним днем конца января вызвал меня к себе доктор Франтишек Майер, усадил, но осматривать не стал, а пустился в «сердечную беседу», что основательно меня напугало. Анализы и рентген показали, что легкие у меня отнюдь не в порядке: туберкулез, этот грозный бич нашей семьи, вцепился в меня. Доктор Майер, человек необычайно ласковый, внимательный и деликатный, всеми силами старался смягчить эту безрадостную весть: он говорил, что все это не так страшно, открытых каверн у меня нет и сейчас туберкулез излечивают, не в пример прошлому,— теперь, в сущности, это уже не проблема. Он предупредил меня, что я человек эмоциональный, могу принять это слишком трагически, тем более что два моих брата умерли от туберкулеза, но этого не следует делать, я не должен поддаваться психозу... Не должен...

А психоз уже охватил меня. Да, да, этот самый ужасный психоз. Помню как сегодня, когда я вышел из кабинета врача в холл санатория и глянул в зеркало — я перепугался. Я был белый, без преувеличения, как стена...

Ноги мои подкосились. Я сел в кресло и едва перевел дух. Попытался посмотреть иллюстрированные журналы на столике — буквы и картинки так и прыгали у меня перед глазами. К счастью, вскоре в дверях появился поэт Павол Горов, вернувшийся с прогулки. У Горова была на руках экзема, он всегда носил белые перчатки, словно какой-нибудь франт, и мы потешались над ним.

— Что с тобой, старик? — заговорил он, увидев, что я как бы провалился в кресло.

— Не подходи, не подходи, заразишься,— ответил я с вымученным весельем висельника: Павол тотчас заметил странность моего тона.

— А что у тебя — холера? Насколько я помню, у нас ее не случалось с семнадцатого века... Нет, правда, что с тобой?

— Чахотка, милый мой, чахотка... Как братья...

Я не мог докончить фразу.

— Делов-то, ну и что? От этого, приятель, нынче не умирают, это ты выбрось из головы,— похлопал он меня по плечу.

До полдника оставалось немного времени, но мы с Палё вышли на воздух. На дорожке встретили архитектора Яна Земко; этот человек распространял во-

круг себя радость и веселье, что было мне тогда просто необходимо. Чистый снег так блестел на солнце, что приходилось щуриться, густо-голубое небо сверкало над снежными пиками Татр, и мы втроем отправились в старый Смоковец — с той только целью, чтоб рассеялось окутавшее меня облако меланхолии и страха, эта пагубная смесь горьких чувств, которые так внезапно вспыхнули во мне, завладев всем моим существом. Приятели всячески утешали меня, пока мы шагали по скрипучему снегу и затем в Гранд-отеле, где мы опрокинули, пожалуй, больше рюмочек, чем было нужно для здоровья. Они хотели утешить меня, а случилось обратное — я погрузился в такую мировую скорбь, что страстно захотел быть один, совершенно один,— и удрал от товарищей, попросту сбежал в Ломницу.

За час ходьбы на свежем татранском воздухе я кое-как пришел в себя. Первым, кого я встретил в Ломнице, был мой старый друг Вальчак, земляк из Старой Любовни, осевший тут со всей семьей. Сперва мы «почтили» друг друга в одном из кафе, а тем временем спустился вечер, и Вальчак пригласил меня к ужину. Жена его встретила меня любезно, хорошо накормила, и домой меня, глядя на ночь, не пустили. Проболтали мы с ними до полуночи, пока я, как говорится, не свалился от усталости. У них я и переночевал.

Утром оба они ушли на работу, а я сказал, что пойду на станцию. Но пока ждал электричку — не знаю, что это мне приспичило, только я схватился, удрал со станции и вскоре сидел уже в том самом кафе, где мы накануне угощались с Вальчаком. В кафе было почти пусто и скучно, как обычно в утренние часы. Потом я понял, что меня сюда потянуло: орган. Да, электрический орган в этом кафе, на котором в ту пору часто играл известный чешский виртуоз Чермак. Когда я сидел на станции в ожидании электрички, до меня долетали величавые звуки органа: они-то и заставили меня изменить благородному побуждению вернуться восвояси, то есть в санаторий. Но к тому времени, когда я пришел в кафе, орган смолк, Чермак вышел куда-то и лишь некоторое время спустя снова начал свои импровизации. Он часто так играл по утрам, просто для собственного удовольствия, а вечером выступал в сопровождении оркестра, за что ему предоставлялось бесплатное проживание в Татрах.

Я сел у высокого окна, чтоб хорошо видеть сверкающий на солнце Ломницкий пик, вздымающийся за линией заснеженных елей. День опять был ясный, чистый, на небе ни облачка, а на меня с новой силой навалилась гнетущая тоска, по ассоциации с тем днем, когда я приезжал повидать брата Виктора, лечившегося в Татрах. Тот день тоже так блистал, а брат лежал смертельно больной. Как же было мне не тосковать, когда вспомнил я и самого младшего из нас троих, брата Юло, умершего неподалеку отсюда, в Вышних Хагах, таким же вот солнцем осиянным зимним днем? Нет, не радость дарил мне: гложущей тоской давил меня сегодня этот день, прозрачный, просвеченный солнцем, он словно скалил зубы, сверкая снегом, он злорадствовал, потому что мне, быть может, суждено увидеть очень мало таких дней...

Звуки органа всколыхнули воздух, будоража мои чувства,— меня затрясло. Смотрю на Ломницкий перевал и вдруг явственно вижу там себя с братом Юло: будто карабкаемся мы на гору, весело пыхтя, как было однажды ясным сентябрьским днем, и не так давно это было, несколько лет назад — или давно? Конечно, давно, я стал считать — да, уже лет пятнадцать назад... Время летит, мне уже пятьдесят, в сущности я достаточно пожил, это ясно,— братьям-то каково, один дотянул всего до тридцати трех, второй прожил на два года дольше... А ведь я был самый большой шалопай из всех троих — и вот жив еще... Нет, это несправедливо, и Немезида, в сущности, права, что кинула на весы мою чахотку — это, чтоб я не очень-то возомнил о себе, конечно, это какое-то таинственное знамение, мол, еще есть время... Она наверняка воздает мне за все мои безобразия! Особенно отцу с матерью я доставлял много горьких минут, да, да, это — «кара за грех», как в той пьесе, которую мы, сельницкие любители, играли в прославленном Подтатранском трактире. Пока еще есть время — а что, если его осталось мало, совсем мало, кто знает? Доктор, правда, сказал, что теперь это не проблема, от этого не умирают, я могу дожить до глубокой старости. Что такое — глубокая старость? Семьдесят, восемьдесят? Мама прожила только шестьдесят восемь лет, отец — десятью годами больше, но они наверняка пожили бы еще, если б я их так не мучил. Кара за грех, кара за грех!

Чермак все играл, я смотрел на розовеющую вершину Ломницкого пика, от слез в моих глазах он переливался всеми цветами радуги, кружили надо мной печальные мои думы, и сколько ни старался я, никак не мог выбраться из этого безысходного лабиринта. Да, строго говоря, и не очень старался, я долго и безутешно копался в собственной тоске. Не знаю, сколько времени так продолжалось бы, если б вдруг не появился Вальчак и, со смехом подойдя ко мне, не окликнул весело, на гуральском наречии:

— Та, Андришко, та ты эшчик тут?

— Та видзишь,— ответил я ему в тон.

Он проводил меня на станцию. Когда я сел в электричку, он еще крикнул:

— Обещай, что теперь ты уж — домой!

— Обещаю! — ответил я почему-то излишне громко, быть может, потому, что в вагон гурьбой вваливались лыжники, а может, чтоб самому себя подбодрить.

Обещание я на сей раз сдержал. Да и пора было.

■

В конце концов я примирился со своей участью; неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и я стал чувствовать себя живым инвентарем в санатории. Еще бы, ведь многие больные и отдыхающие уже сменились, и, кроме служащих во главе с доктором Майером, в санатории из больных остался только я. Дольше всех, пожалуй, пробыл здесь Радован Рихта, молодой чешский философ, человек редкой доброжелательности, с которым мы очень сблизились; долгие тоскливые часы мы коротали, споря о смысле жизни, об искусстве и его месте в жизни, об истории вообще и о нашей, чешской и словацкой, в частности. Я многому у него научился, а он старался глубже понять поэзию, пути ее развития, ее жанры, и я со всем пылом рассказывал ему об этом, видя его неиссякаемый интерес к поэзии. Потом мы не виделись с ним долгие годы, хотя поначалу обменивались письмами. И однажды, лет через пятнадцать, встретились на приеме в Пражском Граде. Посмотрели мы друг на друга, как потерпевшие кораблекрушение, выбравшиеся на твердую землю, чтобы снова зажить полной, полезной для них самих и для общества жизнью.

Кроме него я познакомился со многими чешскими друзьями, приезжавшими в санаторий Бельвю. С ними мы проводили долгие вечера в гостиной, а дни — на веранде или на прогулке. Интересные беседы вели мы со Зденеком Фирлингером, профессором Лукашем и многими другими политическими и общественными деятелями того времени. Эти беседы были для меня истинной жизненной школой, а я «расплачивался» забавными историями из жизни словацкой деревни, радуясь, что их неизменно хорошо принимают.

Много прекрасных, незабываемых дней провел я со словацкими товарищами, приезжавшими сюда отдохнуть от своих ответственных и, вправду, трудных обязанностей. С ними быстрее бежали дни, томительные, когда я оставался один. С приходом весны, когда я смог ходить на рыбалку, мне стало намного легче. В основном я рыбачил на Ждярской речке, тогда еще богатой форелью; после рыбалки отдыхал у отца одного из сотрудников Союза словацких писателей, Матея Андраша. Отец Андраша был лесничим в Котлине, за плечами у него был богатый опыт и много приключений. Я всегда относился к лесничим с большой любовью и уважением. Несколько раз со мной на рыбной ловле был Ярослав Вотруба, художник, всю свою жизнь посвятивший Татрам.

А как не вспомнить тихого, задумчивого «старосту» Высоких Татр, тогдашнего председателя Татранского Национального комитета, Иозефа Налепку, брата легендарного Яна Налепки! С ним вместе мы выбирали здание для татранского ведомства — давнишняя его мечта, слишком долго зревшая, но все-таки воплотившаяся в жизнь. Никогда не забуду вечера в его скромном жилище, когда мы мечтали о будущем Высоких Татр, об их застройке и охране. Именно Налепка предложил мне здание для Дома творчества писателей в Верхнем Смоковце — пожалуй, последнее, что можно было здесь получить. Потом он мне очень помог осуществить этот план, и, наконец, на прикрепленной к зданию вывеске можно было прочитать: «Дом творчества писателей имени Иржи Волькера». Сегодня у отечественных и зарубежных писателей есть в Высоких Татрах собственный уютный дом для работы и отдыха.

Год 1958-й — очень печальный для нашей поэзии. Мы потеряли сразу трех выдающихся поэтов. В феврале — силезского барда Петра Безруча, в марте — несравненного Витезслава Незвала, а в апреле — нашего Ивана Краско. Я не смог проводить их в последний путь, но в тиши санаторного сада вспоминал встречи с ними, в самом деле незабываемые. С дядюшкой Краско мы встречались много раз, с Витезславом Незвалом еще чаще: мы с ним вместе заседали в правлении Союза чехословацких писателей. А вот с Петром Безручем я встречался один-единственный раз, и то недавно, осенью прошлого года, у него в моравском Костельце, когда мы, три делегата от словацких поэтов — Ян Костра, Войтех Мигалик и я,— приехали поздравить его с девяностолетием.

Мы встретились с чешскими друзьями в Простеёве, родине Иржи Волькера, чтобы вместе отправиться к Безручу. Было тихое осеннее послеобеденное время, от яркого небосвода воспламенялись осыпающиеся деревья и крыши тихого Костельца; отовсюду на берег сбегались дети к домику «старика» у ручья. Здесь было много чужих людей, с восторженным блеском в глазах смотрели они на калитку, через которую пойдут к нему, к Безручу.

Мы заполнили сени. Через открытые двери виден был низкий проем в конце маленького мощеного дворика; через минуту проем этот заслонила высокая, согбенная фигура Безруча. Два-три фотолюбителя пытались спрятаться под развесистым олеандром: они хорошо знали, что Петер Безруч не хочет даже слышать о том, чтобы его фотографировали. Поэта поздравила Заслуженный художник Мария Майерова — и вот все хлынули внутрь, в комнату, к широкому столу, при-

хватывая с собой стулья, чтобы всем рассесться. Старый друг Петра Безруча, академик Франтишек Травничек, перед встречей похвалился, что несет в подарок поэту его любимые сигары; теперь он вынул их из кармана и, предвкушая удовольствие, какое доставит Безручу, сказал:

— Я принес сигары, ваши любимые.

Безруч посмотрел на него, моргая, и неожиданно произнес:

— Такие же я приготовил и для вас, пан профессор!

И в его дрожащих пальцах появилась точно такая же сигара.

Немного робко, с почтением подошли к юбиляру и мы, три словацких поэта, передали ему поздравительный адрес писателей и подарок — вышивки мастериц с Грона. Он глянул на нас проницательным взглядом из-под густых бровей, помолчал — мы так и замерли, а он вдруг веселым, высоким голосом вывел нас из оцепенения: «О, добро пожаловать, я словаков шибко люблю, поэтому и не оставил в своей речи это «ř» [1]! Действительно, он употреблял его в своем разговоре очень и очень редко. Живость ума и юмор этого чудесного старца не только покорили, но и поразили всех. Больше всего он «ссорился» с сидящим возле него академиком Травничеком по вопросам языкознания — этот спор между ними тянулся долгие годы и был одним из его излюбленных развлечений. Мы пили за его здоровье, а он, затягиваясь сигарой и отодвигая бокал красного вина, говорил:

— А знаете, кто пьет, тот обязательно будет в раю. Ведь, согласно божественной мудрости, тот, кто пьет — много спит, кто спит — не грешит, а кто не грешит,— того бог любит, и значит он непременно попадет в рай!

В окна комнатки постепенно прокрадывались сумерки. Нетерпеливые фотографы использовали этот момент, чтобы зажечь свет — не столько из-за темноты, сколько для того, чтобы тайком, из-за чьей-нибудь спины, нацелить на юбиляра свои объективы. Но Безруч догадался, в чем дело.

— Погасите свет, так ведь приятнее,— немного сердито бросил он им.

Через некоторое время все повторилось; фотографам так и пришлось уйти ни с чем. Кто-то во время разговора упомянул о наградах, и старый Безруч вспомнил австрийские времена.

— Знаете, у меня есть два ордена Франца-Иосифа,— сказал он и попросил принести их.

Ордена передавали из рук в руки. Безруч объяснил, что такие награды получали чиновники за долголетнюю службу, они как бы их «высиживали». Он сам их «высидел» в должности почтового служащего.

— А мог бы и третий получить,— прибавил он,— не получил только потому, что в это время сидел в кутузке...

После того как все посмотрели на австрийские железки и вернули их хозяину, он, гордо выпятив грудь, произнес с пафосом:

— Надеюсь, теперь вы будете ко мне относиться с большим уважением!

В комнате совсем стемнело. Родные поэта удивлялись: их «старичок» закурил вторую сигару и с удовольствием пил красное вино, сидя среди младших собратьев по перу. Но на смену нам пришли новые делегации — пора было уходить, чтобы не утомить юбиляра вконец.

Прощаясь, я не в состоянии был о чем-либо думать, только с трепетом и почтением еще раз заглянул в его темные глаза и постарался навсегда сохранить в памяти улыбающееся и все же старчески серьезное лицо великого поэта, которого едва ли увижу еще раз. Да, больше ты его не увидишь, но лицо его останется в твоей памяти, а когда и это уйдет — останутся его стихи, чтобы сиять тем, кто еще не родился...

Вспоминал я в Татранской тиши не только старика Безруча, но и дядюшку Краско, восьмидесятилетие которого мы праздновали в «Татране»; вспомнил и незабываемый вечер, посвященный восьмидесятилетию Микулаша Шнейдера-Трнавского, на котором юбиляр весь вечер забавлял нас шутками. А как было не вспомнить Витезслава Незвала, поэта неуемной энергии, кипящего, как гейзер, вечно юного, полного радостного наслаждения жизнью, угасшего внезапно в расцвете творческих сил, на горе всем почитателям его таланта...

Месяцы бежали один за другим, понемногу я привыкал к жизни в Татрах, но жил надеждой на скорое возвращение домой. Это случилось в сентябре. А немного раньше, к великому моему изумлению, я узнал от генерального консула СССР в Братиславе, что советские друзья приглашают меня с женой для окончания курса лечения в Крым. Это была приятная неожиданность. Мы с женой радовались, как дети. После возвращения с Татр все дни были заполнены приготовлениями в далекую, но желанную дорогу.

В предпоследний сентябрьский день мы сели в поезд, чтобы сначала доехать до Киева, а оттуда в санаторий в Алупке. Когда я уже писал мемуары и копался в своем архиве, то нашел, к своему удивлению, собственноручную запись о том путешествии; прочитав ее, я удивился тогдашнему своему терпению. Я привожу только последнюю часть этой записи, которой я дал название «Семь лет спустя».

«Семь лет, семь лет — скудных или обильных? Вспоминается древняя биб-

[1] Звук «ř», в чешском языке произносимый как «рж», в словацком отсутствует.

лейская притча, и я стараюсь оценить то, что произошло за последние семь лет в мире, в стране и прежде всего в собственной жизни. Что больше всего тебя волновало, раздражало и радовало? Какими же были эти семь лет? Каким я пришел к этой сказке, сопровождавшей меня всю жизнь?

Да, прошло семь лет с тех пор, как я впервые побывал в стране Советов, и сейчас, после долгого перерыва, отправляюсь туда красочной осенью. на картофельных полях жгут ботву, выдергивают из земли пузатую кормовую репу. а на склонах Малых Карпат возятся сборщики винограда, утверждая поэзию жизни. Так было и семь лет назад: пики Татр блестели первым снегом, и ловкие пальцы девушек из Модры или Лимбаха так же снимали зрелые гроздья винограда с пожелтевших лоз. Но тогда мы высоко поднялись над землей, как и подобает писателям «высокого полета»: из стальной птицы мы в первый раз увидели бескрайние поля. И именно по этим нивам из заоблачных высот многие из нас впервые узнали Страну Советов. А вот что изменилось у нас за эти семь лет: в Липтове сейчас выбирают кормовую репу уже с кооперативной земли, а модранские и лимбашские девушки собирают гроздья «чабянской жемчужины» уже с кооперативных виноградных лоз. И смотрю я на эту семилетнюю разницу не из стальной птицы, а из окон поезда, несущегося от малокарпатских склонов по нескончаемым полям Украины к Киеву.

В сероватом рассвете, полусонные, проехали мы Львов. И только солнце, сверкнувшее в ветвях деревьев вдоль полотна дороги, окончательно разбудило нас, и мы уже не отрывались от окон, пока не доехали до Киева.

Три дня мы знакомились с городом Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко и Ивана Франко, городом славной истории, который столько раз пытались покорить, но так и не покорили. Здесь не осталось ни следа от страшных опустошений, произведенных фашистами во время войны. Новые дома, улицы, целые кварталы, окаймленные аллеями и садами, сделали еще красивее несравненную жемчужину на Днепре. Днепр... Как далеко разносится песня твоих сыновей, которая затронула души честных людей дальних стран! И люди эти несут тебе свою любовь, и печаль, и радость.

...Снова и снова стремишься к Днепру, легендарной реке Украины, широкой, как душа украинского народа, с такими же глубинами, тихими заводями и вспененной радостью; к реке — свидетельнице славной истории и сияющей современности, к реке, которая увидит еще сокрытое от нашего взора будущее. Спускаешься в старый Подол, заглядываешь в грохочущий порт; потом вверх по береговому откосу, по улочкам старого Киева к Андреевскому храму, оттуда в тихие сады с памятниками славным бойцам последней войны — и здесь произносишь имя генерала Ватутина, одинаково героически звенящее и здесь, и у нас на родине.

Мы осмотрели Украинский музей народного творчества — несомненное доказательство гения украинского народа; осмотрели еще много-много памятников, свидетельствующих о славе украинской столицы. Но настает день, когда пора нам продолжить путешествие. Мы садимся в киевском аэропорту в самолет, и через мгновение мы уже в воздухе; самолет качнул крыльями в одну, потом в другую сторону, словно для того, чтобы мы полюбовались широкой серебристой лентой Днепра и новым мостом через него, и взял курс прямо на юг.

Ланка летит впервые. Я вижу, как ей все интересно: что творится внутри самолета, как стюардесса информирует нас о полете, о времени прибытия в Симферополь... Я помогаю жене пристегнуть ремни: руки у нее немного дрожат, смотрит она на меня с затаенным волнением, как ребенок, но улыбается, сама себя подбадривая. Все в порядке: она смотрит сияющими глазами вниз, восхищается беспредельной панорамой Украины и вдруг шепчет мне на ухо:

— Это и есть наше первое за шестнадцать лет настоящее свадебное путешествие!

Я стиснул ей руку и кивнул.

Мы начали снижаться вблизи Херсона, над Каховкой, с высоты птичьего полета восхищались электростанцией. Через минуту я сказал Ланке:

— Смотри, вон там, на горизонте, уже сверкает Азовское море!

Море она видела первый раз в жизни. Я был счастлив, глядя на ее радостные жадные глаза, ни на минуту не отрывавшиеся от неповторимой панорамы бесконечных серебристо-черных волн.

Из Симферополя автомобилем мы поздно вечером приехали в Алупку. Поселили нас в бывшем дворце князя Воронцова (где мы провели несколько дней, пока для нас не приготовили апартаменты на самом берегу, где мы и прожили все время). Утром следующего дня Ланка не утерпела. Сквозь зубцы башни она увидела море и, оставив меня на террасе, кинулась к нему, словно боялась, что оно исчезнет. Я догнал ее на берегу; Ланка наклонилась, зачерпнула ладонями морскую воду — в самом деле соленая! Жена светится радостью, всплескивая руками, приплясывает на камнях, лицом к солнцу — прямо русалка...

Почти весь октябрь был чрезвычайно теплым и солнечным, за исключением нескольких последних дней.

Спали мы на веранде нашей «асьенды» под шум моря и ласковый стрекот цикад. Каждый счастливо прожитый день откладывался в сознании, как дорогая память о встречах с приветливыми, сердечными людьми, окружавшими нас такой искренней любовью и вниманием, что мы не раз приходили в смущение, не умея выразить благодарность иначе, как теплыми словами.

Наша горничная Елизавета Харитоновна Чазова, у которой фашисты вырезали всю семью, заботилась о нас, как о родных. Она советовала, что стоит посмотреть, особенно обращая наше внимание на прекрасные парки Алупки, Ялты и других мест Крыма. О врачах, и особенно о нашем лечащем враче, имя которой я, к сожалению, не записал и теперь забыл, и говорить не приходится — такой необыкновенной постоянной заботы я до сих пор еще не видывал. Она посвящала нам время не только как врач — мы часами разговаривали об Алупке и Крыме, о советских людях и их жизни, она старалась ближе познакомить нас со своей страной, рассказывая о пережитых страданиях и терпении людей, об их надежде на светлое будущее. Благородная, прекрасная женщина!

В один из последних дней лечения я должен был идти на заключительный осмотр к специалисту, профессору Губину, приезжавшему сюда из Ленинграда консультировать; у меня от страха, как говорится, душа в пятки ушла. От своего врача я знал, что профессор Губин изучил мой анамнез, просмотрел снимки, и теперь мне не терпелось узнать его мнение. Профессор Губин — высокий человек. с пышной седеющей шевелюрой, интеллигентным, резко очерченным лицом, глубокими, почти запавшими глазами, круглым выразительным подбородком с ямочкой, с жестами мягкими и степенными. Приятным теплым баритоном он расспрашивает о моей болезни, ее возникновении, о моих братьях и о моей литературной деятельности — словом, обо всем. Он тщательно осматривает меня, простукивает, еще раз разглядывает рентгеновские снимки моих легких, похмыкивает, кивая головой; а я дрожу от нетерпения, ожидая его решающего слова, которое или даст мне надежду, или подтолкнет к отчаянию.

— Хо-ро-шо,— медленно и выразительно произнес он после долгого молчания.— Лекарства вам больше не нужны.

Заглянув мне в глаза, он улыбнулся и похлопал меня по плечу. Право, еще минута, и я бы от радости взвизгнул. Кажется, никогда в жизни я так не благодарил за добрые вести, как именно тогда и именно его. Он улыбался, и было видно, что он и сам доволен. После длительного общения с врачами я убедился, что они бывают по-настоящему счастливы, если могут сообщить пациенту радостную весть. Потом, в дружеской беседе, профессор рекомендовал мне, какой режим соблюдать, на что обращать внимание и так далее. Но, счастливый и успокоенный, все это я слушал вполуха.

Чудесные воспоминания о Крыме с годами лишь усилились; я навсегда запомнил Черное море, лазурное крымское небо, крымскую природу с ее кедрами, пиниями, секвойями и пальмами, ее вечно цветущие высоченные рододендроны; всегда буду помнить вечера, полные чарующего шума морского прибоя, встречи с людьми, которые укрепили мою веру в себя, зажгли огонек этой веры на радость мне и тем, кому еще суждено было встречаться со мной.

Ланка любила сидеть вечерами у моря на каменистом утесе, внимая многоголосому шуму моря, который она день ото дня понимала все лучше. И когда черные волны озаряла луна, я, глядя издали на силуэт жены, на лунную дорожку, убегающую к горизонту по зыбким волнам, испытывал прилив истинной романтики, возвышающей душу. Нет причин стыдиться этого чувства».

КРЫМСКИЕ ВАРИАЦИИ

I

Дай приласкать тебя,
стань тише и нежней,
стань кротким хоть на миг,
море —

Я раньше был слепым
и вдруг прозрел. Теперь
я знаю — ты одно,
море —

Ты шелестишь, как сон,
как древние леса,
как дол мой, весь в цвету,
море —

Плещи же мне в лицо,
кати, ярись, меня
прибоем утащи,
море —

Громаду волн твоих
глазами я возьму
и унесу с собой —
в горы...

И

Послушай, о чем это море шумит,
На пляже ночном от истомы бледнея,
— Амур, Психея?..

Мерцанье далекое, шепот и плеск —
Манящий, зовущий, дрожащий, смиренный,
— Тоска Сирены.

Послушай, как в лодке ликует рыбак,
Он рыбу в сетях золотую увидел,
— Поет Овидий.

Ах, ночь не заставит меня покраснеть!
Все море исполнено пением женским,
— Любви блаженство...

Прилив начинается, волны бегут,
То жажда богов, их дары и проклятья,
— Твои объятья!..

(Перевод Н. Мальцевой)

■

Вернувшись после лечения, я вновь с головой окунулся в работу, которой все прибавлялось: надо было подготовить конференцию молодых авторов и общегосударственную конференцию чешских и словацких писателей, а позже, в июне, съезд деятелей социалистической культуры. Снова пришлось писать доклады, изучать материалы, руководить работой секретариата Союза. В это время я часто ездил в Прагу, так как был членом не только центрального правления, но и секретариата, собиравшегося, оперативности ради, чаще выборных органов и претворявшего в жизнь их постановления.

В начале февраля в Братиславе состоялась, под председательством Владимира Минача, общесловацкая конференция молодых авторов. Основной доклад, предварительно одобренный правлением Союза, сделал я. Приведу небольшой отрывок из него:

«Сегодня всем нам ясно, что молодую литературу нельзя ни обсуждать, ни оценивать изолированно от всей литературной жизни, от ее течения и целей. Что это так, доказывают наши молодые литературные критики, интенсивно интересующиеся общим литературным процессом. И дело не в том, что им порой не хватает опыта, знания жизни, что в их критических статьях иногда проявляются отрицательные и вульгарные тенденции,— похвально их жизнеутверждающее стремление преодолеть старое ради нового, более прогрессивного. Они добиваются такого художественного воздействия литературы, чтобы она отразила чувства сегодняшнего человека, переживающего бурные перемены современной жизни. Таков уж человеческий характер, что порой нам, старшим, не по вкусу какие-то действия молодежи, но тот, для кого развитие нашей литературы действительно дорого, с симпатией отнесется к активности молодых. И если мы требуем от старших и молодых писателей не забывать об объективном влиянии каждого написанного слова, которое должно согревать, воодушевлять, ободрять человека, то и от литературной критики мы требуем умения различать, какое слово действительно согревает, воодушевляет и ободряет, требуем, чтобы она не дезориентировала читателя, а, творчески критикуя, помогала авторам расти и указывала правильный путь. Литературная критика может привести к настоящему несчастью, особенно молодых авторов, гоняющихся за так называемыми «модными экспериментами», если она не поможет им найти правильную дорогу в социалистическое искусство; а иной раз и сама критика поглядывает на так называемое «чистое искусство», становясь на дыбы перед понятием «социалистический реализм». Если некоторые молодые авторы едва не попали на ложный путь внепартийного «искусства для искусства», погруженного в пессимизм, в мировую скорбь, если они едва не впали в сюсюкающий эротизм, то во всех этих грехах мы не можем обвинить только самих молодых писателей, здесь вина и критиков, которые на словах объявляли о своем соцналистическом отношении к жизни и литературе, но не указывали молодым авторам на конкретных примерах их ошибки и заблуждения, не исправляли сразу же ошибочные взгляды. Нельзя отрывать литературное творчество от критики, так же как нельзя отделять старших писателей от молодых — все мы составляем единый отряд в идеологической борьбе за завершение культурной революции, за воспитание и перевоспитание нового, социалистического человека».

Первого и второго мая в Праге состоялась общегосударственная конференция чешских и словацких писателей, на которой основной доклад «Задачи литературы в культурной революции» сделал Ладислав Штолл, а сообщение о деятельности Союза чехословацких писателей — первый секретарь Союза Ян Отченашек.

После XX съезда КПСС у нас (и не только у нас) многие нередко злоупотребляли критикой культа личности, и ошибки Сталина отождествляли со всей политикой Советского Союза, с социалистической системой вообще. Все это, перенесенное на нашу почву, часто служило предлогом для безудержных нападок

на строительство основ социалистического общества в нашей стране. Реакционные силы, всегда готовые действовать, тотчас принимают таких критиков в свои широкие объятия, желая как можно скорее вызвать возможно больший хаос и сорвать построение социализма. Такие тенденции ясно проглядывают в политическом развитии чешского и словацкого народов в период от XX съезда КПСС до кризиса 1968—1969 годов.

Попытки повернуть и III съезд чешских и словацких писателей в 1963 году к «духу II съезда», к так называемой свободе писателя, к духу либеральных и прямо ревизионистских, антисоциалистических лозунгов, были того же корня — если не хуже, если не прямо вражеского происхождения.

На ближайшем заседании правление Союза писателей вменило в обязанность своему секретариату выносить на правление в основном идейные проблемы, имеющие важное политическое значение, причем после предварительного обсуждения их, чтобы правлению не нужно было вдаваться в детали и чтобы точка зрения правления была достойна представительного высшего идеологического органа нашей литературы. Все это требовало большой инициативы от секретариата и возлагало на него большую ответственность.

В начале мая меня ждал приятный сюрприз: Государственная премия имени Клемента Готвальда за 1959 год. Торжественное вручение состоялось в Вальдштейнском дворце в Праге, и открыл его председатель Комитета по государственным премиям Ладислав Штолл. Из рук заместителя премьер-министра Вацлава Копецкого принял я высокую награду за сборник «Липтовская свирель» и за предыдущее мое поэтическое творчество, в первую очередь за поэму «Три Воды». Вместе со мной получили тогда Государственную премию поэт Иван Скала за поэтический сборник «Утренний поезд надежды», артист Ладислав Худик — за выдающееся исполнение ролей в последнем сезоне и композитор Дезидер Кардош за «Концерт для оркестра».

Что скрывать, я был очень рад, но в торжественной обстановке пышного Вальдштейнского дворца еще полнее осознал, какие обязательства налагает на меня это высокое доверие. Это не праздные слова, которые обычно произносят в подобных ситуациях. Кто действительно пережил такое, согласится, что в эти моменты критичнее подходишь к своей работе и чувствуешь, что способен сделать больше. Я потом старался учитывать все замечания критиков, еще строже взвешивал каждое свое слово и не выпускал из рук произведения до тех пор, пока оно не приобретало тот вид, какой я хотел ему придать. Все мое литературное творчество отмечено исканиями и стремлениями. И я рад, что звал не напрасно — многие отозвались. Это для писателя и поэта — другое наивысшее признание.

ЛИПТОВСКАЯ СВИРЕЛЬ

(Отрывок)

На хороводе гор и сивых круч о скалы,
отвагою дыша, точу секиру я.
Пока рубил бурьян, предметом шуток стала
беспомощность ее тупого острия.
Эх, наточу же вновь свою секиру, братцы,
чтоб в Липтов было с ней не стыдно показаться.

Потом и по всему я прошагаю миру.
И смогут по клинку везде меня узнать.
Сбегут все ведьмаки от нас, когда секиру,
как силу рук своих, возьму за рукоять.
Доколе квакать им позволим златоустым?
Слов липтовских стрелу на них мы метко спустим.

Сметем помет овечий всех их песен-врушек.
В капкане ворон воплем нечисть не спасет —
летишь, так у дерев не задевай верхушек.
Зловонный хлам в ведьмачку-речку засосет.
А правда-судия, смеясь над этой скверной,
глядит в окно веков с терпимостью примерной.

Точу секиру я, как слово высекаю.
И душу на стихи настраиваю я —
на голос горных рек, лесов родного края,
шум буковой листвы и шепот бытия.
Лети же, песнь, лети по склонам и долинам,
задумчивым полям, веселым полонинам.

Как прежде свой смычок я заношу над скрипкой.
Настроен наш оркестр и снова оживлен,
чтоб песней приманить, как радостной улыбкой,
любой прошедший миг из пропасти времен.
Верти скрипчонку, бас, в цимбалы бейте жарко!
Устрой нам пир горой, веселая шинкарка!

(Перевод Н. Бялосинской)

Были тихие майские дни. Мы с Ланкой бродили по солнечной Праге, пошли на Летну, на Петржин, я показывал ей места, где часто гулял, когда учился в Праге. Два дня мы провели в Добржишке, оттуда поехали на экскурсию в Карл-

штейн, а Девятого мая вечером были приглашены на большой прием в Пражском Граде.

Месяцем позже, восьмого июня, сотни работников культуры и искусства собрались в Пражском дворце съездов, чтобы принять участие в съезде деятелей социалистической культуры. Основным докладчиком был Ладислав Штолл. Меня избрали в президиум, а однажды полдня я был даже председателем. В своем выступлении я говорил о прогрессивных традициях нашей литературы и о необходимости исходить из этих традиций, о призвании писателя и о его связи с народом, о задачах, которые ждут каждого активного работника культуры и искусства.

■

Стать дедом и печально — ведь это напоминает о приближающейся старости,— и приятно: не сгниешь один, как перст. Такое смешанное чувство грусти и радости пробудило во мне письмо из Москвы от сына, но эта же весть прибавила и забот, потому что сын только еще заканчивал Московский энергетический институт и о какой-нибудь работе для него пока и речи не было. Сам я придерживался отцовского наказа — «сначала место — потом невеста». В свое время я быстро нашел «место», то есть работу,— и тут же, через два месяца, женился. Мой сын, как видно, не придерживался этой мудрой сентенции и сначала взял «невесту», то есть москвичку Светлану, приписавшую в письме тоненьким, дрожащим, интеллигентным почерком несколько слов, которые мы с Ланкой с большим любопытством пытались разобрать. Ну что ж, значит, надо примириться с фактом, хотя я представлял свадьбу сына совсем иначе: немного традиционнее, дома, торжественно, тогда и я бы погулял. Вышло не так, и теперь, ожидая их приезда, мы заботились о жилье для них, что в то время было не так просто. Наша квартира не так уж велика, но для начала мы их приютим у себя.

Итак, я сел за письменный стол и серьезно, как подобает отцу, принялся писать длиннейшее письмо, отчасти поэтическое: пускай служит доказательством отцовской профессии и еще того, что отец — опытный, отшлифованный жизнью человек, который хоть и поэт, однако живет не одними только мечтами и фантасмагориями. Хорошо помню, как я внимательно отнесся к этому письму; убежден, оно будет иметь для наших детей очень большое, может, даже решающее значение. Не удивляйтесь, именно в такие моменты отцовские чувства проявляются определенным образом. Когда через некоторое время мы встретили наших счастливых молодоженов, они меня благодарили за письмо и сказали, что оно их в самом деле глубоко тронуло. Светлана была в положении, и мы окружили ее предупредительностью и вниманием, заранее радуясь будущему внуку. Ланка проявляла исключительную заботу, она достала даже соответствующую литературу, в которой даются советы, что одевать, какую носить обувь, что делать в тех или иных случаях. Светлана оказалась обаятельной и впрямь светлой маленькой женщиной, с большими глазами, она так мило моргала ими, словно хотела быстро-быстро впитать в себя все образы того нового мира, в который попала. Интересно было слушать их разговоры с Ланкой. Светлана щебетала своим московским говорком. Ланка что-то понимала, что-то — нет; тогда они договаривали руками, жестами, но неделя за неделей жестов становилось все меньше, пока, наконец, обе женщины стали вполне понимать друг друга. Мне все доставляло большую радость; порой я над ними по-доброму посмеивался, но они не очень-то обращали внимания на «папу», а в конце концов даже отругали меня.

К сожалению, рождения внука я не дождался, потому что в начале июня отправился на дальнейшее лечение, или, вернее, на долечивание, в Татранские Полянки — на целых три месяца. Итак, опять Татры, опять нескончаемые дни и грызущая тоска по вечерам, порой — бессонные ночи, когда тебя преследуют тяжелые мысли, хотя и пытаешься представлять все в розовом свете. Меня угнетала сама обстановка в санатории, где было много больных, и воспоминания о Викторе, который начал угасать именно тут, в Полянке. Было мне здесь совсем не весело. И когда я дошел до такого состояния, что хуже некуда, судьба послала мне друзей, близких людей с такими же недугами, как у меня: Янко Балинта и скульптора Пеликана из Жилины, который уговорил-таки меня позировать; он удачно сделал мой бюст. С Янко Балинтом из братиславского радио, старым моим приятелем, мы часто сиживали на лугах, иногда спускались ниже, разводили огонь, импровизировали разбойничьи костры, иной раз, следуя старым словацким обычаям, пели у костра, и согревал нас не только вечерний огонь, но и общая судьба. Я ходил по грибы, которых там росло множество, сушил их на балконе; так коротал я эти долгие дни.

Здесь меня застало печальное известие о кончине нашего известного прозаика Рудольфа Яшика, который умер 30 июля, едва достигнув сорока лет. Перед моим отъездом в Татры мы встретились с ним в Союзе писателей, говорили о его творческих планах. К сожалению, его многообещающий роман «Мертвые не поют» остался незаконченным. После смерти Франтишека Гечко, скоропостижно скончавшегося в марте того же года, в сравнительно молодом возрасте — пяти-

десяти пяти лет,— это была вторая потеря для нашей прозы: ее покинули в самом расцвете творческих сил сразу два выдающихся представителя. Невосполнимая утрата; и меня, человека вообще чувствительного, она глубоко потрясла. Снова начали овладевать мною тяжелые мысли, что неблагоприятно сказывалось на лечении. Что-то часто стал я ходить на похороны... Если б еще на похороны старых людей, исполнивших свою жизненную миссию! А то уходят, откуда нет возврата, те, кто еще мог создавать духовные ценности, влиять на развитие жизни. Опять я вспомнил Мартин в мартовской предвесенней грусти, когда мы хоронили Франтишека Гечко. Мартинское кладбище — это словацкий Пантеон, где славянские липы осеняют вечный покой Франтишека. Я сказал несколько прощальных слов над открытой могилой друга, с которым мы вместе работали в Союзе во имя общей цели способствовать расцвету нашей культурной жизни.

В связи с этим вспоминаю записку Франтишека Гечко, оставленную на моем столе в Союзе писателей, когда он решил окончательно расстаться с Братиславой: «И где ты все бегаешь, Ондра? Я приходил, а тебя нет. Хорошо это? Уезжая из Братиславы, желаю тебе всего наилучшего. Ну и обрадуются некоторые наши «добрые друзья», когда я исчезну! Но! Не падай духом, Ондра! Еще раз — всего наилучшего! Твой Франт. Гечко. 17 октября 1957 г.».

Эта дата красноречива. Я уже упоминал, какая сложная ситуация возникла для меня сразу после моего вступления в должность в Союзе, а Гечко во время своей относительно недолгой деятельности в Союзе словацких писателей очень тяжело переносил различные нападки, затрагивающие даже его творчество, особенно его роман «Деревянная деревня». Это удручало, даже оскорбляло его; он часто изливал мне свои обиды, но всегда оставался непреклонным в своих убеждениях. Наши представления о развитии и корнях социалистической литературы были одинаковы. А его пожелание я исполнил: не пал духом, даже когда наступила еще более лихая година.

«Почему жестокая смерть,— говорил я над гробом друга,— в самом начале весны оборвала слово писателя, почему не держалась она старой словацкой пословицы: «март на пороге — старикам в путь-дорогу» туда, откуда не возвращаются? Почему не дала она дожить ему до желанной весны нашего века, весны социализма, для расцвета которой и он бросил свою горсть семян?

Что же ты, друг наш Франтишек, налил нам теперь черного вина? [1] Зачем так поторопился уйти в словацкий Пантеон под славянскими липами, не лучше ли было тебе остаться со своими *славянскими стихами* [2]? Почему не дано было тебе обратить старую *деревянную деревню* и ее деревянных людей в деревню новую, с новыми людьми, какими ты хотел их видеть? Зачем в страшной «*святой тьме*» смерть вырвала перо из твоих рук, чтобы не смог ты прославить лучистое солнце нашей социалистической весны? Зачем ты учился писать у своей дорогой матери, у которой не было даже грифеля, и ей приходилось царапать грифельную доску булавкой, оставляя тоненький, как волосок, след? Ты говорил, что «без веры в человека нельзя жить, нельзя писать новую литературу». Почему же беспощадная смерть не позволила тебе вдохнуть эту веру стольким молодым людям, мечтающим о ней? И к чему все наши споры, если последний тихий удар твоего сердца так оглушил нас, что мы оцепенели... Все эти вопросы жгут нас, но нет ответа. Мы хорошо знаем, чем ты был для нашей литературы, культуры и всей нашей жизни. Каждая твоя книга — знаменательная веха в развитии нового, социалистического общества; вся наша общественность с большим интересом ожидала твои книги. Ты ясно осознавал чувство ответственности писателя перед обществом, перед народом, понимал значение литературных произведений и бескомпромиссно боролся за правду, как писатель-коммунист»...

В первые дни июля, когда я еще был в Татрах, там состоялась встреча чешских и словацких поэтов и чтецов поэзии, так называемая «Волькерова Полянка», ставшая затем традиционной. Это было одним из очень полезных начинаний Союза, потому что чтение отрывков из произведений чешских и словацких авторов знакомило с ними татранскую публику, которая, как это показал опыт, очень внимательна и восприимчива.

Вместе с другими в нескольких таких вечерах принял участие и я, и не только в Полянке, но и в Вышних Хагах, Смоковце и в нескольких санаториях. Встречи с отдыхающими разных профессий со всех концов страны всегда очень интересны и для нас, писателей, полезны. Для меня эти беседы имели особенное значение, потому что на время отрывали меня от тяжелых размышлений и возвращали к жизни.

А в один из дней я получил из Братиславы радостное сообщение: я стал дедом, у меня появилась внучка Ганка. Я рвался домой, удержать меня ничто не могло. Главный врач Вашечка качал головой, говорил, что так мое здоровье на поправку не пойдет, что мне беспрерывно что-нибудь мешает, что все это очень серьезно и наносит ущерб здоровью, что он с большой неохотой отпускает меня

[1] Парафраз названия романа Гечко «Красное вино».
[2] Разрядкой выделены слова, повторяющие название произведений Ф. Гечко.

домой, где непременно будут праздновать рождение внучки, а для меня все это очень вредно. Я знал наизусть, что он может сказать, понимал его, но совсем не слушал. Я только пообещал, что после этой встречи уже не двинусь из санатория до конца лечения, и выполнил обещание. Отправляясь в Братиславу на крестины внучки, я никак не мог осознать себя дедом. Проезжая под татранскими кедрами ясным, солнечным июльским днем, я думал о чувствах к маленькому существу и понял, что материнское чувство возникает у женщины, когда она услышит первое движение плода, отцовское — когда отец увидит своего ребенка в первый раз, а чувство деда возникает сразу, как он узнает, что стал дедом. Я сел на балконе, где благоухали сушеные грибы, взял блокнот и, растроганный, начал писать стихотворение:

ВНУЧКЕ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ

В тот летний день,
когда июль раскачивал колосья
и небу василек мигал,
хозяин урожая, на колесах,
я солнце обуздал,
а после впряг его в свой старый воз,—
в тот день тебя я, внучка, в дом привез.

Глаза твои,
как солнышка осколки, озарили
все, для чего я жил,
и заново мне этот мир открыли,
и он теперь вдвойне мне мил.
Я старше стал и стал моложе я —
и вдвое удлинилась жизнь моя.

Твой первый плач —
он ключ златой, которым мир открыл я
и заглянул за горизонт,
а ручка эта — верю, рукокрыла,
и день ее — рожденье зорь.
Счастливый, я смотрю в лицо «конверта».
Рожденье — в муках, жизнь — дыханье ветра.

Как странник,
багаж — полвека груз. Над колыбелью
стою. Но мне легко. Неведом страх,
звенит надежда солнечной капелью,
и цель близка — она в твоих глазах.
Мы, деды, мы устали. Наше это —
вы, внуки, на пороге новой эры.

Наш старый век!—
когда-нибудь узнаешь все из книжек.
Мать закричит во сне, дрожа,
вот вьюга пуль шумит над нашей
крышей,—
еще болит ее душа,
но ты заплачешь — встрепенется мать
и будет волосы твои ласкать.

И так, как ты,
мильоны внучек ручки простирают
в тот мир, который лишь для них,
для них — былинки, птицы, и
пространства,
и взлет в века машин стальных.
Пусть властвует над миром жизнь — и
только,
как властвует дитя над силой темной.

Я вижу все:
вот образ коммунизма, мир широкий,
гляжу в глаза твои — вот мир, он — твой.
Что «дедовство» мое, мои уроки:
Твой образ мира — он в тебе самой.
Твой мир меня сегодня окружает,
Твой мир меня сегодня утверждает.

И мой багаж,
груз полувека, зрелые колосья,
тот урожай, что вырастили мы,
я окроплю живой водой колодца
и понесу в твой новый мир.
И я готов поклясться колыбели:
я странник, но уже достигший цели.

(Перевод В. Сосноры)

(Окончание следует)

◆

Литературное наследие

ЭЖЕН ПОТЬЕ

Перевод с французского и вступление ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВА

«Одним из самых великих *пропагандистов посредством песни*» назвал В. И. Ленин Эжена Потье (1816—1887). Кроме бессмертного «Интернационала» Потье написал свыше двухсот песен. Еще не все они переведены на русский.

Заслуживают внимания две песни, созданные еще до Парижской коммуны: «Песенка рисовальщика» и «Красный Жак». Они не вошли в основной сборник Потье «Революционные песни» — ни в первое его издание за несколько месяцев до смерти поэта, ни в расширенное издание 1937 года с предисловием Люсьена Декава.

«Песенка рисовальщика» — страничка из биографии автора. Потье никогда не был поэтом-профессионалом. Хотя в молодости он упорно стремился выдвинуться на литературном поприще (первый сборник стихов «Юная муза» он издал в 15-летнем возрасте), хоть дружил с поэтами, например с Анри Мюрже, хоть писал водевили — но литературой нельзя было прокормить себя и семью; надо было искать профессию, дававшую верный кусок хлеба.

В 40-х годах прошлого века впервые появились дешевые хлопчатобумажные ткани: узоры стали не ткать, а набивать. Матрицы изготовлялись по рисункам художников-орнаменталистов. Этот вид прикладного искусства избрал молодой Потье. «В течение почти тридцати лет,— писал он в 1884 году Полю Лафаргу,— я работал мастером в одном из лучших парижских ателье, не замечая, что хозяин под видом дружбы всячески эксплуатирует меня.

Потье рассказывает, что не применял ни линейки, ни циркуля, предпочитая пользоваться углем и кистью, и брал мотивы для узоров из мастерской природы:

Я стал художником, делил
Жизнь безалаберной богемы,
Карандашом я выводил
Узор на заданные темы...—

пишет он в песне «Биография». К этому периоду и относится «Песенка рисовальщика», датированная 1861 годом. Поэзия в ней не чурается экономики: «Лохмотьям объявил войну товар дешевый», «За океан увозят тюки ситца...»

В 1858 году русский писатель, друг Чернышевского, революционный демократ М. Л. Михайлов встретился с Потье на литературном вечере. Вот как он описывает эту встречу в «Парижских письмах», напечатанных в том же году в «Современнике»:

«Песенник Потье — добродушный на вид толстяк, с тихим и кротким голосом и большими, черными, очень выразительными глазами... Песни он сочиняет на досуге. У него есть другая «индустрия», которая доставляет ему средства к жизни: он занимается набивкой рисунков на материю. Ведь стихами нельзя жить, разве воспевать то, что не стоит песен. Но тогда — прощай поэзия!»

Здесь завуалирован намек на политические убеждения Потье. В годы реакции он не воспевал «то, что не стоит песен» — Вторую империю...

К этому же периоду относится, по всему вероятию, и песня «Красный Жак». Она была напечатана в 1898 году в альманахе («Almanach de la Question Sociale»). Песня эта была обнаружена автором этих строк в экземпляре альманаха, хранящемся в ИМЭЛ, и после этого была включена в полное собрание песен Потье, вышедшее на французском языке в Париже в 1966 году. Год написания не указан, но датировать эту песню помогает упоминание в ней о бое под Маджентой, когда войска Наполеона III, вторгшиеся в Италию, разбили 4 июня 1859 года австрийскую армию.

Образ Жака, издавна олицетворявший крестьянина во французском фольклоре, вошел в историю: крестьянское восстание XIV века называется Жакерией. Жак у Потье — не Жак-простак, чья хитроватая наивность вошла в поговорку, и не Жак из песни Беранже под тем же названием, безропотно тянущий лямку до гробовой доски. Нет, этот Жак многолик: это — и крестьянин, и рабочий, и солдат; это — собирательный образ бессмертного народа-труженика, который голодает, страдает, гибнет на полях сражений, но рано или поздно возьмет власть в свои руки, ибо он вечен и непобедим: «О нет, Жак не умрет! Храбрец живет!.. Он сеет, жнет... Он любит, ждет... Он в бой идет... Он цепи рвет!»

Призыв последней строфы этой песни: «Вставай, народ забитый, угнетенный!» — явственно перекликается с первыми строками еще не созданного тогда «Интернационала»:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов!

Песенка рисовальщика

Художник, знай:
Нужна для женщин мода.
На тканях оживет весенняя природа.
Художник, знай:
Нужна для женщин мода.
Чтоб стать творцом — природе подражай!

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

Вот облака —
Их формы прихотливы,
Как платья женского капризные извивы.
Вот облака —
Их формы прихотливы,
Зависят от порывов ветерка.

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

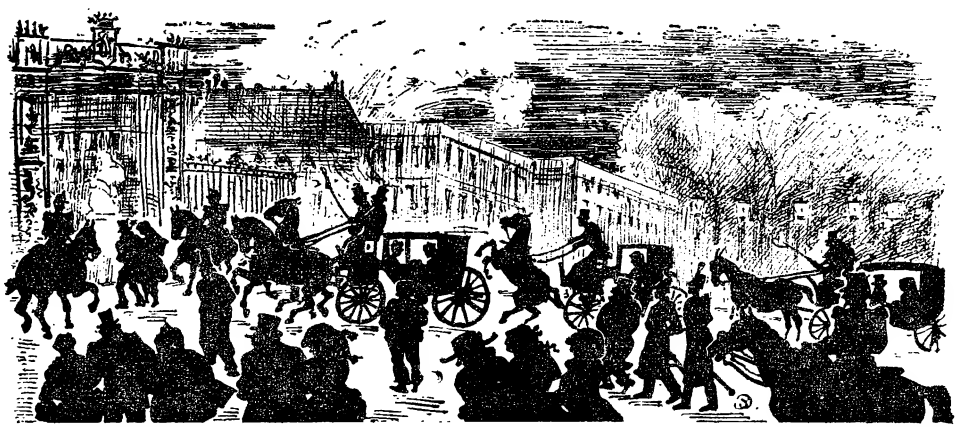
Возьми мотив
У маргаритки нежной:
Зеленый фон, на нем — горошек белоснежный.
Возьми мотив
У маргаритки нежной,
Ее изящный венчик так красив!

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

Волшебник-май
Окутал все вуалью,
Пригорки и холмы покрыл зеленой шалью
Волшебник-май
Окутал все вуалью,
Кашмиру цвет дает он невзначай.

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

Ложись, узор,
На ткани шелковистой!
Тяжелый молоток набьет рисунок чисто.
Ложись, узор,
На ткани шелковистой,
Чтоб кисть моя обрадовала взор!



Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

Ускорь свой ход,
Станок системы новой!
Лохмотьям объявил войну товар дешевый.
Ускорь свой ход,
Станок системы новой!
Красивых тканей требует народ.

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

За океан
Увозят тюки ситца,
Чтоб нации могли сестрой своей гордиться.
За океан
Увозят тюки ситца,
Оденем мы народы многих стран!

Природа перед нами —
Развернутый альбом...
Леса, луга, поля нам станут образцами,
Их краски мы возьмем!

1861

Красный Жак

Сгустился мрак
И все кругом застыло.
Он взят могилой,
Наш Красный Жак...
Ужель погиб бедняк?
Возможно ль? Жак убит,
Без гроба он зарыт
И навсегда забыт?

Нет!
О нет, Жак не умрет,
Храбрец живет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет:
Храбрец живет!

Взгляните: вот
Работает он в поле,
Покорен доле...
Утерши пот,
За плугом он идет.
Силен он и упрям,
И хлеб добудет нам,
Но голодает сам...

Нет!
О нет, Жак не умрет:
Он сеет, жнет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет:
Он сеет, жнет.

Он — у станка...
Весь день для дам красивых
И горделивых
Он ткет шелка.
Его грызет тоска:
Ведь чтобы пропитать
Жену, детей и мать —
Свой саван должен ткать...

Нет!
О нет, Жак не умрет:
Он любит, ждет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет:
Он любит, ждет.

Вот он, обрит,
Становится зуавом,
Солдатом бравым,
Врагам грозит,
Он знамя водрузит!
Но под Маджентой он
Был пулею сражен
И пал, издавши стон...

Нет!
О нет, Жак не умрет,
Он в бой пойдет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет,
Он в бой пойдет.

Он — Прометей,
Он — гений и искатель,
Изобретатель.
Огнем идей
Он озарит людей.
Но, создающий мир,
Зовущий всех на пир,
Он гибнет, нищ и сир...

Нет!
О нет, Жак не умрет!
Он цепи рвет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет:
Он цепи рвет.

Вставай, народ,
Забитый, угнетенный,
Порабощенный!
Вперед! Вперед!
Жак уничтожит гнет.
Всем овладеет он,
И будет им сметен
Наполеона трон.

Нет!
О нет, Жак не умрет,
Он власть возьмет.
Жак, за тебя мы пьем,
Жак, о тебе поем.
О нет, Жак не умрет,
Он власть возьмет!

С. ШЕРЛАИМОВА

ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИСТОРИЕЙ

К проблеме общности литератур европейских социалистических стран

Сколько литературных школ и направлений, сменявших друг друга на протяжении XX века, ушло в небытие! А те ростки революционного искусства, которыми отмечено начало нашего столетия, под вдохновляющим воздействием идей Великого Октября превратились в сильные боевые социалистические литературы, которые и сегодня составляют ведущую силу мирового литературного развития.

Социалистическая литература каждой страны, уходя корнями в национальные культурные традиции, несет на себе печать неповторимого своеобразия. Вместе с тем все интенсивнее идет процесс складывания единой социалистической литературы мира — важнейшее место в ней занимают литературы социалистических стран. Процесс этот по сути дела многократно усиливает воздействие литературы, преданной идеалам социализма.

Формирующаяся общность социалистических литератур — общность особого рода, какой еще не знала история мировой культуры. Роль ее авангарда выпала на долю советской литературы, вот уже 60 лет развивающейся в условиях победившей революции. Велик вклад в этот процесс и литератур других социалистических стран, включая молодые социалистические литературы азиатских стран, Кубы.

В настоящей статье речь пойдет о некоторых аспектах общности социалистических литератур на примере литературы европейских социалистических стран, возникших после победы над фашизмом во второй мировой войне. Общность социально-политических предпосылок, близость по «географическому» признаку, известное родство исторических судеб — все это позволяет выделить указанные литературы, хотя очевидно, что основные закономерности развития едины для мировой социалистической литературы в целом.

■

Понятие «мировая социалистическая литература» начинает становиться реальностью уже в межвоенный период. Великий Октябрь открыл новую эпоху не только в литературе народов СССР, но и в творчестве революционных писателей всего мира. В литературах, рассматриваемых в данной статье, идеи Октябрьской революции и рост рабочего движения привели в 20—30-е годы к созданию революционно-пролетарских течений, объединивших многих выдающихся мастеров слова и существенно повлиявших на общий облик национальных литератур. Если по отношению к периоду социальных потрясений начала XX века можно говорить о зарождении — в противоборстве с модернизмом — нового перспективного типа революционного творчества (Цанкар, Ади, Конопницкая, Безруч, Сова, Нейман), то в межвоенный период происходит блестящая реализация потенций передового искусства в поэзии Х. Смирненского, С. К. Неймана, В. Незва-

ка, В. Броневского, Я. Есенского, А. Йожефа, И. Р. Бехера, в прозе А. Зегерс, В. Бределя, И. Ольбрахта, М. Пуймановой, Л. Кручковского, в драматургии Б. Брехта. Крупнейшие художники слова сознательно посвящают свой талант служению революции. Формируется и марксистская литературная критика, представленная такими именами, как Г. Бакалов и Т. Павлов в Болгарии, И. Фик — в Польше, З. Неедлы, Б. Вацлавек, Ю. Фучик — в Чехословакии.

Революционные писатели разных стран не только сознают и признают родство своих общественных и эстетических идеалов, но и стремятся к созданию международных объединений. Первым таким опытом можно считать Временное международное бюро Пролеткульта (1920). При всей ограниченности пролеткультовской трактовки революционной литературы эта организация способствовала возникновению союзов пролетарских писателей в странах капиталистического мира, росту взаимопонимания между творцами новой литературы. В еще большей мере это относится к деятельности Международного бюро связи революционных писателей (1924), преобразованного на II Международной конференции революционных писателей в Харькове в МОРП (1930).

История МОРП содержит славные страницы борьбы за революционную литературу в капиталистических странах. Но у этого объединения были и очевидные слабости. Некоторые его руководители полагали, будто развитие литературы легко можно направить в надлежащее русло, дав ей соответствующие установки, без достаточного учета местных условий. Такой подход мог нанести лишь ущерб делу революционной литературы.

Многообразный опыт МОРП — как позитивный, так и негативный — предостерегает от недооценки специфики отдельных литератур, от упований на «рекомендации» в противовес кропотливой организаторской и воспитательной работе среди художников, тянущихся к новому искусству. Но он убедительно показал плодотворность объединения прогрессивных писателей разных стран — вскоре оно стало ядром единого фронта мировой культуры против фашизма.

Мировая социалистическая литература складывалась из революционных литератур отдельных стран, тысячами нитей связанных с конкретной общественно-политической ситуацией в каждой данной стране. Вместе с тем революционные писатели и критики-марксисты сознавали глубинное единство идейно-эстетических принципов новой литературы, стремясь к разработке ее теоретических основ.

История марксистской литературной критики XX века — это по сути своей история утверждения в ней принципа партийности искусства в ленинском его понимании, соединяющем рассмотрение литературы как составной части всей партийной работы с отрицанием шаблонного отождествления литературного дела с другими частями общепролетарского дела. .

Анализ ситуации в странах, о которых идет речь, показывает, что закономерностью развития марксистской критики и революционной литературы была борьба, с одной стороны, против вульгарного социологизма, попыток дать точные рецепты для «производства» социалистической литературы, а с другой стороны — против абсолютизации специфики искусства, против лозунгов «абсолютной творческой свободы». В одних литературах на определенных этапах — например, в Польше и Болгарии — отчетливее проступали «суживающие» тенденции вульгарно-социологического толка, в других — например, чешской — заметнее сказывалось влияние разного рода авангардистских заблуждений. Нередко эти крайности сосуществовали как стороны одной и той же медали — неверного понимания сущности искусства и его отношения к жизни общества. По остроумному замечанию чехословацкого критика В. Достала, авангардизм и вульгарный социологизм — «сиамские близнецы так называемой левой литературы»[1].

В статье «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ленин писал: «Перед нами трудная и новая, но великая и благородная задача — организовать обширное, разностороннее, разнообразное литературное дело в тесной и неразрывной связи с социал-демократическим рабочим движением»[2]. Эта задача с неизбежностью должна была встать перед каждой партией рабочего класса. От ее успешного решения в немалой степени зависело укрепление авторитета партии, усиление ее воздействия на широкие массы. Опираясь на опыт советской литературы, марксистская критика напряженно работала над концепцией нового искусства. Эта работа стала особенно интенсивной после того, как на I съезде советских писателей (1934) была провозглашена концепция социалистического реализма.

Возникнув прежде всего как обобщение опыта и художественных завоеваний советской литературы, концепция эта сразу стала явлением международным, ибо, как констатировал в 1936 году чехословацкий критик-марксист Б. Вацлавек, «над ней работали писатели и теоретики во всех странах, поскольку они занимали одни и те же идейные позиции»[3]. Обстановка в капиталистическом мире той поры — все более реальная угроза войны и фашистской агрессии — казалось бы, не располагала к литературным дискуссиям, к теоретическим спорам. Однако именно на этот период приходится подъем и возмужание марксистской литературной критики целого ряда стран. К важным событиям в истории марксистской эстетики, не утратившим значения и в настоящее время, надо отнести, в ча-

---

[1] V. Dostal. V tomto znameni. Praha, 1975, s. 344.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 104.

[3] B. Václavek. Tvorba a společnost. Praha, 1961, s. 220.

стности, дискуссии в Чехословакии в 1934 году о сюрреализме и социалистическом реализме, полемику критиков-марксистов с пражским литературным структурализмом, споры между сторонниками «социального реализма» и сюрреалистами в Югославии и т. п. Нередко дискуссии выходили за рамки одной литературы, получали международный резонанс. Достоянием критиков-марксистов разных стран стало издание в Москве на русском языке фундаментального труда Т. Павлова «Теория отражения» (1936).

В самый канун второй мировой войны на страницах коммунистической печати ряда стран разгорелся спор о современном понимании реализма, связанный с борьбой за единый антифашистский фронт культуры. Разумеется, в пылу полемики высказывались подчас излишне резкие суждения, выдвигались и такие тезисы, несостоятельность которых вскоре обнаружила сама литературная практика. Вместе с тем было сделано немало теоретических открытий; их справедливость не подвергается сомнению и сегодня.

Художественные достижения революционных писателей и труды выдающихся критиков-марксистов 20—30-х годов составили животворную традицию — на нее опирается послевоенное развитие мировой социалистической литературы.

■

Коммунистические и рабочие партии стран, где после второй мировой войны утвердился народно-демократический строй, взяли курс на объединение всех культурных сил на платформе социалистического искусства. Подробное и увлекательное исследование конкретной реализации этого курса в разных странах еще предстоит. Но уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что, начиная с первых послевоенных лет, литература прочно заняла важное место в жизни нового общества. Давно стало привычным, что о развитии литературы идет речь на важнейших партийных форумах социалистических стран, на съездах партий, в докладах, выступлениях и принятых резолюциях.

Все это тем более относится к самому современному периоду, когда построение развитого социализма выдвинуло перед литературой и литературной критикой новые требования. На литературу ложится большая доля ответственности за то, будет ли современный человек в полной мере достоин нашей эпохи, сможет ли он во всем объеме воспользоваться предоставленными ему невиданными прежде возможностями для всестороннего совершенствования. Выступая в ряду с другими видами духовной деятельности, литература призвана еще больше увеличить свой вклад в духовное здоровье общества. Отсюда и повышение требований, предъявляемых сегодня к социалистической литературе.

В докладе Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС прозвучала высокая оценка роли советской творческой интеллигенции и в то же время была подчеркнута грандиозность задач, которые еще предстоит выполнить нашим писателям и художникам. Подобные мысли были высказаны и на состоявшихся в последние годы съездах партий других социалистических стран. Так, в докладе Г. Гусака на XV съезде КПЧ в апреле 1976 года говорилось: «Мы отдаем себе отчет в том, что художественное воплощение революционных перемен, происходящих во всех областях жизни,— сложная задача. Наша партия ценит тех художников и деятелей культуры, которые сознают общественную миссию своего труда, самоотверженно и с творческим запалом служат воспитанию социалистического человека, обогащению его духовной жизни... Наш народ предъявляет высокие требования к культуре и художественному творчеству, хочет, чтобы они были глубоко правдивыми и действенными»[1].

Постоянно заботясь о создании наилучших условий для свободного развития художественного творчества, об укреплении его материальной базы, о воспитании любви к искусству в широких массах трудящихся, коммунистические и рабочие партии социалистических стран большое значение придают и теоретической вооруженности социалистического искусства, упрочению марксистских позиций литературной критики. Об этом свидетельствует, например, постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972), нацеленное на повышение активности критики в проведении в жизнь линии партии. В том же году был принят документ Рабочей группы по вопросам культурной политики при ЦК ВСРП «Некоторые вопросы литературной и художественной критики», где излагаются задачи венгерской литературной критики на современном этапе. Заботой о марксистской методологии современной критики проникнуты и выступления теоретического органа ЦК ПОРП «Нове дроги».

Усиление внимания к идеологическим аспектам культуры и литературы зафиксировано в резолюции о культуре X съезда СКЮ (1974), в материалах прошедшего в Румынии в июне 1976 года Конгресса по политическому воспитанию и социалистической культуре.

В новой программе СЕПГ, принятой IX съездом партии в мае 1976 года, записано: «Социалистическая единая партия Германии поддерживает все усилия, направленные на расцвет социалистического реализма в искусстве». И далее: «Задача литературной и художественной критики — чутко и с принципиальных позиций стимулировать эти процессы»[2]. «Наша партия,— говорил в отчетном докладе на этом съезде Э. Хонеккер,— выступает за богатую духовную и

[1] „Nová mysl", N 5, 1976, s. 60.
[2] «IX съезд Социалистической единой партии Германии», М., 1977, стр. 255.

С. ШЕРЛАИМОВА

ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИСТОРИЕЙ

культурную жизнь, имеющую большую силу идеологического воздействия»[1]. Он подчеркнул, что «программа партии недвусмысленно ориентирует деятелей культуры на художественное творчество в духе социалистического реализма. Без него построение развитого социалистического общества немыслимо»[2].

Стремление полнее использовать духовную силу искусства в борьбе за осуществление гуманных целей развитого социализма отчетливо проявилось в решениях съездов других братских партий.

Столь большое внимание к вопросам литературы со стороны коммунистических и рабочих партий — приметная черта нашей эпохи. В межвоенный период, когда партии рассматриваемых нами стран руководили революционным наступлением на капиталистический строй, будучи еще партиями оппозиционными, гонимыми, а то и просто запрещенными, в собственно партийных документах вопросы литературы не занимали и не могли занимать большого места. Однако в сегодняшних партийных документах нельзя не видеть преемственности в этих вопросах по отношению к трудам славной когорты критиков-марксистов 20—30-х годов, которые в большинстве своем были одновременно видными партийными работниками и пламенными журналистами, практически осуществлявшими в своей деятельности линию партии в области культуры.

Расширился объем задач, стоящих перед литературой, во многом изменился их характер, но неизменным остается отношение коммунистов к литературе как к делу первостепенной важности, от которого многое зависит в настоящем и будущем нашего общества.

Если попытаться определить в самом общем плане наиболее значимые тенденции сегодняшней литературы европейских социалистических стран, то, думается, прежде всего надо говорить об укреплении позиций социалистического реализма, об усилении реалистического начала вообще (что особенно ощутимо после имевшего место в некоторых из этих литератур возрождения авангардистских тенденций в 60-е годы) и одновременно — о все более явственном тяготении литературы к анализу. Эти тенденции можно было бы проследить в разных жанрах, в разных литературах. Остановимся хотя бы на нескольких характерных примерах.

Справедливо говорилось в последнее десятилетие о популярности документальных произведений и мемуарного жанра, об излюбленном многими писателями приеме внесения в художественную ткань произведений элемента философского эссеизма, призванного раздвинуть границы отдельного факта или события до большого обобщения. Не будет, пожалуй, преувеличением видеть в документализме показатель возросшего интереса писателей и читателей к реальной жизни в противовес абстракциям, «мифам», «интеллектуальным» параболам, которые порой искусственно культивировались в литературе предшествующего десятилетия, а в склонности многих писателей к «рассуждениям» — показатель стремления к аналитичности. Интерес к реальному бытию и его осмыслению с философской точки зрения в данном случае проявляется, так сказать, «в чистом виде». Но это — симптомы общего движения литературы в 70-е годы, подчеркиваем, в нем существенно повысился удельный вес реалистического творчества аналитического типа.

Разумеется, анализ действительности с позиций реализма в художественной литературе — отнюдь не новость. В каждой из литератур, которые мы рассматриваем, существуют национальные традиции такого искусства, не говоря уже о его месте в мировой литературе. Но сегодня это понятие приобретает качественно иное наполнение. Бесконечно усложнилась сама действительность, обнаружились требующие более глубокого осмысления грани и внутренние сцепления ее. С другой стороны, исторические горизонты, которые открывает перед человеком развитой социализм, определили новый угол зрения на всю предшествующую эпоху.

Среди привлекших широкое внимание книг последнего времени есть несколько произведений ведущих современных писателей старшего поколения, посвященных раздумьям — на основе свободно трактуемого автобиографического материала — над смыслом жизни, «вечным вопросом», ответ на который помогает найти опыт прожитых лет. Я имею в виду такие произведения, как «Петербург» Я. Ивашкевича, «Влюбленный в жизнь» А. Плавки, «В ладье Харона» Д. Ийеша[1]. Книги, разные по жанру: у Плавки — автобиографическое повествование, у Ивашкевича — своеобразное соединение очерка и эссе, у Ийеша — лирико-философские заметки, мемуарные наброски. Круг проблем, волнующих авторов, также неодинаков. У Ивашкевича это прежде всего история и культура, у Ийеша — человек и труд, у Плавки — борьба против фашизма, борьба за социализм. Но объединяет их новый социалистический гуманизм, стремление поделиться мудростью, добытой долгими годами жизни.

Пафосом размышления близок к названным произведениям мемуарного плана философский роман А. Мештерхази «Загадка Прометея»[2]. Не без иронии и своеобразного лукавства, придающего книге особую привлекательность, писатель «анализирует» мифы, «исследует» побудительные при-

[1] «IX съезд Социалистической единой партии Германии», стр. 103.
[2] Там же, стр. 106.

[1] «Влюбленный в жизнь» А. Плавки публиковался в «Иностранной литературе» № 10, 11, 1972; «В ладье Харона» Д. Ийеша в № 5, 6, 1977.
[2] «Загадка Прометея» Л. Мештерхази напечатана в «Иностранной литературе» № 4, 5, 1976.

чины и реальные результаты поступков любимых героев — Геракла и Прометея, их антиподов, а также обычных, «средних» людей и богов. Он заставляет нас полюбить отважного и благородного автора «двенадцати подвигов», увидеть красоту и поэзию не требующего славы и награды самоотверженного труда Прометея — «доброго бога», хорошего человека: «Он работал. А поскольку знал, что от плохой работы плох и сочиняемый мир, работал точно, красиво, тем более что знал и это: работать стоит только так».

Роман Мештерхази увлекает почти детективным сюжетом, новыми «подробностями» из жизни знакомых с детства античных богов и героев, но остросовременен по гуманистическому пафосу. На наш взгляд, он интересно ставит и особо актуальную ныне проблему отношения человека к работе. Литература социалистических стран в последние годы все чаще обращается к этому центральному вопросу. Цели социалистического общества исключительно высоки, исключительно высоки и его обязанности перед каждым отдельным своим членом и перед человечеством в целом, перед природой, историей и будущими поколениями — об этом красноречиво свидетельствует новая Конституция СССР. И нет другого пути для их осуществления, кроме сознательного и вдохновенного, приносящего общественную пользу и личное удовлетворение труда всех и каждого на своем месте.

Писатели социалистических стран страстно выступают сегодня против «потребительского» представления о труде — лишь как средстве получения определенных благ,— стремятся проанализировать нравственные истоки подлинно социалистического отношения к труду и пути его формирования.

Размышляя над тем, какие задачи должна выполнять культура развитого социализма, министр культуры Словацкой Социалистической Республики известный поэт М. Валек сказал в выступлении на съезде КПС (1976), что, по его мнению, культура «в развитом социалистическом обществе не выполняет ни чисто развлекательной, ни чисто воспитательной, ни чисто эстетической функции, но все более очевидно, что без нее со временем уже нельзя будет обойтись и при решении совершенно практических, например производственных, проблем»[1].

Эти слова не следует, конечно, понимать так, будто Валек ратует, к примеру, за пропаганду в романе новых способов дойки коров или скоростных режимов резания металла. Он лишь справедливо утверждает, что литература, соединяющая в себе возможности и эстетического, и этического, и воспитательного воздействия, в состоянии существенно помочь укреплению социалистического отношения к труду.

Акцентирование нравственной проблематики характерно для многих писателей социалистических стран. Так, изображая рабочий класс и сферу производства вообще, они в первую очередь исследуют возникающие в трудовом процессе человеческие взаимоотношения.

Различное понимание индивидуальной ответственности за свое дело и ответственности коллективной сталкивается, например, в романе польского писателя А. Брауна «Испытание огнем и водой»[1], действие которого происходит сначала на гигантском судостроительном предприятии, а затем на танкере, совершающем рейс в труднейших условиях. Полный драматизма сюжет, сложный характер главного героя и его судьбы — все это служит в романе органическим подкреплением конечного вывода: коллективная ответственность «за каждого» непременно должна сочетаться с ответственностью каждого за самого себя, за общее дело и за всех вместе. И вывод этот звучит не как назидание, а как итог мучительных раздумий и суровой проверки практикой.

Служение делу и работа ради карьеры сталкиваются в романе болгарского писателя А. Наковского «Мир вечером — мир утром» (1973). Современный смысл формулы «работа по совести» (говоря словами Л. Мештерхази — «работать стоит только так!») раскрывается и в повестях чешского писателя М. Рафая «Трудности равнин» (1973) и «Соленый снег» (1976).

Нравственные проблемы выдвигаются на первый план и в новых произведениях, посвященных социальным преобразованиям в деревне. В чехословацкой литературе эта тенденция впервые стала заметна в повести Я. Козака «Марьяна Радвакова» (1961). Тем более это относится к его роману «Гнездо аиста» (1975) и к роману о коллективизации словацкого писателя Я. Йонаша «Одиннадцатая заповедь» (1976). В польской литературе ту же линию представляют произведения Т. Новака и Ю. Кавальца.

Пристальное внимание к духовному миру конкретного человека характерно, как с полным основанием подчеркивают советские исследователи, и для произведений последнего десятилетия, обращенных к периоду второй мировой войны.

Так, Г. Кант в романе «Местопребывание» (1977) подробнейшим образом описывает переживания, воспоминания, раздумья молодого немецкого солдата Марка Нибура, мобилизованного в гитлеровскую армию в самом конце войны и проходящего свои нравственные «университеты» в плену и в тюрьме на территории Польши. Писатель приводит героя к осознанию необходимости не просто «не участвовать в сотворении зла», но и решительно ему противостоять,

[1] „Slovenské pohl'ady" N 5, 1976.

[1] Этому и другим романам А. Брауна посвящена рецензия В. Хорева в «Иностранной литературе» № 8, 1977.

С. ШЕРЛАИМОВА

ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИСТОРИЕЙ

активно с ним бороться, показывает интернационалистскую природу подлинного гуманизма.

Обостренное чувство справедливости, умение обнажить зло, скрывающееся под маской респектабельного мещанства, отличает романы Я. Коларовой «Мой мальчик и я» (1974)[1] и «Общее преступление» (1976) Э. Галгоци, исследующие причины поведения людей в кризисной для родины ситуации. В первом случае таким испытанием оказываются события 1968 года в Чехословакии, во втором — события 1956 года в Венгрии. Прошлое — «больное прошлое» — рассматривается здесь сквозь призму настоящего, во имя будущего.

В современном романе анализ, как правило, теснит или, вернее, пронизывает описание. Было бы ошибочно видеть в аналитичности нечто противостоящее такой категории социалистического искусства, как открытая гражданственность. По существу речь идет о новом осмыслении и углублении этого основополагающего качества социалистической литературы, свидетельствующем о ее социальной зрелости. Это требует от писателей высокого уровня философского, политического, социального мышления, четкой идеологической позиции. Социалистическая культура, как справедливо заметил известный словацкий прозаик В. Минач, «должна найти в себе достаточно сил и отваги, чтобы бороться за будущность человечества. Это возможность, предоставленная ей историей, и ее исторический долг — это то, что называется идеологическим наступлением и составляет истинную сущность нашего социалистического гуманизма».

Эпоху развитого социализма отличает совершенствование форм и методов идеологического наступления в литературе. Известный теоретик литературы Г. Кох (ГДР) считает нужным подчеркнуть, что «еще большую роль, чем прямые атаки на врага, играют сегодня в идеологической борьбе художественные открытия того, что присуще социализму», и предупреждает: «Украшательство не выдерживает столкновения с действительностью. Это было бы не самосознание, а самообман».

Социалистическая литература не отказывается от критики теневых сторон современной действительности, но она стремится обнаружить их истоки, выявить их неорганичность для социалистического общества, воспитать в людях нетерпимость к рвачеству, накопительству, эгоцентризму, заскорузлому национализму, умение распознать их под новомодными одеяниями. Понимаемый таким образом критический пафос — важная черта современной литературы, успешно преодолевающей нигилистические тенденции, порой дававшие о себе знать в предшествующее десятилетие, и в то же время смело вскрывающей диалектические противоречия современной жизни — во имя победы подлинно гуманистических идеалов.

[1] Главы из этого романа опубликованы в «Иностранной литературе» № 1, 1975.

■

Говоря о формировании общности литературы европейских социалистических стран, нужно прежде всего подчеркнуть специфику этой общности, памятуя ленинское положение о том, что «литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством»[1].

Марксистская критика еще в межвоенный период стремилась установить, что сближает революционные литературы мира, в чем они едины. Этот вопрос понимался тогда как вопрос об общем с советской литературой и отличиях от нее. Так, чешский критик-марксист К. Конрад в дискуссии о социалистическом реализме (1934) утверждал, что социалистический реализм в чешской литературе объединяет с социалистическим реализмом в советской литературе теоретическая концепция, то есть марксистская эстетика, социалистическая перспектива, то обстоятельство, что он не исключает революционную романтику при воплощении пролетарского героизма, ориентация на целостного человека во всем его богатстве[2].

Представители критики советской, такие, как Луначарский, и наиболее дальновидные критики-марксисты зарубежных стран понимали общее в революционных литературах на уровне того, что в докладе Л. И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» определено как дух и принципиальное содержание культуры[3]. В литературно-критической практике они одобрительно относились к жанровым и стилевым исканиям социалистического искусства при условии их подчиненности содержанию и революционному духу произведения.

Возникновение мощного социалистического содружества предопределило принципиально новый характер взаимоотношений между литературами стран, в него входящих. Задача теоретического осмысления происходящих процессов встала перед литературной критикой. При этом весьма поучителен опыт исканий в названном направлении, не обошедшихся в отдельные периоды без существенных ошибок.

Известно, что в 50-е годы недостаточное внимание к специфике искусства проявилось в упрощенном подчас толковании общего в молодых литературах социалистических стран. В свою очередь, последующее десятилетие в целом ряде литератур отмечено негативными тенденциями обратного порядка — чрезмерным «выпячиванием» особенного в национальных литературах. Под предлогом «национальной специфики» некоторые критики тех лет пытались уве-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 101.

[2] См.: «Марксистская литературная критика в Чехословакии 20—30-е годы». М., 1975, стр. 225.

[3] См: Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. М., 1972, стр. 21.

сти чешскую, польскую, румынскую, югославскую литературы с социалистического пути, навязать им стандарты модернистского искусства, которые якобы более соответствуют их исконным традициям. Укрепление позиций социалистического реализма, характерное для литератур социалистических стран в 70-е годы, ознаменовалось растущим интересом — как в Советском Союзе, так и в других странах — к проблемам общности социалистического искусства в их диалектическом отношении к национальному, специфическому.

В качестве примера можно привести получившую широкую известность книгу словацкого ученого Д. Дюришина «Теория литературной компаративистики», в которой выдвигается положение о «принципиальной классификации мировой литературы на два различных течения. Это внутренне единое течение мировой социалистической литературы и конгломерат несоциалистических национальных литератур, художественных методов и направлений»[1]. Совершенно очевидно, что изучение общих закономерностей в разных литературах и межлитературных объединениях плодотворно только в том случае, когда оно базируется на подлинно научном исследовании каждой национальной литературы — ее истории и современного состояния. По мере развития экономической интеграции социалистических стран расширяется и их идеологическое сотрудничество. Это создает предпосылки и прочный фундамент новой межлитературной общности, которая в свою очередь ускоряет сближение социалистических стран во всех других областях. Однако сближение в области литературы относится к сфере ее основных принципов, оно подразумевает укрепление позиций марксистской эстетики, связей с жизнью социалистического общества и его целями. Суть формирования общности социалистических литератур заключается в их взаимообогащении, в росте не только их жанрово-стилевого, но и проблемно-тематического многообразия на единой основе марксистского мировоззрения и социалистического гуманизма.

Противники социалистического реализма всегда стремились представить общее в социалистических литературах как результат подражания, как одинаковое. На самом же деле общее, то ценное общее, что становится достоянием всех социалистических литератур, непременно возникает как разное, и оно невозможно вне национальной специфики, вне своеобразия формы. В свою очередь особенное в отдельных национальных литературах привлекает нас не тогда, когда оно «ни на что не похоже», а, напротив, именно тогда, когда оно в специфической форме на специфическом материале по-своему решает нечто важное для всех, важное общее.

Схожесть процессов реальной действительности выдвигает перед писателями социалистических стран родственные задачи, от самых общих до вполне конкретных. Это и приобщение широких масс к труду на новых социалистических основах производства и производственных отношений, воспитание хозяйского отношения к заводу или стройке, это и сложная ломка психологии крестьянина-собственника в ходе коллективизации сельского хозяйства, это и борьба с бациллами приобретательства и с обывательским культом вещей, и новые отношения в семье, новое понимание человеческого счастья. Это и воспитание интернационализма, выработка марксистского взгляда на отечественную историю, чуждого национальной ограниченности и эгоизма, но одновременно преисполненного законной национальной гордости.

Задачи общие, но в каждом конкретном случае — и особые. Художественное решение их может быть действенным только при большой чуткости к их специфической окраске в данной национальной среде.

Исследования последних лет убедительно показали наличие на современном этапе общих черт в литературах социалистических стран. В области тематики это, например, синхронные возвращения к эпохе второй мировой войны и антифашистского Сопротивления, к периоду ломки привычного уклада жизни в процессе приступа к строительству социализма в 50-е годы, повышение интереса к производственной теме и жизни современного села. Уже шла речь о популярности документалистики и мемуарного жанра, о широком распространении эссеистских приемов. В области романных форм отмечают обычно частое применение композиции по типу монтажа, свободное чередование временных пластов повествования, полифонию голосов рассказчиков. Наряду с этим наблюдается (и в последнее время — все явственнее) обновление интереса к традиционным романным формам, включая такой сложный и ответственный жанр, как эпопея. Вместе с тем очевидно, что литературы социалистических стран — именно как литературы социалистические — в первую очередь объединяют явления иного уровня: движение познания и поиски новых способов изображения изменяющейся действительности с позиций партийности литературы.

Сопоставляя такие заметные произведения, как «Пьяный дождь» Й. Дарваша, «Знамена» М. Крлежи, «Военное счастье» М. Лалича, «Десять заповедей» Е. Брошкевича, «Мой мальчик и я» Я. Коларовой, «Чудодей» Э. Штриттматтера, мы прежде всего должны признать, что каждое из них сугубо привязано к национальной истории, нацелено на обрисовку характеров, типичных для различных слоев данной нации.

[1] D. Ďurišin. Teória literárnej komparatistiky. Bratislava, 1975, s. 330.

С. ШЕРЛАИМОВА
ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИСТОРИЕЙ

Вместе с тем эти романы объединяет общая проблематика формирования личности в XX веке, проблематика духовной предыстории нашего современника, становления человека социалистического общества в его преемственности по отношению к прошлому, в его отрицании этого прошлого. Общность, порождаемая идеалами социалистического гуманизма, служит здесь основой для самого широкого разнообразия художественных средств, приемов и жанровых форм. Отметим, что «абсолютная свобода» авангардизма, напротив, всегда оборачивалась и оборачивается на практике категорическим предпочтением лишь определенного круга «экспериментальных» шаблонов.

Художественные достижения социалистических литератур убедительно подтверждают перспективность социалистического реализма как новой ступени эстетического развития человечества.

Произведения писателей европейских социалистических стран неизменно привлекают внимание наших читателей, знание их важно для теоретиков, но не менее существенно и для практической деятельности современной литературной критики. Сегодняшний критик, вынося суждение о новаторстве того или иного художественного произведения, уже не может основываться только на опыте отечественной литературы — ему необходим более широкий взгляд, надежная информированность о положении вещей в братских социалистических литературах. Это помогает точнее выверить оценки, правильнее ориентировать и читателей, и творцов литературы.

Общность социалистических литератур, играющих сегодня все более весомую роль в прогрессе социалистического общества, определяется единством их метода — социалистического реализма, доказавшего на протяжении истории литературы XX века способность к бесконечному развитию, к созданию новых, неожиданных, впечатляющих художественных произведений.

◆

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ

АМЕРИКАНСКИЙ БУРЕВЕСТНИК

Горас Тробел и революционная Россия. Неизвестные и забытые страницы демократической литературы США

Слава и забвение

«На своей родине я отверженный... Мне вынесен беспощадный приговор... Но я знаю — так и должно быть. Ибо я — нарушитель спокойствия... Словом, зовущим к действию, я вызываю бурю на море, по которому плывет ваш корабль»... Это гордое и горькое признание прочла я в небольшом прогрессивном журнале «Консерватор» («Хранитель традиций»), выходившем в Филадельфии с 1890 по 1919 год.

История литературы знает немало примеров того, как предавалось забвению творчество писателей, опередивших свое время. Случалось и так, что писатель входил в нее в несвойственном ему обличии. Становилась объектом внимания лишь одна сторона его деятельности, далеко не исчерпывающая гражданской и творческой сути автора.

Именно такова необыкновенная и трагическая судьба Гораса Лого Тробела (1858—1919). Русскому читателю он неизвестен. И не только ему: произведения и мужественная борьба этого человека скрыты завесой тайны и от нынешнего поколения его соотечественников. Усилиями консервативно настроенных американских критиков до сих пор считается, что Тробел представляет интерес лишь как друг, биограф и литературный душеприказчик Уолта Уитмена. «Американским Эккерманом», «новоявленным Босвеллом» называют его в курсах истории литературы США. Так и видится покорная долгу фигурка с пером в руках рядом с креслом великого старца. Вся — готовность запечатлеть изреченную мысль. Тень, нашедшая собственную сущность в отражении.

А между тем, как выяснилось, для наиболее проницательных современников имя Тробела никогда не было всего лишь отзвуком чужого имени.

Коммунистом — само это слово было тогда крамольным даже для некоторых представителей социалистического движения в США — по праву называли Тробела единомышленники. «Великим демократом» окрестил его Юджин Дебс. Уважением к Тробелу — поэту и борцу — проникнуты отзывы о нем Джека Лондона и Бернарда Шоу, защитника негров Уильяма О'Коннора, вольнодумца Роберта Ингерсола, собрата по перу Эдвина Маркхэма.

Сегодня у себя на родине Тробел—«аутсайдер», «чужак». Ни в одном историко-литературном издании его творчество не рассматривается всерьез и объективно, в лучшем случае удостаиваясь беглого упоминания. Не переиздаются «Гимны коммуны», великолепная ода человеку труда «Оптимос», поэма о «Титанике», привлекшая — мы об этом расскажем — внимание В. И. Ленина.

Обращаясь к жизни Тробела, положимся на мудрость Вольтера, заверяющего, что «глаза дружбы редко ошибаются», и дадим высказаться друзьям. Первое слово — соратнику, с кем плечо к плечу до конца дней сражался Тробел за торжество социалистических идей. Кого, тяжело больной, на грани смерти, поддерживал в Атлантской тюрьме, заточенного за антивоенную пропаганду. Это — Юджин Дебс, высоко ценимый В. И. Лениным организатор аме-

Портрет Г. Тробела в книге, подаренной М. Горькому. На портрете надпись: «С Вами во всем до конца».

риканских левых сил, составивших впоследствии ядро Коммунистической партии США.

...«Ни один из писателей, чьи имена знакомы американскому народу, не обладает столь ярко выраженной индивидуальностью, как Тробел...— пишет Дебс.— У него острое зрение провидца, аналитический ум философа, дерзкое воображение поэта и героическая душа человека, способного на величайшие жертвы... Неукротимый потрясатель устоев, он смело устремляется к правде, страстно требует справедливости. Никакие преграды ему не страшны».

Слово Элле Рив Блур, «матушке Блур», как любовно говорят о ней труженики в Соединенных Штатах. «Дорогим другом многих лет жизни, товарищем» называет она Тробела в письме, копию которого любезно прислал нам ее сын, историк-марксист Карл Рив. «Я обязательно расскажу о Горасе в своей «Автобиографии»,— писала Блур. А в 1940 году в прогрессивном издательстве «Интернэшнл паблишерз» вышла ее книга «Нас много». «Хроникой семидесяти пяти лет борьбы» назвала Элизабет Гёрли Флинн, член руководства Компартии США, этот труд. Отдавая должное жизни-подвигу соратницы, Флинн подчеркнула значение, вложенное Эллой Блур в название книги: «Она пишет о настоящих американцах, о тех, кто до конца защищал интересы американских трудящихся». Среди них — Горас Тробел.

Он не умел оставаться равнодушным. Во все мгновенья жизни Горас Тробел — в бою. За достоинство и права труженика, за активное участие писателя в становлении Человека. Это бой против проповедников деидеологизации литературы и искусства, против философов, пропагандирующих идеалы так называемого «этического социализма» в противовес социализму действенному, революционному.

Решение воссоздать подлинный образ Тробела — поэта, публициста, борца, для которого литература была «оружием — могучим средством достижения грандиозной цели»,— повело нас в сложный и увлекательный поиск. Разыскания велись в архивах и библиотеках Советского Союза, США, Англии, Германии, Франции. Нашими помощниками и союзниками стали живущая в Филадельфии Гертруда Тробел — дочь Гораса Тробела, редактор коммунистического журнала «Нью уорлд ревью» Джессика Смит, уже упомянутый Карл Рив. Активное содействие оказали товарищи из газеты «Дейли уорлд», сотрудники Библиотеки Джона Хея Брауновского университета (город Провиденс, штат Лонг-Айленд), Библиотеки конгресса, Нью-Йоркской публичной библиотеки и многие другие.

Более шестидесяти лет оставалось неизвестным, не соотнесенным с подлинной личностью поэта ленинское высказывание об отрывке из поэмы Тробела о гибели «Титаника». Горас Тробел — новое имя в лениниане, не так уж богатой именами американских писателей.

Итак, восстановим некоторые, незаслуженно забытые страницы жизни и творчества поэта, который «приветствовал восставших, на чьих знаменах начертано «Победа!». В их числе и те страницы, что тесно связаны с революционной Россией.

«Горькому... с любовью»

«Уот Уитмен, Горас Траубел[1]... Верхарн и Уэллс, А. Франс и Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством»[2]. Около семи десятилетий прошло с тех пор, как эти слова А. М. Горького из статьи «Разрушение личности» увидели свет. Единственным вышедшим тогда сборником поэзии Тробела были «Гимны коммуны» (1904). Неудивительно волнение, с которым мы открываем небольшой, скромно изданный томик, проделавший далекое путешествие из Вашингтона в Ленинград. Кто знает, быть может, познакомившись именно с ним, мог прийти Горький к пониманию взглядов своего американского единомышленника.

Задача автора «Гимнов» — показать, «как поставила паруса история, куда гонит вихрь революции корабли», что видятся ему на заре столетия... В этом целеустремленном движении Тробел отводит себе

[1] Так транскрибирует его фамилию Горький. *(Прим. автора.)*

[2] М. Горький. Собр. соч. М., 1953, т. 24. стр. 48—49.

роль провозвестника свободы, видит свою миссию в том, чтобы «людям, чьи жизни прокляты, передать пароль для входа в будущее».

Широкими, решительными мазками рисует Тробел образ Наживы, воплощающей основную силу, на которой держится ненавистный поэту миропорядок. Это она осознает себя владыкой земли и людей:

Не станет меня, и превратится мир
в пустыню.
Все беру я себе — до последнего ростка.
. . . . . .
Это я притаилась у каждого очага—
и жду своей добычи.
Человек родился—он уже мой! Умирает—
он все еще мой!
. . . . . .
Восстанете против меня — смерть вам!
Это говорю я, чье имя—Рента, кого
зовут—Прибыль, я—Нажива![1]

Когда создавались «Гимны коммуны», горьковская «Песня о Буревестнике» была широко известна в России. Перевод ее в США появился лишь в 1906 году. Однако в списках произведение Горького циркулировало в Германии и других странах значительно раньше. Был ли знаком с ним, создавая свои «Гимны», Тробел? Независимо от того, насколько реально это предположение, несомненно глубокое сходство настроений обоих авторов, вскоре выразившееся, как удалось установить, в их взаимном уважительном интересе друг к другу. Речь в данном случае идет не о влиянии горьковского «Буревестника» на Тробела, а о родстве их взглядов на некоторые общие задачи русского и американского рабочего движения.

Яростно опровергает Тробел бытующее в американских оппортунистических кругах представление о том, что «мир не готов к социальной схватке», что «его оповестят, когда придет час». Интонации оратора, трибуна, как это вообще свойственно его творческой манере, звучат в обращении Тробела к угнетенным:

Кто же должен готовить мир к действию,
Как не вы сами?
Отказаться от этого—быть предателями
Времени.
Не ждите, пока вас призовут.
Сами зовите себя к действию.
Вслед за собой ведите весь мир!

Источник революционного оптимизма Тробела — неизбежность бури, чьим глашатаем выступает поэт в гимне «Перед грозой».

«Буря скоро грянет! — американский буревестник Горас Тробел взволнованно оглядывает горизонт.— Какой простор! Для могучих потоков свежего воздуха, светлых идеалов, любви к человеку». Увенчает «грядущую великую бурю» — в этом уверен Тробел — коммунизм.

«Буря грядет!» — так, почти буквально горьковской фразой, приветствует автор «Гимнов» наступающий шторм.

Давая отповедь «вечным скептикам», Тробел ведет с ними спор о том, каким будет человек будущего: «Вы говорите, что не хотели бы жить в мире, где все люди ангелы. И я к этому не стремлюсь. Мне всегда как-то не по себе в компании ангелов. Но мир будущего не будет населен ими. Это мир людей, которым не чуждо ничто человеческое. Людей, одержимых страстями... И, солидаризуясь с Горьким, Тробел воспевает людей коммунистического будущего. Они — люди «нового типа», каждый может «сам оснастить свой корабль, наполнить жизнь содержанием, отвечающим его интересам...»

«...Осветить дорогу в коммунистическое завтра, бросить боевой клич труженикам всех стран»... В этом увидел официальный орган социалистической партии США журнал «Комрид» значение тробеловских «Гимнов». В рецензии, опубликованной 5 марта 1905 года, говорилось: «Тробел противопоставил свое учение проповеди рабства, уходящей в глубь веков».

Самые вдумчивые и проницательные современники поэта высоко оценили его произведение. Вскоре оно было переведено на немецкий язык под названием «Коммунистические гимны. Зов к пробуждению», почти одновременно с немецким изданием состоялся перевод «Гимнов коммуны» на голландский и японский языки. Восторженно высказались о «Гимнах» Юджин Дебс, Элла Блур, Хэлен Кэмпбелл. «В них,— уверенно писала эта американская журналистка,— трепетный, страстный призыв к угнетенным всей земли. Здесь решается вечная для всех времен проблема Труда и Капитала. То, как решает ее Тробел, вызвало бы восторг у Маркса».

С именем Маркса связывал «Гимны коммуны» и друг Тробела, американский социалист Д. Карснер: «Это произведение — манифест грядущей социалистической демократии. Оно зиждется на экономическом учении Карла Маркса».

Официальная литературная критика США обошла молчанием «Гимны коммуны». Лишь в 1920 году, уже после смерти их автора, прогрессивный американский журнал «Фримен» опубликовал следующие строки: «Именно в «Гимнах коммуны», с их чудесным провидением и пророчеством, Тробел проникновенно обращается к людям... Начав с объяснения причин, вызвавших современное состояние брожения и социальные волнения в мире, выступив как обличитель несправедливого общественного порядка, он стал провозвестником мира света и любви».

Такова судьба первого произведения Тробела на его родине. Тем более примечательна прозорливость Горького, уже в 1907—1908 годах включившего Тробела в плеяду славных писателей, пришедших «к социализму, к проповеди активности»...

Где же и как познакомился с «Гимнами коммуны» Горький? Со страницы журнала «Комрид», где напечатана рецензия на

[1] Здесь и далее переводы принадлежат автору статьи.

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ БУРЕВЕСТНИК

«Гимны коммуны», на нас смотрит портрет молодого Горького. И здесь же, словно подтверждая живую связь русского и американского буревестников революции, редакция журнала опубликовала перевод отрывка из рассказа Горького «Перед лицом жизни». Это совпадение (случайное ли?), естественно, могло привести к тому, что номер журнала попал в руки Горького и рецензия на произведение Тробела, где цитируются яркие строфы поэмы, оказалась в поле его зрения.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: мнение Горького о Тробеле, высказанное в статье «Разрушение личности», разделяет их современник, американский журналист В. Уоллинг. «Тробел,— пишет он,— предтеча новой литературы... По всей вероятности — ведущий писатель в этой стране, если не во всем мире, чье творчество всецело служит социализму, вырастает исключительно из социализма... В нем мы видим предшественника писателей-социалистов».

Знал ли Горький мнение Уоллинга о Тробеле? Из книги Уоллинга «Миссия России», вышедшей в свет в Нью-Йорке в 1908 году, нам стало известно, что незадолго до поездки Горького в США журналист «беседовал с... главным писателем партии в глуши финских лесов». Сопоставив ряд фактов, подтверждение этой встречи находим и у Горького. Уоллинг, очевидно, мог повести с ним речь и об американском буревестнике, о «Гимнах коммуны», словно непосредственно адресованных восставшему народу России.

Оба предположения о знакомстве Горького с личностью Тробела и его «Гимнами» оставались гипотезами. Нам же, естественно, хотелось встать на твердую почву фактов. И вновь — письма за океан, запросы в архивы и научные центры, поиски лиц, знавших Тробела.

Первые результаты не обнадеживали. Нет никаких доказательств личных контактов Горького и Тробела. Получен ответ из Отдела рукописей Библиотеки конгресса: в фонде Тробела горьковских писем нет. Кажется, круг замкнулся... Но вот в подшивке американских газет семидесятилетней давности находим подтверждение — и не просто знакомства Горького с творчеством Тробела, а их личной встречи. Она состоялась в Филадельфии весной 1905 года, когда с поручением от ЦК РСДРП Горький совершал поездку по Соединенным Штатам. Сегодня к именам американских писателей, которых социалистический журнал «Лейбор» назвал в те дни «коллегами и друзьями» Максима Горького, мы можем добавить имя Гораса Тробела.

28 мая Горький выступил в Филадельфии с докладом «Царь, Дума и народ». На встречу с посланцем революционной России пришло несколько тысяч человек. Восторженно приветствуют писателя Тробел и другие члены комитета по организации встречи Горького, расположившиеся рядом с ним на сцене. Громом оваций поддерживает их зал. Филадельфия воздает должное писателю и революционеру. Мы читаем об этом в местной «Пресс», где Тробел назван «одним из тех, кого сами филадельфийцы сочли наиболее близким Горькому по духу».

Перенесемся мысленно в зал филадельфийской оперы. Рядом с Горьким — Тробел, он с напряжением вслушивается в глуховатый голос, читающий «Песню о Буревестнике», и повторяемый переводчицей призыв к буре, такой близкий ему, так страстно выраженный в его «Гимнах».

29 мая Горький уезжает из Филадельфии. Тепло прощается он с членами комитета, с Горасом Тробелом. Имя поэта, ищущего «путь к источнику живых сил», останется в памяти русского писателя. Год спустя в статье «Разрушение личности», определяя этот путь как «путь к социализму», он назовет Гораса Тробела среди тех, кто не дает «капиталистическим организациям... суживать личность, подчиняя ее индивидуалистические стремления своим целям, развивать в личной психике пассивность»...

«Максиму Горькому с пылкой и безграничной любовью. С Вами во всем до конца» — эти написанные выцветшими от времени чернилами строки обнаружены нами на фронтисписе книги, подаренной в 1913 году Тробелом Горькому. Значит, не оборвалась цепочка взаимного интереса, свидетельствующая о родстве целей и идеалов его и автора «Гимнов коммуны». Длительные и увлекательные разыскания привели нас к этой неразборчивой вязи дарственных слов, под которой стоит еще более неразборчивая подпись: «Горас Тробел».

Если не знать характерной манеры написания букв, сливающихся в одну линию, трудно разобрать не только, кем подписаны обращенные к Горькому слова, но и имя самого адресата. Этим, очевидно, объясняется то обстоятельство, что книга, подаренная Горькому американским поэтом, не привлекала внимания.

С именем Горького непосредственно связано влияние идей русской революции на развитие мирового литературного процесса. Оно не раз становилось предметом исследования и в Советском Союзе, и в США, однако ни советские, ни американские исследователи ни разу не упоминают в этой связи имени Тробела. Между тем отношение к Горькому Тробела — наследника демократического идеала Уитмена в литературной традиции — безусловно заслуживает внимания. Близость идеологических позиций обоих писателей, личные контакты еще раз подтверждают наличие некоторых общих закономерностей развития прогрессивной общественной мысли в первые десятилетия XX века. Интерес Тробела к творчеству Горького — одно из частных, но типических проявлений интенсивного воздействия на американский философский и литературный климат вольнолюбивых идеалов, формировавшихся в начале столетия в России — центре революционной мысли.

Ленин читает Тробела

В эпоху революционного подъема в России перед марксистской печатью, прежде всего перед редакцией ленинской «Правды», остро встал вопрос о международной социалистической пропаганде. Нет ли каких следов, свидетельствующих о внимании большевистских газет и журналов к явлению, столь своеобразному, каким было творчество Тробела? Но поставить такой вопрос — значит вновь предпринять поиск. На этот раз — в русской революционной прессе... В самом деле, открыв 122-й номер «Правды» за 29 мая 1913 года, мы находим имя Гораса Тробела. Обратившись к цензурной истории номера 122 (326), узнаем, что на этот номер был наложен арест за помещение в отделе «Рабочее движение» заметки о стачке 76 рабочих Сестрорецкого оружейного завода. Такая же участь постигла и номер 123-й «Правды», полностью повторяющий изъятый 122-й номер. Теперь уже — за материалы, которые за день до того не считались «крамольными». Среди них — отрывок из поэмы Тробела.

Итак, перед нами на четырех колонках убористого шрифта перевод стихотворного текста. Стих — свободный, нерифмованный, в обычной для Тробела манере. Газета предваряет публикацию кратким введением: «Отрывок из поэмы Тробеля (Horace Traubl), американского поэта бывшего рабочего, испытавшего все превратности жизни пролетария и отстаивающего со страстью жизнь, труд и народ. Отрывок из поэмы о «Титанике» переведен на французский язык Л. Базальжетом». Внизу — подпись: «Перевела Людмила Сталь».

Тема нового произведения Тробела — трагическая гибель океанского лайнера «Титаник», в апреле 1912 года натолкнувшегося на айсберг. «А машинисты погибли все...» — так озаглавлен отрывок из поэмы, помещенный «Правдой».

«Я буду славить безымянных,— определяет свой замысел Тробел.— Вы прославляете имена, считаете, сколько денег утонуло в первых классах, позвольте же мне сосчитать, какая часть человечества погибла в машинном отделении...»

Тробел бросает гневный вызов поработителям: «Мир труда вы превратили в трюм парохода. Вы загнали туда всех рабочих. Они живут и умирают там без надежды... Их уносит голод, их калечит машина... Ваши прибыли сделали из жизни тюрьму...» Стремлением пробудить пролетарское сознание в тех, кто задавлен гнетом, пронизан весь текст фрагмента.

Думается, не будет преувеличением сказать, что такова уж, вероятно, особенность творчества Тробела: оно, как магнит, притягивает тех, чьим подлинно демократическим интересам отвечает настрой его стихов. Среди них — Леон Базальжет, биограф и переводчик Уитмена, Верхарна, Лемонье, автор ряда трудов, высоко оцененных современниками — Анри Барбюсом, Роменом Ролланом. Благодаря Базальжету Тробел заговорил по-французски. Следующий этап истории публикации в «Правде» — перевод отрывка из поэмы на русский язык, сделанный Людмилой Сталь.

Скажем сразу, знакомясь с личными бумагами Людмилы Николаевны, любезно предоставленными нам ее родными, мы не обнаружили ни переписки с «Правдой» в связи с поэмой Тробела, ни черновика перевода, ни французского текста отрывка. Однако ясно, что интерес к творчеству пролетарского поэта Тробела, публикация в «Правде» перевода отрывка из «Титаника» — не случайный эпизод. Он, естественно, входит в сферу деятельности Л. Н. Сталь — активного члена большевистской партии. Недаром, предваряя публикацию стихов Тробела, «Правда» писала: «Тробел отстаивает со страстью жизнь, труд и народ». Отстаивая жизнь, американский поэт, словно предчувствуя надвигающуюся мировую бойню, выступает ярым противником кровавых войн. «Я ненавижу ваши войны,— звучит его голос со страниц «Правды».— Они крадут у меня моих людей. Какое мне дело до ваших денег в банке? Жизнь одного человека дороже всех денег...» Это пишет современник английской экспансии в Африке, свидетель того, как американский империализм, прикрываясь доктриной Монро, расправлялся с освободительным движением Филиппин, захватывал Панаму, превращал в колонии Кубу и Гавайские острова...

Конец несправедливым войнам, уверен поэт, положат рабочие, проявив «объединяющую разные расы добрую волю». «Пусть их называют безумцами и фанатиками. Но когда судьбы человеческие окажутся в их руках, на всей земле наступит мир».

Этой бескомпромиссной позиции остается Тробел верен и в годы первой мировой войны. Каким мужеством, каким высоким чувством интернационализма надо было обладать, чтобы в пору кульминации шовинистического угара произнести слова, прозвучавшие спустя два года после публикации в «Правде» фрагмента из «Титаника» со страниц «Алтона таймс»: «...Я — антинационалист, антишовинист... Все мои помыслы с народом... Я хочу сплотить народы, населяющие землю. Хочу, чтобы простые люди знали, что эта планета — их законное достояние...»

Тробел мечтает о дне, когда «будут уничтожены все плутократии, все земельные и финансовые магнаты, все и всяческие рыцари наживы во всем мире... Они—самое большое препятствие. В них— неизбежность всех несчастий, обрушивающихся на человечество. До тех пор, пока они существуют, войны неизбежны. Когда их сметут с лица земли, исчезнут причины войн». Так пишет Тробел, язвительно

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ БУРЕВЕСТНИК

высмеивая ортодоксальных пацифистов, «тщетно пытающихся положить конец войне, не вырывая корней этого бедствия...»

Именно эти выступления Тробела имел в виду Ю. Дебс, отдавая дань своему другу. «Перо Гораса Тробела,— пишет он,— принадлежит к самым энергичным и острым из всех, что когда-либо были направлены против войны, за мир и добрую волю между народами и людьми».

Обнаруженная в «Правде» публикация отрывка из тробеловского «Титаника» привела нас к мысли, что появление его в партийной печати означает знакомство с ним В. И. Ленина в Поронине; Ленин в этот период весь погружен в мысли и заботы о «Правде». Он, по существу, редактирует газету. В одном из писем в редакцию «Правды» Ленин предложил следующий порядок отправки ему газеты: «Нельзя ли посылать бандеролью *полосы корректурные?*.. Уходя ночью, выпускатель бросал бы бандероль в почтовый ящик — и все» [1]. С тех пор, уже ранним утром, как только на Ивановской улице приступали к печати очередного номера «Правды», обязательно отправляли пакет с двумя экземплярами для Ленина. Таким же образом, видимо, были посланы ему и номера 122—123 со стихами американского поэта.

Могли ли пройти мимо внимания Владимира Ильича столь созвучные его умонастроению строки? Не откликнулся ли Ленин на публикацию?

Ищем подтверждения этой догадке, внимательно, строка за строкой, исследуем ленинские письма и статьи того периода. И вот абзац в письме из Поронина в «Правду» от 3 (16) июня 1913 года — всего лишь пять дней спустя после появления в «Правде» отрывка из поэмы. Последовательно, по пунктам перечисляет Ленин свои предложения, планы, оценивает работу редакции. В пункте 4-м читаем: «Статья Витимского в № 123 особенно удалась, по-моему. Поздравляю автора. А *Сталь*, по-моему, перепечатать: хорошо!»[2] Итак—номер 123 и имя переводчицы Тробела!

Теперь понятно, почему остался неизвестным советским и зарубежным литературоведам факт знакомства В. И. Ленина с американским поэтом, ленинская оценка его стихов. В затерявшейся среди огромного наследия Ильича скромной строке, как мы видим, не названы ни прочитанное Лениным произведение, ни автор. Лишь в лаконичном примечании, сопровождающем ленинское письмо, подтверждается: да, именно отрывок из поэмы Тробела в переводе Людмилы Сталь привлек внимание Владимира Ильича. «В том же номере «Правды»,— говорится в примечании,— напечатан отрывок из поэмы американского поэта, бывшего рабочего Тробеля «Мужчины и женщины только...», переведенный Л. Сталь» [1].

Теперь, когда наш поиск завершен, когда высказывание В. И. Ленина соотнесено с личностью поэта, к именам тех американских писателей, о чьем творчестве ленинский отзыв известен, можно добавить имя Гораса Тробела.

Чтобы в какой-то мере представить себе, почему стихи Тробела привлекли внимание Владимира Ильича, обращаемся к произведениям В. И. Ленина той поры, к таким, например, как «Анкета об организациях крупного капитала», «Заработки рабочих и прибыль капиталистов в России», «Обнищание в капиталистическом обществе», знакомимся с кругом ленинского чтения, перепиской... И невольно задаемся вопросом, не потому ли заинтересовал Владимира Ильича отрывок из «Титаника», что волнующие его автора проблемы в чем-то сродни тем, что исследуются и решаются в этот период Лениным.

В самом деле, читаем строки поэмы Тробела, опубликованные на первой странице «Правды». Автор «Титаника» знает: до тех пор, пока не будет «заменен новым существующий социальный строй», рабочим остается «жить и умирать без надежды». Их не спасут никакие половинчатые реформы. Ведь они будут исходить от тех, чьи «прибыли сделали из жизни тюрьму», чьи «доходы двигают засовом в этой тюрьме». «Как же они могут оттуда выйти?» — спрашивает Тробел. Только революция поможет рабочим выйти из этой «жизни-тюрьмы». Перевернув газетный лист, на второй странице знакомимся со статьей, подписанной инициалами «В. И.»,— это четвертая статья из ленинской серии «Спорные вопросы». Мысли Ленина сосредоточены на сражении с реформистами всех мастей и толков. Знакомимся с гневной отповедью В. И. Ленина ликвидаторам. В их лозунге, пишет В. И. Ленин (и слова его живо перекликаются со строками «Титаника»), «нет мысли об общих устоях политической свободы...»[2]

Как известно, споря с точкой зрения таких людей, как Богданов, которые в конечном счете выступали против усвоения рабочими массами культурных ценностей, Ленин призывал использовать и развивать «лучшие образцы, традиции, результаты *существующей* культуры с *точки зрения* миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата...»[3]. Именно к таким образцам отнес, по существу, Ленин в письме в редакцию «Правды» отрывок из поэмы Тробела. Он увидел в нем пример партийной, служащей делу освобождения человека литературы.

«Тробел всегда был коммунистом... Его потрясла русская большевистская революю-

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 79.
[2] Там же, стр. 190.

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 394.
[2] Там же, т. 23, стр. 79.
[3] Там же, т. 41, стр. 462.

ция... Он горячо приветствовал Советское правительство России»,— подчеркивал в 1919 году Д. Карснер. Об этом же говорит и ставшее нам известным письмо Г. Тробела Джону Риду.

В дни, когда враги русской революции называли автора «Десяти дней, которые потрясли мир» «человеком, которого следует повесить», Горас Тробел писал ему: «Я испытываю глубокое уважение ко всему, что вы делаете,— и еще большее к вам как человеку».

Думается, с большим удовлетворением прочел Тробел приведенное в книге Рида выступление Ленина на II Всероссийском съезде Советов [1]. «Первым нашим делом,— заявил на второй день революции Владимир Ильич,— должны быть практические шаги к осуществлению мира».

Год спустя после ленинского выступления, в канун празднования Октябрьской революции в Москве, на одиннадцати площадях, одновременно с грандиозной иллюминацией и фейерверками, пущенными из Кремля, запылали яркие костры. На них была сожжена эмблема старого строя. В тот же день повсюду были подняты щиты с эмблемой, олицетворяющей новый строй,— красные диски с золотым серпом и молотом. Меч из первоначального варианта эмблемы был вычеркнут рукой Ленина как атрибут, не соответствующий гербу социалистического государства.

[1] См.: Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1958, стр. 117.

Нетрудно представить себе, как воспринял появившееся в американских газетах известие о новом гербе революционной России Тробел, автор строк, увидевших свет еще в 1904 году: «Когда перед государственными деятелями какой-либо страны встает задача — создать герб, изображенные на нем атрибуты обычно относятся к области войны или закона. Ни одному из руководителей государств не пришло в голову включить в герб орудия труда. А между тем трудом все начинается и кончается».

...Тяжелая жизнь, полная лишений и борьбы, подорвала силы Тробела. 8 сентября 1919 года поэта не стало.

В основанном В. В. Бруксом журнале «Фримен» мы читаем опубликованные в 1920 году слова, которые, мы верим, сбудутся: «Когда будет написана правдивая история XIX и XX столетий, его имя найдет себе место в ряду имен самых выдающихся людей, сумевших заглянуть в будущее. И притом он все еще останется современником неродившихся поколений». Горас Тробел достоин такой судьбы, ибо его творения плоть от плоти подлинно социалистической литературы, которой, как писал Ленин, движут «не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся» [1]. Вот почему так пророчески звучат слова поэта: «Я такой же живой, как и вы, хотя нет меня среди живущих на земле...»

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 104.

◆

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ

ЭНРИКЕ ХИЛЬ ХИЛЬБЕРТ — КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

Октябрь 1970 года. В Эквадоре произошло событие, подобного которому еще не было в истории страны: похищен командующий военно-воздушными силами генерал Сандоваль. Начались аресты. В полночь в старый деревянный дом на улице Нума Помпильо Льона в Гуаякиле ворвались трое. Без предъявления ордера, заявив, что выполняют приказ, они схватили человека, подняв его с кровати, и бросили в автомобиль. На запястьях — наручники, во рту — кляп, глаза завязаны, уши забиты ватой, заклеены пластырем. Много часов длилась мучительная поездка. Обессиленного человека выволокли из машины, заставили идти. Втолкнули в какой-то дом. Начался допрос.

— Имя? Фамилия?

— Энрике Хиль Хильберт.

— Род занятий?

— Профессор университета, писатель. Член руководства коммунистической партии.

— Что знаешь о похищении генерала Сандоваля?

— То, что читал в газетах и слышал по радио.

— Что думаешь о похищении?

— Как здравомыслящий человек и коммунист, я осуждаю любой акт индивидуального террора.

Снова кляп, завязаны глаза, заткнуты уши. И так двое суток.

Гуаякильские журналы опубликовали большие фотографии: руки Энрике Хиля Хильберта с глубокими, незажившими ранами на запястьях — следами наручников. «Руки, написавшие лучшие произведения эквадорской литературы, были разбиты, скручены, закованы»,— писали газеты. Снимки вызвали возмущение. Одно дело услышать об аресте, другое — увидеть, как обращались с их Энрике (именно так называли гуаякильцы Хиля Хильберта). Он принадлежал Гуаякилю. Его знали буквально все, от мала до велика, и он знал, пожалуй, чуть ли не всех жителей города.

Не впервые лишился тогда свободы Энрике Хиль Хильберт. В 1959 году он был арестован за то, что призывал к солидарности с бастовавшими портовиками Гуаякиля, а спустя два года вновь схвачен под тем предлогом, что находился в здании муниципалитета, когда там якобы произошло покушение на алькальда.

11 июля 1963 года армейская верхушка, совершив государственный переворот, установила в Эквадоре жесточайшую диктатуру. Сотни людей прогрессивных убеждений бросили в тюрьмы, многих подвергли истязаниям и пыткам, демократические организации были разгромлены, газеты закрыты. Новые правители решили одним ударом покончить с коммунистической партией, физически уничтожить ее руководителей.

Передо мной пожелтевшие от времени листки. Лучом света во мраке ночи, опустившейся над Эквадором, казался нам тогда каждый номер подпольной газеты «Пуэбло»,— эквадорские коммунисты издавали ее с риском для жизни. Вот он, один из

драгоценных экземпляров «Пуэбло» — № 395 от 12 июня 1964 года.

С волнением, бережно переворачиваю страницы. Статья Пабло Неруды «Умолкнувшие голоса товарищей». «Ничем особо интересным не может похвастать Гуаякиль,— писал Неруда.— Большие черные птицы медленно, плавно кружат над городом, затемняя льющийся с неба солнечный свет. Спешат грузчики, сгибаясь под тяжестью огромных связок бананов. Через Гуаякиль вывозит свое несметное сладко-желтое богатство Эквадор. В этом банановом порту, который мало чем может похвастать, две вещи произвели на меня впечатление. Первая — смерть. Я имею в виду кладбище Гуаякиля — монументальное, с ухоженными газонами, пышно-торжественное. В Гуаякиле, как и во всем Эквадоре, мертвым лучше, чем живым...

Вторая — улыбка моего друга, улыбка — утверждение жизни. Друга моего зовут Хиль Хильберт. Великолепная, молодая улыбка, жизнерадостный, заразительный смех! Здесь, на улицах, среди груд бананов, под тенью парящих в небе громадных черных птиц, его улыбка и смех оживляли все вокруг. Трудно не расхохотаться в ответ на меткую шутку, заразительный смех Энрике Хиля Хильберта... Но давно уже не слышно смеха на улицах Гуаякиля. Мой друг заточен в тюрьму. В камере, в концентрационном лагере или где-то на гнилом тропическом острове живут или умирают Педро Саад, Луис Вальдивьесо, Хесус Фариа и тысячи других... Реакционные классы в Латинской Америке боятся благородства Фариа, твердости и мужества Саада и Вальдивьесо, жизнеутверждающей силы рассказов Хиля Хильберта. Эти люди, чьи голоса на время смолкли,— совесть и страдание великого континента. Они источают свет в борьбе с ночью угнетения, невежества и отсталости».

Руководитель коммунистов Венесуэлы Хесус Фариа томился в то время в каракасской тюрьме Сан-Карлос. Член ЦК Коммунистической партии Эквадора Луис Вальдивьесо Моран был схвачен на улице в Гуаякиле. Позже его, потерявшего сознание после изуверских истязаний, выбросили из окна третьего этажа полицейского управления. Лишь чудом он остался жив.

Генерального секретаря компартии Педро Саада и Энрике Хиля Хильберта арестовали тотчас после переворота. В кандалах, с завязанными глазами, они были отправлены в тюрьму Гарсиа Морено.

Во время допросов им предложили отказаться от политической деятельности. То была цена за свободу.

— Вы плохо знаете коммунистов, если осмеливаетесь предлагать нам такое,— ответил Энрике.

Во всем мире поднялась волна солидарности с политическими узниками. Власти решили выслать из страны Саада и других находившихся в заключении коммунистов. Руководители компартии заявили, что они, эквадорцы, имеют право жить и бороться в своей стране и требуют освобождения без каких бы то ни было условий.

Энрике Хиль Хильберт

С гордо поднятой головой вышли на свободу Энрике Хиль Хильберт, а затем Педро Саад и их боевые товарищи.

Вскоре Хиль Хильберт писал в Москву: «Дорогие московские товарищи! Ваши письма и телеграммы оказали огромное воздействие не только на общественное мнение нашей страны — с ним не могли не посчитаться члены хунты. Через тысячи километров пробился к нам сквозь толстые стены тюрьмы Гарсиа Морено ваш привет и ободрил нас. Митинги в Москве, Сантьяго, Монтевидео и Гаване придали нам силы, укрепили стойкость. Именно солидарность прогрессивных людей с борьбой нашей партии помогла нам в трудную минуту, и я пишу это письмо, чтобы по-братски поблагодарить вас за все, что было сделано для нашего освобождения...»

И в Москве, и в далеком Эквадоре мне не раз довелось встречаться и на самые различные темы беседовать с Энрике Хилем Хильбертом и спутницей его жизни, другом и женой Альбой Кальдерон, с их сыновьями, довелось видеть и старушку «Мамалеху» — мать Энрике, горячо любимую им и его друзьями. В течение многих лет складывался, словно из мозаики, облик замечательного человека, однако всегда казалось, что каких-то фрагментов недостает. Часть их удалось восстановить с помощью Хосе Солиса Кастро, поэта и опытного

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ
ЭНРИКЕ ХИЛЬ ХИЛЬБЕРТ — КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

журналиста. Мы уверены, что задуманное им сбудется — и он напишет книгу, посвященную памяти своего друга, товарища и учителя.

Человек чрезвычайной скромности, не любивший говорить о себе, Хиль Хильберт раскрывался только в исключительных случаях, перед близкими друзьями. Автобиографию он не успел написать, а литературные критики, зарубежные и эквадорские, пока что изложили лишь хронологию основных вех его жизни и творчества.

Энрике Хиль Хильберт родился в Гуаякиле 8 июля 1912 года в состоятельной, интеллигентной семье, владевшей небольшой фамильной асьендой в пригороде. По семейным преданиям один из предков Хилей Хильбертов, не то шотландец, не то ирландец, был известным флибустьером. При очередном пиратском набеге ему приглянулась девушка-эквадорка и полюбилась ее родина, страна удивительной красоты. Высочайшие горы, огнедышащие вулканы, пальмы и снег, беспредельность великого океана, омывающего берега, покрытые, словно ожерельем, ослепительно белым песком, необозримые дебри тропической сельвы, изумруд вечной зелени... От этой пары и пошел многочисленный род Хилей Хильбертов.

В год, когда родился Энрике, толпа фанатиков, поощряемая властями, зверски расправилась с лидером либералов, генералом Элоем Альфаро. Национальный герой Эквадора, возглавивший в 1895 году вооруженную борьбу народа против реакционного режима — результатом ее явились многие демократические преобразования в стране,— был убит в тюрьме Гарсиа Морено и четвертован, останки его сожгли на костре. В семье Хилей Хильбертов часто говорили о политике и революции Альфаро, скорбели о его трагической гибели. Подвигами Альфаро восхищались и ученики католического колледжа Христофора Колумба, куда поступил Энрике. Манило слово «революция» — его связывали с героикой борьбы Альфаро, и всякое сообщение о народном восстании вызывало у мальчиков глубокий интерес.

Тогда же Энрике впервые услышал, что в огромной далекой России к власти пришли неизвестные эквадорцам «максималисты», совершившие революцию. Позже он узнает, что в ту пору так называли большевиков, что речь шла о Великом Октябре.

Да, его детство и отрочество совпали с важнейшими событиями в мире и родной стране.

— Мы восхищались своим временем — революциями, героизмом, восстаниями, хотя и не всегда понимали их суть,— много лет спустя говорил Энрике Хиль Хильберт.

15 ноября 1922 года на улицах Гуаякиля было расстреляно более тысячи людей, среди них женщины и дети. Свидетель событий, Энрике слышал залпы, видел бегущую по пыльной, незамощенной улице толпу, убитых, лежавших в лужах крови. Потом убитых и раненых сбрасывали в мутные воды Гуаяс, и сотни трупов плыли по реке. Так правительство расправилось с первой в Эквадоре всеобщей забастовкой рабочих. Но в памяти осталось и другое. Огромные массы народа, заполнившие всю ширину улицы, соседний парк. Впереди красные знамена, возгласы, боевые песни.

Гуаякиль — океанский порт, но все здесь связано с могучей, полноводной Гуаяс. Река то несет свои воды далеко в океан, то поворачивает вспять во время прилива. Любимое место сбора гуаякильских мальчишек — набережная Гуаяс. Много лет подряд — в один и тот же день, 15 ноября— Энрике видел, как тысяча небольших бальсовых плотов с укрепленными на них крестами проплывала мимо города. Это гуаякильцы чтили память погибших. Позже его друг и единомышленник Хоакин Гальегос Лара опишет эквадорское «кровавое воскресенье» в романе «Кресты над водой» (1946).

Остались в памяти и июльские события 1925 года — восстание молодых военных, провозгласивших интересы родины превыше всего. Вскоре появились в Эквадоре те, кого называли социалистами и коммунистами,— говорили, что они создали новую политическую партию.

В Национальном государственном колледже Висенте Рокафуэрте, куда перешел учиться Энрике, в его руки попал номер журнала «Амаута», который издавался выдающимся перуанским марксистом Хосе Карлосом Мариатеги. Тогда Энрике было лишь семнадцать лет. Учителя здесь не были ни марксистами, ни революционерами, но и ни «охотниками за ведьмами», как в колледже Христофора Колумба. Они видели в революции прогрессивное явление, позволяли ученикам знакомиться с литературой, отражающей реальную действительность. В колледже Висенте Рокафуэрте складывались характер Энрике и его политические убеждения. Здесь же друзья и учителя обратили внимание на то, что у юноши — врожденный писательский дар.

Как-то Энрике Хиль Хильберт сказал друзьям: «Я родился, чтобы быть коммунистом, писать рассказы, любить Альбу Кальдерон».

Быть коммунистом...

Энрике едва исполнилось восемнадцать, когда он принял участие в выступлениях студенчества и включился в работу коммунистической партии, формально еще не состоя в ее рядах. Продолжая учебу в колледже города Риобамба, юноша вместе с товарищами создал в 1931 году первую местную партийную ячейку. Касаясь того сложного периода становления Коммунистической партии Эквадора, когда она еще не представляла собой единой организации в общенациональном масштабе, Энрике всегда подчеркивал выдающуюся роль молодого тогда коммуниста Педро Саада. Именно Саад помогал Энрике овладевать

коммунистической идеологией, именно он привел его в ряды партии.

В 1935 году к власти в Эквадоре пришел генерал Паэс, началась травля коммунистов. Компартия вынуждена была уйти в подполье. Секретаря комитета провинции Гуаяс Педро Саада в 1936 году выслали из страны. На работу в этом комитете выдвинули Энрике Хиля Хильберта. С тех пор он становится одним из партийных руководителей. В качестве секретаря Хиль Хильберт вошел в состав «Союза защиты демократии», сыгравшего существенную роль в свержении диктатуры. Затем он принимает участие в организации и руководстве Эквадорским комитетом солидарности с Испанской республикой.

В 1941 году Хиль Хильберт в течение нескольких месяцев жил в США. Здесь, в роскошном нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» ему вручили премию, присуждаемую за лучший латиноамериканский роман. Ею была отмечена книга «Наш хлеб».

Встречаясь с руководителями Компартии США, присутствуя на конгрессе молодежи в Филадельфии, на антивоенном конгрессе американских писателей и деятелей искусств, наблюдая за развертыванием антифашистского движения в стране, Хиль Хильберт убеждался, что народ Америки, ее молодежь настроены антиимпериалистически и антирасистски, стремятся к миру и не хотят войны. Незабываемые впечатления остались у Энрике от знакомства и продолжительных бесед с Томасом Манном, эмигрировавшим тогда в США из гитлеровской Германии.

В Колумбийском университете, в университете Огайо, в колледжах Хиль Хильберт читал лекции по литературе стран Латинской Америки, а в Эквадор посылал многочисленные заметки, статьи, обзоры, публиковавшиеся затем в гуаякильских газетах и журналах. Впоследствии, вспоминая об этой поре, Энрике полушутя-полусерьезно говорил, что империалисты и реакционеры предоставляли ему самые лучшие отели мира и самые худшие в мире тюрьмы.

Возвратившись из США, он возглавил Антифашистский комитет Гуаякиля. В условиях Эквадора такого рода деятельность была тесно связана с борьбой за свержение антинародной диктатуры Арройо дель Рио. 28 мая 1944 года восставший народ, поддержанный армейскими частями, сверг диктатора. Хиль Хильберт вошел в состав Революционного правительства, сформированного в Гуаякиле, был одним из тринадцати коммунистов, избранных в Конституционную ассамблею, и активно участвовал в разработке и утверждении Конституции 1945 года — самой прогрессивной из всех действовавших ранее в стране. До тех пор, пока президент Веласко Ибарра не предал интересы народа и не отменил конституцию, установив диктатуру, Энрике Хиль Хильберт был членом Комиссии конституционных гарантий, а позже — депутатом конгресса от своей родной провинции Гуаяс.

Партийных обязанностей у Энрике становилось все больше: секретарь провинциального комитета партии в Гуаякиле, с 1946 года — член Центрального Комитета, с 1958 года — член Исполкома и Секретариата ЦК партии. Высокое положение требовало активного участия в международной деятельности партии, международных совещаниях коммунистов, съездах братских партий. И Хиль Хильберт достойно представлял Коммунистическую партию Эквадора.

По велению сердца и долгу коммуниста Энрике пришел в движение борцов за мир, понимая, что нет более важной задачи, чем предотвращение угрозы самому существованию человечества. Не было, пожалуй, ни одной крупной акции сторонников мира, в которой не участвовал бы член Всемирного Совета Мира Энрике Хиль Хильберт. От имени эквадорских писателей и деятелей искусств он призывал добиваться прекращения агрессии США против вьетнамского народа, против революционной Кубы.

Писать рассказы...

В 1930 году в Гуаякиле вышла небольшая, скромно оформленная книга «Те, кто уходят...». В ней были собраны короткие рассказы трех до тех пор не известных авторов — Энрике Хиля Хильберта, самого молодого из них, Хоакина Гальегоса Лары и Деметрио Агилеры Мальты. Появление сборника произвело ошеломляющее впечатление. Молодые писатели с удивительной смелостью, сочным, народным языком говорили «правду и только правду» об эквадорской действительности, о тяжелой судьбе людей труда, и это вызвало бешенство реакционных кругов. Сборник «Те, кто уходят...» положил начало художественной и социально-критической прозе Косты (так называют в Эквадоре океанское побережье), открыл новый этап в развитии национальной литературы. Вместе с его авторами известные уже в то время писатели Хосе де ла Куадра и Альфредо Пареха Дьескансеко создали объединение, вошедшее в историю эквадорской литературы под названием «гуаякильская группа». Много лет спустя, характеризуя ее деятельность, Энрике Хиль Хильберт произнес знаменитую фразу: «Нас было пятеро — как пять пальцев, сжатых в кулак». Пять писателей круто изменили характер эквадорской литературы, внеся в нее национальное содержание, направив по пути реализма.

В 1971 году, получая премию имени эквадорской поэтессы Ауроры Эстрады де Рамирес, учрежденную «Домом культуры Эквадора» за заслуги в области литературы, Хиль Хильберт сказал: «В течение веков наши литераторы были вынуждены писать так, как того желали испанские, ан-

---

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ
ЭНРИКЕ ХИЛЬ ХИЛЬБЕРТ —
КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

глийские, французские колонизаторы и американские империалисты. Но мы, писатели Эквадора, решили писать для эквадорцев, рассказывать о страданиях нашего народа и его борьбе за свое освобождение». Определяя таким образом роль «гуаякильской группы», писатель подчеркивал, что она «не свалилась с неба», но вобрала в себя все лучшее из эквадорской реалистической литературы; при этом он ссылался на творчество Мануэля Х. Кальe, Луиса Мартинеса и других писателей нынешнего и прошлого века, и прежде всего на великого эквадорца Хуана Монтальво, одним из первых привлекшего внимание к скорбной участи латиноамериканского индейца. «Если бы мое перо было наделено способностью вызывать слезы,— говорил Монтальво,— я написал бы книгу «Индеец» и заставил бы плакать весь мир».

На творчество группы — и прежде всего Хоакина Гальегоса Лары и самого Хиля Хильберта — огромное влияние оказала советская литература. Хоакин свободно владел несколькими иностранными языками и легко переводил с них на испанский. Вдвоем друзья читали Шолохова, Гладкова, Федина и, конечно же, Максима Горького, считая основоположника социалистического реализма своим учителем. Любовь к нашей литературе Энрике Хиль Хильберт пронес через всю жизнь, и среди советских писателей у него было немало добрых друзей. Выступая перед эквадорскими собратьями по перу, он не раз говорил о счастье быть писателем в Советском Союзе, творить для свободных от эксплуатации людей, петь гимн новому человеку — строителю самого гуманного общества...

Среди участников сборника «Те, кто уходят...» эквадорские критики сразу же выделили Энрике Хиля Хильберта, чьи рассказы отличались своеобразием стиля, подлинным реализмом, вниманием к жизни простого человека. В них привлекали стремительная радость творчества, чудесная раскованность слова. Известный эквадорский писатель и критик, видный общественный деятель, основатель и президент «Дома культуры Эквадора» Бенхамин Каррион писал тогда, что если бы ему предложили назвать лучший эквадорский реалистический рассказ, то он затруднился бы в выборе между «Чумботе» маститого писателя Хосе де ла Куадры и «Нехристем» молодого Хиля Хильберта.

В 1933 году выходит сборник «Юнга», куда Энрике Хиль Хильберт включил несколько новых рассказов. Появление их, по мнению критики, обеспечило молодому писателю почетное место в современной литературе Эквадора. Касаясь литературного мастерства, отмечая его глубокое знание жизни людей «юнги» — самой жаркой, тропической зоны Эквадора,— Хосе де ла Куадра подчеркивал, что автор «боготворит юнгу; он жил в ней, он сроднился с ней», проник в психологию населяющих эту землю чоло и монтувио — тружеников рисовых полей и банановых плантаций, славящихся экспансивностью и свободолюбием. Не случайно жители именно этих районов во времена Элоя Альфаро выступали на стороне антифеодальных и антиклерикальных сил.

Лучшим произведением сборника по праву считается рассказ «Негр Сантандер». Его герой, старый больной негр, привезенный когда-то с Ямайки, вспоминает о строительстве железной дороги Гуаякиль — Кито, Южной дороги, как ее называют в Эквадоре. Участие в строительстве дороги, столь важной для развития экономики страны и проложенной благодаря усилиям Альфаро (на самом тяжелом ее участке — у неприступной скалы Чертов Нос — ему воздвигнут памятник), обернулось для многих эквадорцев трагедией. Североамериканские бизнесмены, в чьих руках было строительство, не желая выплачивать рабочим жалованье, приказывали взрывать скалы вместе с работавшими там людьми... Приоткрыв кровавую изнанку истории, Энрике Хиль Хильберт воспел в своем рассказе подвиг рабочих, чьим трудом было возведено это сложнейшее инженерное сооружение,— негров, индейцев, белых.

В 1939 году Хиль Хильберт опубликовал роман «Рассказы Эмануэля». С большим драматизмом повествует он о том, что предпочитали стыдливо обходить молчанием,— о горькой судьбе так называемых «незаконнорожденных» детей, «без вины виноватых», всю жизнь несущих на себе печать отверженности. Писатель разоблачает лицемерие, ханжество «высоконравственного» буржуазного общества своей страны, мирившегося с дикими феодальными пережитками — такими, как право первой ночи. По словам Бенхамина Карриона, автор «Рассказов Эмануэля» проявил себя не только искренним, чутким человеком, глубоко сочувствующим «униженным и оскорбленным», но и борцом против социальной несправедливости, жестокости существующего строя.

«Те, кто уходят...», «Юнга» (и прежде всего «Негр Сантандер»), «Рассказы Эмануэля», переведенные на многие языки мира, сделали эквадорского писателя широко известным.

Но настоящую славу ему принес роман «Наш хлеб» (1940), справедливо признанный самым ярким произведением эквадорской литературы того периода. Литературный критик Х. Молина Корреа писал: «Шумный успех романа «Наш хлеб» на конкурсе произведений лучших романистов Латинской Америки — новый триумф «гуаякильской группы», триумф эквадорской литературы... «зеленого ада».

«...Роман о рисе — хлебе людей этой земли, о страданиях и эксплуатации человека, сеющего его и убирающего,— отмечал Бенхамин Каррион.— «Наш хлеб» без преувеличения можно назвать выдающимся произведением... Эквадорцы гордятся тем, что эквадорский писатель и эквадорское произведение стали известны в других странах». Действительно, «Наш хлеб» переводился на английский, немецкий, чешский, шведский, китайский языки. Издана книга

и у нас в стране на русском языке (М., «Художественная литература», 1964).

Симпатии автора романа раскрываются уже в лирическом посвящении: «Рисоводам — счастливым и несчастливым, с кем я ел из одной миски и спал под одним кровом,— хотя они и забыли меня, рассказав о своих мечтах, радостях и невзгодах...»

Поэтизированное описание неповторимой природы тропической юнги, необузданных страстей обитателей ее сочетается с картинами повседневной борьбы за рис. «Рису много — не надо и бога» — гласит поговорка, вынесенная в эпиграф. Как много трудностей в жизни народа, сколько нужно усилий, чтобы добыть горсть зерна! Несметные тучи саранчи, которая в любой момент может уничтожить посевы, огромные стаи прожорливых птиц, буйная сила сорняков. Свирепствует тропическая лихорадка, нещадно изводят москиты, подкрадываются страшные, валящие с ног болезни...

Все светлое и гуманное — бескорыстие, дружба, отвага, человечность — связано для писателя с образами тружеников земли; с сильными мира сего ассоциируется, прямо или косвенно, все темное и страшное — страдание, смерть, разорение задавленного эксплуатацией человека.

Немало сцен в книге написано с беспощадной суровостью, с поистине «жестоким реализмом». И не случайно. «Наш хлеб» — не просто роман, так же как и его автор — не просто писатель; книга эта — не только художественное произведение, но обвинительный документ большой драматической силы, фиксирующий характерные стороны жизни такими, как они есть, с их светом и тенью, с высоким гуманизмом и звериной жестокостью.

Смело вводя в язык романа характерные слова, выражения, речевые обороты жителей любимой юнги, писатель придает повествованию особый колорит, самобытность, подлинность, которой нельзя не верить. Чередуя описания жизни крестьян с изложением подлинных фактов эквадорской действительности, выдержками из различных документов, газетных заметок, автор превращает роман в произведение многоплановое, добивается его полифонического звучания.

В «Нашем хлебе» писатель вновь возвращается к осмыслению революции Альфаро, (вспомним образ капитана Эрмохенеса Сандоваля), роли этого прогрессивного государственного деятеля в судьбах страны.

Симпатии к нему были укреплены впоследствии марксистским анализом истории Эквадора; эти симпатии высказаны также в предисловии Энрике Хиля Хильберта к известному роману Луиса Мартинеса «К берегу» [1], повествующему о временах героической борьбы эквадорцев: «Роман — яркий документ целого исторического движения, которое, повторяю, нужно продолжать... Мы понимаем нашего большого художника дона Луиса. Понимаем, потому что судьба Альфаро — наша общая судьба, мы — продолжатели его идей». И это действительно так, ибо коммунисты — подлинные наследники и продолжатели традиций борьбы народа.

В 1967 году в Гуаякиле вышел еще один сборник рассказов Хиля Хильберта, написанных в 60-е годы. Главные их герои — дети.

Тема детей — маленьких существ, больше других страдающих от обид и несправедливостей, царящих в этом огромном мире,— проходит почти через все произведения писателя. Выразительные рассказы-миниатюры «Кораблик», «Гвоздик» и, конечно же, «Нехристь» [1] также пронизаны щемящей болью за судьбу детей рождают протест и стремление бороться за то, чтобы дать им радость и счастье.

Энрике Хиль Хильберт — человек веселый, остроумный, общительный, полный оптимизма. На первый взгляд это не очень вяжется с его творчеством: ведь герои писателя умирают, гибнут в борьбе за существование, в большинстве произведений преобладают темные краски и мрачные тона. Но это противоречие кажущееся и... понятное. Своим лозунгом на всю жизнь он сделал: «Писать правду и только правду». А правда о жизни народа была горькой. Думал писатель и о тех, кто будет его читать чьи симпатии нужно завоевать на сторону народа, в ком нужно пробудить желание бороться. Вот почему в произведениях Энрике Хиля Хильберта нет места отчаянию, пессимизму, безысходности — они полны веры в торжество справедливости.

В одном из выступлений Хиль Хильберт сказал, что крестьяне, с нетерпением ожидающие сбора урожая, чтобы утолить хотя бы на время голод, научились слушать, как растут травы, созревают злаки. Он призывал учиться слушать как зреет великая битва за освобождение народа. Молодых писателей он звал включиться в нее, отдать ей свое творчество.

По его инициативе в газете «Пуэбло» начали выходить литературные приложения, во многих провинциях страны были созданы группы, названные именем его друга, писателя-коммуниста Хоакина Гальегоса Лары. Такие группы создавались для того, чтобы еще ближе связать литературу и искусство с жизнью, привлечь внимание к насущным проблемам современности. Кроме того, объединение «Хоакин Гальегос Лара» ставило целью помочь молодым писателям публиковать свои произведения.

[1] Опубликован на русском языке издательством «Художественная литература» в 1966 году.

[1] Мы упоминаем лишь рассказы, известные советскому читателю. «Кораблик» опубликован в «Комсомольской правде» от 31 декабря 1966 г., «Гвоздик» — в «Литературной газете» 8 января 1966 г., «Нехристь» в сборнике «К югу от Рио-Гранде», «Молодая гвардия», 1973 г.

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ
ЭНРИКЕ ХИЛЬ ХИЛЬБЕРТ — КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

Вся деятельность Энрике Хиля Хильберта — свидетельство бескомпромиссной борьбы против безыдейности в литературе и искусстве. В начале 60-х годов во время заседаний «круглого стола» деятелей культуры Эквадора по вопросам развития национального романа, поэзии и живописи разгорелась острая полемика между глашатаями «чистого искусства» и теми, кто выступал с позиций реализма. Большинство присутствовавших горячо аплодировало страстному выступлению Хиля Хильберта о роли литературы и искусства в развитии общества, о необходимости служить народу. Пример такого служения подавал сам писатель. Он подготовил книгу «Поэты Эквадора поют Кубу», где были собраны лучшие стихи и поэмы эквадорских поэтов, и написал к ней вступительную статью, призывая защищать кубинскую революцию, воплотившую будущее всей Латинской Америки. Сборник явился своеобразным ответом на разрыв отношений Эквадора с Кубой в 1962 году.

...К сожалению, литературное наследие Хиля Хильберта доступно нам далеко не в полном объеме. Будущих исследователей его творчества, мы уверены, ждет немало открытий в архиве писателя, в неразобранных бумагах, хотя кое-что, видимо, утрачено безвозвратно. Именно об этом я думал, оказавшись—в качестве посетителя — в тюрьме Гарсиа Морено, в Кито. Там, рядом с камерой где в далеком 1912 году был убит Элой Альфаро, находится «секция Е», в которой не так давно томились многие политзаключенные. Арестованным, доставленным сюда из тропического Гуаякиля, было особенно тяжело. Даже здоровые люди испытывают в Кито кислородное голодание, головокружение, страдают от ночного холода, спускающегося на город с исполинских вулканов, покрытых шапками вечного льда. Каково же было больному Энрике и его товарищам из Гуаякиля за этими толстыми стенами, в неотапливаемой тюремной камере?! Нужно было обладать мужеством и стойкостью, верой в торжество своих убеждений, чтобы не только выдерживать тюремный режим но и заниматься литературной деятельностью.

В тюрьме Гарсиа Морено, украдкой, на клочках бумаги, он трудился над новой книгой. По замыслу автора, она должна была помочь партии в борьбе за умы и души эквадорцев. Написанное он прятал в матраце. При выходе из тюрьмы листки у него отобрали — и они исчезли.

Известно также, что Хиль Хильберт работал над «Историей огромной крокодиловой кожи» и «Городом на болоте». Отрывки из первого произведения публиковались в журнале «Летрас дель Экуадор». О втором же мы знаем пока очень мало. Можно лишь предполагать, что оно посвящено Гуаякилю, где большинство населения до сих пор живет в столь знакомых писателю убогих лачугах на болотистых окраинах города, в поселках нищеты.

Многочисленные его доклады, лекции в колледжах и университетах, выступления на диспутах и семинарах по широким проблемам культуры могли бы составить целую книгу. В течение нескольких лет Энрике Хиль Хильберт был профессором литературы в колледже Винсенте Рокафуэрте, где некогда учился, и литературно-философского факультета Гуаякильского университета. Один из его студентов вспоминает: «Для простого, сердечного человека Энрике Хиля Хильберта марксизм был прежде всего гуманизмом, он помогал ему понимать людей, утверждать в них добрые и высокие чувства. Сначала мы открыли в нем человека, а затем уже большого писателя».

Когда кое-кто сетовал, что Энрике, владея прирожденным писательским дарованием, оставил литературное творчество ради политической деятельности, он приносил свои книги и говорил: «Все лучшее, что я написал, я написал потому, что я коммунист... Быть коммунистом для меня дороже всего написанного мною... Писатель может стать подлинным революционером только тогда, когда он коммунист». Конечно, он мог бы создать и больше, и если этого не получилось, то дело здесь не в политической работе, а в стремлении писать как можно лучше. Талант сочетался у него с огромной трудоспособностью, привычкой тщательно отделывать свои произведения. Он особенно любил короткие рассказы и считал, что именно они ему удаются.

Любить...

Почти сорок лет, рука об руку, были вместе Энрике Хиль Хильберт и его жена Альба Кальдерон. Разлучали их лишь аресты, тюрьмы, ссылки, выполнение партийных поручений. Роман «Наш хлеб» посвящен «Альбе Кальдерон, которая помогала писать так же преданно и пылко, как помогает жить». Талантливая художница, чьи картины выставлялись в Париже, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в Чили, Перу и Аргентине, одна из зачинательниц женского движения в Эквадоре, коммунистка.

В комитетах помощи жителям поселков нищеты, в кампаниях по ликвидации неграмотности среди взрослого населения (что важно для Эквадора, где процент неграмотных высок и они лишены права голоса), в комитетах защиты исторических памятников прошлого, в муниципальном Совете — везде она зажигала людей личным примером. Казалось, у этой женщины хватает энергии на все. Человеческое обаяние, преданность делу революции завоевали ей уважение товарищей по борьбе. В течение многих лет она — член ЦК и Исполкома ЦК Коммунистической партии Эквадора.

...1963 год. К власти пришли «гориллы». Альба Кальдерон в то время находилась в Москве. Прервав лечение, она немедленно выехала в Чили, чтобы быть поближе

к Эквадору, к Энрике. Возвращаться на родину ей было запрещено — и в городе Сантьяго она участвует в создании массовой организации «Комитет солидарности с политзаключенными в Эквадоре», помогая освобождению Энрике и его товарищей.

■

Советским людям особенно дорога любовь к нашей Родине, которую Энрике Хиль Хильберт пронес в сердце через всю жизнь. В грозные дни сорок первого он призывал к защите отечества трудящихся всего мира: «Нападение фашистов на СССР является агрессией реакционной системы против страны, где началась лучшая эпоха человеческой истории. Мы горячо сочувствуем Советскому Союзу».

В предисловии к упомянутому сборнику «Поэты Эквадора поют Кубу» он подчеркивал: «Огонь кубинской революции был зажжен там, в далекой России, близком и любимом Советском Союзе, где был изменен ход истории всего человечества».

В 1958 году осуществилась его мечта: он приехал в Москву. «Я своими глазами увидел успехи социалистического строительства, расцвет культуры и искусства, убедился в глубокой вере советских людей в коммунистическое будущее»,— сказал он. Энрике Хиль Хильберт несколько раз бывал в Советском Союзе, выступал по московскому радио и телевидению, рассказывая о своей родине.

В 1972 году в Эквадоре широко отмечалось 60-летие Хиля Хильберта. Отвечая на приветствие ЦК КПСС, он писал: «...это поздравление—самая почетная, самая приятная и дорогая для меня награда и самая высокая честь из всех, каких я удостаивался когда бы то ни было... Моя заслуга состоит лишь в том, что я нашел дорогу к коммунистам, вступил в многомиллионную армию, руководствующуюся принципами марксизма-ленинизма. Силу литературному творчеству придает то, что состоишь в партии коммунистов, борешься в ее рядах».

...Последнее большое публичное выступление Энрике Хиля Хильберта состоялось в городе Амбато в конце 1972 года. Это был вечер, посвященный борьбе вьетнамского народа. Сойдя с трибуны под бурные аплодисменты, Энрике вдруг упал. На руках перенесли его в соседний дом. Врачи предписали абсолютный покой. Вопреки их советам он приехал сюда, в Амбато, чтобы выступить на этом собрании. Из прибрежного Гуаякиля ему нельзя было подыматься на эту заоблачную высоту. Но отказаться он не мог. Его ждали. Ждали, как всегда, выступления пламенного трибуна, страстного борца за мир.

Мне довелось быть в Амбато на следующий день после этого выступления. Мнения врачей и друзей Энрике разделились. Ему запретили какие бы то ни было волнения. Я встал на сторону тех, кто ратовал за полезность положительных эмоций.

— Что же случилось, Энрике?

Мое появление здесь, в Амбато, показалось настолько неожиданным, что Энрике пытался вскочить, броситься навстречу. Его удержали.

— Ты знаешь, брат, чем славен город Амбато?

— Конечно! Это город Хуана Монтальво, город фруктов, цветов и... самых красивых женщин!

— Вот именно! Это они,— Энрике кивнул в сторону друзей,— организаторы вечера, виновны в том, что произошло. В первых рядах зала сидели самые красивые женщины города. Трибуну забросали цветами. Вот мое сердце и не выдержало...

Он оставался самим собой и шутил. Мы говорили о будущем, о его новом приезде в нашу страну. Но это была последняя встреча.

Друзья и врачи уговаривали Энрике не сразу возвращаться в Гуаякиль, выждать, подлечиться. Он не послушался. Он спешил снова встать в строй, рвался к работе.

Немного времени прошло после той памятной для меня встречи. Телеграмма из Гуаякиля принесла тяжелую весть — 21 февраля 1973 года скончался Энрике Хиль Хильберт.

Траурный номер газеты «Пуэбло». Сколько сил отдал он ей, его перу принадлежали передовицы, он редактировал многочисленные статьи.

Заявление Центрального Комитета партии... «Умер один из лучших сынов эквадорского народа, наш дорогой товарищ Энрике Хиль Хильберт, секретарь Центрального Комитета коммунистической партии, выдающийся революционер, талантливейший эквадорский писатель, несгибаемый борец за освобождение и социальный прогресс нашей страны, за самые высокие идеалы человечества... Он убедительно показал, как искусство и литература могут и должны служить освобождению человека».

Рассказывают, что, прощаясь с мужем, Альба могла лишь промолвить: «До встречи, товарищ!» Она осталась на боевом посту и продолжает дело, которому отдал жизнь ее Энрике.

Последний скорбный путь к гуаякильскому кладбищу, описанному Пабло Нерудой. Улицы запружены народом. Казалось, весь город вышел проводить своего Энрике. Бесчисленные венки образовали холм.

Через год мне вновь пришлось приехать в Эквадор. Я посетил кладбище, положил на белую мраморную плиту красную, любимого цвета Энрике, розу. Мне сказали, что в первую годовщину его смерти у могилы собрались сотни людей. Поэты читали стихи, посвященные памяти того, кто

ВАЛЕРИАН ГОНЧАРОВ
ЭНРИКЕ ХИЛЬ ХИЛЬБЕРТ — КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

прославил родину, стихи, звучавшие как клятва идти его путем.

В Гуаякиле, в зале заседаний ЦК Коммунистической партии Эквадора, висит фотография. Как живой, Энрике стоит у полок, заставленных книгами и работами Альбы Кальдерон. Он словно присутствует на заседаниях, и это чувствуют все. Кажется, вот-вот он скажет: «Сделаем перерыв, товарищи. Взгляните в окно — это ведь не всегда увидишь! Стоит сделать перерыв!» Так бывало, когда обсуждался серьезный вопрос и разгорались страсти,— а высоко, в голубом, безоблачном небе показывалась на востоке снеговая шапка далекого вулкана Чимборасо, обычно невидимого из Гуаякиля. И спадало напряжение, приходило правильное решение...

Один из участников «гуаякильской группы», Деметрио Агилера Мальта писал, что «по мере того, как бежит время, Энрике Хиль Хильберт, удивительный человек и прекрасный писатель, будет все лучше понят, а его творчество... будет все больше восхищать людей». В 1969 году Национальная комиссия ЮНЕСКО в Эквадоре рекомендовала включить роман «Наш хлеб» в «Литературную антологию человечества», готовившуюся к изданию в Париже. Произведения писателя изучаются в европейских университетах. Его пьесы — «Фарс», «Кровь, свечи и асфальт» — с успехом поставлены в Гуаякиле. Его имя присваивают библиотекам, государственным школам, создающимся вновь первичным партийным организациям. Очередной призыв в партию был объявлен призывом его имени.

Энрике Хиль Хильберт продолжает жить, и об этом хорошо сказал Генеральный секретарь Коммунистической партии Эквадора Педро Саад: «Когда в нашей стране высоко поднимутся победные красные знамена социального и национального освобождения, он будет с нами, со своим народом».

◆

Заметки на полях

ЛИТЕРАТУРА, КОТОРАЯ БОРЕТСЯ

Еще два десятилетия назад исследователь, занимающийся литературой Федеративной Республики Германии, затруднился бы назвать даже несколько писателей, создающих произведения о рабочем классе. А о литературе, открыто связанной с коммунистическим движением, с борьбой пролетариата, говорить и вовсе не приходилось — то были, если вспомнить название известного романа Кристиана Гайслера, «холодные времена» аденауэровского курса на милитаризацию, памятные запретом коммунистической партии, открытым наступлением на демократию.

Произведения социалистической ориентации, без которых уже невозможно представить сегодняшнюю литературную панораму ФРГ,— завоевание прежде всего последних десяти лет. О том, как складывалась эта новая литература, какими трудностями и успехами были отмечены ее первые шаги и последующий путь, рассказывает книга ученого из ГДР Урсулы Райнхольд «Литература и классовая борьба. Проблемы развития демократической и социалистической литературы в ФРГ (1965—1974)»[1].

Десятилетие это предлагает богатый материал для анализа. Автор, показывая, как постепенно, но настойчиво менялась политическая и литературная ситуация в ФРГ, на фактическом материале стремится выявить общую тенденцию этих изменений. Если попытаться найти одно общее слово, способное данную тенденцию обозначить, то наиболее подходящим, пожалуй, будет — политизация:

> «Политизация темы, поиски и применение художественных форм, обладающих непосредственным политическим воздействием, сообщили новый импульс демократическому литературному развитию...»

Это был сложный процесс. Сказывалось то обстоятельство, что традиции социалистической литературы и искусства, которыми немецкая литература вправе гордиться, были прерваны годами фашистской диктатуры и последующего политического развития ФРГ конца 40—50-х годов. Молодым художникам приходилось нередко начинать от самых истоков, осваивать заново тот путь, что был пройден многими их предшественниками в памятные особым накалом классовой борьбы 20-е и ранние 30-е годы.

Наиболее сильный толчок росту общественного самосознания в Западной Германии середины 60-х годов дали, как это на первый взгляд ни парадоксально, события внешние, и в первую очередь — война во Вьетнаме. Именно она сделала для многих западногерманских писателей особенно наглядным неблагополучие окружающего их мира:

> «Империалистическая война против вьетнамского народа открыла многим писателям глаза на заложенную в самом империалистическом строе экономическую и политическую агрессивность, до тех пор рассматривавшуюся лишь как досадное отклонение внутри системы, достойной во всех других отношениях одобрения».

Но и действительность самой Федеративной Республики тоже предлагала достаточно материала для критических дум. Западногерманское «общество благоденствия»,

[1] Ursula Reinhold. Literatur und Klassenkampf. Entwicklungsprobleme der demokratischen und sozialistischen Literatur in der BRD (1965—1974). Berlin, Dietz Verlag, 1976.

широко разрекламированное как своего рода витрина западного мира, все чаще приоткрывало свои неприглядные, далеко не обнадеживающие черты.

«Явное обострение социальных противоречий в середине 60-х годов вызвало у многих писателей крушение иллюзии относительно бескризисного и бесклассового «общества процветания» в ФРГ».

Эти новые черты не могли не сказаться на литературном процессе. Политический нонконформизм, бывший своего рода идейной программой «Группы 47», отмечает У. Райнхольд, оказывается со временем все более односторонним. Дав в своих лучших произведениях резкую критику буржуазного общества с гуманистических позиций, писатели, входившие в «Группу 47», так и не выработали определенной политической программы. «Группа» по-прежнему оставалась аморфной, далекой от социальной конкретности, лишь в самых общих чертах предлагавшей абстрактно-демократическую ангажированность. А между тем ситуация в стране становилась все более «конкретной»: попытки провести через бундестаг «чрезвычайные законы», усиливавшееся наступление на демократические свободы требовали от художника прямого ответа на вопрос, с какими именно общественными силами он солидарен и на чьей стороне выступает.

«...Реальность международной классовой борьбы и явно антидемократическое развитие в стране подвергли перепроверке эту ни к чему не обязывающую, слегка левую ангажированность, сделали очевидным переживаемый ею кризис и доказали, что изменившаяся общественная ситуация требует новой позиции. Предположения, догадки, которые долгое время лежали в основе духовных усилий, направленных на изменение мира, уступили место более углубленному и дифференцированному познанию подлинных экономических и политических пружин общества».

И все же для большинства западногерманских писателей — и книга Урсулы Райнхольд это раскрывает — духовные поиски в конце 60-х годов шли прежде всего не в политическом русле, хотя политика и занимала большое место в их деятельности, а в плане нового осознания задач литературы.

«Политическая и публицистическая конфронтация была связана с широким процессом размежевания внутри собственно художественной литературы, особенно в понимании ее функции».

Именно в это время, в середине 60-х годов, Ганс Магнус Энценсбергер выдвигает тезис о смерти, ненужности литературы. Он полагает, что отныне ее целями должны стать лишь информация и просвещение масс, и начало этому процессу положил своими репортажами Гюнтер Вальраф. В то же время Энценсбергер отказывает литературе в возможности серьезно вмешиваться в политическую ситуацию, предпочитая спонтанное политическое действие. Его пессимизм в этом плане имел и некоторые основания: предшествующее развитие западногерманской литературы — до начала 60-х годов — не давало повода для постановки вопроса об участии литературы в политической борьбе. Литература тогда, по мнению Энценсбергера, выполняла функцию своего рода «надстроечного алиби», оказывалась всего лишь неким духовным эрзацем, способным разве что ослабить напряжение в обществе. Энценсбергер делал вывод: «Наше положение не дает возможности говорить о важной общественной функции литературного произведения». Однако — и книга У. Райнхольд доказывает это — само литературное развитие того времени подобную точку зрения опровергало. Да и сам Энценсбергер после некоторого перерыва обратился к созданию художественных произведений, придя, очевидно, к выводу, что именно большая литература, а не пропагандистская однодневка может помочь изменить общество к лучшему.

В конце 60-х годов правительство Федеративной Республики оказалось перед лицом политического кризиса. Образование «большой коалиции» привело к тому, что граждане ФРГ все чаще вынуждены были прибегать к формам протеста, лежащим вне рамок буржуазного парламентаризма. В стране сформировалась так называемая «внепарламентская оппозиция», включавшая и массовое студенческое движение, активно проявившее себя в конце 60-х годов. Эти новые явления в жизни общества осваивала и литература.

«В конце 60-х годов в литературном развитии ФРГ появились новые моменты. Нашли свое применение оперативные литературные формы, такие, как политический стих, сценка для уличного театра, плакат с сопровождающим текстом. Начала складываться литература, черпавшая представления о собственных задачах и целях из политического движения, с которым она была тесно связана».

Многих писателей, особенно молодых, так называемая «литература агитпропа» привлекала своей непосредственной приближенностью к политической борьбе, быстротой и точностью политической реакции. Они вырывались из круга личных, субъ-

ективных проблем и сосредоточивали свое внимание на конкретных, уродливых проявлениях окружающего их мира. Это был не просто абстрактный протест, но стремление разобраться в причинах несправедливого социального порядка.

«Другой характерной особенностью конца 60-х годов было обращение литературы к темам, ставшим актуальными в силу общего политического кризиса системы. Благодаря политическим акциям и дискуссиям студентов подобная тематика уверенно вошла в общественное политическое сознание. Если в середине 60-х годов центр тяжести лежал на разоблачении преступлений империализма (документальный театр и поэзия протеста), то теперь чаще ставится вопрос о смысле и характере общественных изменений».

Подчеркивая и выделяя эту мысль, Урсула Райнхольд предлагает ее читателю в обрамлении широкого фактического материала, особенно применительно к поэзии и драматургии. Это естественно. Уже с начала 60-х годов театр в ФРГ находился в состоянии непрерывного поиска. Западногерманская драматургия обогащается такими произведениями, как «Наместник» (1963) Рольфа Хохгута, «Марат» (1964) и «Дознание» (1965) Петера Вайса, «Дело Роберта Оппенгеймера» (1964) Гейнара Кипхардта, пьесы Мартина Вальзера. Обращаясь к временам фашизма, западногерманский театр стремился обнажить перед зрителем реальные взаимосвязи между проблематикой фашистского прошлого и политическим курсом ФРГ тех лет. Со временем эта тенденция еще больше усилилась. Наиболее яркие постановки театра ФРГ 60-х годов, отмечает У. Райнхольд, памятны именно своими усилиями придать драматургическому действию политическую актуальность, направить его против буржуазных общественных институтов.

В конце 60-х годов обратило на себя внимание еще одно новое явление в западногерманской сценической практике — так называемый «театр улицы», возникший на волне студенческого движения и бывший одним из его проявлений. Уже своим названием он противопоставил себя театру официальному. Во многом «театр улицы» опирался на брехтовскую драматическую традицию, понимавшуюся, к сожалению, порой слишком прямолинейно и упрощенно. Как правило, в репертуаре были так называемые «учебные пьесы», ставившие своей целью прямую агитацию и просвещение масс. Проблема художественности оказывалась второстепенной, а иногда и вовсе снималась с повестки дня. Вышедший в 1969 году во Франкфурте-на-Майне сборник «Театр улицы» дает наиболее полное представление об удачах и просчетах этого движения. В предисловии, написанном составительницей сборника Агнес Хюфлер, говорится: «Результат активизации «театра улицы» должен рассматриваться в общих рамках политико-просветительской работы, это лишь одно средство среди многих возможных, один дополнительный способ формирования политического сознания».

О том, насколько плодотворна в художественном отношении была идея «театра улицы» и какую роль она сыграла в общем развитии западногерманской драматургии, можно спорить. Думается, однако, что пьесы Франца Ксавера Крёца, Рольфа Хохгута и Петера Вайса, широко идущие сегодня на сцене ФРГ, оказываются — при всех оговорках, касающихся художественного качества,— в том же русле, что и «театр улицы»: здесь авторы прямо обращаются к зрителю и, разрушая устоявшиеся клише массового сознания, заставляют его задуматься о мире, который его окружает.

Еще более отчетливо тенденция к политизации просматривается в конце 60-х — начале 70-х годов в поэзии. Уже в середине 60-х в ФРГ сложился новый тип стиха — «стихотворение протеста». Тема войны во Вьетнаме оставалась в течение нескольких лет одной из наиболее актуальных. В среде прогрессивной молодежи завоевали популярность выступавшие с «песнями протеста» Дитер Зюверкрюп, Герд Земмер, Франц Йозеф Дегенхардт.

К концу 60-х годов в поэзии наблюдаются примерно те же явления, что и в драматургии. Со своими первыми стихами выступили те, кто пришел в литературу прямо из бурлящих студенческих аудиторий. Их стихи — за примерами можно обратиться к антологии «Агитпроп» (1969) — явно несли на себе печать литературного дебюта, что было неизбежным; но нельзя вместе с тем не отметить стремление их авторов воссоздавать как можно точнее политический факт — не случайно все эти стихи могут рассматриваться сегодня как своеобразная хроника тогдашних событий. Со временем многим из молодых поэтов удалось преодолеть излишнюю фактографичность, их произведения стали более разнообразными как в плане содержания, так и в плане художественной формы.

Сходные процессы обнаружились и в прозе, хотя в меньшей степени. Это и понятно, ведь проза — жанр не столь динамичный, менее подверженный непосредственному воздействию событий. И все же в западногерманской прозе второй половины 60-х очевидны новые веяния. У. Райнхольд считает, что своим эссе «Классовая борьба еще не закончилась» (1965) Рольф Хохгут подошел к реальной оценке существующего в ФРГ положения вещей. Событием стало также появление в 1965 году романа Кристиана Гайслера «Холодные времена» и промышленных репортажей Гюнтера Вальрафа, в которых впервые обстоятельно и точно был дан портрет современного западногерманского рабочего. Значительно активизировалась деятельность «Груп-

пы 61». Ее политическое кредо далеко не всегда оказывалось достаточно четким. Тем не менее это объединение сыграло важную положительную роль в литературном развитии ФРГ.

«Намерение наиболее прогрессивных основателей «Группы 61» состояло в том, чтобы с помощью литературы, говоря словами Макса фон дер Грюна, «помочь всем осознать тот факт, что происходящее в нашей стране — это не что иное, как социальное угнетение».

Небывалый для ФРГ подъем забастовочной борьбы в 1969 году, выдвижение бастующими рабочими не только экономических, но и политических требований служат наглядным подтверждением этих слов. Обострение классовой борьбы, замечает У. Райнхольд, не могло не сказаться и на литературном процессе. В «Группу 61» пришли новые силы, ни в коей мере не разделявшие иллюзий социального партнерства. Многие из них не были профессиональными литераторами: отстояв смену у станка, они брались за перо, чтобы рассказать другим о своем горьком опыте. В «Группе 61» завязалась дискуссия о том, как литература должна отражать жизнь современного рабочего класса. В 1969 году внутри «Группы» сформировалась «Мастерская рабочей литературы», подготовившая сборник «Падение башенного крана. Репортажи из мира труда». В 1970 году «Мастерская», получившая название «Мир труда», вышла из состава «Группы 61», приняв собственную программу. Причину подобного решения У. Райнхольд видит — и совершенно справедливо — не в желании добиться формального разрыва с «Группой», но в стремлении работать по-новому, ставить перед собой новые задачи. Очерк и репортаж как основные жанры «рабочей литературы» утратили со временем свое доминирующее положение, появились произведения, ставящие целью осмысление жизни рабочих, в первую очередь условий их труда.

В начале 70-х годов «Мастерские рабочей литературы» становятся важным компонентом западногерманского литературного процесса. Если попытаться выделить главное направление развития «рабочей литературы», то путь этот проляжет к более четкой идейной позиции, складывавшейся в ожесточенных спорах. Нельзя не согласиться с У. Райнхольд, рассматривающей литературу «рабочих мастерских» как составную часть общего потока социалистической литературы в ФРГ, в противоположность отдельным — явно отдающим левацкой демагогией — попыткам противопоставить ее этому потоку как «подлинно рабочую литературу».

В 60-е годы произведения на рабочую тему не пользовались вниманием западногерманских издателей. Однако уже на рубеже нового десятилетия подобные книги стали издаваться гораздо чаще. И хотя тиражи были невелики, можно сказать, что рабочая литература все более уверенно обретала своего читателя.

Одним из наиболее ярких политических событий рубежа 60—70-х годов стало в ФРГ образование Германской коммунистической партии. Уже сам факт ее существования не мог не сказаться положительным образом на литературной ситуации в стране. Журнал ГКП «Марксистише блеттер» так определял цели культурной политики партии: «Речь прежде всего идет о культуре демократической и прогрессивной, о культуре, направленной против монополий, немыслимой вне творческих усилий рабочего класса. Для этого нам необходим широкий союз с гуманистически настроенной интеллигенцией»... Культурная политика ГКП нашла свое выражение в деятельности такого журнала, как «Кюрбискерн».

В начале 70-х годов ГКП уже могла подвести первые итоги своей деятельности в области культуры. Первый форум ГКП, посвященный вопросам культурной политики, отметил важную роль литературы в общей антиимпериалистической борьбе. По этому поводу У. Райнхольд пишет:

«Если примерно до 1969 года в ходе многих дискуссий то и дело всплывал левацкий тезис о «смерти литературы», с которым необходимо было вести полемику, то в начале 70-х годов в среде демократических художников, многие из которых стали членами ГКП, больше не спорили о праве литературы на существование. Этот вопрос разрешило само развитие искусства. Теперь речь шла о более дифференцированном и конкретном понимании функции литературы, которое исходило бы из реалистической оценки эстетических запросов рабочего класса. Абстрактная постановка вопроса «Литература — для чего?» сменилась более точной и конкретной «Литература — для кого?».

В 1973 году на Гамбургском съезде ГКП ее председатель Герберт Мис отметил, что в литературе ФРГ «сформировалось демократическое социалистическое течение». Большая заслуга принадлежит в этом Германской коммунистической партии. Ей удалось объединить вокруг себя целый ряд писателей, как известных, так и только начавших свой путь в литературе.

«Начал складываться,— отмечает У. Райнхольд,— новый тип писателя, связавшего свою судьбу с коммунистической партией. В этом находила свое реальное продолжение традиция социалистической литературы 20—30-х годов которая долгие годы была прервана в стране».

В числе писателей, соотносящих свое творчество с борьбой рабочего класса за свои права, близких к ГКП или прямо участвующих в партийной работе, У. Райнхольд называет Арнфрида Астеля, Манфреда Босха, Мартина Вальзера, Уве Вандрея, Франца Йозефа Дегенхардта, Дитера Зюверкрюпа, Клауса Конецкого, Франца Ксавера Крёца, Петера Майвальда, Ангелику Мехтель, Дагмар Плёц, Романа Риттера, Эрику Рунге, Уве Тимма, Герда Фукса, Иоахима Фурмана, Гюнтера Хербургера, Монику Шперр, Мартина Шперра, Годехарда Шрамма, Юргена Петера Штёсселя, Петера Шютта, Гизелу Эльснер.

Как одно из важных литературных событий начала 70-х годов У. Райнхольд выделяет дискуссию о реализме, начатую по инициативе писателей, близких к ГКП. Дискуссия отразила определенный уровень зрелости, которого достигло движение демократической интеллигенции в ФРГ. Характерно, что именно в это время проснулся усиленный интерес к истории социалистической литературы и марксистской эстетической мысли, особенно к периоду 20—30-х годов. Сама логика развития, подчеркивает Райнхольд, приводит писателя, начавшего осознавать свою позицию, к постановке вопроса «Для кого я пишу?», а далее неизбежно — к реализму. И не случайно именно споры о реализме оказываются тем водоразделом, где особенно отчетливо противостоят друг другу разные воззрения на роль и задачи литературы в современном мире.

Мартин Вальзер, принявший активное участие в дискуссии, выступил с рядом статей в прогрессивной печати на тему партийности литературы и ее реалистичности. У. Райнхольд подчеркивает, что эти статьи существенно обогатили дискуссию, сделали ее более многогранной. Ставя вопрос об общественной функции литературы, Вальзер в то же время учитывал ее художественную специфику. Райнхольд пишет:

> «Результаты обсуждения проблемы реализма помогли прийти к выводу, что только реалистический способ письма помогает сделать исторический процесс наглядным, помогает познать его во всей конкретности».

Не случайно, что именно в этот период демократическая литература в ФРГ существенно углубляет свое реалистическое содержание, стремится показывать происходящее на более широком историческом фоне. И характерно, что ведущим литературным жанром оказывается роман. Романы, появившиеся в начале 70-х годов, позволяют говорить о серьезных художественных завоеваниях литературы социалистического и демократического направлений. К таким произведениям причисляет У. Райнхольд романы Макса фон дер Грюна «Местами гололед» и Кристиана Гайслера «Хлеб с напильником» (оба в 1973 г.), наглядно показывающие процесс идеологического размежевания в ФРГ в 60-е годы. Высокую оценку получает в работе Райнхольд и роман Мартина Вальзера «Болезнь Галлистля» (1972), исследующий ситуацию, в которую поставлен художник в буржуазном обществе. Отмечая социально-критический пафос книги, автор подчеркивает, что сама логика общественной борьбы приводит писателя к новой социальной позиции, сближает его с коммунистами. Сходную проблему — путь мелкобуржуазного интеллигента к рабочему классу — поднимает и Герд Фукс («Берингер и долгий гнев», 1973).

В своей книге Райнхольд отмечает и произведения некоторых молодых авторов, повествующие о личном опыте их создателей, о становлении политического мировоззрения. Это книги Гюнтера Хербургера («Ленау», 1973), Романа Риттера («Лирический дневник», 1973), Уве Тимма («Жаркое лето», 1974), Рольфа Шнайдера («Ленц», 1973), Петера Рюмкорфа («Годы, которые вы знаете», 1972). Как правило, эти произведения полемизируют с левацкой демагогией. Тщательно осмысляя процесс формирования социалистической литературы в ФРГ, взвешивая и обдумывая его отдельные этапы, У. Райнхольд воспринимает развитие революционных тенденций в западногерманской литературе как процесс нарастающий и необратимый. Показывая тесную взаимосвязь, в которой оказались литература и политика в ФРГ в конце 60-х годов, автор ничего не упрощает и не вульгаризирует; обнажая это взаимодействие тонко и диалектически, она доказывает, что вопрос о роли литературы в социальной борьбе, о ее месте в обществе — один из важнейших вопросов сегодняшнего литературного развития.

Н. ЛИТВИНЕЦ

Публицистика

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели о Советском Союзе: путевые очерки, дневники, воспоминания, статьи. 1917—1977

ПАБЛО НЕРУДА

Чили

Из книги «Исповедуюсь в том, что жил», 1974 г.

ПАБЛО НЕРУДА (1904—1973) — выдающийся чилийский поэт, публицист, общественный деятель, член Компартии Чили с 1945 г., лауреат Международной премии мира, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии. Перу П. Неруды принадлежат многочисленные книги стихов, поэмы, оды, книги очерков и публицистических статей. Значительная часть его произведений переведена на русский и другие языки народов СССР. Неоднократно стихи и фрагменты из его книг печатала «Иностранная литература».

В 1949 году, когда я только что вернулся из изгнания, меня впервые пригласили в Советский Союз на празднование 150-летия со дня рождения Пушкина. Совсем смеркалось, когда я пришел на свидание с холодной жемчужиной Балтики, с древним, молодым, благородным и героическим Ленинградом. У города Великого Петра и Великого Ленина, так же как и у Парижа, есть свой «ангел-хранитель». Серый ангел: проспекты стального цвета, дворцы из свинцового камня и зелено-стальное море. Самые прекрасные музеи мира, сокровища царей, их церемониальные одеяния, их портреты, картины, ослепительные драгоценности, их оружие, чаши — все прошло перед моим взором. Его новые бессмертные реликвии — крейсер «Аврора», чьи орудия возвестили предуказанный ленинской мыслью конец прошлого и начало нового отсчета исторического времени.

Я прибыл на свидание с поэтом, погибшим более ста лет назад, с Александром Пушкиным, автором стольких бессмертных стихотворений и повестей. Этот принц на-

Окончание. Начало см. в № 5—9.

родных поэтов владеет сердцем великого Советского Союза. На празднование его годовщины русские восстановили разрушенный дворец царей. Стены дворца были возведены в том виде, в каком они существовали раньше, возрождены из пыльных обломков, в которые превратила их нацистская артиллерия. Были использованы старые планы дворца, документы эпохи — все. Чтобы заново создать сверкающие витражи, узорчатые карнизы, цветущие капители. Чтобы создать музей, посвященный замечательному поэту, чью славу не старит время.

Первым, что поразило меня в СССР, было ощущение широты, масштабов, пространств — колыхание берез, бескрайние, волшебно чистые леса, большие реки, кониволны пшеничных морей, гонимые ветром...

С первого взгляда я влюбился в советскую землю, и я понял, что для всех, кто трудится на нашей планете, она не только источник нравственности, прогресса, справедливости, надежды, меня словно озарило, что этот степной континент, столь чистый в своей естественности, породит однажды великий взлет. Все человечество знает, что здесь куется великая истина, и мир — в напряженном изумлении перед тем, что вот-вот совершится. Одни ждут с ужасом, другие просто ждут, третьи же будто предчувствуют грядущее.

Я стоял в лесу, среди тысячи крестьян, одетых в старинные национальные праздничные костюмы, и вместе с ними слушал пушкинские стихи. Все животрепетало: люди, листва, пространства, в которых начинал свою жизнь новый хлеб. Казалось, природа составляла с человеком победное единство. Из стихов Пушкина, звучавших в Михайловском, однажды должен родиться человек, который полетит к другим планетам...

Советская страна постоянно меняется. Постоянно меняется даже география: строятся огромные города и каналы. Но то, что породнило меня с этой страной духовно, запечатлел во мне именно мой первый визит...

...Много раз приходил я в гости к моему старому другу Эренбургу в его квартиру на улице Горького, завешанную картинами и литографиями Пикассо, бывал на его подмосковной даче. Позднее подружился я с поэтом Кирсановым, который великолепно перевел мои стихи на русский язык. Как и все советские люди, Кирсанов — горячий патриот. Его поэзия полнится молниеносными вспышками и звучностью, которые придает ей прекрасный русский язык, каскадными взрывами исторгаемый его пером.

В Москве или в Подмосковье я часто навещал другого великого поэта — легендарного турка Назыма Хикмета, на 18 лет брошенного в тюрьму правительствами, чуждыми его стране...

Назым-изгнанник прожил в СССР многие годы. Свою любовь к этой земле он излил в одной услышанной мною фразе: «Я верю в будущее поэзии. Верю, потому что живу в стране, где поэзия составляет самое неотъемлемое требование души». В этих словах заключены многие секреты, невидимые издали. Советскому человеку открыт доступ во все библиотеки, во все аудитории, во все театры, его бытие — в центре внимания писателей. Нельзя этого забывать, когда мы спорим о судьбах литературы... Можно ли отказаться от главной темы — темы побед, конфликтов, человеческих проблем — жизни огромного народа, который занят радикальным переустройством политических, экономических, социальных судеб нашего мира? Можно ли не солидаризироваться с этим народом, народом, столько испытавшим, окруженным безжалостными колониалистами, обскурантистами всех климатических широт и мастей?

...Москва — это город Зимы. Это прекрасный город Зимы. На бесконечно громоздящихся крышах лежит снег. Сверкают неизменно чистые мостовые. Жесткий и прозрачный кристалл воздуха. Мягкая серость стали, кружение снежных пушинок, тысячи прохожих, которые будто и не чувствуют холода. И грезится, что Москва — это большой дворец Зимы, украшенный живыми фантастическими узорами.

Тридцать градусов ниже нуля в Москве, которая как огненно-снежная звезда, как зажженное сердце бьется в груди земли.

Один мой испанский друг рассказывал, что во время Великой Отечественной войны, когда стоял самый страшный холод, москвичи ели на улицах мороженое. «Когда я увидел, как в эту ужасную войну и холод москвичи едят мороженое,— говорил мой друг,— я понял, что русские непобедимы».

Ветви в белом от снега парке покрылись корочкой льда. Ничто не может сравниться с хрустальными цветами зимних московских парков. Солнечные лучи извлекают из сосулек белое пламя, ничуть не растапливая их растительных форм. Сквозь заснеженные ветви проглядывают древние башни Кремля, стройные тысячелетние шпили, облитые солнцем купола Василия Блаженного.

Окрестности Москвы остались позади, еду в другой город. Вижу широкие белые дороги. Это замерзшие реки. На их неподвижной поверхности, как мушки на ослепительном покрывале, чернеют силуэты рыбаков. Рыбак останавливается на обширной заледенелой простыне, выбирает место и рубит лед, пока не проглянет погребенный поток. Рыбы распуганы шумом инструмента, которым делали прорубь. Рыбак достает подкормку и сыплет ее в воду, чтобы приманить беглецов. Опускает удочку и ждет. Ждет нескончаемыми часами в этом дьявольском холоде.

Труд писателя, по-моему, имеет много общего с зимним ловом рыбы. Писатель должен найти реку и, если она покрыта льдом, сделать прорубь. Он должен превратиться в кладезь терпения, выдержать холод и враждебную критику, бросить вызов насмешкам, найти глубинное течение, закинуть в него подходящий крючок и, после стольких трудов, вытащить малюсенькую рыбешку. И снова ловить — вопреки холоду, вопреки льду, вопреки течению, вопреки критикам, до тех пор пока не будет хорошего улова.

Меня пригласили на съезд писателей. В президиуме сидели знаменитые «рыболовы», крупные советские писатели. Фадеев с белозубой улыбкой и посеребренными волосами; худой и резкий Федин с лицом английского рыбака; Эренбург с его спутанной гривой, в костюме, который, несмотря на новизну, с иголочки, выглядит так, будто мой друг в нем спал; Тихонов...

В президиуме также монгольского типа лица представителей, глашатаев литератур самых отдаленных советских республик, народов, о существовании которых я доселе даже не знал, у которых не было даже алфавита...

...Я вновь приехал в Советский Союз, и меня пригласили совершить путешествие по югу. Мы пересекли на самолете огромную территорию, за моей спиной остались огромные степи, леса, дороги, большие советские города и деревни. Я прибыл к подножию величественных Кавказских гор, поросших ельником и населенных лесными животными. Простершееся у моих ног Черное море надело на встречу с нами голубой наряд. Отовсюду доносился аромат цветущих апельсинов.

Мы в Сухуми, столице Абхазии — маленькой советской республики. Это легендарная Колхида, страна золотого руна, за которым в шестом веке до рождества Христова прибыл герой Ясон. Это греческая родина Диоскуров. Позже я увидел в музее огромный эллинский мраморный барельеф, только что поднятый со дна Черного моря. На берегах этого моря эллинские боги вершили свои таинства. Сегодня таинства сменились простой трудовой жизнью советского народа. Здешние жители не похожи на ленинградцев. У этой земли, полной солнца, хлеба и обширных виноградников, другая тональность, скорее средиземноморская. И манеры людей здесь другие, глаза и руки женщин — как у гречанок или итальянок.

Несколько дней живу в гостях у писателя Симонова, мы купаемся в теплых водах Черного моря. В саду Симонов показывает мне прекрасные деревья. Я узнаю их и на каждое произнесенное им название реагирую как крестьянин-патриот:

— Это в Чили есть. И это тоже есть в Чили. И то есть.

Симонов смотрит на меня с озорной улыбкой.

— Как мне грустно, что ты, может быть, никогда не увидишь виноградника во дворе моего дома в Сантьяго,— говорю я ему,— ни тополей, позолоченных чилийской осенью; другого такого золота нет. Если бы ты видел, как цветут у нас весной вишни, вдохнул бы аромат чилийского больдо. Если б по дороге в Мелипилью ты видел, как крестьяне раскладывают на крышах домов золотые кукурузные початки. Если б вступил в чистые и холодные воды Исла Негра. Но, дорогой мой Симонов, страны возводят границы, а мы, люди, оказываемся в изоляции. Быстрые ракеты сближают нас с небом — и не сближаются наши руки для братского объятия.

— Все это наверняка изменится,— говорит мне улыбаясь Симонов и бросает белый камешек богам, погруженным в Черное море...

А сейчас мы летим на встречу с трудолюбивой и легендарной землей. Мы в Армении. Вдалеке, на юге, предтечей истории Армении высится снежная вершина Арарата. Именно здесь, согласно Библии, причалил Ной свой ковчег, чтобы вновь заселить землю. Задача была не из легких, потому что земля в Армении каменистая. Армяне обработали эту землю, принеся несказанные жертвы, вознесли свою национальную культуру на высоты античного мира. Социалистический строй дал необыкновенный толчок развитию и процветанию этой благородной мученической нации. Веками иноземные захватчики вырезали и порабощали армян. На каждом клочке земли, на каждой плите монастырей — капля армянской крови. Социалистическое возрождение этой страны было чудом и самым величайшим разоблачением тех, кто клевещет, говоря о «советском империализме». Я побывал в Армении на прядильных фабриках, где работает по 5 000 человек, видел огромные энергетические и ирригационные сооружения, посетил и другие мощные промышленные комплексы. Обходил вдоль и поперек города и пастушьи селения и не видел никого, кроме армян — армянских мужчин и женщин. Нашел одного-единственного русского, инженера с голубыми глазами, одинокими среди тысяч черных глаз смуглокожих обитателей республики. Тот русский руководил гидроэлектростанцией на озере Севан. Поверхность озера, воды которого имеют только один речной отток, слишком велика. Драгоценная вода испаряется, не давая жаждущей Армении собрать свои собственные дары. Чтобы выиграть у испарения время, реку расширили. Уровень воды в озере будет, таким образом, падать, одновременно заработают восемь гидроэлектростанций, которые дадут жизнь новой промышленной отрасли — выплавке алюминия, дадут свет и воду для орошения всей страны. Никогда не забуду моего визита на ГЭС, выдвинутую в озеро, которое отражает в своих чистейших водах незабываемую голубизну армянского неба. Когда журналисты спросили меня, какое у меня впечатление от древних армянских церквей и монастырей, я ответил им:

— Церковь, которая мне больше всего понравилась,— это гидроэлектростанция, знаете, храм на озере.

Думаю, что Ереван — это один из прекраснейших городов; построенный из вулканического туфа, он гармоничен, как розовая роза. Запечатлелась в памяти Бюраканская астрофизическая обсерватория, где я впервые в жизни увидел звездные письмена: там улавливается трепетный свет небесных тел, деликатнейшие механизмы записывают живую пульсацию звезды в пространстве — вроде электрокардиограммы неба. Из тех графиков следовало, что у каждой звезды свой почерк, чарующий и дрожащий, хотя и непонятный для моих глаз, глаз земного поэта...

Зоосад Еревана один из немногих, где есть амазонский тапир — это необыкновенное животное с телом быка, остроносой мордой и маленькими глазками. Должен признаться, что тапиры похожи на меня. Мне об этом не раз говорили.

Ереванский тапир подремывал в своем коррале рядом с бассейном. Едва я появился, как он уставился на меня своими умными глазами; не исключено, что мы виделись в Бразилии. Директор спросил, хочу ли я посмотреть, как он плавает, и я ответил, что ради удовольствия посмотреть, как плавает тапир, я проехал полмира. Перед ним открыли калиточку. Тапир окинул меня счастливым взглядом и бросился в воду, фыркая, как морской конь, как мохнатый тритон. Он поднимался, показывая над водой все тело; нырял, образуя настоящий прибой; вновь высовывался, хмельной от радости, кувыркался и фыркал и потом на огромной скорости опять выделывал свои невероятные акробатические этюды.

— Таким счастливым мы никогда его не видели,— сказал мне директор зоосада.

В полдень, за обедом, устроенным для меня Союзом писателей, в благодарственной речи я рассказал о проделках амазонского тапира и о своем пристрастии к животным. Я всегда буду ходить в зоосад.

В ответной речи председатель Союза армянских писателей пошутил:

— Зачем Неруде надо было идти в наш зоосад? Чтобы осмотреть все виды, ему достаточно было прийти в Союз писателей. Здесь у нас есть и тигры, и львы, лисы и тюлени, орлы и змеи, верблюды и попугаи...

Я снова в Москве. 7 ноября присутствовал на народной демонстрации, видел спортсменов, цвет советской молодежи. Уверенно и твердо проходили они по Красной площади. Перед мудрым, проницательным взором человека, умершего много лет назад, породившего эту уверенность, эту радость и силу,— Владимира Ильича Ульянова, вошедшего в бессмертие под именем Ленина.

В тот день награждали русских, вернувшихся с неба. Я ощущал близость их крыльев. Дело поэта большей частью сродни «птицедейству». Именно на улицах Москвы, берегах Черного моря, среди горных хребтов советского Кавказа пришло ко мне искушение написать книгу о птицах Чили. Поэт Темуко сознательно посвятил себя «птицедейству», стихам о птицах своей столь далекой земли — чинколе и черканах, тенках и диуках, кондорах и кельтеуэс. А между тем два птицечеловека, два советских космонавта поднялись в космос, и весь мир затаил дыхание.

В тот день их награждали. Рядом с ними, совершенно земными, стояли их семьи, их истоки, их народные корни. У стариков были огромные крестьянские усы: головы старух были покрыты деревенскими платками... Потом мы увидели космонавтов в Георгиевском зале. Меня представили Герману Титову, космонавту номер два, симпатичному парню с большими лучистыми глазами. А я возьми да спроси его:

— Скажите мне, командант, когда вы плавали в космосе и смотрели на нашу планету, хорошо ли виделось Чили?

Это все равно что спросить его: «Вы понимаете, что самое важное в вашем путешествии было увидеть сверху Чили».

Против ожиданий, он не улыбнулся, а, подумав несколько мгновений, сказал:

— Помню желтизну Кордильер в районе Южной Америки. Было видно, что они очень высокие. Возможно, это было Чили.

— Конечно же это было Чили, товарищ!

Я покинул Москву в тот день, когда социалистической революции исполнилось ровно 40 лет. Когда я ехал по городу на вокзал, взрывами радости, знаками дружбы, летящими этой победной ночью во все концы мира и ко всем народам, устремлялись вверх и распускались большие полыхающие фосфорические снопы ракет: голубых, красных, фиолетовых, зеленых, желтых, апельсиновых.

...В Гётеборге мы сели на пароход, который повез нас в Америку. Америка и моя родина тоже идут в ногу со временем. Когда мы, следуя в Вальпараисо, прибыли в Венесуэлу, выяснилось, что тиран Перес Хименес, любимая марионетка Госдепартамента США, выродок Трухильо и Сомосы, послал в порт сотни солдат — прямо как на войну — с единственной целью: воспрепятствовать мне и моей спутнице сойти с корабля. Но когда я добрался до Вальпараисо, ветер свободы уже сдул венесуэльского деспота, его величество сатрап сбежал в Майами, как трусливый заяц. Быстро закрутился мир с момента полета спутника. И кто бы мог подумать, что первым человеком, постучавшим в Вальпараисо в дверь моей каюты, чтобы приветствовать нас на родной земле, будет писатель Симонов, с которым я расстался на черноморском пляже?

Перевод с испанского А. НАУМЕНКО

◆

НГУГИ ВА ТХИОНГО

Кения

НГУГИ ВА ТХИОНГО (Джеймс Нгуги род. в 1938 г.) — видный кенийский писатель, профессор литературы Кенийского университета (Найроби), лауреат международной премии «Лотос». На русский язык переведены два его романа «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно», несколько рассказов, а также ряд статей — исследований об африканской культуре.

На конференции афро-азиатских писателей

Над Москвой повисла тонкая пелена тумана. Из окна огромной гостиницы «Россия» я глядел на купола и маковки церквей, возвышающихся на противоположном берегу медленной Москвы-реки. Некогда церкви, кажущиеся сегодня причудливыми и спокойными, обладали огромной силой и освящали именем господа бога и царя, его наместника на земле, жестокую эксплуатацию крестьянства со стороны класса помещиков и военно-бюрократической аристократии. Церковнослужители окропили святой водой и благословили крепостное право — внутреннее рабство,— такое же безжалостное в своем презрении к жизням человеческим, каким было и английское рабовладение в Африке и Вест-Индии.

Теперь в этих бывших церквах размещаются музеи, и в одном из таких музеев мы осмотрели выставку самодеятельных художников. Это было в среду пятого сентября 1973 года. Угандийский поэт Окот п'Битек, прозаик из Малави Дэвид Рубадири, я с женой Ньямбурой и несколько других писателей из Восточной Африки, прилетевших в Москву предыдущей ночью, мы зашли в этот музей по пути на Красную площадь, к Мавзолею Ленина — человека, основавшего первое в мире государство рабочих и крестьян.

Красная площадь, что означает на русском языке «красивая, прекрасная», была когда-то рыночным, торговым местом, где забитому, бесправному, но непокорному народу зачитывались царские указы и законы. На этой площади были казнены Пугачев и другие предводители восстаний против царской власти — казнены, чтобы запугать непокорных людей, поднимавшихся на борьбу. В 1917 году рабочие и крестьяне, возглавляемые Лениным и партией большевиков-коммунистов, одержали триумфальную победу.

Очередь к Мавзолею Ленина огромна. Миллионы людей из Советского Союза, из всех стран мира приходят сюда ежегодно... Тишина. Глаза тысяч и тысяч обращены на величайшего сына эпохи: округлое лицо, заостренная, клинышком, бородка. Лицо светится каким-то удивительным внутренним светом, кажется, будто великий человек прилег на минуту отдохнуть... Сколько мыслей и чувств проносится в сердцах тех, кто проходит перед Лениным в знак огромного почитания, любви и признательности...

Ньямбура сказала в раздумье: «Кажется, что вот-вот Ленин встанет...» Окот п'Битек воскликнул: «Какая любовь народа всех рас!» А я думал: «Великая сила великих идей...» В час триумфа революции Ленин провозгласил право всех наций на самоопределение, включая и те нации, которые были под колониальным ярмом царской России. Народы России объединились и образовали союз пятнадцати республик — Союз Советских Социалистических Республик.

В столице одной из республик — Казахстана — состоялась V Конференция писателей стран Азии и Африки, участниками которой были и мы, писатели из Восточной Африки. Мы летели в Алма-Ату около шести часов, оставляя на западе Москву и Россию. Как огромна эта страна!..

Для меня Советский Союз никогда не представал в образе лишь страны, государства — он существовал в моем уме и сердце как комплекс различных представлений, символов, воспоминаний. В самолете, летящем из Европы в Азию, я вновь вспоминал, воскрешал в памяти рассказы, которые слышал о нем. В школах и университетах нас учили и заставляли верить тому, что Советский Союз — это страна, где все, включая жен и детей, общее. Что там не услышишь смеха, не увидишь улыбки: все люди ходят с каменными, унылыми лицами... Но существовал и другой образ, противоположный тому, который нам вдалбливали в колониальных школах и университетах. Было это незадолго до начала войны мау-мау за национальное освобождение. Люди, работавшие на фабрике неподалеку от нашей деревни, заходили, бывало, в нашу хижину из глины и соломы и, между притчами о зайце и леопарде, рассуждали также о заморских странах. Помню, они шептали тихо: «Англичане боятся русских. Русские придут на помощь борющимся народам». Один из генералов мау-мау дал себе прозвище «Генерал Россия»... Образ за образом...

Алма-Ата в переводе с казахского языка значит «отец яблок». Это красивый город широких улиц под сенью зеленых деревьев. Было лето, прекрасный летний день, но на вершинах отрогов Тянь-Шаня лежали шапки снега. Эти горы служили когда-

то надежным укрытием для казахов-патриотов, сражавшихся против орд Чингисхана, вторгшихся в страну в четырнадцатом веке.

Казахи — один из народов Азии, в облике которых есть что-то и от монголов и арабов и какие-то европейские черты. Они очень дружелюбны и гостеприимны.

Три старика подошли ко мне и, услышав, что я приехал из Кении, пожали мне руку. «Кения, Джомо Кениата, Ухуру на кази!» — воскликнул один из них. Я помню другого человека — писателя, который привел свою маленькую симпатичную дочку, чтобы она поприветствовала Ньямбуру. Девочке было лет семь, но она уже знала несколько английских слов, и отец был горд за нее. Очень старый, но полный энергии поэт, сопровождавший нас в поездке по Казахстану, написал поэму о «пшеничном зерне из Кении». Общение с людьми — вот что дорого мне больше всего.

Конференция писателей носила ярко выраженный антиимпериалистический характер — литература и культура естественно породнились с борьбой. В кулуарах конференции было еще более оживленно и интересно: минутную грусть сменяла радость встреч, общения с друзьями-писателями.

Там был Евтушенко: высокий, с огромной репортерской сумкой через плечо, немного отрешенный, он безмолвно фотографировал все вокруг.

Там был Алекс Ла Гума — веселый, смеющийся, и я невольно вспоминал те далекие времена, когда впервые встретил его в Лондоне. Тогда он только что вырвался из Южной Африки после многих лет домашнего ареста и был задумчив и грустен и немного нерешителен. Даже и сейчас лицо его могло мгновенно измениться — мысли о родине никогда не покидают его.

Там был гамбийский поэт Ленри Питерс — бородатый, с неизменной сигарой во рту, он говорил: «Бог мой, как чтут в Советском Союзе писателей!»

Там были вьетнамские писатели, непреклонные и веселые. Они устроили пиром в честь их соотечественника, получившего премию «Лотос», они поднимали тост за дружбу народов Африки и Вьетнама.

Атуквей Окай, поэт из Ганы, энергично требовал, чтобы следующая конференция состоялась в Черной Африке,— таково было решение всех писателей-делегатов Алма-атинской конференции.

Самая запоминающаяся часть моего пребывания в Советском Союзе началась после закрытия конференции, когда мы посетили несколько колхозов. Один из них назван именем Джамбула, знаменитого казахского народного поэта, который пел свои песни-поэмы, аккомпанируя себе на десятиструнном инструменте. У казахов есть музей Джамбула, и, бродя по его залам, я вспомнил слова Ленри Питерса о любви народа к своим писателям. Музей поэта!

Каждый колхоз — это не только экономическое объединение крестьян, это и культурный центр со своим комплексом магазинов, музыкальным и концертным залом, где устраиваются концерты народной музыки и молодежных ансамблей, экспериментирующих с электрогитарами и ударными. И конечно — книжные магазины. На каждом углу алма-атинских улиц есть книжная лавка, в каждом колхозе есть книжный киоск, в котором можно купить книги по агрономии и произведения Толстого и Шолохова, сочинения современных казахских и русских писателей. В колхозе имени Мичурина — огромном сельскохозяйственном коплексе, культивирующем различные виды фруктов,— я нашел книжный магазин, в котором было несколько экземпляров книги «Пшеничное зерно» в переводе на казахский язык. Я подписал несколько — к изумлению колхозников, увидевших приехавшего издалека автора. Я сказал себе: «Пятьдесят лет назад эти крестьяне едва ли умели читать и писать, а теперь они читают книгу о борьбе мау-мау в Кении!»

Мы улетали на родину, улетали в иной мир, и в самолете я пробовал разобраться в своих впечатлениях от увиденного и услышанного в Советском Союзе. Я вспоминал многочисленные беседы с писателями Казахстана, вспоминал тосты за дружбу между народами, слова колхозника, который сказал мне: «У моего отца было четверо детей. Кроме меня, никто не получил образования. Сейчас у меня тоже четверо детей и все они учатся в университете».

Испытания минувшей войны — я чувствовал это всегда — все еще остаются здесь раной на сердце у многих людей. Каждый второй тост говорил о мире. Секретарь Союза писателей Казахстана рассказал мне, что его сын, хирург, до сих пор извлекает осколки металла у тех, кто был ранен на той, уже далекой войне. Крестьянин, имени которого я не знаю, сказал: «Нужен такой мир на земле, в котором наши женщины и дети знали бы только любовь и не знали войны».

Еще я вспоминал нашу переводчицу, недавнюю выпускницу Московского университета, прекрасно говорившую на суахили, которая постоянно заставляла меня краснеть за мой корявый — родной!— язык.

Прилетев в Найроби, я сказал Ньямбуре: «Теперь я должен хорошенько заняться суахили — не хочу краснеть за родной язык, который иностранец может знать лучше меня». Ньямбура засмеялась, сомневаясь в том, выполню ли я свое обещание. И все же я решил доказать, что она ошибается.

Перевод с английского Е. СУРОВЦЕВА

АНДРЕ РЕМАКЛЬ

Франция

Из книги «Кама + з = КамАЗ, или Путешествие на КамАЗ», 1976 г.

АНДРЕ РЕМАКЛЬ (род. в 1908 г.) — французский писатель и журналист. Автор романов «Летайте «Каравеллой» (1968), «Бухта Мальдорме» (1971), «Улица Трех Солнц» (1975) и др.
На русский язык переведен его роман «Время жить», отмеченный во Франции премией «Попюлист».

Протянувшаяся в золоте хлебов, зелени полей, черноте пашни, рассеченная лишь темным пятном лесов, перед нами степь — насколько хватает глаз. Просто неведомо, где кончается земля, где земля начинается.

Впечатление, что все где-то за горизонтом — горизонтом, слегка обрисованным кисеей и занавесками голубого цвета, которые кажутся настоящими горами, на самом же деле чаще всего это только холмы среди равнины без конца и края.

Небо, необычное небо, все в тучах и внезапно голубеющее от света, изменчиво, и предугадать погоду невозможно. Дождь угрожает, моросит, играет в прятки с солнцем и вдруг становится проливным, с грозой, как будто все небо, исполосованное молниями, разверзлось и превратилось в огромный водопад.

Татария — название, вызывающее в памяти бешеные скачки верхом и легенды, в которых фигурируют избы, окрашенные в нежные тона, с резными наличниками, многоцветьем палисадчиков: где танцуют мужчины в забавных круглых или квадратных шапочках, оправленных золотой нитью, розовыми узорами, и женщины в красных газовых платочках, затейливо обмотанных вокруг головы. Татария, где жители деревень, разбросанных там и тут, сохранили родной язык, обычаи, семейные устои, Татария — это страна воды, земли и лесов.

И вдруг к слову «Кама» — так называется река, сбегающая с отрогов Уральских гор,— добавили еще одну букву, и получилось КамАЗ. Пять лет уже, как это слово «КамАЗ» звучит лейтмотивом по всей необъятной Советской стране, притягивая советских людей из всех ее республик к одной точке: некогда маленькому, малюсенькому кружочку на географических картах — Набережным Челнам, заштатному селению, основанному в 1626 году. Три столетия потребовалось ему, чтобы стать городом с тридцатью тысячами жителей, занимающихся сельским хозяйством и судоходством. В декабре 1969 года экскаватор вынул первый ковш земли в нескольких километрах от Набережных Челнов, где заснеженные избы не верили своим глазам-окнам.

Этим сентябрем 1976 года, вот уже сорок дней, живу я в Набережных Челнах, в центре города, рожденного КамАЗом — самым грандиозным, самым современным в мире заводом по производству грузовых автомобилей, который мог бы стать выставкой технических новинок всех стран. Но КамАЗ не выставка, а нечто совсем иное. Это огромный комплекс из шести заводов, который к концу десятой пятилетки, то есть в 1980 году, должен поставлять 150.000 грузовиков в год, а также моторы для них,— комплекс, где трудится по меньшей мере 55.000 рабочих.

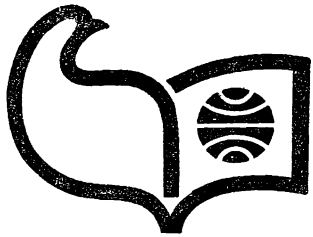
Первые машины сошли с конвейера в феврале этого года в ознаменование XXV съезда Коммунистической партии, а в сентябре «КамАЗы» уже бороздят дороги Советского Союза.

И вот Набережные Челны, деревня, основанная 350 лет назад крестьянином Федором Поповым, за пять лет преобразилась в город с 250.000 жителей, город новых домов, который с наступлением вечера расцвечивается фейерверком десятков тысяч окон, город, где краны продолжают громоздить блоки новостроек, где землеройные устройства непрерывно «перелопачивают» тонны грунта, где в грязи, пыли, местами еще без тротуаров молодые мужчины и женщины — средний возраст жителей города 24 года — работают, переживают многочисленные трудности и живут бесчисленными надеждами, создавая город своей мечты.

Город, родившийся пять лет назад, завод, родившийся пять лет назад, город-ребенок, который продолжает расти, завод, не прекращающий своего роста,— именно в этой легендарной Татарии куется самая необыкновенная легенда, творимая всем Советским Союзом, мужчинами и женщинами — представителями примерно семидесяти национальностей Страны Советов, легенда нашего времени, рожденная социализмом.

Уже поздно. Перед моим окном высокий подъемный кран медленно поворачивает свою освещенную руку — бригада строит детский сад, и это больше нежели символ. Есть грязь, пыль, длинные проспекты, где еще на каждом шагу колдобины, но уже существуют ясли, детские сады. Именно этим детям, которые пожнут плоды такого огромного труда, я и хотел бы посвятить свою книгу о КамАЗе и верю, что она выйдет в будущем году в издательстве «Прогресс».

Перевод с французского Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ



СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

Интервью, взятые Е. СТОЯНОВСКОЙ у участников международной писательской встречи

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ...

Брайан Филан

АНГЛИЯ

Я — ирландец, довольно давно живу в Лондоне, женился на англичанке, и дети мои — англичане. Вы спрашиваете, как отражается на моей литературной работе национальная принадлежность? Пишу об обществе, в котором живу: большая часть моих пьес рисует англичан, живущих в Англии, а некоторая часть — ирландцев, живущих в Англии, и конфликты, возникающие между ними. Но прежде всего, я надеюсь, моя работа посвящена тому, что сейчас происходит в Англии,— что, полагаю, противостоит принципу автобиографического творчества. Какие работы прервала поездка в Софию? До того, как я приехал сюда — тем же буду продолжать заниматься после возвращения,— я работал над телевизионными пьесами для телевидения ФРГ. Сейчас пишу третью пьесу этого цикла, его тема — положение женщины в современном обществе. Первая из них была о женщине из рабочей среды, не желающей, чтобы ее жизнь шла по традиционному пути. Вторая — о женщине, принадлежащей к так называемому среднему классу. А третья — которой я сейчас занимаюсь — о супружеской чете, которая в умозрительном плане решила проблему новой семьи, где есть дети и где работают и муж и жена, но у них недостаточно денег, а общество помогает им мало. Происходит столкновение между принципом, идеей, которую оба они признают, и эмоциональной жизнью этой пары, жизнью, которую они сами формируют и программируют. Подчас их беседы друг с другом ограничиваются бесконечным распределением обязанностей между собой. Поведение их обусловлено опытом и воспитанием предшествующих поколений — их родителей, и дедов, и бабушек. В глубине души он предпочел бы иметь жену, похожую на свою мать, а жена в глубине души чувствует себя виноватой в том, что не похожа на с в о ю мать... Во всех трех пьесах, но в особенности в третьей, в основе одна мысль: английская женщина и женщина вообще все больше и больше осознает, что в Англии, если она хочет как-то проявить себя в профессиональном отношении, она должна пойти на полный пересмотр самого института брака.

Вот этим я занят именно сейчас. Одновременно работаю над пьесой для театра, но сейчас еще мне очень трудно говорить о ней, пока, пожалуй, лучше подождать. После рождества в Америке пойдет моя

Продолжение. Начало см. в № 10, 1977.

Из зарисовок участника конференции — известного негритянского художника и общественного деятеля Элтона Фэкса: вверху — в зале заседаний, Николас Гильен (Куба). Внизу — выступает Пантелей Зарев (Болгария).

Слева направо: Чингиз Айтматов, Евгений Евтушенко (СССР), Алекс Ла Гума (ЮАР), Дора Габе (Болгария), Уильям Сароян (США), Мартин Наг (Норвегия), Фаиз Ахмад Фаиз (Пакистан).

пьеса, на которую я возлагаю надежды в смысле гонораров... В ноябре другая пьеса будет поставлена в Париже, с участием Жака Дюфилло и Джорджа Уилсона, ставит ее режиссер из США Джон Бэри. А в сентябре в Лондоне пойдет короткая пьеска «Последние известия», ее я буду ставить сам. Главный персонаж — человек, одержимый стремлением впитать в себя весь непрерывный поток информации, изливаемый радио, газетами, телевидением,— информации, зачастую ужасной...

Что нового, интересного сейчас в театре Англии?

По-моему, самое любопытное, самое увлекательное явление на нашей сегодняшней сцене связано совсем не с традиционным «писательским театром», а с молодым лондонским театром, который ставит коллективно созданные спектакли. Моя жена — член такого театрального коллектива. Труппа эта объединяет актеров, режиссеров и писателей, работающих вместе, и называется «Общая театральная компания» («Коммон сток тиатр компани»). Главный принцип, положенный в основу ее деятельности, заключается в ориентации на нового театрального зрителя — английские зрители принадлежат в большинстве своем к средним классам, к буржуазно-интеллигентским кругам, а эта группа обращается к зрителю-рабочему. Поэтому они не ждут, пока зрители придут к ним, а сами приходят к зрителям — играют в многоквартирных домах, парках, общественных залах, они хорошо понимают, что эта аудитория к ним не придет, пока не будет установлена настоящая связь между театром и публикой. Сейчас, например, они ставят пьесу, посвященную «ребятам из Борстала» — то есть несовершеннолетним правонарушителям, находящимся в специальной тюремной колонии. Три месяца вся эта группа — актеры, постановщики, литераторы — собирала и исследовала материал; работала в среде этих детей и подростков, беседовала с администрацией и весь накопленный материал превратила в пьесу. Все это совершенно не похоже на то, что делаю я, когда сижу в своей комнате и пишу пьесу. Конечно, если бы я выбрал ту же тему, то, разумеется, собирал и изучал бы материал примерно тем же способом, но самостоятельно. Многие рассуждают так: если люди пишут пьесу все вместе, то она обязательно получится лучше. Я в этом совсем не уверен. Она получится другой, но совсем не обязательно лучше.

Политический театр? Да, деятельность такого рода театра в большой мере связана с определенными политическими взглядами. Правда, мне кажется опасным считать (а они иногда впадают в эту ошибку), что если замысел произведения верен, то оно обязательно будет удачным. Дело совсем не в том, что я ощущаю какую-то угрозу себе как драматургу со стороны таких коллективов. Мы можем отлично уживаться «бок о бок». Я немного работал с ними, с удовольствием следил за деятельностью этой группы, она стимулировала мое творчество, но в конце концов я достаточно взрослый человек, чтобы писать самостоятельно!

Мои впечатления о Софийской встрече писателей? Мне кажется, что сейчас, пожалуй, еще слишком рано давать общую оценку этой международной писательской конференции — столько контактов, разговоров, дискуссий, все это так захватывающе интересно! Но все дело в том, насколько она будет способствовать главной цели — отказу от войны в пользу мира. Это мы еще увидим, не так легко сказать, станут ли прислушиваться к писателям люди, от которых зависит, быть ли войне или миру,— ведь чаще всего сами они книг не читают и театров не посещают. Но я думаю, уже один тот факт, что столько людей со всех концов света собралось здесь и все же начали обсуждать этот вопрос — и то, что весь мир об этом узнает,— вызывает чувство признательности болгарскому Союзу писателей и долю надежды. Вместе с тем это накладывает большую ответственность и на журналистов, которые ведут репортаж об этой конференции, на таких людей, как — прошу прощения — вы, как корреспонденты телевидения, с которыми я беседовал, ответственность тем большую, что они должны рассказывать людям не только о том, что здесь происходит, но и почему, какова цель всего происходящего здесь. Дело ведь не только в интервью и фотографиях, не в том, что один писатель знаменит, а другой не столь знаменит, дело в том, что все эти люди, собравшиеся здесь, глубоко озабочены тем, чтобы война не началась снова, потому что это была бы такая война, которую просто невозможно представить себе. Это — гуманистическая позиция, которой давно уже привержены настоящие писатели и все люди, кровно заинтересованные в торжестве идей мира. Так что можно сказать, что в нынешней конференции есть два уровня, два аспекта: во-первых надо помнить о том, зачем все мы собрались здесь, а во-вторых, сама эта встреча, наше знакомство друг с другом, чудесные беседы, которые здесь завязываются. Что касается второго аспекта, то, как я сегодня говорил одному писателю, дома, работая, мы встречаемся друг с другом мимоходом, осведомляемся наспех, что, мол, пишешь, и переходим к другим делам, потому что все заняты самими собой.

Но когда вокруг тебя писатели из разных стран и они расспрашивают тебя подробно, над чем, как и почему ты работаешь,— это совсем другое дело. С годами появляется чувство какой-то самоудовлетворенности, благодушия, но в последние пять-шесть дней, то есть с приезда сюда, самоудовлетворенность для меня стала уже невозможной. Думаю, что, вернувшись, я многое пересмотрю в своей работе — представляете, насколько это существенно. Так что во втором своем аспекте конференция была для меня необыкновенно интересной. Ну а если говорить о первом, главном ее аспекте, то должен повторить снова: она заставляет

все более серьезно и глубоко думать о мире и о том, какие условия и обстоятельства способны привести к новой войне. Раз такие обстоятельства существуют, существует и угроза войны, но политики, быть может впервые в истории, проявляют определенную осмотрительность, которой мы можем воспользоваться. Они сознают, что в случае новой войны никто уже не сможет отсидеться за линией фронта, предоставив умирать тем, кто воюет, как это всегда бывало в прежних войнах. Возможность термоядерной войны создает угрозу гибели для всех без исключения, от нее нельзя укрыться в засекреченных убежищах. Как человеческие существа, они понимают, что термоядерная война уничтожит и их самих, чего никогда не было прежде.

Какие выступления участников конференции произвели на меня особое впечатление? Очень взволновала меня речь представительницы Кипра, поэтессы Элли Пеониду, обратившейся к своим коллегам — турецким писателям. Она призывает их собраться и вместе обсуждать проблемы борьбы за мир. Мне кажется, она великолепно использовала этот форум. Кипр — разделенный остров, но писатели и люди вообще — киприоты и турки — в общей дискуссии могли бы найти пути к разрешению спорных вопросов.

Я много беседовал здесь с болгарскими писателями, раньше я ведь знал о Болгарии очень мало. Перед отъездом сюда я готовился, доставал книги о Болгарии, читал книги болгарских поэтов и прозаиков, потому что именно они дают настоящее впечатление о своем обществе, читал и критические работы. Жаль только, что у нас в книжных магазинах я не мог достать произведений болгарских писателей, этот обмен должен быть улучшен. Познакомившись с ними, я увидел, как много между нами общего, в том числе в нашем историческом прошлом: война, оккупация, борьба за свободу,— я тоже участвовал и продолжаю участвовать в этой борьбе,— многое нашло отражение в литературе обеих наших стран. И теперь Болгария уже не кажется мне незнакомой, чуждой страной. И наверно, после разговоров со мною, Ирландия уже тоже не кажется им чуждой страной. Милитаристская пропаганда добивается того, чтобы человек из другой страны, другой политической системы предстал в облике какого-то зверя, не просто зверя, а опасного зверя, которого уничтожают. И если я читаю такую вот злобную, вредоносную пропаганду, статьи, изо всех сил стремящиеся внушить мне, что я встречу опасного зверя,— я буду настороже и уже не смогу увидеть человека таким, каков он есть. Совсем не то делает художник: ни один настоящий писатель не удовлетворится плоским, прямолинейным изображением звероподобного существа, он рисует образ человека, который воспринимается вами как живая, неповторимая индивидуальность, оставаясь при этом человеком, подобным вам. И когда вы его встречаете, то, пусть он даже вам не нравится, пусть вы расходитесь с ним во взглядах, социальных или политических, все равно вы смотрите на него прежде всего как на человеческое существо. Для меня главное значение этой конференции в том, что она внушает нам простую мысль: в нынешнем мире мы должны смотреть друг на друга прежде всего как на человеческие существа. Разногласия, конечно, останутся. Но только люди, стремящиеся сохранить напряженность, хотели бы и впредь способствовать этому поверхностному, лживому изображению друг друга. И я считаю, что если конференции удастся хоть в малой степени помочь рассеять эту ложь, то для меня, помимо всего прочего, это было бы огромной личной радостью.

КОГДА МЫ РЫБАЧИМ....

Фарли Моуэт

КАНАДА

Рассказать о самом сильном впечатлении этих дней? Ну что ж... Начнем, пожалуй, с одного небольшого, но памятного для меня эпизода, который я пережил здесь, в Болгарии. Случился он три дня назад на берегу Черного моря. Мы остановились в первоклассной комфортабельной гостинице в туристском районе. Правда, там можно прожить тысячу лет и не увидеть никого, кроме туристов. Я же всегда — где бы ни оказался — ужасно жаден до личных, прямых контактов с коренными жителями.

И потому в один из этих дней мы отправились в поездку на автомашине. Проезжаем мимо селеньица — три крошечных домика на вершине очень высокого утеса. Спрашиваю у гида, кто там живет, что за люди. Он отвечает: «Рыбаки». Спрашиваю: «А можно ли остановиться — поприветствовать их?» Отвечает: «Конечно».

Мы останавливаемся. Находим капитана — бригадира одного из рыболовецких кооперативов: очень высокого мужчину, с обветренным красным лицом, могучего телосложения, с глазами нестерпимой голубизны — такими становятся от долгого, в течение всей жизни, всматривания в океан. Поговорили с ним несколько минут. Он

спросил меня: «Вы из Канады?» Отвечаю: «Да». «А понимаете что-нибудь в рыбной ловле?» Отвечаю: «Да, я провел многие годы с рыбаками у себя на родине, эту породу людей я люблю больше всего». «Ого,— говорит он.— Тогда завтра поедете с нами». Отвечаю: «Спасибо. Я просто в восторге»...

Итак, на следующее утро мы встали еще до рассвета. Проезжая вдоль берега Черного моря, видели, как занимается заря, как сначала появляется слабый свет, как этот свет разгорается все ярче́ и ярче... Наконец добрались мы до маленькой рыбацкой деревушки. Люди были уже готовы, лодки — тоже. Мы погрузились и вышли в Черное море, гладкое, как зеркало. Достали сети, опустили за борт, все работали дружно, согласно. Потом вытащили сети и высыпали мелкую серебристую рыбешку, заполнили ею лодку и вернулись на берег. Капитан похвалил меня: «Вы настоящий рыбак. А сейчас будем варить уху — особую, рыбацкую...»

И вот мы едим эту уху, пьем замечательную сливовую водку. Дело было ранним утром: все как положено у рыбаков, знаете — крепкий народ рыбаки...

А потом разговорились... Говорили о том, что происходит сейчас с морями во всем мире. Я рассказал им, что приехал на конференцию писателей, где толковали о мире, и тут капитан задал необычный и, как мне показалось, замечательный вопрос: «А вы говорили о мире между всеми живыми существами? Или разговор шел только о мире между людьми?»

Я ответил, что обсуждались главным образом проблемы мира между людьми.

Он сказал: «Люди не смогут жить в мире на нашей земле до тех пор, пока не научатся жить в мире с самой землей».

Пожалуй, это была самая блестящая, самая глубокая мысль, которая когда-либо могла прийти мне в голову. Она не прозвучала с должной силой на конференции, и мне захотелось продолжить конференцию и выступить с трибуны, процитировав эти мудрые слова рыбака и его мысли: я был совершенно согласен с ним...

Во многих моих книгах, я бы даже сказал в большинстве из них, речь идет о непосредственном общении человека с природой. Я был всегда убежден, что люди, непосредственно общающиеся с природой, по самому своему складу, по самой природе — мирные люди. Они понимают, что такое мир. Они считают, и я тоже глубоко убежден в этом, что современный человек никогда не сможет перестать воевать против себе подобных до тех пор, пока он не усвоит истину, что мы не одни на планете, что все формы жизни на планете — это часть одной системы. И мы тоже — часть этой системы. Мы должны найти путь к тому, чтобы жить в мире с другими формами жизни и, если угодно, другими формами мироздания. Мы должны перестать воевать с другими формами жизни. Мы должны перестать воевать с нашей планетой. Мы должны перестать воевать с реками, лесами, горами, равнинами. Только тогда, как мне кажется, мы сможем перестать воевать между собой...

Вас интересует, чем занят в данный момент я лично. Думаю, что в жизни каждого писателя и в его творческой деятельности наступает такой момент, когда он должен отложить в сторону свое дело или свое занятие — да, занятие, ибо я не уверен, что сам писатель может говорить о литературе как об искусстве. Я не считаю ее искусством, быть может, некоторые и считают, но только не я, я считаю ее профессией, делом, ремеслом... Но наступает такой момент, когда нужно прервать работу и на какое-то время отодвинуться от нее, дать возможность мозгу возродиться, обогатиться новыми идеями, мыслями, сюжетами, свежими способами, средствами выражения. Этим я как раз и озабочен сейчас. Я отошел от своих дел на целый год: принял единоличное решение, тем более что я вообще люблю отдыхать... В один прекрасный день спрашиваю себя: «Фарли, а не пора ли отдохнуть, взять себе отпуск?» Дальше — больше: «А как долго тебе хотелось бы отдохнуть, Фарли?» Уточняю сам с собой: «Давай прикинем, Фарли, сколько я могу позволить себе отдохнуть?» Фарли отвечает: «Пожалуй, с годик бы надо отдохнуть...» Вот я сейчас и пытаюсь осуществить это. Правда, я не доверяю самому себе: знаю, что после двух-трех месяцев отдыха Фарли заявит: «Фарли, неужели тебе не хочется вернуться к работе?» И Фарли ответит: «Что ж, пожалуй, хочется, пожалуй, пора уже вернуться к работе...» В общем, посмотрим, что получится...

Во всяком случае сейчас, весь нынешний год, вернее, несколько ближайших месяцев я собираюсь провести в глухом уголке Канады, на атлантическом побережье. Буду ходить на небольшом деревянном суденышке вдоль Лабрадора — вы ведь знаете, где это — восточное, гористое побережье Северной Америки, точнее, северной части Северной Америки... Там совершенно глухие, дикие места, живут всего лишь считанные люди — несколько эскимосов, белых рыбаков, трапперов, охотников... Но большую часть времени я буду проводить в лодке, один на один с морем... Встречаться буду только с природой, в полном уединении от преобразуемого человеком мира. Для меня это важно; после этого вернуться освеженным к действительности, которой мы все живем, облик которой человек не может не изменять, будет изменять... Тогда я резче смогу ощутить контрасты, оценить то, чего мы достигли, преобразуя первозданную природу...

Мне кажется, слишком мало моих коллег по-настоящему общаются с природой в наши дни, большая часть из нас проводит время в городах, крупных поселках, терзаемые и оглушаемые радио, телевидением и всяческими шумами, раздражающими наш слух. Одни вещают бессмыслицу, другие что-то разумное. Но при этом на человека обрушивается неслыханное количество информации, объем ее все возраста-

ет... Думаю, что все это неблагоприятно сказывается на духовной конституции человека, притупляет нашу естественную восприимчивость. И поэтому я считаю важным, чтобы писатели время от времени возвращались к условиям природы, чтобы обновить свое чувство перспективы, способность свежим взглядом увидеть мир...

Вы приглашаете меня высказаться по поводу 60-летия Октября. Прежде всего я искренне рад самой этой возможности — сказать несколько слов в связи с 60-й годовщиной Октябрьской революции и рождения Советской республики: бóльшую часть своей жизни я из своего далекого далека наблюдаю за тем, что происходит в Советском Союзе, как если бы я стоял на горе и всматривался вдаль через широкую долину, пытаясь увидеть, что делается на другой горе. Я наблюдал за тем, как появились в Советском Союзе первые ростки нового отношения к жизни. Я наблюдал за этим с радостью и надеждой; я думаю что, хотя из многих созданных в мире систем — политических, философских — ни одна не является совершенной, быть может, ни одна из них никогда и не будет совершенной,— так вот, повторяю, из всех этих систем концепция, родившаяся и утвердившаяся в вашей стране за последние шестьдесят лет, предусматривает, на мой взгляд, наиболее благоприятную перспективу для продолжения существования и для счастья человечества...

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПИСАТЕЛЬ

Азиз Несин

ТУРЦИЯ

Ваше желание немного приоткрыть, так сказать, философскую подоплеку моего присутствия здесь, в Софии, вполне отвечает складу моих размышлений и, что называется, настроению момента... Видите ли, человеческий род, созидая, строя, производя, познает самого себя. Строить, производить, созидать — это есть борьба человека со смертью, с уничтожением. Строить, производить, созидать можно только в условиях мира: война — враг всего, что мы понимаем под словом «мир». Мир строит, война разрушает. Мир производит, война истощает. Человеческий род, строя, производя, созидая, желает преодолеть барьер физической смерти. Человек бросает вызов смерти, и возможно это только в условиях мира. Мир созидает, война убивает. Вот почему я сторонник мира, только познавая себя, человек может быть счастлив, а познает он себя, как я сказал, лишь созидая, производя...

Но я не сторонник лишь пассивного мира, который снизойдет на нас подобно манне небесной... Мир может быть обеспечен только благодаря взаимным усилиям, взаимному желанию. Мир, достигнутый путем давления одной из сторон, несет в себе зерно будущих, еще более разрушительных войн. Мир, добытый хитростью, когда держат за пазухой тайные намерения, стремление получить выгоду, не может быть длительным. Мы хотим в нашем мире устойчивого мира, добытого ценой активных усилий и общего стремления к нему.

Я уверен, что международная конференция писателей в Софии внесет заметный вклад в осуществление этой цели. При условии — с этого, если вы помните, я начал и повторяю вновь и вновь,— если миролюбие наше будет миролюбием бдительным и настороженным...

Не могу не поделиться серьезной тревогой по поводу положения в нашем регионе. Отношения Турции с соседней Грецией приобретают в последнее время напряженный характер. Дело может дойти даже до войны — разумеется, за кулисами этой ситуации без особого труда можно обнаружить подстрекательство империалистических сил. Мы, прогрессивные писатели Греции, Турции и Кипра, прибывшие сюда на конференцию, собираемся принять специальную резолюцию по этому поводу и опубликовать ее в газетах своих стран.

Если вы спросите, в чем я вижу какие-то гарантии сохранения мира, отвечу без особых раздумий: в позиции социалистических стран. Этому верю не только я. В подтверждение могу привести самый свежий пример. Накануне моего приезда в Софию у меня состоялся один любопытный разговор: у нас в стране, чтобы выехать за границу, необходимо получить определенную сумму валютой — без этого нельзя выехать за рубеж. У меня не было валюты, я отправился в банк, изложил свое дело. Не успел сообщить, куда я еду — в капиталистическую или социалистическую страну,— чиновник заявил мне, что в разъяснениях нет необходимости,— ему и так все ясно: подобные конференции созываются только в социалистических странах, сказал он. Убеждение в ведущей роли социалистических стран в деле борьбы за мир распространилось уже до самых низов, до народа, доходит даже, как мы видим, до мелких чиновников капиталистических учреждений...

Конечно, одного желания этих стран не хватит, чтобы обеспечить прочный мир на земле. Они могут предпринять шаги к установлению такого мира. Но вообще это, что называется, дуэт. Один человек не может

спеть дуэта... Надо, чтобы старания социалистических стран находили поддержку противоположной стороны. Отсюда и наш долг — долг интеллигенции капиталистических стран, передовой интеллигенции, писателей, людей искусства. Мы, писатели капиталистической страны, выступаем за такой дуэт... В каком-то смысле, я думаю, писатель похож на архитектора, который формирует и строит общественное мнение. Или на скульптора, который делает статую из глины: писатель придает форму общественному мнению и формирует сознание. Так вот, если мы хотим вести и направлять мир к миру, надо «формовать» общественное мнение в этом направлении. Вот почему перед писателями столько дела... Когда общественное мнение отвергает войну, ни одно милитаристское правительство не сможет ее начать, не бывает войны по одному его желанию — сперва оно готовит народ к мысли о войне, а потом пытается заставить его воевать. Долг писателя состоит в том, чтобы вживить в сознание народа прочное отвращение к войне, любовь к миру...

Что я думаю о значении Октябрьской революции? Совершив ее, рабочий класс открыл новую эру в истории, трудящиеся во всем мире обрели надежду, пример, источник вдохновения и веры в будущее.

60 лет — больше половины человеческой жизни. Но для нового класса, вступившего на историческую арену в качестве правящей силы, такой срок — всего лишь первые шаги в новом времени. Почему это так? Потому, что конечная цель революции рабочего класса — после периодов ликвидации всякой эксплуатации, в результате ряда этапов экономического и социального развития — создать нового человека нового класса, свободного от власти мерзостей ушедшего класса. Чтобы дойти до этой цели, требуются усилия, накопленный опыт многих поколений. А 60 лет — историческое время, охватывающее жизнь всего лишь двух поколений. Вдобавок в эти 60 лет входит самая разрушительная в истории человечества мировая война...

Не могу я не сказать о том, что Октябрьская революция оказала помощь и поддержку национально-освободительной борьбе турецкого народа. Дружба, установленная Ататюрком и Лениным, сыграла важную роль в истории освободительной борьбы в Турции. Многими — самыми существенными — факторами жизни современного мира обязаны мы сегодня Октябрьской революции: тем, что почти треть мира состоит из социалистических стран, что огромную его часть занимают страны так называемого третьего мира, что в качестве авангарда в политической борьбе активно выступает международный рабочий класс...

О вашей стране? Начиная с 1965 года, я приезжал в Советский Союз 6—7 раз. Бывал во многих союзных республиках помимо России — в Азербайджане, Туркмении, Узбекистане... Мои впечатления?.. Еще в 1965 году уровень материальной жизни в Советском Союзе был высок, из года в год он повышается. И что очень важно — неостановимо повышается уровень духовной, культурной жизни — это может увидеть каждый, у кого есть глаза. Правда, перемены в строе души человека ни за 5—6, ни за 10 лет так просто не обнаружишь...

Как складывалось мое мировоззрение, могу ли я обозначить решающую веху в этом процессе? Знаете, я очень поздно обратился к литературе. Прежде чем стать писателем — служил офицером в армии. Правда, как только я начал писать, турецкая общественность сразу назвала меня «левым» писателем: получилось, что Турция объявила меня левым, когда я не знал еще, что такое «левый», не знаком был с идеями социализма, ни с идеями коммунизма, ничего не знал. Я был немного старше вот этого моего коллеги — нашего с вами переводчика [1]. Когда все, вся турецкая общественность считала меня левым, я не знал, что такое левое. Потом я долго думал, что дало им для этого основания? И понял — в происхождении моем было дело, в моих корнях. Я рос как сын народа. Морально я был всегда на стороне народа. Когда возникал передо мной какой-либо вопрос и я думал о том, кто прав, а кто неправ, то никогда не забывал об этой стороне дела. И свои сочинения писал, исходя из этого. Выходит, что с самого начала я был, сам того не ведая, социалистическим писателем. Стихийным, не отдававшим в этом отчета себе. И еще очень сильно повлиял на меня, конечно, Назым Хикмет, его путь. Его я считаю своим духовным наставником. И вечно буду чувствовать себя обязанным ему.

Постепенно я стал читать, заниматься самообразованием, часто это происходило в тюрьмах, сблизился с членами революционных организаций, сам стал членом организации. Я не мог бы указать какой-то определенный переломный момент в становлении своего сознания. Повторяю, у меня были надежные истоки: я происхожу из народа, из семьи трудящихся...

Как я добрался до юмора, сатиры?

Давайте вспомним — если в классе 60 учеников, кто больше всех шутит? Ленивый ученик. Ленивые любят пошутить над всеми: над учителем, над своими товарищами. Кстати, и во взрослом коллективе особенно любят пошутить над другими люди с комплексами. И еще слабые и хилые. Или в театре — кто из актеров постоянно «выкидывает номера», подшучивает над другими? Чаще всего бесталанные, талантливые почти никогда не занимаются этим... Для чего я привел эти примеры? Я полагаю, что шутка, насмешка, юмор, сатира нужны человеку в компенсацию за какой-то порок, какой-то изъян. Почти у всех юмористов, в их индивидуальной природе, мы можем это обнаружить... Не всегда, разумеется, юмор служит народу. Но когда честный писатель

[1] В роли переводчика в беседе моей с А. Несином выступал известный молодой турецкий поэт Атаол Бехрамоглу.— **Е. С.**

всерьез овладевает этим своим дарованием, юмор его непременно обращается во благо угнетенных. Иначе говоря, обретает социальный, общественный характер. Речь идет не о юморе сильного, а юморе слабого. Когда дерутся два человека, высмеивают того, кто избивает. Над тем, кого избивают, не насмехаются.

Так же складывались отношения с этим жанром и у меня. Вначале мои читатели заметили, что смешное в моих рассказах преобладает над серьезным. А потом уже я сам сознательно стал направлять, адресовать свою насмешку.

Почему я решил обратиться к юмору? Потому, что он действует сильнее и популярен больше. Больше, чем другой вид прозы. Если серьезную вещь читают тысячи, смешную — десятки тысяч. Серьезная вещь остается в памяти год, смешная — 10 лет...

Каким я представляю себе будущее? Пожалуй, по поводу отдаленного будущего я большой оптимист, я верю, что наш мир будет идти к лучшему. А вот насчет ближайшего будущего у меня нет такой уверенности: условия моей родины не обещают прогресса, счастья на ближайшее будущее, обещают неурядицы, тревоги, беды, раздоры. Хотя, может быть, и это необходимая стадия на пути к будущему счастью? Быть может, чтобы обрести счастье и мир, не обязательно сразу же располагать эталонами счастья и идеального мира? Во всяком случае, к ним нет иного пути, кроме как ликвидировать классы — особенно эксплуататорские. А это дело не легкое. В юности я думал, что это очень легко. А повзрослев, понял, что эксплуататорские классы, капиталисты, империалисты сильнее, чем я предполагал. Вдобавок еще они пользуются благами социализма, чтобы отодвинуть свою смерть... И моя Турция сегодня находится в их сфере. Поэтому я, рассуждая с меркой моей страны, и не вижу для нее счастья в ближайшем будущем. В далеком же будущем моя родина, как и весь мир, конечно же, придет к лучшему...

...В начале каждого года я составляю себе план работ на год. Переношу из предыдущего года невыполненные дела и планирую работу, которую можно сделать минимум за 15 лет. И, конечно, не успеваю. Но я строю сознательно такие планы. Таким образом я обманываю смерть: раз у меня невыполненные дела, значит, я должен еще жить... И в этом году поступил так же. Скажу вам по секрету, мне уже немало лет: старшему моему внуку 17, младшему — 10 лет. Когда человек стареет, он впадает в детство. Не потому ли я обратился в последние годы к детской литературе? У меня есть долг перед самим собой и перед моими читателями — это моя «Автобиография». Уже вышли два тома. Хочу написать третий том, всего будет 8 томов. Между двумя первыми томами — интервал в десять лет. Значит, для восьми томов потребуется 80 лет. Выходит, я проживу еще 80 лет. На это я и рассчитываю...

II

60 лет Октября:

в ракурсе писательской встречи

1. ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

У СЕБЯ ЗА КУЛИСАМИ

Николай Христозов

БОЛГАРИЯ

Вы спрашиваете, над чем я работаю? Начну, наверно, с того, что вот уже, может быть, месяц или полтора я, будучи одним из хозяев Софийской встречи, все реже возвращаюсь к своему писательскому делу. Правда, во время передышек и в эти дни передо мной возникали страницы, лежавшие где-то, заваленные папками и терпеливо дожидавшиеся, чтобы я ими занялся. Они-то и есть книга, над которой я сейчас работаю. Сначала я собирался назвать ее «Болгарский оптимизм», но по ходу работы мне все более ясным становилось, что понятие «болгарский оптимизм» недостаточно, что оно

слишком узко. Теперь я склоняюсь к другому заглавию — что-нибудь вроде «Границы оптимизма», хочу, чтобы получилась художественно-публицистическая книга, своего рода рассуждение о силе человеческого духа, о том, как порой мы суживаем свои представления об оптимизме: я полагаю, что он отнюдь не подразумевает одну лишь идею счастья, прямолинейно понимаемую только как синоним радости. Оптимизм может включать в себя и понятия борьбы за правое дело, и даже страдания. Что послужило толчком для размышлений на эту тему? Я, конечно, исхожу прежде всего из исторической судьбы болгарского народа, которому пришлось пережить немало трагического. Но ведь такого рода оптимизм присущ не только болгарскому народу... Пример? Их много. Вот, скажем, один — несколько лет назад я был в Советском Союзе и ездил по пушкинским местам. Когда я был в Царском селе, в музее Пушкина, меня поразили там некоторые экспонаты, связанные с его биографией. В одной из витрин я увидел куски дерева, они оказались обломками виселицы, на которой были повешены декабристы. Значит, уже тогда люди понимали, что эти куски таят в себе нечто важное, очень важное. Понимали, что эти обломки — своего рода зримые, вещественные «послания» грядущим поколениям, что они могут поведать им великую правду, рассказать о великом оптимизме. Я представил себе, как друзья Пушкина на следующий день после казни пришли в крепость утром, затемно, еще до зари и на месте, где погибли их друзья-декабристы, простыми ножами выломали несколько кусков из виселицы — пусть они станут своего рода талисманами, символами их веры,— они верили в будущее России. И еще об одном я думал в связи с этим эпизодом: о том, что поэт является поэтом не только тогда, когда он сочиняет свои стихи. Он — поэт и за пределами своего собственного, так сказать, творческого времени. Он связан с жизнью, с обществом, и каждый его жест, каждый поступок имеет свой гражданский, политический отзвук и эквивалент. Должен вам признаться, когда я смотрел на эти, разложенные в витрине обломки, они вдруг зазвучали для меня как поэтическая строфа, как стих. В этих кусочках дерева я услышал музыку, поэзию; это была поэзия жизни — та самая, что иной раз сильнее слова.

Вам может показаться несколько далекой связь, которую я пытаюсь установить между этими моими впечатлениями и сегодняшним днем — в частности, писательской встречей в Софии. Но, знаете, когда я сидел в зале наших совещаний, когда я видел, как много людей собралось сюда со всего света, когда я смотрел на всех этих больших писателей — таких разных, каждый из них несет в себе, можно сказать, целую вселенную,— я в каждом из их выступлений, во всем том, что происходило, находил, как бы это точнее выразиться, зародыш, росток того же самого — своего рода завещания человечеству, наказа в будущее. Так было и позднее, когда мы все поехали по стране и на маленькой пловдивской улочке я увидел Сарояна; рабочие сгружали в подвал уголь, и Сароян взял у одного из них лопату и принялся им помогать. И в этом эпизоде я нахожу нечто чуть-чуть символическое. То есть я хочу сказать, что большой писатель и вне своего творчества — личность, творящая благо, каждое его действие, каждый поступок, повторяю, даже вне сферы творчества — тоже творчество. Это, если можно так сказать,— тоже продолжение искусства, становящееся фактором в каком-то смысле «художественного» воздействия, во всяком случае, так я воспринял Сарояна в ту минуту, когда на моих глазах он вдруг превратился в простого рабочего, когда я увидел его осанку трудового человека, человека, которому сродни любая работа. Он просто-напросто сменил перо на лопату. И так это было естественно, столько в нем было чего-то простого, доброго...

Так вот, мне кажется, сама атмосфера всего происходившего на нашей конференции — я уж не говорю о предмете нашей встречи — имеет тоже прямое отношение к моей новой книге. Да, я считаю, что границы оптимизма чрезвычайно широки, повторяю, много шире «эталонов», с которыми мы привыкли его связывать — радости, покоя, тишины; одних этих «эталонов» мало, чтобы раскрыть до конца его суть, не обойтись и без таких понятий, как надежда, вера, тревога, даже отчаяние... Конечно, я говорю об отчаянии, способном породить силу, а не о том, что парализует волю к действию, заставляет в бессилии опускать руки... Вот такие моменты и наблюдения, такие поступки общественного характера, в которых мне удастся уловить поэзию жизни, я надеюсь, обогатят мою книгу...

Самое яркое воспоминание моей писательской жизни? Сильнее всего, пожалуй, врезался в память один день... Но двумя словами это воспоминание надо предварить... Видите ли, я пишу стихи, как бы это поточнее сказать, лет с четырнадцати-пятнадцати. Был я тогда необычайно самоуверен, и за эту самоуверенность потом не раз приходилось дорого расплачиваться, пока я не понял, что поэт — это не только то, что отпущено ему, так сказать, свыше, что без характера, без воли поэт не может состояться: должно было пройти много лет, прежде чем я постиг эту простую истину...

Да, так свою первую книгу я принес в издательство «Болгарский писатель», когда мне было двадцать четыре года. Так я и назвал ее — «Первые песни». Не могу передать, с какой невероятной тревогой я нес эту книгу в издательство — сунул рукопись секретарше и тут же удрал, просто не мог представить, что кто-то увидит мое унижение: прийти вот так в издательство и оставить там рукопись было для меня, тогдашнего, абсолютно отчаянным шагом — настолько я к тому времени вместо былого самодовольства попал во власть полнейшего неверия в свои силы.

И когда дней через десять меня вызвали в издательство, сам Никола Фурнаджиев, наш выдающийся поэт, сказал мне, что прочея рукопись, что Божидар Божилов уже написал на нее положительную рецензию и что через несколько месяцев моя книга выйдет из печати, я просто ушам своим не поверил. Он произнес еще несколько ободряющих слов — я воспринимал их не слухом, а, можно сказать, всем своим ликующим существом! Не помню уж, как вышел из кабинета Фурнаджиева, как потом мчался по улицам — удивительно, что не попал под трамвай или не сломал себе шею,— несся почти в беспамятстве... При этом знаете, правда, вы можете посчитать то, что я вам сейчас скажу, свидетельством моего возвратившегося самодовольства, но я думаю, что этот день был мною выстрадан, что он был не подарком судьбы, а счастьем, которое я сам завоевал... Потом выходили другие книги, но все это происходило уже спокойнее.

В чем видел я «сверхзадачу» своих «Первых песен»? Многое хотелось сказать людям, но, как я это сейчас вижу, сказано было очень мало. О чем хотел сказать? Во-первых, о своей матери. Мать у меня умерла очень рано, была она самой замечательной матерью на свете. И мне просто необходимо было объявить людям, что земля не знала женщины лучше. Потом я хотел рассказать о девушке, которую любил в школьные годы и которую не забыл до сих пор,— многое в этом цикле звучит, быть может, несколько сентиментально, но это не были просто красивые фразы, это было пережито мною. Ну и самое главное, о чем я думал, работая над этой книгой,— что трудности, которые ложатся на наши плечи в эпоху строительства социализма,— это трудности, которые не гнетут человека: один из циклов моей первой книги назывался «Пусть знамена не оттягивают рук» — так примерно можно перевести болгарское «Нека знамената не тежат». Вообще эту книгу я писал, охваченный острейшей убежденностью в том, что я обязан донести до людей нечто чрезвычайно важное. Отчасти и поэтому добрые слова Фурнаджиева так меня осчастливили, поэтому свой праздничный день, повторяю еще раз, я воспринял не как подарок судьбы, а в некотором роде заслуженное, оплаченное ценой искренности счастье...

Вас интересует феномен времени в моей судьбе: с той поры, о которой я вам рассказываю, уже около двадцати лет прошло. Сейчас я смотрю на эту книгу как на весьма наивный поэтический опыт, во всяком случае, как ни дороги мне эти первые стихотворения, ни одного из них я не включил в однотомник избранного, который вышел несколько недель назад. Но это признание, пожалуй, уже из области секретов профессии, и если я с вами делюсь сейчас ими, то потому, что верю — время действительно суровый, я бы даже сказал, жестокий судья всему, что создано нами.

Вы спрашиваете, как у меня возникла мысль написать книгу «По следам «пропавших без вести», которую вы три года назад опубликовали у себя в журнале [1]. В каком-то отношении, можно сказать, случайно. Однажды мне довелось увидеть документальный фильм о палачах-фашистах, в котором рассказывалось о процессе 1954 года над генералом Вылковым и его приспешниками. Передо мной проходили лица тех, кто в 1925 году уничтожил лучших сынов болгарского народа. И когда я увидел, как обстоятельно, с какой невозмутимостью, с каким безразличием рассказывают эти люди о своих деяниях, я понял, что здесь, на процессе, столкнулись два наиболее резко выраженных человеческих состояния: с одной стороны — высота человеческого духа и с другой — глубина падения. И в этом именно столкновении мне вдруг открылся особый драматизм, какой-то чрезвычайно сильный художественный заряд. Я получил толчок к работе, которая с тех пор надолго поглотила все мои мысли, просто лишила покоя... И тогда я начал рыться в документах 1925 года: прочитал от корки до корки все материалы процесса и нашел там множество чрезвычайно интересных и в то же время ужасающих фактов, оставшихся почти неизвестными болгарскому народу. И мне стало ясно, я просто открыл для себя — быть может, кое-кому эти рассуждения покажутся схоластическими,— что мрачные страницы в истории народа всегда позволяют ощутить и силу сопротивления, силу того света, который этот мрак должен был поглотить. И что, когда народ переживает самые тяжелые мгновения своей истории, испытывает самые тяжелые страдания, его стремление к будущему, которого он достоин, непременно заряжает лучших его сыновей волей к противодействию, я бы сказал, какой-то жадной волей...

Именно эта диалектика, которую я открыл для себя, читая материалы процесса 1954 года, дала мне, так сказать, ключ к событиям двадцать пятого: ведь Болгария была первой страной, еще в 1923 году испытавшей на себе ужасы фашизма. И не случайно вожди нашей партии Георгий Димитров и Васил Коларов так хорошо понимали суть фашизма; недаром именно Димитров с такой убедительностью и страстью разоблачал фашизм, когда в 1933 году вынужден был предстать перед фашистским судом в Лейпциге,— ведь он, в сущности, уже десять лет сражался с фашизмом на болгарской земле. И если бы гитлеровцы по-настоящему отдавали себе в этом отчет, они никогда не допустили бы такой глупости, как процесс над Димитровым.

Вот из каких моментов я исходил, набираясь сил взяться за эту работу. Правда, в самой книге «По следам «пропавших без вести» Димитров не присутствует, однако вся она, если можно так сказать, одухотво-

[1] См. «Иностранную литературу» № 9, 10 за 1974 г.

рена величием его подвига, в котором я видел символ силы народа, его непримиримости, его способности выстоять во имя будущего... Вообще, я мог бы очень многое рассказать об этой книге, она для меня связана и с особым творческим удовлетворением, и с очень горестными, скорбными мыслями: ведь фактически мне пришлось коснуться той трагической страницы в истории Болгарии, когда за несколько месяцев фашисты истребили самый цвет болгарской интеллигенции, нанесли народу такой жестокий удар, какого ему не доводилось переживать в нашей новой истории.

Что было в этой работе самым трудным? Нет, не разыскание документов, как ни сложен сам по себе был этот этап,— документы все же были — я собирал их почти три года. Самым трудным, после того как был собран фактический материал, оказалось найти соответствующую художественную форму. Первой моей мыслью было написать поэму: кажется, что может быть естественнее — поэт обращается к привычной для себя форме? Но произошло нечто странное. Факты, с которыми я соприкоснулся, оказались настолько сильными, таили в себе собственный эмоциональный заряд такой силы, что стали предъявлять права фактов художественных. Только тут я по-настоящему ощутил, что это такое — «поэзия факта»... Факты требовали равных прав с художественным вымыслом. Больше того, я понял, что именно факт подчинит читателя власти книги, что он прозвучит сильнее, убедительнее, чем самое «художественное» его истолкование. Так родилась документально-публицистическая форма этой книги. В самой этой форме я не усматриваю чего-либо особенно оригинального, просто в данном случае лично я воспринимаю этот жанр как поэтический. И писал я ее с тем же напряжением, с тем же вдохновением, с каким работаю над стихами.

О процессе работы? Не знаю, что тут можно рассказать... Вначале я каждый эпизод записывал на отдельных листочках — таких листков набралось около четырехсот. Постепенно сокращал их количество — с таким расчетом, чтобы штрих не ложился на штрих, то есть отбрасывая всякие эмоциональные «нажимы», убирая лишнее. Таким образом, из четырехсот эпизодов осталось полтораста, которые я расположил по принципу нарастания напряжения: впрочем, вряд ли кого-нибудь могут особенно заинтересовать будни моей мастерской. И вот настал день, когда я разложил на столе все эти листки и вдруг как-то очень ясно представил себе, как будет выглядеть мое повествование, с чего начнется, как будет развиваться, что я напишу после второго, третьего, четвертого эпизода; в окончательном виде книга имеет мозаичную структуру...

Вы говорите, что во всем этом тоже видите некую связь с нашей Софийской встречей. Действительно, все эти дни, слушая добрые слова в адрес болгарского народа, в адрес болгарских писателей, я вспоминал героев книги, о которой мы сейчас говорим, думая о том, что многие из самых достойных представителей нашей литературы отсутствуют в этом зале — здесь с нами и сегодня могли бы быть Гео Милев, Христо Ясенов, Никола Вапцаров... Но их нет, они погибли. А ведь сейчас они были бы в том же возрасте, что и многие участники встречи,— семьдесят, семьдесят пять... Вапцарову было бы сейчас всего шестьдесят девять лет, он родился в 1908 году. И все добрые слова о нашей стране, о нашей литературе я все это время мысленно адресовал им — в самом деле, разве они не причастны к «климату», духу нашей встречи? Это мое ощущение было очень острым. Вообще, мне кажется, мы, живые, в такие минуты не можем не вспоминать о тех — не только болгарских — поэтах и писателях, кто поднялся на борьбу с фашизмом, кто пал жертвой в этой борьбе... Я думаю о Гарсиа Лорке, Юлиусе Фучике, Мусе Джалиле, Пабло Неруде... Для меня они, если можно так выразиться,— вечные, бессмертные, почетные участники нашей встречи...

Да, вижу и связь с шестидесятой годовщиной Октябрьской революции. Думаю, что не я один, а многие из участников нашей встречи обращаются мысленно к дням рождения новой действительности, когда впервые с такой силой — в порядке государственного декрета — прозвучало требование мира народам, которое и сегодня собрало нас всех на моей родной земле! Вообще-то понятия «Октябрь» и «юбилей» в моем сознании плохо сочетаются: по-моему, нет другого символа, другого синонима, которые лучше бы выражали идею с о в р е м е н н о с т и, чем слово «Октябрь»,— я думаю, это наиболее точный, наиболее верный эквивалент понятия современности. Я вовсе не хочу сказать, что не надо отмечать эту великую дату — просто имел в виду выразить, так сказать, в чисто поэтическом плане, свой взгляд на Октябрь. Повторяю, для меня «Октябрь» — самое точное и яркое обозначение современности. И о том, что Октябрь жив, что он с нами, что он борется и живет в нашем сегодня, лучше всего говорит та ненависть, которую испытывают к нему мракобесы всего мира...

Как смотришь на эту проблему из собственной мастерской? Знаете, в прошлом году я написал стихотворение, которое так и называется «Октябрь». Рефреном в нем звучит примерно такой риторический вопрос — чем Октябрь так сильно привлекает людей, чем покоряет сердца, ведь на пути к его осуществлению было столько усилий, страданий, крови? Этот вопрос повторен несколько раз. В чем красота Октября, если он зовет людей к новым, все более крутым вершинам, ведь стоит подняться на одну вершину — как впереди открывается другая, открываются необозримые, еще не исследованные человеком просторы? В чем его сила, если по его броне свинцовым дождем скатываются капли-пули ненависти? Не знаю, понятен ли вам в грубом пересказе этот образ, но я хотел сказать, что сила Октября именно в том, что лю-

бая ненависть и даже этот свинцовый дождь в конце концов неизбежно обращаются в живительную влагу, питающую его корни, и от этого он становится только сильнее. Октябрь притягивает именно тем, что несет в себе, раскрывает и утверждает веру в человека. Любовь к человеку, вера в человека — сокровеннейшая его суть, уверенность в том, что человек создан для великих дел и что он должен их совершить. Высоки критерии Октября, нелегко им соответствовать, но разве оборотная их сторона — не доверие к человеку, перед которым поставлена великая задача, не огромная к нему нежность, если хотите?..

Да, на этой встрече в Софии мне то и дело вспоминаются двадцатые — тридцатые годы нашего века. Уже тогда человечество, только что испытавшее ужас войны, потрясенное войной, поняло, что на земле есть единственная реальная сила, которая может спасти мир от войн,— Советское государство. Разве не сказал тогда замечательный французский писатель Анри Барбюс буквально следующее: «рассуждая с позиции математической, я вижу в социализме единственную возможность предотвращения войн в будущем». Эти слова — «с позиции математической» — он употребил, чтобы подчеркнуть свою, так сказать, научно обоснованную убежденность. Или, если еще раз вернуться к моей книге «По следам «пропавших без вести»,— уже в то время, о котором там идеть речь, Советский Союз стал опорой, надеждой для миллионов людей земли. Это — не просто красивые слова, это — правда тех лет. Помните, там есть эпизод — митинг в Париже в защиту жертв контрреволюции двадцать третьего — двадцать пятого годов? На нем выступал Габриэль Пери, будущая слава и национальная гордость Франции, он сказал примерно так: то, что происходит в Болгарии, в конечном счете — попытка западных империалистов парализовать влияние России, влияние Октября. Потому что Октябрь и Россия — это вдохновляющая сила, это пример и для болгарского, и для французского, и для всех других народов. В декабре 1925 года, как известно, Болгарию посетил Анри Барбюс. Автор знаменитой книги о жертвах террора в Болгарии утверждал, что болгарский народ не прекратит своей борьбы, что даже если в живых останется всего несколько человек, они передадут следующим поколениям свою веру, свое убеждение в том, что революция победит. Можно ли не вспомнить сейчас, в дни Софийской встречи, об этих актах писательской солидарности с правым делом, можно ли не вспомнить, как проявляли солидарность с жертвами террора в Болгарии советские люди? Я приведу в пример только еще слова Луначарского. Выступая в заполненном рабочими зале, он говорил: «Слово «Болгария» мы теперь повторяем с глубоко болезненным чувством... Мы видим страдания жертв, слышим их стоны. Но... как в повести Гоголя, мы можем только сказать: «Видим... Слышим...» Тут Луначарский остановился. Но аудитория поняла недосказанный смысл этих слов — тогда Советское государство не имело возможности помочь болгарскому народу, оно могло только выразить ему свое сочувствие и восхищение подвигом борцов, свою братскую любовь.

В Париже, как вы знаете, был создан тогда комитет защиты жертв белого террора. Во главе его встал Анри Барбюс, в этот комитет вошли пятьдесят три писателя: я могу назвать вам некоторые имена — Ромен Роллан, Эрих Мария Ремарк, великий физик Эйнштейн, Иоганнес Бехер, Виктор Маргерит, Жорж Дюамель, Жан-Ришар Блок... И эти факты по-новому воспринимаешь в дни нашей Софийской встречи... Когда Барбюс писал свою книгу, на его письменном столе лежало полотенце, вышитое болгарскими женщинами-политзаключенными. Доставленное нелегальным путем, это полотенце пришло к Анри Барбюсу вместе с письмом, написанным кровью истерзанного пытками болгарского политзаключенного: «Ты поднял голос в нашу защиту, и цепи наши стали легче. Спасибо тебе, Барбюс!» Это письмо и это полотенце сейчас хранятся в музее Анри Барбюса как свидетельство нравственного подвига писателя, который поднял свой голос в защиту Болгарии. Холодной осенью 1925 года, превозмогая свой тяжкий недуг,— он страдал хроническим легочным заболеванием — недаром в свидетельстве об освобождении от военной службы было указано, что он на семьдесят пять процентов инвалид,— он все же отправился в нашу страну. Пренебрегши советами опасавшихся за его жизнь друзей, он приехал в Болгарию, объездил всю страну, чтобы потом издать свою знаменитую книгу «Палачи»...

Мысли о нравственном подвиге писателя, который получает свое выражение не только в сфере художественного творчества, не только в слове, но и в поступках общественного характера, в активных действиях, когда человек оставляет свое писательское затворничество, откладывает в сторону перо и отправляется туда, где решаются судьбы людей,— такие мысли не оставляют меня все эти дни.

Вот как мог бы я ответить на вашу просьбу рассказать, что я думаю о связи тех событий с шестидесятилетием Октября и с нынешней нашей писательской встречей. Ведь и сейчас, в наше сложное и такое напряженное время, столько замечательных, широко известных писателей отложили свои творческие труды и приехали в Софию, доказывая, что они готовы послужить идее защиты мира. И не только своим художественным творчеством, но и активной, ясной, гражданской, человеческой позицией. И, я верю, этот их шаг должен стать серьезной преградой, серьезным предупреждением для всех тех, кто хотел бы нарушить мир на нашей планете...

ТЕЗИС...

Ежи Путрамент

ПОЛЬША

Из всех предложенных вами сюжетов нашей беседы меня больше всего привлекает возможность кратко поделиться своими размышлениями по поводу 60-летия Октября. Если позволите, я изложу их в виде своего рода тезисов, небольшой декларации — так они «спрессовались» в моем сознании.

Считается, что все сущее на нашей планете имеет обыкновенно два полюса — полюс положительный и полюс отрицательный, полюс сильных и полюс слабых, полюс могущественных и полюс страдающих. И гениальность Ленина, на мой взгляд, между прочим, заключалась и в том, что он безупречно точно занял, так сказать, «полюсную» позицию — на стороне слабых, угнетенных, страдающих.

Теперь мы все видим, какое это имело значение. Поскольку этот полюс был занят, занят Октябрьской революцией, противникам ее, «сильным мира сего», достался противоположный — полюс богатства. Судя по всему, сами они твердо верили, что этот полюс вовеки веков пребудет «наверху». Однако история — сейчас, в год 60-летия Октября, это особенно очевидно — показала, что они проигрывают. Помните, у Маяковского из «Оды революции»: «Тебе, осви станная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное «О»!»

Шестьдесят лет спустя сильные оказались слабыми, про кого-то из них даже можно сказать, что они сами начинают стыдиться своего богатства. Они создали себе исключительные условия жизни — и вместе с тем обрели великую душевную пустоту. Это ощутимо даже в политике, даже в американской политике: к власти может прийти иной раз человек субъективно честный, даже претендующий на особую озабоченность проблемами морали — так случалось в истории США,— однако на практике политика его неизменно оборачивается повторением норм, запрограммированных жестоким кодексом мира привилегированных. Мне кажется, в наше время — время конца XX столетия — именно эти критерии в сфере морали оказываются решающими. С начала своей истории человечество, можно сказать, испытывало угрызения совести при виде обездоленных членов общества. Лучшие его представители не уставали искать ключи к решению проблем их бытия — достаточно теорий и концепций основано на этом поиске. Но все эти концепции могут быть отнесены к категории утопий, бессильных мечтаний. Ленин первым применил на практике теорию Маркса, которая в кажущейся слабости рабочего класса разглядела основную силу этого движения, его будущую силу. И это учение претворено в действительность. Несомненно, XX столетие начинается с 1917 года. Не с 1914-го, как утверждали некоторые, и не с 1900-го, как полагают астрономы, а именно с 1917 года. Понятно, многое изменилось с тех пор, все мы уже не те, что были в 1917 году. Но когда мы проведем линию от 1917-го к 1977 году, то увидим, куда ведет эта линия: она ведет очень высоко...

Андре Стиль

ФРАНЦИЯ

Октябрьская революция явилась ответом на великие ожидания французской интеллигенции, деятелей культуры. Ко времени ее свершения в социалистической партии вокруг «Юманите» сплотилась необычайно интересная плеяда мастеров культуры — прежде всего писателей; вы знаете — весь мир знает,— с каким энтузиазмом была встречена Октябрьская революция такими крупными писателями, как Анатоль Франс, Ромен Роллан, Анри Барбюс. Она оказала огромное влияние на развитие рабочего движения во многих странах, способствовала укреплению коммунистических партий разных стран. Первый опыт построения социализма своими успехами и даже своими трудностями и неполадками явил собой серию великих уроков для коммунистических и рабочих партий. В русле этого общего влияния чрезвычайно велико было — и остается таковым по сей день — воздействие идей Октябрьской революции на развитие культуры и ее творцов. Мы можем и сегодня говорить о прямой, непосредственной эстафете опыта художников первого социалистического государства в сфере кино, в сфере литературы — порой здесь можно констатировать воздействие именно непосредственное — уроки серии экспериментов, предпринимаемых художниками первой социалистической страны, прежде всего в области кино и ли-

тературы, при всем возможном различии проблем, связанном с различием традиций. Быть может, еще более ощутимо в сфере культуры и влияние косвенное, в том смысле, что с развитием процессов классовой борьбы, рабочих и демократических движений во всех странах — а характер этих процессов во многом определила Октябрьская революция,— с этим развитием связано рождение, можно сказать во всех областях искусства, новых качеств, в особенности, конечно, в самом содержании искусства, появление новых тем, которых литература и другие виды искусства не знали до сих пор, но также и нового принципа изображения народных масс, нового подхода к различным средствам художественного выражения в таких жанрах, как, например, роман, рассказ, поэзия, нового взгляда на возможности формы...

К этой же области косвенного воздействия Октябрьской революции на литературное и художественное творчество помимо общего влияния на политическое и социальное движение я отнес бы воздействие ее идей на развитие философии марксизма, которая, если бы не совершилась Октябрьская революция, очевидно, не предстала бы в нынешнем ее обличии и состоянии.

А нынешний уровень развития марксизма во Франции таков, что огромное количество исследователей — можно сказать большинство, особенно среди молодых,— начинает причислять себя к марксизму. Существуют также сильные и плодовитые течения исследовательской мысли за рамками марксизма, однако обязанные ему или одной из его идей своим рождением и существованием; это относится также и к сфере исследований в области литературоведения. У нас во Франции сейчас многие молодые ученые — исследователи литературы называют себя марксистами, и я вижу в этом тоже один из косвенных результатов влияния идей Октябрьской революции; мы с вами обсуждаем прежде всего проблемы этого влияния на деятелей культуры — в первую очередь я говорю о писателях, литературоведах, это, что называется, моя родная стихия: мое дело, мое ремесло, мой сектор; очевидно, необходимо было бы более широко рассмотреть проблемы влияния Октябрьской революции на усиление и укрепление всех участков борьбы за социальный прогресс, за преобразования в странах капитализма — для такого рассмотрения тоже есть и все основания, и все возможности...

ОБОСНОВАНИЕ ТЕЗИСА

Филлип Боноски

США

Вы хотели бы услышать, как я представляю себе «точку пересечения» идей нашей Софийской встречи с близящимся 60-летием Октября. Когда я получил приглашение принять участие в Софийской конференции писателей, моей первой реакцией было чувство удовлетворения при мысли о том, как представителен и обширен список подписей под воззванием; в частности, он включал и имена нескольких американских писателей, прежде не часто встречавшиеся в документах, связанных с борьбой за мир,— я говорю о таких писателях, как, скажем, Джон Чивер, Гор Видал, даже Уильям Сароян и некоторые другие — вроде Апдайка, тоже подписавшего воззвание. Хотя он и не приехал в Софию, сам факт этой его подписи кажется мне многозначительным, я ведь помню его позицию во времена войны во Вьетнаме, она была далеко не самой безупречной. Ну, и Эрскин Колдуэлл, конечно, широко известный не только своими книгами, но и прочными дружественными чувствами по отношению к социалистическому миру на протяжении многих, многих лет — почти такого же количества лет, какое насчитывает его писательская биография. И все это, да вдобавок еще подписи писателей многих капиталистических стран, не говоря уж о социалистических, позволяло надеяться, что вслед за этой первой конференцией последуют еще многие другие, которые привлекут еще более широкие круги писателей, и что, может быть — почему бы, в самом деле, не подумать нам и об этом,— в конце концов на этой основе будет создан некий постоянно действующий Конгресс, Всемирный Конгресс писателей — участников борьбы за мир. Это вполне реальная перспектива, во всяком случае, попытку такого рода предпринять, по-моему, было бы необходимо...

Что же касается Октября, то я бы назвал его началом начал: у меня нет ни малейшего сомнения, что Октябрьская революция — самое выдающееся событие нашей эпохи. И мне лично не менее значимым представляется тот факт, что на протяжении вот уже шести десятилетий, минувших с тех пор, как прогремел на Неве залп «Авроры», поток идей Октября, адресованных человечеству, не иссякает ни на час. И что, быть может, еще более примечательно — весь арсенал средств сопротивления этим идеям, которым располагал буржуазный мир, все идеологические ресурсы, брошенные на борьбу с ними, оказались бессильными эти идеи сокрушить. Я думаю, что если кризисы, перед которыми порой ставит нас жизнь не только в области политики, но также и в сфере идеоло-

гии, культурных связей, оказываются временными, преодолимыми, то главным, что позволяет всякий раз разрешать их, служит именно этот стабильный и в то же время динамичный процесс животворящего участия в нашем бытии идей Октябрьской революции — опыт шести десятилетий подтверждает это мое убеждение. Я думаю, что и конференция в Софии, в которой мы с вами сейчас принимаем участие, тоже еще один пример того же самого. Действительно, разве мне и многим другим не могло показаться, скажем полгода назад, даже два месяца назад, когда наши правители затеяли свой так называемый крестовый поход «за права человека», что подобный маневр способен ввести в заблуждение американских писателей — тех самых писателей, например, которые сегодня приехали сюда, в Софию? Что в итоге они либо откажутся принять участие в этой конференции, либо могут предпринять какую-либо опрометчивую акцию по поводу так называемых «прав человека»? Однако, вероятно, несостоятельность пропагандистской кампании, поднятой на Западе, оказалась столь очевидной для каждого,— и в особенности для американцев, ибо вправе ли, в самом деле, какой-нибудь американец всерьез говорить о правах человека, стоя на горе трупов уничтоженных вьетнамцев, зная, что 55 тысяч американцев тоже погибли в этой бессмысленной, ужасной войне, закончившейся, можно сказать, только сегодня,— что вряд ли возможно хоть немного здраво рассуждающего американца заставить участвовать в этом крестовом походе. Конечно, профессионалы-пропагандисты в счет не идут, я говорю о серьезных, честных людях, кое-что понимающих в пружинах механизмов, управляющих нашим бытием. Живые свидетели событий последних десяти—двенадцати лет вряд ли поверят этой затее американских лидеров, вряд ли они ее примут, я даже подозреваю, что и сами инициаторы, и их вдохновители тоже не очень-то рассчитывают на успех своего предприятия...

Участвовать в конференции писателей, съехавшихся со всего мира — или, во всяком случае, всего западного мира (несколько писателей представляют Индию, один — Монголию, один — Южную Африку, но большинство делегатов прибыло из Европы и Северной Америки),— повторяю, принимать участие в такой конференции, наблюдать, как общаются между собой эти писатели, а главное, вновь и вновь возвращаться мыслью к факту самого их приезда сюда с целью защитить дело мира — само по себе это переживание огромное, волнующее, внушающее оптимизм. Волнующее не только, так сказать, объективным политическим смыслом этого события, но и в плане сугубо личном. Ведь порой — особенно когда живешь в капиталистическом мире, когда тебя окружают силы реакции,— начинает казаться, что весь наш мир залит кровью, что живое в нем — лишь только вопль безумия и бешенства; и потому все, что происходит здесь, так радует, волнует, обнадеживает. Ведь как это существенно — сознавать, что есть в нашем мире, где столько всего разъединяет нас, есть все же идея, перекрывающая все эти различия и объединяющая всех: идея всеобщего мира на земле. Вокруг этой идеи все люди доброй воли сплачиваются в единый мощный отряд — никто не способен остаться безучастным, когда раздаются слова призыва к миру; я думаю, наша Софийская конференция — красноречивое подтверждение этому.

Вы спрашиваете, какое из выступлений показалось мне особенно интересным... Нельзя сказать, чтобы речи, произнесенные здесь, что называется, тянули в разные стороны, что на трибуне полыхают жаркие дебаты; вопрос о мире — не та площадка, на которой разворачиваются яростные баталии, люди прежде всего выражают свое согласие по самому главному поводу, собравшему здесь их всех. Тем не менее услышанное с трибуны до сих пор лишний раз убеждает меня в том, насколько это важно, чтобы каждый писатель счел нужным сделать именно это — выразить то, что я назвал бы чувствами буквально миллионов людей, живущих на всем земном шаре. Когда слушаешь эти речи, воспринимаешь их как авторитетно — в самом точном смысле этого слова — звучащий голос народа, а не только как личное мнение данного писателя, ощущаешь совершенную гармонию, слиянность этих мыслей с самыми сокровенными желаниями и чаяниями народов всего мира. И потому эти речи, не будучи, как я уже говорил, безумно полемичными одна по отношению к другой, в целом тем не менее прямым попаданием били по очагам военной агрессии. Речь шла и о бешеной гонке вооружений, и об атмосфере антисоциалистической истерии, волны которой все катят и катят с Запада, и в особенности о недавних исходящих из Вашингтона воинственных акциях и заявлениях, отбрасывающих назад достижения и успехи в сфере международных отношений, которые мы констатировали в пору Владивостокских договоренностей. Однако на нашей конференции господствует дух именно этих договоренностей. Если в прошлом кое-кому, быть может, казалось, что дух Хельсинки каким-то образом «сам по себе» способен утвердиться — даже при пассивном его приятии народами,— то сейчас, я думаю, всем уже ясно, что этого можно достичь только ценой упорных усилий. Что это документ, суть которого далеко не ограничивается одной лишь «третьей корзиной», я уж не говорю о том, как искажается порой представление об истинном ее смысле и назначении. И коль скоро такая свистопляска поднялась с намерением умалить существо и значение Заключительного акта, писатели, да и не только писатели — широкие круги людей во всем мире — осознали насущную необходимость активной борьбы за претворение в жизнь его идей...

С вашей страной я впервые познакомился в 1959 году — то есть почти двадцать

лет назад. С тех пор я не раз бывал в Советском Союзе, через несколько дней вновь отправляюсь в Москву. Немало событий произошло в мире за эти два десятилетия — жестокая война во Вьетнаме, обретение свободы ранее зависимыми странами, как Ангола, например, если называть самые недавние. Что касается моего «заочного» интереса к Советскому Союзу, то он возник за много лет до того, как я туда смог попасть. Ваша страна волновала меня, как родная, я переживал ее проблемы, ее триумфы как свои собственные, ее трудности и поражения — как мои личные трудности и поражения. Я вообще считаю, что историю Советского Союза можно назвать школой для всего мира — для каждого из нас в отдельности и для всех вместе. Просто трудно поверить, что могут найтись люди, отказывающиеся извлечь уроки из богатейшего опыта советской истории. Конечно, надо уметь видеть главное — новое всегда представляет известные трудности для осмысления... Можно ли не увидеть, например, какие барьеры приходилось преодолевать Советскому Союзу, каждый раз новые. И в преодолении их никогда не было расчета на драматический эффект, на сенсацию — в основе всегда лежало стремление добиться лучших условий для большинства. Поскольку мы с вами беседуем о сфере культуры, то назову главное — поднять миллионы до уровня немногих, которые в прошлом имели возможность наслаждаться высокой литературой, музыкой, искусством. Само собой разумеется, чтобы осуществить эту задачу, приходилось разрешать бесчисленное множество сложнейших практических проблем. И это в атмосфере угроз военной опасности, не позволявшей расслабиться ни на час... Я с радостью наблюдаю, как крепнет экономическая мощь Советского Союза, как растет жизненный уровень его граждан. При этом я убежден — здесь никогда не восторжествует культ материальных ценностей как таковых, никогда не подомнут они духовные ценности, никогда ваша страна не станет нацией потребителей, в какую в значительной мере превратились Соединенные Штаты; Советский Союз не позволит вещам «вытеснить из души истинно человеческое» — я обращаюсь к словам Эмерсона...

Если вы, подобно мне, вышли из рабочей среды и знаете, как трудно продвинуться в жизни хотя бы на дюйм, хотя бы на часть дюйма, если вы хорошо знаете, какой ценой это продвижение дается, в таком случае никому не удастся убедить вас в насущной необходимости сегодня же заполучить немыслимые — не обеспеченные реальной действительностью — материальные блага. Рабочий, просто трезво мыслящий человек понимает, что продвижение вперед дается ценой собственного пота, жертв — дорогой ценой покупается прогресс. И потому меня не шокирует мысль о том, что в Советском Союзе нет еще некоторых предметов ширпотреба, которые есть у нас на Западе — того, этого или какого-нибудь еще товара,— что в каких-то отраслях техники Запад больше преуспел: через год или через два вы нас догоните, это вовсе не вопрос жизни и смерти.

А вот что действительно важно — и никто не докажет мне, что я не прав,— что советские люди сами дорастают до сознания того, кто они есть, что́ есть социализм, какое место они занимают в истории, что они значат для обеспечения мирного будущего человечества — осознание того, что именно на их плечи человечество возложило (так уж распорядилась их судьбой история) по сей день нести самую ответственную во всей его истории вахту на капитанском мостике; это тяжелая ноша, такая, которую не скинешь, от которой не убежишь...

Чем привлекли мое внимание выступления советских писателей на Софийской конференции? Мне кажется, что в речах их — так же как и вообще в их творчестве — настойчиво заявляет о себе внимание к моральным, нравственным проблемам. Все более целеустремленно их мысль ведет к необходимости поднять на новый — еще более высокий — уровень моральные критерии, требования к человеку, гарантирующие нравственную чистоту, исключающую какой бы то ни было разрыв между образом реальной жизни, которой живут люди, и системой, в которой они живут. Коль скоро социализм — система истинно гуманистических, высоких моральных норм по сравнению с капитализмом, не говоря уж об экономических основах ее, значит, эта ее особенность должна быть ощутима в самом типе личности, «прозводимом» этим обществом. Для этого общества не могут быть типичны ограниченные, мелкие существа, люди, жизненной целью которых является приобретательство, для которых главное — доказать окружающим, что их имущество лучше, чем у остальных. Для такого общества должны быть чуждыми карьеристы, бюрократы, чиновники, злоупотребляющие своим положением и забывающие, что такое человечность... Наоборот, норма его — расцвет человеческой личности, когда каждый человек — не только поэт или художник — имеет право на совершенствование, на реализацию заложенных природой талантов и возможностей: единственное препятствие на пути к осуществлению этих идеалов — разделение мира на две противостоящие системы, страшная угроза войны — ответственность за нее несут силы агрессии и коррупции, правящие в мире капитала. Мы, американцы, особенно хорошо понимаем, о чем идет речь: в нашей действительности мы сталкиваемся с коррупцией на каждом шагу, мы видим, как на наших глазах эта система самым чудовищным образом перемалывает человеческие судьбы и фактически мы почти бессильны противостоять всему этому...

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

Вот какого рода соображения хотелось мне высказать, отвечая на ваши вопросы... Шесть десятилетий, минувших с Октября 1917 года, были, я абсолютно в этом уверен, звездными часами истории человечества. Вы, конечно, помните, какого рода надежды лелеял в свое время Уинстон Черчилль — задушить социализм в его колыбели. Пожелания эти не сбылись, им не суждено сбыться никогда. Социализм сегодня — мощнейшая система, изменившая самую природу общества... Мне осталось ко всему этому добавить несколько завершающих слов. Я принадлежу к числу тех, кто испокон века был угнетен, кого сгибали в дугу, оскорбляли, унижали, тех, кто испокон века бился за лучшие условия существования и испокон века терпел поражение — нам каждый раз приходилось с голыми руками сражаться против врага, снабженного оружием: у американских индейцев были луки и стрелы, у истреблявших их белых — ружья и пулеметы; зулусы в Южной Африке располагали лишь силой своего духа, британские колонизаторы — винтовками. Когда началась война во Вьетнаме, Хо Ши Мин призвал народ: «Обращайте в оружие все, что только найдете рядом с собой: превратите палку в копье, поднимайте с земли камни и сражайтесь ими против агрессора». Ну, и самые последние замечания: конечно, это — свидетельство несгибаемой решимости народа отстоять свою свободу, однако в прошлом такое сражение — камнями и палками против армии Соединенных Штатов — могло привести лишь к трагедии, прибавить новую главу к повествованию о тех, кто извечно стремился к победе в битве за справедливость и кто всегда проигрывал. Разница на этот раз — победа народа во Вьетнаме и Анголе — состояла в том, что существует на земле государство трудящихся — тех, кто всего лишь полвека назад были угнетенными, оскорбленными и униженными, тех, кто сам научился делать оружие и кто вложил это оружие в руки тех народов, что прежде были в состоянии защитить себя лишь стрелами да палками, самодельными копьями, камнями, поднятыми с земли...

3. ОКТЯБРЬ В МОЕЙ БИОГРАФИИ

Мартин Наг

НОРВЕГИЯ

Так удивительно в год шестидесятилетия Октябрьской революции оглядываться назад, вспоминать свои прежние посещения вашей страны. Впервые я был в Советском Союзе в 1957 году на фестивале молодежи; вы могли задать вопрос: с чем приехал из Норвегии молодой литератор в ту пору, когда еще бушевала «холодная война»? Кстати, совсем не просто было и попасть в число участников фестиваля молодежи, какую-то роль, видимо сыграло то, что я имел степень магистра по славянской филологии: изучать русский язык я начал сразу же после второй мировой войны. Что меня побудило начать эти занятия? Для этого у меня были и литературные и политические основания, а конкретный повод связан с моим учителем гимназии в Ставангере, где я сдавал экзамен на аттестат зрелости. Он сказал мне: «Учи, Мартин, русский язык, это язык и литература будущего». Тогда я был еще слишком юн, чтобы оценить этот совет, так сказать, в полном объеме, но идея мне понравилась, и я действительно начал изучать русский язык. Когда началась «холодная война», занятия мои осложнились, но я нашел твердую точку опоры, и мне стало легче. Что я имею в виду? Вернее спросить, «кого»? Отвечаю: Маяковского. Я написал свою магистерскую диссертацию о нем и его творчестве, это было в 1953 году. Естественно, я очень хотел принять участие в фестивале молодежи 1957 года. Я уже тогда считал себя коммунистом, а через год — в 1958 году — оформил свое членство в Коммунистической партии Норвегии. Что особенно запомнилось из этого первого пребывания в Москве? Я встретил нескольких советских писателей — Эренбурга, Федина, Евтушенко. Я еще до беседы с вами вспомнил об этих встречах — когда увидел Евгения Евтушенко здесь, на конференции в Софии: так сказать, перекличка времен. Потом я еще несколько раз бывал в Советском Союзе: в 1958-м на конгрессе славистов в Москве выступал с докладом о Маяковском и его поэме «Про это», с анализом сложного содержания этой поэмы. В 1965 году был гостем Союза советских писателей в течение двух недель, тогда я побывал в Москве и в Грузии. Два раза участвовал в конгрессах переводчиков советской литературы — в 69-м и в декабре 76-го года. В семидесятом году был в Ленинграде. Как видите — не так мало. А в силу своей литературной профессии и политических убеждений занимаюсь вопросами, так или иначе связанными с Советским Союзом, можно сказать, ежедневно: революционный импульс, излучаемый Советским Союзом,— это основной источник вдохновения, определявший направление всей моей жизни, говорю это безо всяких преувеличений.

Подробнее о моих литературных интересах? Повторяю: начал я с Маяковского, потом стал заниматься советской литературой в более широком плане — занимаюсь ею и сейчас. В этих моих занятиях появ-

ляются все новые «разветвления». Так, мне показалось важным исследовать, как норвежские писатели в первые годы после Октябрьской революции реагировали на ее идеи, на то, что происходило в Советской стране; эта проблема почти не освещалась в норвежском литературоведении. А ведь очень интересно, как известные — а главным образом неизвестные — рабочие писатели воспринимали то, что произошло в России: как они пытались все это осмыслить, свое отношение к революции, к Ленину, как отозвались на смерть Ленина и тому подобные вопросы привлекли меня, именно ими я занялся как литературовед — ведь я еще и поэт — и продолжаю заниматься поныне.

Первое время после революции в России революционные настроения были распространены в Норвегии — этот период с 1917 по 1923 год особенно мне близок как исследователю. Ну, и конечно, хочется разобраться, что значит быть революционером в нынешних условиях, чему мы можем научиться у Советского Союза, как нужно идти к социалистическому общественному порядку. Интересовали меня очень и первые произведения советской литературы, и отзвук, который они получали в Норвегии...

Что касается главного вопроса, который вы мне задаете, то кратко я на него ответил бы так: Октябрьская революция — величайшая сила в мире, в ее дальнейшем развитии я вижу решающий импульс для будущего всего мира, включая и Норвегию. Советский Союз и революция определили направление путей человечества, стали путеводителем в нашу великую историческую эпоху. У меня в этом нет никаких сомнений, я счастлив и благодарен судьбе за то, что идеи Октября определили главное и в моей жизни — как человека, как писателя, как ученого...

Я не колеблясь сказал «да» на предложение принять участие в международной встрече писателей под девизом: «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры» — идея мира отвечает всей моей жизни и моей деятельности человека, писателя, литературоведа. Особенно важным казалось мне принять участие в этой встрече потому, что на Западе кое-кому очень хотелось сорвать встречу, настроить писателей против идеи созыва конференции. Но осуществить это, как известно, им не удалось. Конструктивный характер нашей встречи ничто не поколебало. Впрочем, это вполне закономерно, ведь главная ее идея объединяет всех прогрессивных писателей, а не разъединяет. И это главное — то, что объединяет, было в фокусе, в центре внимания. Это была в высшей степени стимулирующая встреча — и в своей официальной части — в зале заседаний, и в неофициальной — в контактах и беседах в кулуарах. Все сошлись на том, что такие встречи необходимы, что нужно изыскивать все возможности проводить их и впредь. И еще: мне кажется, наша конференция носила творческий характер, по-моему, такое чувство было у всех собравшихся, а не только у меня.

Здесь, в Софии, я много работал, я был в рабочей форме, мог писать, что называется, сидя и стоя. Не знаю, получится ли что-нибудь, возможно, что-нибудь вроде лирической прозы «Поездка по Болгарии в июне 1977 года»: точно так же я работал, когда в последний раз, в декабре 1976 года, был в Советском Союзе — писал дневник, делал заметки, записывал свои мысли, рожденные встречей с Советской страной. И сейчас — записываю свои наблюдения, размышляю о встречах с людьми, о проблемах развития страны,— и шире — об условиях осуществления идей социализма в последнюю треть XX века, это актуальная проблема в международном масштабе. Чему мы можем научиться, какие выводы сделать для себя? Обо всем этом хочется писать — как лирику и как публицисту.

Короче говоря, участие в этой конференции для меня — дело естественное, само собой разумеющееся, полностью соответствующее интересам моей повседневной работы, оно как бы продолжает, расширяет и подтверждает правильность того, что я вообще делаю...

Социализм не стоит на месте, он развивается, он устремлен в будущее. Об этом я считаю особенно важным напомнить сейчас, в год шестидесятилетия Октябрьской революции. Токи высокого напряжения по-прежнему излучает социалистическая часть мира. Повторяю: я ощущаю эти импульсы в своей жизни, жизни своей страны как нечто реальное и конструктивное, то, что имеет непреходящее, всемирно-историческое значение...

Субхас Мукерджи

ИНДИЯ

Признаюсь вам, принимая приглашение на эту встречу, я не слишком хорошо отдавал себе отчет в ее целях. Но, приехав сюда, понял, что основной ее смысл — со всех сторон рассмотреть проблему «писатель и дело мира». В нашей встрече принимает участие так много крупных писателей из стольких стран мира, что можно с уверенностью ожидать от нее серьезных результатов.

Что позволяет сказать о предмете нашего обсуждения позиция «из моего окошка»? Вряд ли Индия понимает, что та-

кое война — в полном смысле этого страшного слова: может быть, дело в том, что нас, индийцев, вторая мировая война коснулась только в форме отдельных бомбежек и передвижения войсковых соединений... Война, конечно, сказалась и на моей стране, особенно на Бенгалии, откуда я родом: в 1943 году в Бенгалии разразился страшный голод, его причиной была война и военные расходы, тысячи людей умирали с голоду прямо на городских улицах, но ведь это была другая смерть — не кровавая смерть, не тотальное разорение войны...

До этой поездки мне уже приходилось бывать в странах, разоренных войной, встречаться с людьми, от нее пострадавшими, поэтому я могу представить себе, что значила война для Европы и почему писатели, приехавшие на эту встречу, с такой страстью выступают за сохранение мира. Кроме того, я ведь читал то, что многие из этих писателей написали о войне, их романы, их военные репортажи, где война встает в своем ужасном облике... А ведь сейчас приходится вести речь о войне иного характера — об угрозе полного уничтожения человечества на земле. Участники нашей встречи пекутся о будущем человечества в целом, всего, что создано человеком, о самой жизни, которую война превращает в гипотезу.

Самые яркие выступления и речи? Я не могу забыть многих страстных выступлений — и, главное, быть может, тона этих выступлений. Я убежден, что, когда материалы встречи будут опубликованы, люди, которые прочтут эти выступления, почувствуют их жар и он обратится в стимул их действий, направленных против войны. Мне кажется, что это и есть главное, что способен сделать писатель, что должны делать мы все. Мы не обладаем атрибутами власти, но словом своим писатель способен вызвать движение человеческой души, а оно в конечном счете меняет курс истории. Для меня суть нашей встречи заключалась именно в этом, поэтому я считаю ее проведение большим успехом, полное значение которого можно будет оценить только в будущем. Знаете, сидя в зале заседаний и слушая выступления, я вспоминал другой писательский конгресс, в Париже — я был тогда совсем еще юнцом и читал о нем в газетах. Правда, индийские газеты помещали лишь коротенькие отчеты об этом конгрессе, но все равно они запоминались и даже находили свое отражение в наших тогдашних произведениях. Мне в душу запали слова — я до сих пор не забыл — кажется, сказанные Горьким — о второй природе человека и о второй весне человечества, которая расцветет на земле. События тех лет подействовали не только на меня, но и на целое поколение индийских писателей. Мне кажется, что и наша нынешняя встреча может стать событием не меньшей значимости... Она, разумеется, волнует не только писателей: я встретил в зале заседаний учительницу географии из болгарской школы, она рассказывала мне, как увлекает ее «география» нашей конференции, где присутствует столько непохожих один на другого людей, где представлена большая часть нашей планеты! Вернувшись, я напишу обо всем этом для индийского читателя...

А если обратиться вновь к началу нашей беседы, то я вспоминаю, как в «Махабхарате», древнеиндийской эпической поэме, которую я недавно перечитал, описывается конец войны. «Махабхарата» — история братоубийственной бойни, оставляющей после себя опустошенную землю, опустошенность в сердцах тех, кто остался жить,— в конце ее как раз говорится об осознании бессмысленности произошедшего. Иными словами, наш народ и прежде и теперь понимал и понимает пагубность войны, сейчас от нас — и, в частности, от нашей конференции — зависит — углубить это понимание, расширить его границы и горизонты. Особенно важно это в настоящее время, когда нас всех так тревожит строительство военных баз в Индийском океане, когда мы все выступаем против этих баз. Я думаю, что сказанное здесь, на нашей писательской встрече поможет Азии еще острей осознать необходимость действий, направленных против любых заговоров, угрожающих миру...

Как мыслится мне отсюда, из Софии, значение для мира идей Октября? Октябрьская революция имеет особое значение в моей биографии. Я начал читать о ней довольно поздно, уже в 30-е годы: прочитал работы Ленина, они впервые открыли мне, какую роль призван играть в мире рабочий класс. В те годы, когда я жил в фабричных кварталах Калькутты, чтение марксистской литературы сочеталось для меня с практической работой на фабрике, с тесным общением с рабочими. Я изнутри познал условия их жизни: помню годовщины Октябрьской революции, которые мы отмечали в рабочих кварталах, помню наши разговоры о Ленине и об Октябре, помню, как трудно было рабочим поверить в то, что когда-то смогут измениться условия их собственной жизни и труда. Но им хотелось поверить в это, и они поверили — и не напрасно; сейчас, когда рабочее движение в Индии стало огромной силой, когда профсоюзная борьба в значительной степени улучшила образ жизни трудящихся, это особенно очевидно...

Не могу забыть о праздновании годовщин Октябрьской революции в рабочих кварталах еще и потому, что именно в те годы я стал писать стихи. Много лет спустя, в 1959 году, я впервые побывал в Советском Союзе и увидел своими глазами все то, о чем мы все столько читали и думали. Когда я сравниваю условия жизни советского народа — тогда, в 50-е годы, с тем, что я вижу сейчас, я всякий раз поражаюсь громадности перемен, произошедших за такой недолгий срок. Взять хотя бы шоссе, по которому мы обычно въезжаем в Москву с аэродрома: там, где раньше были пустыри, теперь поднялись

новые, нарядные жилые дома. По всему городу в глаза бросаются эти новые жилые комплексы. Особенно ощущаешь перемены и в том, как выглядят люди на улицах, как они одеваются,— в 50-х годах я не видел такой яркой и красивой одежды на прохожих... Правда, меня привлекают в первую очередь не столько перемены в материальной стороне жизни советского народа, сколько в других вещах: сталкиваясь с советской молодежью, я имел возможность убедиться, что она вовсе не так уж поглощена нарядной одеждой, телевизорами и прочим; ваши молодые люди отличаются тем, что гораздо больше знают о мире, в котором живут, чем предыдущее поколение: их волнуют судьбы других народов — угнетенных народов Азии, Африки, Латинской Америки... Не могу забыть те дни осени 1973 года, когда кровавая хунта захватила власть в Чили и когда я видел слезы на глазах советских юношей и девушек — их реакция глубоко тронула меня, и как раз вот эта сторона жизни Советского Союза, духовный аспект развития страны кажутся мне еще более существенными, чем все немаловажные материальные достижения...

Какую связь я нахожу между идеями Октябрьской революции и нашей нынешней встречи? Должен сказать, что, когда я перечитываю то, что написал о Советском Союзе наш великий писатель и мыслитель Рабиндранат Тагор, и заново обращаюсь к его оценке Октябрьской революции, то неизменно думаю о том, как прав был этот человек, выросший в ином мире, принадлежащий к другому классу, когда уже в те времена он увидел в России будущее всего человечества и приветствовал это будущее всем сердцем. Да, Октябрьская революция дала мир народам России и в то же время стала гарантией мира для всех народов на земле. Ленинизм исходит из принципа мирного сосуществования различных социальных систем, и эти принципы помогают нам и сегодня предотвратить войну. В этом духе проходила наша Софийская встреча. Все ее участники — какие бы общественные структуры, какие бы социальные системы ни стояли за ними — исходили из того, что мир достижим без вмешательства во внутренние дела других стран. Наша встреча доказала, что писатели из самых разных стран убеждены в справедливости ленинских принципов и идей Октябрьской революции.

4. ... В БИОГРАФИИ ВСЕХ

Вальтер Дигельман

ШВЕЙЦАРИЯ

Когда я получил приглашение на этот международный конгресс, то сначала просто удивился, что такое вообще может быть; впечатляло, что именно социалистическое государство берет на себя столько усилий и забот: за десять дней нашего пребывания здесь я воочию убедился, насколько велики оказались эти усилия. Еще ребенком — теперь я откровенно могу сознаться в этом — я лучше уживался с книгами и их героями, чем с окружающими меня живыми людьми. И позже не раз приходил к выводу, что лучше узнаю народы и страны через литературу, чем путешествуя по этим странам на машине, по железной дороге или как сегодня — в самолете. Так что решение принять участие в этой встрече требовало от меня особого сознания ее необходимости — для того чтобы сохранить мир, мы должны собраться и поговорить друг с другом, должны завязать искренний диалог,— литература и есть для меня такой диалог, а не просто эстетический феномен, я не очень высокого мнения об изящной словесности, как таковой, меня интересует хорошая литература, а хорошая литература — та, которая объединяет народы. И вернувшись назад, в свои страны, мы должны сказать своим правительствам: будьте добры, высвободите часть бюджета, идущего на гонку вооружения и на содержание армии, для того чтобы мы могли обмениваться друг с другом книгами. Я лично скажу еще, как мне, швейцарцу, стыдно, что, прожив столько лет в стране, столетия не знавшей войны, я из писателей Советского Союза, живущих писателей, знаком с именем Симонова да еще двух-трех, и скажу, что мне противно, что у нас продают книги диссидентов, пытаясь выдать их за больших художников, каковыми они вовсе не являются. У нас очень слабые контакты друг с другом, слабые связи, так продолжаться не может. Вот почему я решил принять участие в конференции и даже выступил с трибуны. И все мои коллеги из Америки, Кубы, Чили, Анголы, Москвы, вплоть до маленькой Швейцарии, которую я представлял здесь вместе с моим коллегой Отто Штайгером, говорят: мы должны внести вклад в это общее дело. Для меня этот конгресс явился большим событием. Не только из-за того, что́ здесь было сказано — каждый из нас в той или иной степени говорил об одном и том же. Но то, что все мы говорили одно

и то же, является тоже одной из форм демонстрации нашей солидарности. Я нахожу это очень важным. Я счастлив, что был здесь...

Самое сильное впечатление? Пожалуй, речь американца — не могу сейчас, сразу назвать его имя. Это — негр. Да, верно, Элтон Фэкс... Помните, он рассказал историю своего рода—как три поколения назад его предки были вывезены из Африки в Америку; и вот теперь в Африке развиваются освободительные движения. И еще он сказал, как важно помнить о том, что это наше счастье, что есть страны, помогающие народам всех цветов кожи добиться освобождения, они не собираются подминать под себя эти народы, они действительно хотят помочь им добиться свободы, в то время как американцы, сказал он — это я слышал сам,— задавили негритянский народ Америки. «Мы были и есть их рабы»,— сказал он. Другое — выступление перуанца. Он сказал, что у Перу — славная история в прошлом, так почему же его страну унижают сегодня? И почему Южная Америка подвергается такой дискриминации? Только потому, что там правит капитал, империалисты, которые не желают понять ту истину, что люди действительно хотят жить в мире и не быть врагами друг другу. Ну и еще — просто то, что у нас была возможность познакомиться друг с другом, поговорить друг с другом и что я убедился, как верно поступил, приехав сюда, как необходимо знакомство друг с другом, диалог, который уже сам по себе не позволяет остаться врагом другого; может быть, это и удивит вас, но самым интересным для меня было именно это — то, о чем я только что сказал.

О выступлениях советских писателей? Прежде всего, они говорили абсолютно не агрессивно, в противоположность некоторым другим коллегам, имена которых я сейчас даже не хочу называть. Они этого не стоят, это были люди из других стран, которые позволили себе завуалированные выпады — мелкие подкусывания. А мои советские коллеги говорили очень свободно, без напряжения, да, мы говорили о разрядке напряженности, правда, говорили подчас общими фразами, мы этим все грешим, хотя и понимаем, насколько предпочтительнее разговор конкретный... Я думаю, этот конгресс внес значительный вклад в историю международного литературного движения, с такой силой продемонстрировав солидарность прогрессивных сил. Я думаю, сегодня это самое важное. Хотя следует уточнить, что я не очень-то верю в то — и я хочу, чтобы вы это записали,— что в мире всегда будут вот просто так сосуществовать две системы. Я думаю, что будущее принадлежит социализму, а не империализму и не капитализму. Обе старые системы находятся в стадии отмирания, а социализм набирает силы. Это и на нашем конгрессе сегодня был основной вывод, его никто не поколебал.

Два года назад я вместе с женой — она принимает сейчас участие в нашей с вами беседе — побывал в Советском Союзе, до этого я не знал вашей страны. Что сразу бросается в глаза? С одной стороны, ощущение масштабов. Все большое. И потом — что русские, украинцы и я не знаю, сколько там еще народов всех республик, так охотно путешествуют и так восхищаются и гордятся героями своей страны, своей истории. Правда, это еще далеко не самое главное, что отличает вас от моей страны — Швейцарии. В этом смысле она тоже могла бы оказаться малюсенькой республикой Советского Союза... И вот на пути в Закарпатье проехали мы — я сейчас, наверное, неправильно произнесу — Львов, так вот, я вдруг сказал: стоп! маленькая деревня! Мы вышли и подошли к небольшому домику, вошли в сад, там были женщины и дети, поговорили с ними, спросили, нельзя ли осмотреть их дом, нам интересно, как живут в сельской местности подо Львовом... Все там было великолепно — у них есть холодильник, телевизор, радио, хорошая мебель, добротные кровати, они были приветливы и ответили на все наши вопросы. Потом мы пересекли дорогу и оказались на поле, на колхозном поле. Одна украинка немножко говорила по-немецки: во время войны нацисты увезли ее в Германию, в Дрезден, это было для меня символической встречей — меня тогда тоже нацисты увезли в Дрезден,— короче, она могла сказать несколько слов по-немецки. Вокруг нас были женщины, они собирали урожай, разговор шел открытый — мы убедились тогда, какая это ложь, будто бы в Советском Союзе боятся открыто говорить правду... (Жена: Мы были удивлены, когда она нам рассказывала, что ее дети учатся в высших учебных заведениях.)

Да, да, правильно. Эта женщина сказала нам, что у нее, как и у многих здесь, дети учатся где-то, не то в Киеве, не то в Москве, одним словом, в каком-то большом городе, где есть университет, что они ничего за это не платят, и если она заболеет, им не надо ни за что платить, а если она умрет — могила для нее тут найдется, и если она не сможет больше работать, она не умрет с голоду, она не миллионерша, но у нее все в порядке, она обеспечена и находит свою страну превосходной. Ради всего этого она и работает сейчас. (Жена: Такая гордость чувствовалась в словах этой женщины!)

И эта гордость трудовой женщины была, пожалуй, одним из самых сильных моих впечатлений. Я был удивлен и только мог сказать: «Да! Так можно жить!» Можно выполнять такую элементарную работу — убирать урожай в поле, в самом скромном платье, в простой косыночке на голове — и чувствовать себя счастливой, потому что дети, выучившись, могут стать теми, кем только захотят стать. Да, это было одно из самых сильных впечатлений во время поездки по Советскому Союзу... Я всегда знал, что у нас много лгут о Советском Союзе и других социалистических стра-

нах: пытаются уверить, будто Советский Союз агрессивен, будто он хочет установить коммунизм во всем мире, но я считаю это полным идиотизмом, даже мысли такой не допускаю. Да, собственно, и зачем? Я знаю, что Советский Союз не хочет войны... Ну и еще хочу сказать, что я поздравляю вашу страну с 60-летием Октябрьской революции, а то, что подчас вы еще испытываете трудности,— это я нахожу естественным и нормальным. То, что еще не все так, как должно бы было быть и как все обязательно будет, это мне тоже абсолютно ясно; способен же я распознать противоречия, которые подлежат преодолению. Это — альфа и омега нашей жизни...

Гуго Гупперт

АВСТРИЯ

Что думаю я о значении Софийской конференции писателей и о своем участии в ней? Как оцениваю ее итоги? Здесь собрались авторы более чем из тридцати стран, всего более ста пятидесяти человек, каждый из которых — неповторимая человеческая и художническая индивидуальность, писатель присущего лишь ему стиля, манеры письма, творческих проблем. Более того, здесь, как известно, собрались люди разных мировоззрений, разных политических убеждений. Они были по-разному настроены, но их привела сюда одна-единственная проблема современности, способная объединить всех,— проблема мира, безопасности, взаимного сотрудничества, разоружения и разрядки. Именно она образовала на эти дни наших встреч и заседаний большую писательскую семью. В сущности, ведь всякая семья — союз различных устремлений, то есть я хочу сказать, что даже в маленькой семье бывают разногласия, споры, поэтому я вправе был ожидать спора и в нашей этой «семье»... Правда, бывают споры, от которых семьи разваливаются, но такого разрушительного спора у нас в Софии не произошло, его не было, хотя никто не регулировал и не регламентировал жизнь нашей большой семьи, не было никаких предписанных статутов для этой конференции, выработанных кем-то для этого симпозиума, нет, просто писательское содружество, эта писательская семья была здоровой, ее воодушевляли общие идеи, те самые, что были выработаны европейской конференцией в Хельсинки и что будут рассмотрены также на предстоящей Белградской конференции. Мнения упорядочились в процессе нашей работы, естественно, сами по себе, опровергая тезисы западной прессы, опрокидывая ее противоречивые и чаще всего тенденциозные предсказания. И я считаю, что без Софийской встречи, без этого международного симпозиума наше писательское сообщество, наша семья литераторов не обрела бы такого мира, такого согласия и гармонии, в какой мы расстаемся сейчас. Повторяю, это не та гармония, которая навязывается извне, создается искусственно, нет, речь идет о подлинной гармонии, о свободном обмене мнениями, когда никакие предписания не влияли на высказывания людей, когда выступавшие не ставили себе задачей подчинить своему влиянию остальных, а только хотели доставить им радость своим свободным словом. Вы сами отлично знаете, что далеко не всем писателям свойственна дидактическая манера письма, мы — и я в том числе — не педагоги и не собираемся подменять собою, будучи художниками, художниками слова, учителей и прямых наставников. Но мы отказываемся от такого слова, которое способно принести вред человечеству, лишить его надежды и веры, ввергнуть в опасность, посеять раздоры, подтолкнуть к агрессии или войне. Нет, мы не были бы писателями и поэтами, мы не были бы художниками, если бы не отдавали себе отчета в том, что главное — это мир. Если бы не понимали, что не война, а именно мир — отец и мать всего живого на земле. Мы были бы плохими художниками, если бы не знали, что только на ниве мирного взаимосотрудничества, записанного в документах Хельсинского совещания, в его Заключительном акте, являющемся основополагающим для наших взаимоотношений, можно урегулировать большие и маленькие противоречия и что только мир может спаять всех ради единого дела, может породить то единство, которое вовсе не приводит к рабской уравниловке, когда один слепо копирует другого, нет, то единство, которое продуктивно, созидательно, на принципы которого опирается художественное творчество литераторов стран социализма. По-другому жить просто невозможно. Здесь, на конференции, в конечном счете вопрос стоял так: жизнь или смерть.

Мы приехали с сознанием того, что существует баланс для всех противоречий и этот баланс—мир во всем мире. И как следствие его—всеобщий прогресс человечества, которое делится, правда, на страны с различным социальным строем, но у всех стран, как оказалось, единые общие интересы — безопасность, взаимное сотрудничество, взаимопонимание, разоружение, разрядка. В нашем общем осознании этого я вижу главный итог конференции, который лично я увезу из Софии домой, ду-

маю, что примерно в таких же формулах мыслят о нем и многие мои коллеги и друзья. И уже за одно это мы должны быть благодарны болгарскому народу, предоставившему нам возможность встретиться всем в этой чудесной, полной летнего солнца стране, среди живописной природы, около моря, где все вокруг радует глаз... Это такая страна, которую каждый, кто видит ее в первый раз, должен полюбить — хотя бы за то, что болгарский народ, пожалуй, самый гостеприимный народ в мире. Я, во всяком случае, считаю именно так — пусть это чисто субъективное восприятие, но я нахожу в этом народе беспримерную доброту, необычайную жизнеспособность и удивительное миролюбие. Трудно себе представить, на какой земле мог бы успешнее пройти наш разговор о мире и дать более прочный и долгосрочный результат, чем на земле замечательного трудового народа Болгарии, которому я от всей души говорю «спасибо»...

Мои наблюдения и мысли о воздействии идей Октября на современный мир? Позвольте мне начать со свежих газет. Я нахожу символическим тот факт, что именно в дни работы нашей международной конференции мы познакомились с текстом проекта новой советской Конституции. Текст этот следовало ожидать: о перспективах развития Советского государства, отраженных в нем собственно, уже было известно из предварительных сообщений. Но дополнения, которые содержал этот текст, свидетельствовали о том, с чем не сталкивались прежде мои соотечественники. Речь шла не просто о фиксации, не только о нормативном закреплении перспектив, которые должны быть реализованы, а и о том, что уже было осуществлено, уже было достигнуто за шестьдесят лет, прошедших с Октября 1917 года. Я, конечно, понимаю, что Октябрьская революция в первую очередь имеет значение для самого советского народа, а также для тех наций, которые постепенно, одна за другой, пополняли лагерь социализма. Однако недаром эти самые шесть десятилетий вмещают, можно сказать, целиком и мою собственную жизнь — во всяком случае сознательно прожитые мною годы,— я родился в 1902 году и только на днях отпраздновал свое семидесятипятилетие... На основании этого собственного опыта целой человеческой жизни могу свидетельствовать: не только бытие моего австрийского народа, бытие народов Европы, но и всего мира преобразилось до основания за эти десять дней, о которых такие точные слова нашел Джон Рид, сказав, что они потрясли мир. Я убежден: все, что пережил я, все, что пережили народы Европы, так или иначе связано с этим всемирно-историческим и знаменательным событием.

Как воспринимал я самый процесс этих преобразований «мира и человека» под влиянием идей Октября, что привлекало мое внимание в этой динамике, когда я очередной раз приезжал в вашу страну? У меня много знакомых и друзей в Советском Союзе, не только в РСФСР, но и на Украине и в Белоруссии, и я могу сказать, что самый характер человеческих взаимоотношений, духовных контактов, я уже не говорю о производственных взаимоотношениях—это давно признано во всем мире, я имею в виду частные, личные отношения людей, уровень взаимопонимания — все это коренным образом изменилось. Ведь одно дело — понимать, так сказать, умозрительно, что система советского, социалистического образа жизни и мыслей подразумевает принципиальное отличие от форм нашего западного мышления, наших представлений и нашего мироощущения. И другое дело — иметь возможность и право подтвердить, что это действительно так. Я бываю в Советском Союзе каждые два-три года и все эти сдвиги в человеческих отношениях и во взглядах советских людей наблюдаю лично. Я могу их сравнить с прошлым, могу противопоставить — сейчас у меня для этого нет времени,— хотя и этого всего еще недостаточно для исчерпывающего представления, действительность, конечно же, глубже и богаче. Могу только сказать, что советского человека я отличаю после первых же двух-трех произнесенных им фраз. Полностью отличаю от «несоветского» человека. Преобразилась самая «материя» его духовного, эмоционального существования: это — необратимые изменения, рожденные новым классовым сознанием,— новым отношением к другим нациям, к перспективам международного развития, к коллизиям мирового масштаба. И если я как писатель пишу иначе в 1975—1976—1977 годах, работая над своей автобиографической трилогией, то эта новая манера письма, это новое видение мира, новое литературное мышление несет на себе — я в этом глубоко убежден — отпечаток пути развития социалистического государства, пути развития советского народа, пройденного им за шестьдесят лет. Сегодня уже можно говорить и о других социалистических нациях. Я вижу, например, что говорящий на моем родном языке народ Германской Демократической Республики идет путем развития социалистической нации. И если это — не прямой результат Октябрьской революции, то, безусловно,— итог косвенного ее влияния. И тот, кто вздумал бы оспаривать этот факт, не был бы исторически рассуждающим человеком, вероятно, его нельзя было бы назвать вообще думающим человеком,— скорее всего, он оказался бы во власти других чувств: недоверия, антипатии,— это они помешали бы ему рассуждать объективно, здраво...

(Окончание следует)

Среди книг

Издано в СССР

ПО ПЛАНЕТЕ ШАГАЕТ ОКТЯБРЬ

Друзья Октября и мира. Издание 2-е, дополненное. Предисловие А. Чаковского. Москва, «Художественная литература», 1977.

Все мы отлично помним, что на протяжении первых лет советской власти родина социализма оказалась в железном кольце капиталистического окружения. Но вот прочитаешь этот сборник и неизбежно приходишь к выводу: с самого начала Октябрьской революции, с момента взятия Зимнего страна наша находилась и в совершенно ином окружении — в окружении дружественном окружении настоящих, до конца верных друзей.

Американец Джон Рид, прах которого захоронен в Кремлевской стене, оставил бесценный репортаж первых часов и дней величайшей в мире революции. С поразительной объективностью смотрел на события Октября этот честный и бесконечно преданный идеям социалистической революции журналист, принявший боевое крещение еще на мексиканской земле, встав плечом к плечу рядом с национальным героем Мексики, храбрейшим Панчо Вильей.

Величавым трагизмом и неизбывным оптимизмом пронизаны строки, посвященные Джоном Ридом похоронам жертв октябрьских боев в Москве: «Я заметил, что, проходя мимо Иверской, никто не крестился, как это делали раньше... И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...»

Эти слова могли бы послужить эпитафией и самому Джону Риду, вырванному из рядов первых друзей Советской России коварным тифом.

В 1919 году интересные записи о встречах с Ильичем оставил друг и соотечественник Джона Рида — Альберт Рис Вильямс.

Поначалу их было так мало — голосов, поднятых в защиту осажденной со всех сторон интервентами и белогвардейскими армиями красной республики. Одним из первых был человек, знавший цену людской крови,— француз Анри Барбюс, автор бессмертной книги о войне — «Огонь». В речи, произнесенной им 19 октября 1919 года на митинге организованном профсоюзом землекопов, он страстно призывал рабочий класс Франции оказать посильную помощь русской революции, подхватившей «Марсельезу» и «Интернационал»: «Прошло два года с тех пор как русский народ стал свободен. И вот уже два года, как его терзают «великие державы», а это, увы, означает также и великие народы других стран. Вот уже два года Россия, окруженная неутомимым кольцом войны и блокады, борется, глядя в глаза смерти. Вы это знаете. Вы знаете, что эта интервенция с первых же дней прикрывалась гнусной маской лжи и лицемерия. Ни один из организаторов интервенции не объявлял ее открыто. Ни один из них ни разу не посмел снять с себя личину...»

В 1921 году всемирно известный англичанин Бернард Шоу писал: «В данный момент есть только один интересный государственный деятель Европы — имя его Ленин». Уже в заглавии своего короткого слова он корил английских социалистов фабианского толка: «Люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, как Ленин, не ждут». А год 1921-й был неимоверно трудным в истории совсем молодой еще Советской Республики — только что закончилась тяжелая война с белопанской Польшей. Тут и там еще пытались вновь разжечь гражданскую войну белогвардейские недобитки. За рубежами белая эмиграция во главе с престолонаследником бывшим великим князем Николаем Николаевичем еще лелеяла мечту о скором возвращении в первопрестольную столицу под малиновый звон сорока сороков московских церквей, и бесстрашный голос казался гласом вопиющего в пустыне. А между тем это был голос прогрессивной Англии.

При этом проницательный писатель, безусловно один из умнейших людей своего времени, отмечал: «По мнению Ленина, социализм не вводится большинством народа путем голосования, а, наоборот, осуществляется энергичным убежденным меньшинством...»

А этим «энергичным убежденным меньшинством», идущим за Лениным, подлинным гигантом века, была, конечно же, выпестованная им еще в период подполья партия большевиков.

На следующий год прозвучал голос передовой Франции, заявившей устами Анатоля Франса об Октябре в России: «Если в Европе есть еще друзья справедливости, они должны почтительно склониться перед этой Революцией, которая впервые в истории человечества пыталась учредить народную власть, действующую в интересах народа».

В те первые годы, когда в России творил чудеса авангард из «энергичного убежденного меньшинства», друзья Красной России, Нового Мира тоже находились в меньшинстве. Тем ценнее и нужнее были дружеские, мудрые высказывания таких прославленных писателей, людей с мировым авторитетом.

С тех первых лет хор голосов наших друзей не умолкал, а крепнул, набирал силу, звучал все громче в Европе и во всем мире.

В 20-е годы открыто объявили себя сторонниками Октября такие передовые деятели и мастера культуры, создатели непреходящих ценностей, как Бертольт Брехт в Германии, Поль Вайян-Кутюрье во Франции, Христо Смирненский в Болгарии, Джо Уоллес в Канаде, Цюй Цю-бо в Китае. В 1927 году Ромен Роллан, столь популярный у советских читателей, с законной гордостью отмечал: «Один из первых в Европе я восславил русскую революцию в первые дни ее тяжелых боев когда мир отказывался ее признавать. Я сохранил свою верность и преданность ей, несмотря на те или иные идейные расхождения, о которых я высказывался с искренностью».

Разумеется, гостеприимно принимая наших иностранных друзей, мы никогда не навязывали им наших идей. Мы хотели, чтобы они сами побольше увидели у нас, сами составили свое мнение о «великом эксперименте».

Замечательный фантаст Герберт Уэллс не поверил в наш «эксперимент» в 1920 году, Ленина назвал «кремлевским мечтателем», а книгу свою о посещении нашей страны — «Россия во мгле»: «...но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром...» Да, на поверку оказалось, что Ленин, гениальный теоретик и практик коммунизма, обладал сверхфантазией и даром предвидения, а Уэллс, предсказавший столько научно-технических открытий и изобретений, не смог разглядеть в «русской мгле» 20-го года, куда, на какую историческую магистраль выведет Ильич народы Советского Союза.

Уже десять лет спустя имя друзьям Советского Союза стало легион. Вернувшись в США из поездки по Союзу, Линкольн Стеффенс, высказывания которого, к сожалению, не вошли в сборник, произнес вещие слова: «Я видел будущее: оно действует». Луи Арагон из Франции, поляк Владислав Броневский, в свое время получивший орден «Виртути милитари» за участие в белопанском захвате Киева, но затем ставший стойким защитником СССР, Содномбаяжирын Буяннэмэх из Монголии, Антал Гидаш из Венгрии, Нурдаль Григ из Норвегии, Мария Пуйманова из Чехословакии, Рабиндранат Тагор из Индии, Генрих Манн и Лион Фейхтвангер из Германии, где уже рвались к власти нацисты Адольфа Гитлера, и многие, многие другие люди доброй воли восхищались успехами первых пятилеток, трудовым энтузиазмом советских рабочих и крестьян, на глазах неузнаваемо изменявших лицо страны. От самого сердца шли слова будущего народного героя Чехословакии Юлиуса Фучика, когда он писал, возвращаясь летом 1936 года из СССР: «Когда шесть лет назад я впервые расставался с Советской страной — мне было тяжело, так как я чувствовал, что возвращаюсь на несколько лет назад. Теперь это еще тяжелее. Я врос в социализм, я уже был гражданином социалистической страны, а сейчас поезд увозит меня назад на несколько десятилетий, из новой истории в доисторическую эпоху».

Поезд увозил Юлиуса Фучика на родину, а там после захвата Гитлером Чехословакии его ждала тяжелая и героическая работа в коммунистическом подполье, а затем — пытки в гитлеровском застенке.

В годы Великой Отечественной войны нам было особенно ценно каждое дружеское слово, и друзья наши, еще более ок-

решив, сплотившись, не скупились на слова и дела в защиту родины социализма. Меня буквально потряс очерк Анны Зегерс о судьбе одной немецкой антифашистки, посвятившей свою жизнь великой любви к нашей стране и нашему народу. В годы войны, когда нацистский террор в третьем рейхе достиг апогея, она помогала чем могла русским полонянкам в неметчине. «Мы все-таки выстояли, не опустили рук». Мне самому довелось участвовать в движении Сопротивления на территории рейха, и я в полной мере представляю себе, какой великий подвиг стоит за этими скромными словами рядовой антифашистки.

Сколько подлинного чувства в таких ее словах, записанных Анной Зегерс: «Густав, мой муж, и Эрнст, мой брат, никогда не бывали в Советском Союзе, а ведь это была их самая заветная мечта. Всегда они об этом думали, мечтая хоть разок туда съездить, всегда говорили об этой стране, они вырезали все картинки, попадавшиеся им, и вешали на стену. Обоих волновало все, что там происходило: они даже знали все подробности о первой пятилетке. Мечтой об этой стране они жили, о ней думали, умирая».

Свое необъятное восхищение великим подвигом советского народа, воина и труженика, отстоявшего завоевания Октября в тяжелейшей из всех войн человечества, выразили болгарин Веселин Андреев, югослав Иво Андрич, румын Михай Бенюк, монгол Намхайн Жамбалсурэн, поляк Леон Кручковский, немец Томас Манн, вьетнамец Нгуен Динь Тхи, Витезслав Незвал из ЧССР и многие, многие другие.

Разумеется, включить в сборник все высказывания, все произведения, посвященные великой Победе, спасшей человечество от тысячелетней ночи коричневого третьего рейха, не было никакой возможности.

Немалую часть сборника занимают высказывания зарубежных писателей и поэтов — наших сподвижников в послевоенной борьбе за мир на земле. Пабло Неруда, Жоржи Амаду, Рафаэль Альберти, Иоганнес Бехер, Бертольт Брехт, Николас Гильен, Рауль Гонсалес Туньон, Ярослав Ивашкевич, Назым Хикмет — эти имена невозможно отделить от нашей совместной борьбы за мир в годы «холодной войны», в мрачные годы, когда враждебные коммунизму и Советскому Союзу силы владели грозной монополией на ядерное оружие, на атомные и водородные бомбы.

Еще Томас Манн заклеймил антибольшевизм как главную глупость нашей эпохи, а большой ученый и общественный деятель Уильям Дюбуа, уже в преклонном возрасте вступая в коммунистическую партию, заявил: «Я долго и внимательно изучал социализм и коммунизм в тех странах, где они стали практическим делом; я беседовал с их приверженцами и много читал. Теперь я хочу ясно и откровенно высказать свое мнение: я верю в коммунизм...»

Путь истинных друзей к этой вере неизбежен. Уильям Дюбуа считал главным залогом победы защитников мира во всем мире авангардную роль коммунистов и их сторонников в этой борьбе. И закончить статью мне хочется словами Ярослава Ивашкевича:

Он не слетит, как голубица,
Небесную покинув ширь.
Он молнией не загорится —
Над миром мир...

Из общей воли он родится,
Простых людей святой кумир.
Борьбою нашей утвердится —
Над миром Мир.

ОВИДИЙ ГОРЧАКОВ

ПОЭЗИЯ НОВОГО МИРА

Поэзия социалистических стран Европы. Вступительная статья Б. Слуцкого. Составление и примечания Б. Шуплецова. Москва, «Художественная литература», 1976.

Поэзия социалистических стран Европы впервые предстает перед советским читателем в таком объеме. Раскрывая этот том, словно входишь в огромный весенний город, где многоголосый хор жизни, передавая сложный мир человеческих судеб, страданий, радостей и надежд, живет единым сердцем, чей пульс — могучий и полнокровный — сообщается и читателю...

В томе этом, вышедшем в серии «Библиотека всемирной литературы», свыше восьмисот страниц. Здесь представлена поэзия четырнадцати народов. Естественно чувство робости, которое охватывает человека, взявшегося говорить о данной книге.

Даже будучи знакомым с культурой и историей большинства социалистических стран Европы, ловишь себя на мысли, что этого недостаточно для компетентного суждения о таком капитальном сборнике. И первое слово — благодарность составителю, одному из старейших наших славистов Б. В. Шуплецову. Дерзнув собрать огромный и сложный материал в одном томе, он, без сомнения, столкнулся с целым рядом трудностей.

Хотя опыт создания такого рода сборников у нас богатый, время меняет и уточняет критерии, подвижна историческая ситуация, неравномерно художественное развитие национальных культур, неожиданные «поправки» вносят и яркие молодые дарования — да разве просто учесть все слагаемые живого опыта, из которых всякий раз складывается, во многом по-новому, картина творческой жизни той или иной страны, а тем более целого содружества стран?

Выбор поэтов, выбор стихов — дело необычайной сложности. Кажется, есть некие объективные критерии. Но в их пределах возможны и значительные расхождения. Коллективные сборники, собственно говоря, не имеют жестких «законов» для их составления. Никто, видимо, не станет оспаривать положения, по которому предпочтение оказывается л у ч ш и м стихам и, разумеется, л у ч ш и м поэтам. Но разве дело лишь во вкусе составителя? То, что безусловно, является вершинным в творчестве одного поэта, не всегда органически вписывается в антологию, убедительно перетягивает чашу на весах коллективного опыта. Характер национальной поэзии определяет не сумма особо талантливых произведений, но некая «алгебраическая» величина, которую ничем нельзя заменить вне этой поэзии,— та особая песня, за которой судьба народа, судьба нации.

Да простит меня читатель, что начинаю я рассказ об этой интересной книге с «технических», составительских претензий. Но в нашем профессиональном деле не обойтись и без этого...

В книге, представляющей социалистические культуры Европы, не могут быть пропущены поэты, заметно определяющие эти культуры. Назову имена югославских поэтов, на мой взгляд, несправедливо пропущенных в томе: Васко Попа, Миодрага Павловича, Бранко Мильковича, Али Подрилья, Бранислава Петровича — из Сербии; Гане Тодоровского, Мате Матевского, Радована Павловского — из Македонии; Славко Михалича, Тина Уевича — из Хорватии; Дане Зайца, Томажа Шаламуна — из Словении...

Это тем более обидно, что, скажем, в разделах поэзии Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Румынии (где тоже есть досадный пропуск — можно было бы найти место такому самобытному румынскому поэту, как Ион Александру) — в целом положение все же иное: выбор сделан по высшему уровню дарований.

Продолжая разговор о типе издания, нельзя не обратить внимания также на то, что вряд ли правомочно в отдельных разделах быть излишне щедрыми на представительство, а в других — необъяснимо скупыми. В одном случае — знакомить с поэтом одним-двумя стихотворениями, в другом — двадцатью и более. Можно, конечно, сослаться на особую роль того или иного поэта в истории поэзии, но и тут возникнут вопросы. Почему, например, Эндре Ади и Аттила Йожеф представлены каждый лишь тремя стихотворениями, у Младена Исаева вдвое больше стихов, чем у румынского классика Эуджена Жебеляну, а у Андрея Плавки — втрое по сравнению с Матеем Бором... Принцип не ясен. Соответственно не выдержан единый подход и в комментариях. Юлиан Тувим — «один из крупнейших европейских поэтов XX века...», Владислав Броневский — «крупнейший польский революционный поэт XX века...», Витезслав Незвал — «один из наиболее крупных европейских поэтов XX века», а Крлежа, Назор, Жупанчич, Бор, Жебеляну, Аргези, Ади, Йожеф просто — «поэт», «поэт и публицист», «поэт, общественный деятель» и т. д. Более чем вольная классификация.

Все эти претензии ни в коей мере не опровергают главного: том «Поэзия социалистических стран Европы» представляет собой чрезвычайно важный шаг в деле пропаганды передовой, гуманистической литературы народов-братьев. Со страниц объемистой книги, удачно иллюстрированной репродукциями национальных художников — плакат, витраж, масло, графический лист,— встает мир борьбы, надежд, раздумий нового человека, освобожденного от насилия обстоятельств, активного строителя своей судьбы.

Но поскольку в огне второй мировой войны и родились национально патриотические движения, приведшие в конечном счете к победе социализма,—в ряде случаев (творчество поляков Эдварда Шиманского, Кшиштофа Камила Бачинского, хорвата Ивана Горана Ковачича) за исходное взяты годы войны. В другом случае (поэзия Христо Смирненского, Эндре Ади, Кочо Рацина, Эриха Вайнерта, Иржи Волькера) прослежены истоки формирования революционной поэзии в более ранний период.

Поэзия Польши, Венгрии, Болгарии, Югославии, ГДР, Чехословакии и Албании — это особые традиции и особые, неповторимые индивидуальности. В предвоенное время, в условиях буржуазных государств поэзии этих стран отличались большой пестротой направлений, школ, течений. Это отмечал еще Маяковский, посетивший в 20-е годы ряд европейских стран. Нет смысла перечислять здесь те влияния (в основном, западноевропейские), которые сказывались на формировании национальных поэтик стран, в будущем избравших социализм. Однако мы еще не всегда полно представляем себе и довольно мощное воздействие русской поэзии, особенно ее революционное гуманистическое воздействие, начиная с Маяковского, Есенина.

Вспоминаются слова Лацо Новомеского из его речи на Первом съезде советских писателей, что сила и ответственность советской литературы — в ее интернациональном значении, что она волею истории выдвигает международные критерии для современного прогрессивного искусства. Сегодня мы смело можем сказать, что общие международные критерии формируются в лоне социалистического искусства — всеми крупными представителями разных стран. Влияние и роль поэзии этой в мировом культурном процессе — один из ярких феноменов века. Социализм вывел художников на большой путь, поднял не одного из них, выпрямил их творческие судьбы. Угроза «провинциализма» снята была не в Париже, а на родине каждого из них... Дюла Ийеш говорил как-то мне о том, что поэзия для него — неразделимый сплав, в котором думы венгерского крестьянина, парижского интеллигента и русского правдоискателя-писателя сли-

ваются в новой общечеловеческой гармонии — социализма, народности. А Лацо Новомеский (во время нашей последней беседы с ним) утверждал, что Маяковский и Есенин открыли перед искусством поэзии новые горизонты, что поэт русской революции влиял на словаков «не одною формой» («Необычные образы мы знали и из других источников»,— говорил он), а прежде всего тем, что «адекватно высловил Революцию». «Высловил» — удивительно точное, славянское корневое слово — мне запомнилось тогда...

«Высловить» движение революционного идеала — задача непростая, она диктует необходимость богатства поэтических возможностей. Вчитываясь в чужое слово, принявшее русский облик, мы ощущаем глубину решений, философскую оснащенность современной поэзии социализма. В поэзии чеха Константина Библа, поляка Ярослава Ивашкевича, венгра Аттилы Йожефа проявилось общее для революционной (и по существу и по форме выражения) поэзии XX века — стремление к космичности ощущения человека, понимание мира личных переживаний в проекции исторического масштаба больших явлений действительности. Вот эта всеохватность образа современной поэзии, может быть, самое примечательное в искусстве социализма.

Демократизм, народность идеала требуют глубокого знания национальных истоков. Снова вспоминаю слова Ласло Беньямина, видного поэта современной Венгрии, о молодых авторах, которые слепо подражают западным «модерным» образцам, не замечая безверия, скепсиса, тревожно проглядывающего меж строк. «Их культура мнима,— говорил Ласло Беньямин, горько усмехаясь,— их крепости быстро рушатся при любых потрясениях... Не зная своей классики, невозможно идти вперед». Читая стихи этого тома, понимаешь, какая прочная нить связывает нынешние образы с миром представлений, нравственным миром каждого народа, давшего голоса своим поэтам.

И активность. Стремление переделать мир, если он живет по законам недолжного. Как сказано у Тадеуша Ружевича, польского поэта и драматурга, вышедшего из войны с личной трагедией (мученическая смерть близких), пережившего трагедию польского народа, с его освенцимами, павяками, майданеками:

Давайте склоняться над каждым,
нельзя, чтобы люди остались
один на один с одиночеством
и пустотой.

(Перевод Ю. Левитанского)

Словенец Лойзе Кракар, узник фашистских концлагерей, так мечтает о времени когда космические корабли понесут первых пассажиров в иные миры: «Должны мы все, кто в это верит, чаще в служебные стучаться кабинеты, чтоб час отхода выяснив, просунуть контрабандой меж мотков колючей проволоки, пороха, товаров — пшеницы семена, и певчих птиц, и несколько поэтов». И это — программа будущего мира, который станет таким, каким мы его создадим сами. Миром с колючей проволокой, войнами, страхом и ложью или миром хлеба и радости, чистых помыслов и красоты.

Душа этой активной позиции — мироощущение личности, начинающей новую эру истинно человеческих отношений. Сколько бы ни длилась Революция, она вечно юна, ибо исторический ее срок относительно мал. Человечество вступает в социализм в XX веке с тем чувством, с которым румынский поэт Марин Сореску обращается к деревьям, птицам, солнцу:

Я солнцу завязал глаза
ночами,
сказав ему: «Теперь найди попробуй!»

—А, вон ты где,— ответило мне солнце.—
Тебе ни за какой погодой
не укрыться.

— Тебе не скрыться!—
так весь мир сказал мне
и чувства все, которым
пытался я завязывать глаза.

(«Я завязал глаза», перевод Ю. Кожевникова)

Эта открытость миру — оборотная сторона доверия к нему. Вера в солнечность мира, оптимизм исторического взгляда на жизнь — качество поэзии социализма, свойство молодых обществ, смотрящих в будущее, не боящихся его.

Но, может быть, самым примечательным в этой поэзии является ее реалистичность, богатство духовной жизни лирического героя. Поэзия говорит обо всем. Ей ничто не чуждо. Она откровенна, искренна, естественна. Жизнь в противоречиях, проблемы смерти, страдание одинокого сердца, муки неразделенной любви, сознание отрыва от природы, боязнь неведомых перемен в мире, угроза ядерного ада — и эта, темная сторона жизни тревожит художника. Но органичность, полнота искусства — в высоком очищающем и очистительном гимне жизни, который — сквозь кровь и утраты — торжествует надо всем:

Затем, что нет в минувшее пути,
все рухнуло, и не о чем жалеть,
и новым людям в новый день идти
на новый берег и о новом петь.

(Елисавета Багряна, «Мост», перевод М. Алигер)

Выбор сделан. Осознанный, бесповоротный. «Я понял роковую неизбежность счастья... Я тот, кто ощутил бесповоротность счастья» — поэтически формулировал ту же мысль Витезслав Незвал.

В заключение мне хочется привести слова автора предисловия Бориса Слуцкого: «Этот том «Библиотеки всемирной литературы» — итог огромного труда русских поэтов, знамение их дружбы и сотрудничества с поэтами братских стран». Нужно по достоинству оценить этот подвижнический труд многих и многих русских художников слова и подчеркнуть высокий профессионализм и высокую культуру подавляющего большинства переводов.

СРЕДИ КНИГ

«Поэзия социалистических стран Европы» — при всех ее частных просчетах — книга благородная, нужная, своевременная.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Издано за рубежом

ВАЖНЕЙШЕЕ ЗАВОЕВАНИЕ ОКТЯБРЯ — СОЗДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Только что одновременно в Колумбии и Испании вышла книга московского корреспондента колумбийской газеты «Эль эспектадор» Педро Клавихо «Репортажи из Москвы». По просьбе редакции автор рассказал, какие задачи ставил он перед собой, работая над этой книгой.

Больше десяти лет я работаю корреспондентом в СССР и за эти годы встречался с сотнями людей — гостями и туристами,— которые ежедневно сюда приезжают. При этом меня всегда поражал их огромный интерес к Советскому Союзу, его истории, его достижениям, его населению и в то же время изумляло абсолютное незнание того, что же на самом деле представляет собой эта страна. Незнание это чаще всего сочетается с неточной, необъективной информацией или же попросту с информацией в кавычках — с информацией, намеренно извращенной колоссальным аппаратом антисоветской пропаганды, идеологическими врагами социализма, которые появились еще в те времена, когда Страна Советов делала свои первые шаги. Я заметил также, что вопросы об СССР люди задают, как правило, одни и те же, потому что «информация», которую они получают из западных источников, почти всегда сводится к следующему: «Советский Союз — это ад». Может показаться странным, но первую в мире страну социализма не знают не только враги ее социальной системы или люди, относящиеся к ней нейтрально; я убедился, что и некоторые друзья Советского Союза тоже «искажают» советскую действительность, утверждая, что «СССР — это рай».

Ясно, однако, что определение столь значительного процесса, каким является построение социализма, не может ограничиваться подобного рода делением на «рай» или «ад». Поэтому, не претендуя на углубленное исследование, я решил все же попытаться ответить на некоторые вопросы, вызывающие, на мой взгляд, наибольший интерес у широкого читателя, другими словами — простого человека, которого я назвал бы «человеком с улицы». А так как я журналист и люблю свою профессию, я делаю это всеми доступными мне средствами: с помощью интервью, рассказа, репортажа.

С другой стороны, мысль написать книгу о Советском Союзе давно не давала мне покоя — ведь то, что происходит в этой стране сейчас, и то, что озаряет ее будущее, выражаясь словами одного писателя, можно определить как воистину «величайшее явление нашего века». Именно поэтому Советский Союз, первое социалистическое государство в истории человечества, и пробуждает самые большие надежды и наибольший интерес у людей всего мира.

Сегодня СССР, страна, обладающая огромным индустриальным потенциалом, поддерживает торговые и культурные отношения более чем со ста двадцатью государствами. Видные правительственные деятели, коммерсанты, представители культуры приезжают в Советский Союз, чтобы беседовать с руководящими лицами, заключать договоры о сотрудничестве, торговые и культурные соглашения, соглашения о взаимопомощи, а также, конечно, и для того, чтобы познакомиться со страной.

Не случайно растет год от года сюда приток туристов. А когда советские артисты выезжают в зарубежные турне, самые большие театры и концертные залы бывают переполнены, а за билетами выстраиваются огромные очереди желающих познакомиться с советским искусством наших дней. Не случайно также и то, что на международных выставках и ярмарках советские павильоны принадлежат обычно к числу наиболее посещаемых. Теперь нас не так уж изумляют известия о достижениях советской науки и техники, потому что мы к ним привыкли. Современному человеку сегодня уже мало знать только о научных или культурных успехах страны — людей интересует, как живет гражданин этой страны, такой далекий и такой загадочный, что он думает, каков он в повседневной жизни.

Сейчас Советский Союз не просто страна, которую признали и ее друзья, и ее идеологические враги,— большинство государств поняло, что и сотрудничество с ней выгодно и плодотворно. Каждый успех СССР отмечается все большим кругом людей, которые стараются понять и его трудности. Разумеется, кто-то относится к Стране Советов с восхищением, кто-то — с предубеждением но есть нечто общее, что всех интересует и всех привлекает. Поэтому рассказ о Советском Союзе, объективное изображение СССР и его народа является, на мой взгляд, обязанностью журналиста, если ему выпала удача прожить несколько лет в столь интересной стране, ибо СССР — это не только «целый континент», но и огромная стройка.

Во всех трех главах моей книги главный герой — это советский человек. Не знаю, удалось ли мне достичь своей цели, но я стремился создать реальный образ СССР, в первую очередь всесторонне показав советского человека.

В первой главе под названием «Встреча с

советскими людьми» я старался показать человека Страны Советов во всем его величии и простоте — таким, каким видит его корреспондент, который живет с ним бок о бок и вникает в его жизнь, в его успехи и проблемы. Цель второй главы — «Страна, которую я открыл» — заключалась в том, чтобы отразить великие свершения, титанический труд по созданию нового общества и результаты этого труда, привлекающие взоры всего мира; я рассказал здесь о событиях, навсегда вошедших в историю человечества, и главным героем их является все тот же советский человек. И, наконец, в третьей главе, называющейся «СССР глазами латиноамериканцев», я обнародовал суждения тех выдающихся людей, которые, даже не будучи сторонниками победившего в СССР социального строя, объективно говорят о том, что они увидели, о советском человеке и о стране, которую он построил своими руками; и все они придают огромное значение отношениям Запада с Советским Союзом и его народом.

Повседневный контакт с гражданами Советской страны, исследование ее действительности и будней показали, что понять происходящее в Советском Союзе можно, лишь взглянув на социалистический мир сквозь ясную, ничем не замутненную призму, и анализировать этот феномен нужно, исходя из совсем других ценностей и мер, чем те, к которым мы прибегаем, анализируя происходящее в странах капитализма. Ведь практически Советский Союз, несмотря на свою короткую жизнь — всего 60 лет, несмотря на войны, которые ему пришлось пережить, создал не только государство нового типа, превратив день сегодняшний в день огромных возможностей для всех народов на Земле, но он создал и тип нового гражданина, советского человека, которому присущ только ему свойственный подход к жизни, человека со своей, тоже особенной, личной жизнью и высокой степенью культуры.

Тех, кто приезжает в Советский Союз, поражает огромное количество читающих. Страну по праву можно назвать «самой читающей страной в мире». Когда несколько лет назад поэт Евтушенко побывал в Колумбии, я увидел, как впервые собрались тысячи и тысячи юношей и девушек, чтобы слушать поэзию, а здесь, в Советском Союзе, это обычный факт — любой зал, театр или стадион всегда бывает полон, люди приходят, чтобы встретиться с поэтом. А разве не есть это проявление свободы слова, когда литературные произведения доступны не узкому кругу элиты, а миллионам? И поскольку я считаю, что величайшее достижение социализма в СССР — это создание нового человека, обладающего особыми моральными и духовными ценностями, я полагаю, что именно постоянное присутствие советского человека в моей книге помогает мне дать читателю реальное и объективное представление о такой стране, как СССР. Свою книгу я посвятил Советскому Человеку с большой буквы.

Обобщения такого рода могут показаться рискованными, но я иду на этот риск, ибо, хотя на обширной территории СССР живут разные народы, в стране царят гармония и единство, что обеспечивает поддержку, которую оказывает подавляющее большинство социально-политической и экономической системе, основанной на социалистической собственности на средства производства.

Народы, населяющие СССР, обладают различными культурами, и возрасты их тоже различны, но историю их можно совершенно отчетливо разделить на два этапа: на дореволюционный и послереволюционный, который открыл им путь к социализму и коммунизму. И я хочу подчеркнуть, что поворотным пунктом для этой огромной человеческой массы — почти для 260 миллионов людей — была социалистическая революция в Октябре 1917 года, руководимая таким гениальным человеком, как Ленин. Тот, кто имеет возможность близко познакомиться с историей Революции, оказавшей определяющее влияние на судьбу человека, и жить вместе с народом, который сделал возможной эту Революцию, не может остаться равнодушным ни к ее свершениям, ни тем более к ее созидателям- творцам и последователям.

Положа руку на сердце, я должен признаться, что у человека, намеревающегося правдиво писать об СССР, возникает лишь одна проблема — проблема выбора тем в колоссальном обилии материала. Работая над книгой, я пытался охватить все аспекты жизни в СССР и все важнейшие события последних лет, пусть это задача практически и невыполнимая. Мне хотелось показать читателю, насколько интенсивна жизнь в этой стране — жизнь экономическая, политическая и культурная. Я стремился представить советского гражданина наших дней таким, каким я вижу его, глядя на него глазами иностранца, который понял: перед ним иной мир, мир, как я уже сказал, с иными ценностями и другим подходом к жизни.

Я чистосердечно признаюсь своим читателям, что не считаю это общество абсолютно безупречным, а его членов—идеальными существами, но его проблемы весьма отличны от тех, что ежедневно встают на Западе; здесь нет кризисов, инфляции, безработицы, застоев, проституции, насилия, и, цитируя писателя и дипломата Хорхе Икасу, интервью с которым я включил в последнюю главу, разница заключается еще и в том, что в этой стране стремятся найти решения для проблем и действительно их находят. Но решаются они не в интересах определенной социальной группы людей, а в интересах широких масс.

Я искренне предупреждаю читателей, что, хотя и не являюсь членом ни одной из коммунистических партий, я не стараюсь изображать из себя нейтрального наблюдателя советской действительности. Я слиш-

ком глубоко уважаю читателя и страну, о которой пишу, чтобы пользоваться подобного рода журналистскими трюками. Уже много лет прошло с тех пор, как я перестал верить в то, что журналисты могут быть дипломатическими «гермафродитами». Прежде всего я стремлюсь быть объективным и изображать действительность такой, какой я ее вижу.

Разумеется, возникает и другой вопрос, который я и сам себе не раз задавал: можно ли писать объективно для «большой» прессы? Этот вопрос мне задавали многие советские коллеги, и не очень-то легко ответить на него в двух словах. Но я могу заверить вас, что бóльшая часть книги «Репортажи из Москвы» — репортажи, рассказы и статьи, уже опубликованные более чем в двадцати латиноамериканских газетах и журналах. Их публикуют, потому что в XX веке уже невозможно показывать только одну сторону медали, и главным образом потому, что международный престиж СССР растет день ото дня, и газеты, как бы они того ни хотели, уже не могут замалчивать правду об Октябрьской революции и сегодняшнем дне Советской страны.

Огромное удовлетворение — как моим издателям, так и мне — доставляет тот факт, что эта работа вышла в Латинской Америке и в Испании именно в юбилейный год — в год 60-летия Октябрьской революции и ее тираж — 40 000 экземпляров (неслыханная цифра для Латинской Америки и ее издательских традиций). Мне бы хотелось, чтобы моя книга послужила скромным вкладом в дело укрепления взаимопонимания между нашими народами. Издание моих «Репортажей» свидетельствует о том, как высок интерес латиноамериканцев и испанцев к социализму. И надо сказать, интерес этот возрастает с каждым днем. Поэтому на ближайшее будущее я планирую и другие работы: о Москве, столице социализма и городе будущей Олимпиады; об отношениях между Советским Союзом и Латинской Америкой; и еще одну книгу, которую я назову «Жить в СССР».

ПЕДРО КЛАВИХО

РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РУМЫНИИ

АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

О распространении русской литературы в Румынии и о своей работе над недавно вышедшей книгой, посвященной Толстому и Достоевскому, рассказывает видный румынский критик и эстетик Ион Яноши.

Вот уже больше столетия румынские художники слова ведут активный диалог с лучшими творениями русских классиков. Значительно расширился и углубился этот диалог после обращения к литературам советских народов. И не только потому, что страны наши живут в добрососедских отношениях и их очень многое связывает и роднит. Главное — в тех совершенно исключительных художественных ценностях, благодаря которым многие русские писатели — и более давних, и более близких времен — заслужили всеобщую любовь далеко за пределами своей родины.

Вряд ли найдется хоть один значительный румынский поэт, прозаик или критик прошлóго и настоящего, который бы не знал творений русских писателей, не пробовал бы свои силы в их переводе и не посвятил бы им подробного и проницательного исследования. И я не могу не вспомнить, какой моральной и духовной опорой служили для прогрессивных сил моей страны — в пору моего детства и отрочества — произведения советской революционной литературы, публиковавшиеся в те годы левыми антифашистскими издательствами и журналами.

В прошедшие после 23 августа 1944 года три десятилетия — в условиях и под влиянием новой социалистической действительности — знакомство с русской и советской литературой стало еще шире и глубже. Нет возможности перечислить все переведенные у нас произведения этой богатейшей литературы. В настоящее время у нас имеются многотомные издания сочинений русских и советских классиков и посвященная им обширная критика.

Позволю себе вкратце остановиться на своей работе по исследованию и ознакомлению наших читателей с русской литературой, которой я занимаюсь наравне с научной и преподавательской деятельностью в области марксистско-ленинской эстетики. Эта «линия» моих интересов нашла впервые конкретное воплощение в книге «Монументальный роман XX века» (1963), посвященной романам-эпопеям «Война и мир», «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», затем в монографии «Достоевский» (1968) — исследовании нравственно-философских исканий в романах Ф. М. Достоевского и тех произведений западноевропейской литературы нашего столетия, в которых они нашли верное или неверное отражение. В книге-эссе «Роман одного города (Петербург—Петроград—Ленинград)», (1972) я попытался воспроизвести духовный облик города на Неве сквозь призму замечательной поэзии и прозы, которая была ему посвящена, в том числе и произведений опубликованных после девятисотдневной героической обороны в период блокады. А в изданном недавно эссе «Рассказ с двумя неизвестными: Достоевский и Толстой» (1977) я стремился проанализировать сложные отношения между двумя гигантами русской литературы, хотя они так никогда и не встретились друг с другом.

Только что вышедшая книга обычно автору дороже всего. По крайней мере, пока

его не увлекла новая работа. Однако тема последней книги волновала меня в течение долгих лет. Я уже упоминал монографию, посвященную творчеству Ф. М. Достоевского. Затем немалый срок заняла подготовка собрания сочинений писателя, работа над послесловием и примечаниями к девяти томам обширного издания произведений Достоевского, выходившего с 1966 по 1974 год. Сразу после этого началась работа над двухтомным изданием «Дневника» Л. Н. Толстого, переведенного на румынский язык моей женой Жаниной Яноши и снабженного моим предисловием, примечаниями и комментариями (1975 и 1976 годы). Потрудиться нам пришлось как следует, но усилия не пропали даром: два прекрасно изданных тома «Дневника», содержащие наиболее важные его страницы, разошлись в короткий срок.

Но все эти годы я не переставал подспудно готовиться к моей самой любимой теме, своему эссе, я намеревался, в сущности, попытаться создать первое — пусть пока «несерьезное» — обобщение моих десятилетних размышлений о Достоевском и Толстом. Когда-нибудь, пожалуй, я отважусь предложить читателям и более обоснованное исследование и теоретическое обобщение этой громадной темы, которая занимала и впредь будет занимать стольких моих собратьев по перу. Но пока об этом говорить рано. Пока же мое «несерьезное» исследование облечено в форму так называемого «рассказа» (как подчеркнуто и в заглавии книги), рассказа, насыщенного многочисленными документальными, репортерскими элементами. Мне хотелось найти объяснение того, почему Толстой и Достоевский так и не встретились ни разу в жизни, несмотря на усилия разных посредников. Меня интересовала диалектика тех сложных чувств, которые они испытывали друг к другу и выражали в письмах, заметках, статьях, свидетельствующих о непрекращающемся споре между ними. И наконец, в этом «рассказе» я попытался затронуть саму структуру произведений двух писателей, чтобы выявить сущность не только тех сложных совпадений, связей, которые обнаруживаются между персонажами или сценами одного и того же писателя, но и между идейными и художественными позициями двух художников — одновременно сходными и различными, в соответствии с жизненной доминантой каждого из них, и вместе с тем представляющими порой удивительные ответы на вопросы другого. Разумеется, потребовался длительный и тщательный сбор материалов, в том числе в советских библиотеках, чтобы как можно более убедительно обосновать этот реальный и вместе с тем фантастический «рассказ». Но главное мне хотелось (как и при работе над книгой о Петербурге—Петрограде—Ленинграде) сочетать научный подход с увлекательным повествованием, чтобы приобщить читателя к живому дыханию бессмертной литературы. Насколько это удалось — судить ему, читателю.

А теперь, отвлекаясь от сегодняшней и будущей работы, нужно подчеркнуть то главное, что дает мне и, я полагаю, многим другим изучение русской классической литературы. При знакомстве с русской литературой обнаруживаешь ее необычайную силу обобщения и всестороннего охвата явлений жизни. Русская литература не приемлет сегментов, изолированных явлений, отрыва сознания от реальной действительности, личной судьбы от исторической, эстетических ценностей от политических, нравственных, философских. Способность слить в чудесном сплаве все то, что в иных условиях оказалось бы распыленным на части, кажется мне одним из великих — если не самым великим — заветов русской литературы, этого искусства великих вопросов и мучительных поисков, пронизанного дыханием истории, вновь и вновь утверждающего свои высокие художественные достоинства именно в силу своих неустанных нравственных и философских исканий. Вопрос «Что делать?» остается центральным для этой литературы, занятой прежде всего судьбой человека. Конечно, в каждую эпоху, на каждом этапе развития любой страны возникают новые проблемы всеобщего значения, требующие художественного освещения. И литература социалистическая, успешно развивающая лучшие традиции литературы классической, делает все, чтобы приобщить нас к тем проблемам, что волнуют ныне человека, нацию, человечество.

Я уже подчеркивал, что румынских писателей давно привлекали сокровища русской литературы. Несомненно, что их сердцу был необычайно близок и созвучен тот специфический гуманистический пафос, который пронизывал наиболее яркие достижения этой литературы, необычайная способность воплощения и художественного выражения этого могучего пафоса. Так возникла духовная общность — и в равной мере ей содействует все более глубокое знакомство не только русских писателей и читателей, но и представителей других советских народов с румынской культурой и литературой.

ИОН ЯНОШИ

МАССОВЫМ ТИРАЖОМ

О публикации произведений советской литературы в Румынии рассказывает директор бухарестского издательства «Универс» профессор Ромул Мунтяну.

Часто говорят, что истина познается в сравнении. Чтобы оценить, насколько широко знаком современный румынский читатель с советской литературой, нужно сравнить нынешнее положение с тем, что существовало в период «между двумя войнами». В те годы в Румынии были известны и пе-

реведены лишь произведения крупнейших русских писателей, таких, как Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь. Своеобразным исключением были вызвавшие огромный интерес в 30-е годы стихи Есенина, чему способствовали, несомненно, прекрасные переводы Захарии Станку и Джордже Лесни. О других же советских писателях широкая публика знала сравнительно мало.

До 1944 года советскую литературу нашему читателю открывали преимущественно журналы, издаваемые Коммунистической партией Румынии, а также прогрессивно настроенные писатели и журналисты. Однако журналы и газеты коммунистической ориентации преследовались цензурой, выходили они нерегулярно, поэтому публиковать романы и повести не могли, но в статьях, эссе и рецензиях информировали о новых замечательных произведениях советской литературы.

После 23 августа 1944-го в Румынии проснулся огромный интерес к советской литературе — ее начали интенсивно переводить и издавать массовыми тиражами. На первых порах внимание было приковано к классическим произведениям — таким, как «Тихий Дон», «Мать», «Хождение по мукам», большой интерес вызывали также романы Леонида Леонова, Константина Федина, Валентина Катаева, Ильи Эренбурга, Мариэтты Шагинян и других. Книги их раскупались молниеносно, им посвящались статьи, отзывы в журналах и газетах. О многом говорит, например, тот факт, что сочинения Горького были изданы у нас в 29-ти, а сочинения Федина — в 6-ти томах.

Благодаря этому первому «валу» в культурный обиход наших читателей вошли лучшие образцы советской литературы, что подготовило и облегчило дальнейшее, все более широкое распространение советской литературы. В наши дни возрос интерес к новым именам прозаиков, поэтов, драматургов, вошедших в литературу уже в 70-е годы. Владимир Маяковский по-прежнему остается немеркнущей звездой советской поэзии, и к его стихам постоянно возвращаются и наши писатели, и переводчики, но одновременно большим успехом пользуются и поэты, заявившие о себе в конце 50-х — начале 60-х годов: Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, обновившие технику стиха, поэтическое видение и поэтический язык.

И в области прозы отмечается расширение горизонта и открытие новых географических зон. Румынский читатель обогатил свою культуру и художественный вкус, познакомившись с представителями различных национальных литератур. Ныне в Румынии хорошо знают и любят и повести Валентина Распутина, и стихи Эдуардаса Межелайтиса, повести Василя Быкова и прозу Лили Промет. Это открытие различных советских национальных литератур обещает внести и много ценного в нашу переводческую культуру.

В 20-е годы один из наших передовых журналов, говоря о значении советской литературы для румынского читателя, обращал внимание на образы новых героев, созданные в романах Эренбурга, Катаева, Шолохова, и определял эти произведения как «литературу о демиургах, о людях, взявшихся за построение нового мира». Из этих слов ясно, какое значение даже в ту пору придавалось у нас советской литературе. О том, насколько прочно вошли сегодня лучшие произведения советских писателей в сознание румынского читателя, говорит успех, которым они пользуются, интерес, с которым они читаются, обсуждаются критикой. Оживленные споры и дискуссии вызвали, например, в печати произведения Г. Маркова, В. Распутина, Ф. Абрамова.

Чем объясняется столь живой интерес к сегодняшней советской литературе?

Главную причину, на наш взгляд, следует искать в том, как советские писатели раскрывают духовный мир человека и как разрешают они соотношение «личность — общество». Герой современных произведений раскрывается и утверждается не только в процессе труда, но и в самых различных планах: в любви, семейной жизни, общественной деятельности, творчестве. В произведениях многих авторов привлекает искренность, с которой рассказывают они о характере и судьбе советского человека,— идет ли речь о каких-то существенных проблемах жизни или о глубоких и сложных душевных переживаниях. Интеллектуальный мир советского писателя, его гражданская ответственность определяются не только пафосом утверждающим, с которым он отвечает на главнейшие требования современности, но и силой его отрицания того, что уже устарело и не соответствует структуре нашего общества. Советская литература, и в первую очередь советский роман, привлекает также богатством художественных приемов и психологической глубиной.

Особо следует подчеркнуть все возрастающий интерес румынской публики к советским литературоведческим и критическим работам. Много лет тому назад была переведена на румынский язык «Теория литературы» Л. И. Тимофеева. В последнее время наше внимание привлекают работы М. Бахтина, его монографии о Рабле и Достоевском, которые открывают новые, еще неизведанные пути в анализе и прочтении текстов. Издательство обратилось и к книгам, появившимся несколько десятилетий тому назад и прошедшим испытание временем. К таким книгам относится недавно изданная у нас «Теория прозы» В. Шкловского. Следует также отметить «Психологию искусства» Л. Выготского, заполнившую чувствительный пробел в истории современной критической мысли.

В ближайшее время мы собираемся издавать «Берег» Бондарева, «Живи и помни» Распутина, рассказы Шукшина, «Три минуты молчания» Владимова, «Прошлым летом

в Чулимске» Вампилова и многие другие произведения советской литературы, знакомство с которыми обогатит наших читателей.

РОМУЛ МУНТЯНУ

УЧИТЬСЯ У ГОРЬКОГО

Творческие процессы, происходящие во всякой большой литературе, как правило, непосредственно связаны с таким понятием, как вера. Точнее, любая подлинная литература — это литература веры. Вопрос только в том, какой веры. Ведь многие писатели посвятили жизнь поискам ответа на вопрос «во что верить?», и среди них немало таких, которые искали напрасно. И хотя уже сам поиск представляет определенную ценность, только обретение конкретного ответа на этот вопрос дает возможность писателю сообщать и убеждать, так как литература отчасти похожа на театральное представление: чтобы актер хорошо исполнил свою роль, он должен верить в нее, найти в ней те черты, которые придадут его игре убедительность. Тот, кто не верит, не способен убедить, как не может слепой работать в лаборатории, где хранятся колбы. Поэтому можно сказать, что писатель является таковым, каков он есть, в меру того, насколько ему повезло найти нечто, условно называемое верой. Еще Томас Манн говорил, что все писатели больны педагогикой («Волшебная гора»), они должны уметь сказать, как они думают, зная наперед, что их мысли, дойдя до читателя, станут всеобщим достоянием.

Однако если писатель еще не писатель, а только стремится им стать, ему важно обрести свою, выстраданную им истину. Такое открытие может произойти как в самом начале пути, так и в конце его. Это зависит от мировоззрения каждого. И одни достигают своей цели, а другие нет. Поэтому есть Герман Гессе с его любовью, пережитой в подростковом возрасте, есть Стефан Георге со своим Максимином, Хуан Рамон Хименес со своим «желанным и желающим богом», Гарсиа Лорка, который в смерти («Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу») увидел ту глубину, которая придает смысл всему произведению. Но есть и Максим Горький, который в трудящемся человеке увидел большую силу.

В пьесе «На дне» (1902) меня особенно привлекают такие слова Сатина: «Человек может верить и не верить... Это его дело!» Затем: «Человек свободен...» Если присмотреться, мы заметим, что союз *и* не отрицает факта, что человек верит. Может верить и не верить (сейчас или позднее), но вера *всегда* присутствует. Другое дело, если бы вместо *и* стоял разделительный союз *или*: может верить или не верить. Этот союз опаснее, так как заставляет выбирать, то есть или полностью верить, или совсем не заботиться о вере.

Я не напрасно привел этот пример, так как Горький последнего десятилетия прошлого века уже осознал свою истину. Уже в первых произведениях он начал ее поиски. Это был период, когда в его рассказах, наполненных символикой, чудеса смешивались с повседневностью. Его первые персонажи, свободные, не подчиняющиеся общественным нормам и часто стоящие вне общества, позднее исчезнут и уступят место трудящемуся человеку. Не случайно в «Старухе Изергиль» один осторожный человек, боясь чего-то, наступил на гордое сердце Данко ногой... По-видимому, и самому Горькому эти символы не казались уже тогда до конца убедительными. Правда Горького не могла замкнуться в романтизме. Надо было настойчиво, может быть даже отчаянно, искать.

Горькому посчастливилось быть свидетелем революционного движения в России начала века. Это и вывело его на ту дорогу, на которой ему удалось найти искомое. Жизнь самого Горького является наглядным примером: он ходил пешком по дорогам России, работал, хорошо знал ту среду, в которой жил. Он искал. Это было неспокойное время, которое закончилось революцией 1905 года. В 1902 году наш странствующий и неутомимый искатель уже написал пьесу «Мещане» и, после первомайских демонстраций в Сормове, задумал написать «Мать». С тех пор он живет только этой, им самим обретенной, верой: его «желанный и желающий бог» был здесь, на земле, и страдал от страшной несправедливости царизма. И мир символов, который Горький создал, когда его истина еще не определилась, уступил место миру трудящегося народа, вере в то, что «для лучшего люди-то живут, милачок!», и что за это надо бороться. и мало одного лишь горящего сердца, которое освещает дорогу в ночи, а нужны руки и оружие, и бороться должен человек могущественный, способный все изменить. Революционная вера Горького не только открыла дорогу литературе, которая стала литературой рабочих и для рабочих, но и самого Горького поставила в один ряд с теми писателями, которые прошли свой путь и нашли на нем то, что искали.

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ПАМЯТИ РОБЕРТА ТРЕССЕЛА

Автор романа «Филантропы в рваных штанах», который прогрессивная критика Великобритании считает «первым английским произведением о рабочем классе», Роберт Нунен известен читателям под псевдонимом Роберта Трессела.

Долгое время не было известно, где похоронен Роберт Трессел, умерший в 1911 году от туберкулеза. В 1973 году ливерпульские тред-юнионы создали группу для поисков могилы писателя. Работу возглавил Фред Болл, автор книг, посвященных жизни и творчеству Роберта Трессела. Поиски продолжались четыре года. Было поднято множество архивных материалов, опрошены люди, знавшие писателя. В результате было установлено, что Роберт Трессел похоронен на ливерпульском кладбище, предназначенном для бедняков.

На церемонии открытия мемориальной доски на могиле Роберта Трессела присутствовали многие представители общественности и профсоюзных организаций, собравшиеся из разных городов страны. Среди участников церемонии были восьмидесятичетырехлетняя дочь писателя Кэтлин Смит и его внук Джордж Смит, работающие в профсоюзах Ливерпуля.

Обозреватель журнала «Букселлер» сообщает, что ливерпульские тред-юнионы выделили на сооружение памятника большую сумму денег.

ЮБИЛЕЙ КОРИФЕЯ ШОТЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

11 августа 1977 года исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося шотландского поэта и писателя Кристофера Мюррея Грива, который известен читателям под псевдонимом Хью Макдиармид. Как сообщает газета «Морнинг стар», в этот день в Эдинбурге состоялось торжественное собрание, на котором выступили друзья и почитатели таланта Макдиармида.

Первый успех поэту принесло стихотворение «Пьяный смотрит на чертополох», появившееся сразу после всеобщей забастовки 1926 года. Оно не просто рассказывало о событиях тех дней, а призывало к революционным переменам.

30-е годы были очень плодотворны для поэта. В это время он пишет такие яркие произведения, как три «Гимна Ленину», «Платье без швов» и многие другие.

Жизнь Макдиармида не была легкой. Но даже в самые тяжелые, голодные дни он продолжал делать все, чтобы возродить своим творчеством веру в возможности шотландской литературы.

Нельзя недооценивать и его журналистскую работу, всегда помогавшую ему быть в курсе политических событий и не терять «литературную форму».

Общественная деятельность Макдиармида заслуживает особого внимания. Он не раз избирался в парламент Шотландии, где представлял коммунистическую партию.

БОЛГАРИЯ

«ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ»

«Мое детство и юность совпали с первыми годами советской власти — наиболее трудным периодом в построении социалистического государства»,— пишет на страницах «Работническо дело» известный болгарский писатель Павел Вежинов в статье «Источник надежды».

Болгарский народ, находившийся под гнетом царизма, видел в своих русских братьях пример, «надежду на спасение». Успехи Великой Октябрьской социалистической революции помогали борьбе болгарских трудящихся за свое освобождение.

Большое влияние на развитие революционного движения в стране, на формирование целого поколения болгарских писателей оказали советская литература и искусство.

В болгарской литературе не один крупный мастер слова формировался под влиянием русских и советских писателей. «Мы учились у Чехова и Блока, у Серафимовича и Демьяна Бедного, у Толстого и Шолохова,— вспоминает П. Вежинов.— В те годы советская литература была для нас главной надеждой, светом, озаряющим путь к будущему».

И советским и болгарским читателям хорошо известно, каким трудным был путь советской литературы в царскую Болгарию. Ей приходилось пробиваться сквозь полицейские и цензурные заслоны. И все-таки книги молодых советских писателей проникали в страну, оказывая все большее революционизирующее влияние на массы. «Судьба уготовила нашему литературному поколению полулегальное, а порой и нелегальное положение,— отмечает П. Вежинов.— У нас не было, или почти не было, своих литературных газет и журналов. Двери всех известных издательств были для нас плотно закрыты. Не имея другого выхода, мы собирались на конспиративных квартирах, спорили и спорили до бесконечности. Не подумайте, что мы дискутировали о собственных книгах. На наших боевых знаменах было написано другое: на одних — «Разгром» А. Фадеева (его мы буквально зачитывали до дыр), на других — «День второй» И. Эренбурга. Не все тогда понимали, что это было по существу одно знамя, которое вело нас к одной цели — формированию нового коммунистического сознания». Особенно много, по словам П. Вежинова, спорили тогда о романах М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, продолжает П. Вежинов, «мы верили, что сталь, закаленная Островским, непробиваема для самых мощных бронебойных снарядов. Мы знали, что нельзя сломить дух Чапаева и Левинсона. Мы верили, что «железный поток» советских людей не только сохранит свои неиссякаемые силы, но и создаст в самый короткий срок то, что уже однажды сумел создать,— стальной щит Родины».

ВЕНГРИЯ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

В Венгрии, в издательстве «Кошут», вышел библиографический указатель «Литература о Великой Октябрьской социалистической революции на венгерском языке».

«В настоящий указатель,— говорится в предисловии от редакции,— включены сведения о произведениях самых различных жанров: в него входят и библиография партийных документов, и исторические материалы, статьи, выступления, художественная литература, альбомы, диафильмы и другие издания, отражающие события Октября 1917 года».

Первая глава «Произведения о Великой Октябрьской социалистической революции» содержит перечень ранее изданных подобного рода указателей и справочников, библиографию речей и произведений В. И. Ленина, с которыми он выступал и которые написал в период с марта 1917 года по октябрь 1919-го, от его «Писем из далека» до статьи «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата».

Интересен раздел указателя, включающий произведения, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина, а также воспоминания о нем. Здесь представлены имена как советских общественных деятелей и писателей — Крупской, Бонч-Бруевича, Луначарского, Драбкиной, Шагинян, так и зарубежных и венгерских — К. Цеткин, А. Барбюса, Р. Роллана, Г. Уэллса, Д. Лукача, Ш. Дёрфи.

В разделе «Статьи» отражены работы венгерских деятелей рабочего движения, посвященные различным аспектам деятельности В. И. Ленина, например, работа Яноша Кадара «Влияние ленинских идей и их претворение в жизнь в Венгрии».

Много любопытных материалов помещено в разделах «Интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции» и «Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на международное рабочее движение».

Вторая глава «Великая Октябрьская социалистическая революция в художественных произведениях» содержит в основном сведения об изданных на венгерском языке произведениях советских писателей на эту тему.

В третьей, заключительной главе отражены документы партийных съездов, выступления государственных деятелей, работы по теории государства, политике, экономике, культуре, материалы о венгеро-советской дружбе, приводится также приветствие Л. И. Брежнева рабочим Чепельского металлургического комбината, выступившим инициаторами соревнования в честь Великого Октября.

Одним из значительных событий, связанных с празднованием 100-летнего юбилея со дня рождения венгерского поэта и революционера Эндре Ади, отмечается на страницах журнала «Уй тюкор», является открытие музея-квартиры Ади в доме по улице Вереш Палне в Будапеште, где поэт прожил последние годы жизни. На доме открыта также мемориальная доска с барельефом Ади работы известного венгерского скульптора, лауреата Государственной премии Кошута Имре Варги.
На снимке: мемориальная доска на доме, где теперь находится музей-квартира Эндре Ади.

ГДР

ПО РАССКАЗУ АННЫ ЗЕГЕРС

Новый телевизионный фильм «Ёзя — дочь делегатки» — совместная работа телевидения Германской Демократической Республики и Польши. В основе фильма — рассказ Анны Зегерс «Дочь делегатки».

«Сценарист Фридхольд Бауер и режиссер Войцех Фивек удачно передали на телевизионном экране историю, которую рассказала Анна Зегерс,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Они сумели правдиво воссоздать атмосферу польского города Лодзи 1929 года, время репрессий и преследований коммунистов и профсоюзных деятелей режимом Пилсудского».

Как и в рассказе, в центре фильма — девочка Ёзя, мать которой на десять дней уезжает на профсоюзный съезд в Москву. Десять дней Ёзя живет одна, со спущенными шторами, не показываясь на улице: ни один человек не должен догадаться, что она дома, чтобы не была раскрыта тайна нелегальной поездки матери. Мужественная девочка выдерживает это испытание, зная, что таким образом помогает матери и ее друзьям. Ситуация эта особенно трудна для Ёзи, потому что она всегда боялась оставаться одна, и теперь ее постоянно преследует чувство страха. Чтобы немного отвлечься, девочка рисует, в рисунках она как бы прослеживает путь матери и приближает ее возвращение.

«Это очень поэтичный фильм, он глубоко трогает»,— отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Содружество немецкого и польского телевидения было очень плодотворным — на экране появился новый хороший телевизионный фильм»,— пишет еженедельник «Зоннтаг».

На снимке: Дитер Манн в роли Бруно Каппеля в фильме «Пожарища».

(Газета «Унзере цайт»)

ФРГ

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ДЕГЕНХАРДТА

На киностудии ДЕФА начались съемки кинофильма «Пожарища» по одноименному роману западногерманского писателя Франца Йозефа Дегенхардта. Советским читателям Франц Йозеф Дегенхардт известен как автор романа «Бикфордов шнур», публиковавшегося в «ИЛ» (№ 1, 2 за 1976 г.).

Маленький палаточный городок в окрестностях Берлина, где-то между Кёнигсвустерхаузеном и Люббеном, расцветили многочисленные плакаты: «Природа, а не НАТО», «Спасем Малую Швецию». Это необходимый фон, помогающий воссоздать атмосферу, в которой разыгрывается действие романа Дегенхардта. Малая Швеция — уголок нетронутой природы, излюбленное место отдыха жителей расположенных по соседству крупных промышленных центров. Власти ФРГ планируют превратить эту местность в полигон для очередных учений НАТО. Против этого решения поднимаются на борьбу люди разных убеждений.

На снимке: режиссер Войцех Фивек во время съемок с исполнителями ролей Ёзи (Моника Альвазиак) и Янека (Радослав Аркучинский).

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Рассказывает исполнитель главной роли Дитер Манн: «В фильме мы пытались раскрыть сложность и неоднородность того движения, которое в ФРГ называют «левым», показать абсурдность анархистских террористических акций». Герой Дитера Манна, гамбургский адвокат Бруно Кашель, проходит долгий путь идейных исканий, которые приводят его к лучшему пониманию расстановки классовых сил.

Автор сценария и режиссер — Герхард Бенгш. В свое время он инсценировал произведения Гюнтера Вальрафа и Макса фон дер Грюна для телевидения ГДР. Бенгш так говорит о задачах фильма: «Мы должны помогать зрителю знакомиться с творчеством прогрессивных писателей ФРГ, поскольку у себя в стране эти авторы лишены возможности использовать средства массовой информации. Если же это и оказывается возможным, то платить за это приходится изменением, даже искажением смысла текста. Дегенхардт был вынужден отказать одной западногерманской кинокомпании в праве на экранизацию фильма именно потому, что там хотели сгладить политический смысл романа». Герхард Бенгш подчеркнул, что в романе Дегенхардта его привлекла прежде всего политическая направленность книги, утверждение необходимости единства всех прогрессивных сил в их борьбе, необходимости союза с рабочим классом.

Музыку к фильму написал композитор Петер Готтхард. Зрители услышат также песни в исполнении известного западногерманского поэта-песенника Дитера Зюверкрюпа.

ИТАЛИЯ

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ РОССЕЛЛИНИ

Роберто Росселлини ушел из жизни, не завершив своего последнего замысла — фильма, посвященного Карлу Марксу. «Работать для человечества» — этот девиз Карл Маркс запомнил с детства»,— писал Росселлини в своем предисловии к сценарию фильма. Этот девиз стал заглавием будущей кинокартины. Сценарий написан Росселлини совместно с Сильвией Д'Амико Бендико и Рафаэлем Гузманом. Он охватывает 14 лет жизни и борьбы основоположника научного коммунизма — с 1835 года, года поступления Маркса в университет, по 1848 год, когда он, уже создав совместно с Ф. Энгельсом «Манифест Коммунистической партии», был выслан из Бельгии.

Фильм «Работать для человечества» должен был создаваться совместно с французскими кинематографистами. «Впрочем, можно ли сказать «должен был»?» — спрашивает корреспондент газеты «Паэзе сера». Студия Гомон решила реализовать замысел Росселлини и привлечь для этого его самых достойных учеников.

На снимке: Роберто Росселлини на съемках.

(Газета «Паэзе сера»)

КУБА

РЕХИНО ПЕДРОСО — ПЕРВЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ СТРАНЫ

«Говорить о поэтическом творчестве Рехино Педросо — значит говорить о его собственной жизни. Это целая вселенная страстей и самопожертвований, в которой поэту всегда виделось будущее, ставшее сегодня явью»,— пишет об одном из старейших кубинских поэтов критик Хоакин Орамас в газете «Гранма».

Шестьдесят лет тому назад вступил Рехино Педросо на поэтическую стезю. Первым произведением, принесшим ему известность, стала поэма «Братский привет механическому цеху», вышедшая в канун десятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1927 году. «Эта поэма, — рассказывает Рехино Педросо,— вызвала самые оживленные отклики, потому что впервые в кубинской поэзии в центре повествования был рабочий-революционер. Всякая поэзия социальна, но то, что было написано мной, стало прямым отражением событий в далекой России, отражением революционного, классового самосознания кубинского пролетариата...

Октябрьская революция была для меня,— продолжает поэт,— источником эмоционального взлета, стремительного роста классового самосознания».

«Рехино Педросо,— пишет известный литератор, государственный деятель Кубы Рауль Роа,— вступил на арену классовых сражений с гневным протестом против социальной несправедливости. Глубокое стремление к новой жизни, горячее сочувствие к эксплуатируемому человеку — вот что придавало особый смысл его поэзии, рассказывающей о других и забывающей о себе самом».

«ТЕАТР СЕРХИО РЕНХИФО»

В кубинском издательстве «Каса де лас Американас» вышел сборник пьес известно-

го венесуэльского драматурга Серхио Ренхифо.

Серхио Ренхифо (род. в 1915 г.) — не только крупнейший драматург Венесуэлы, но и талантливый театральный режиссер, художник, журналист, искусствовед.

Пьесы Ренхифо по стилю, жанру, тематике и композиции столь же разнообразны, как и его творческие интересы. Однако всех их объединяет революционный пафос, чувство ответственности автора перед обществом, непоколебимая вера в созидательные силы человека — творца истории.

К наиболее значительным работам драматурга относится его трилогия «Фреска федеральной войны». Одной из предпосылок так называемой «федеральной революции» в Венесуэле (1858—1863) явилась отмена в 1854 г. рабства. В первой пьесе трилогии «Люди горьких песен» автор устами самих рабовладельцев раскрывает социальные причины ликвидации рабства: не гуманные соображения руководят эксплуататорами, а откровенное желание извлечь максимальную прибыль из труда «свободных» пеонов. Пьеса в основном состоит из песнопений бывших черных рабов, формальная свобода которых не разрушила тяжкие оковы. Зреет их гнев сначала против плантаторов, а затем, сливаясь с борьбой белых пеонов, против угнетателей вообще. Ширится движение народа, давшее истории Венесуэлы таких героев, как Эсекиэль Саморра.

Борьбе федералистов (вооруженных сил народа) с централистами (войсками олигархии) посвящена вторая пьеса трилогии «Некий Эсекиэль Саморра». Сам народный вожак не появляется в пьесе, но его пламенным призывом к свободе и справедливости пронизан весь ее дух. В центре внимания автора — большая крестьянская семья, в судьбах которой отразились бурные события 1859 г.

Последняя пьеса трилогии — «То, что оставила буря» — раскрывает печальный итог «федеральной революции»: предательство псевдолиберальными военными надежд народа на равенство и справедливость. Однако, несмотря на трагический финал, пьесе чужд пессимизм. Ее героиня Брусска слышит надвигающуюся бурю: это приближаются восставший из праха Эсекиэль Саморра и его соратники.

Проблеме венесуэльской нефти посвящена и другая драматическая трилогия С. Ренхифо. Она открывается пьесой «Желтый шквал». Желтый шквал — это поток золота, хлынувший в небольшое селение после открытия в этих местах нефтяного месторождения, и одновременно—огненный ураган воспламенившейся нефти, в котором гибнут люди, скрывшиеся от произвола властей.

Вторая пьеса трилогии — «Поток усталых мертвых»— рассказывает о неуемной жажде наживы, эгоизме и жестокости владельцев нефтяной компании и о тех, кого нефтепромышленники эксплуатируют. «Поток усталых мертвых» — это не только сброшенные в воды реки трупы индейцев, обезглавленных испанскими конкистадорами в эпоху колонизации, но и обезображенные взрывом газа на одном из нефтяных промыслов тела рабочих.

Завершает трилогию пьеса «Башни и ветер» — о трагедии страны, которую долгие годы грабили иностранные компании.

ПОЛЬША

«СПАСТИ ГОРОД»

Новый польско-советский фильм «Спасти город» рассказывает о последних неделях оккупации Кракова гитлеровцами. Город, в котором находилось гитлеровское «правительство» генерал-губернаторства, оккупанты перед своим отступлением решили уничтожить. Краков был заминирован и при вступлении в него освободительных войск Советской Армии должен был взлететь на воздух. Члены польского движения Сопротивления раскрыли преступные планы фашистов и вместе с советскими воинами обезвредили

На снимке: кадр из фильма «Спасти город».

(Журнал «Фильм»)

детонирующую систему, а командующий фронтом маршал Конев решил обойти противника с флангов и взять город без обстрела. Королевский замок Вавель и все бесценные памятники польского зодчества были спасены. Благодарные краковцы присвоили маршалу Коневу звание почетного гражданина города, а сама операция по спасению города вошла в историю второй мировой войны.

Фильм, поставленный режиссером Яном Ломницким, который сам был свидетелем тех событий, рассказывает не только о ходе операции по спасению города, но и о жизни самого города и его обитателей накануне освобождения.

Фабулой фильма, которой подчинены все другие сюжетные линии, является история семьи Новацких, обычных рядовых людей, которые, несмотря на грозящую им опасность со стороны оккупантов, честно выполняют свой гражданский долг. Они помогают раненому советскому разведчику (его роль исполняет советский актер А. Белявский), передают представителям польского подполья добытые из гестапо сведения, взаимодействуют с солдатами Армии Людовой, делают все возможное, чтобы спасти город.

Наряду с историческими лицами в фильме есть и вымышленные герои, которым присущи черты подлинных героев событий.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В нынешнем году лауреатами премии министерства культуры и искусства стала большая группа писателей.

Классик польской литературы Ярослав Ивашкевич был отмечен премией первой степени за томик эссе «Петербург» и за сборник рассказов «Зарудье». Как пишет журнал «Нове ксёнжки», представляющий новых лауреатов, «было бы кощунством в краткой заметке определить значение творчества Ивашкевича в польской литературе, которая без него немыслима», и оценивает его последние работы как свидетельство неувядаемости таланта писателя.

Лауреатами премии первой степени стали:

Галина Аудерская, которую рецензент журнала «Нове ксёнжки» называет «продолжательницей традиций реалистического польского романа»;

Леслав Бартельский — поэт, прозаик, эссеист, автор критико-литературных работ, награжденный за творчество в целом и в первую очередь за роман «Кровавые крылья», в котором описываются события, происходившие в Польше в период между двумя войнами. Большой заслугой Бартельского является также составление «Словаря польских современных писателей»;

Ян Добрачинский — известный советскому читателю своими очерками о Советском Союзе;

Збигнев Сафьян — автор сценария «Ставка больше, чем жизнь», награжденный за роман «Ничейное поле», который критика считает самым интересным политическим романом последнего времени. Збигневу Сафьяну, как отмечала польская критика, удалось со всей убедительностью воссоздать атмосферу межвоенных лет, отобразить расстановку сил в лагере пилсудчиков перед лицом надвигающейся катастрофы;

Ежи Стефан Ставинский, автор книг «В погоне за Адамом», «Пингвин», «Час пик», награжденный за творчество в целом и за последний роман «Записки молодого варшавянина о дне рождения», который можно назвать биографией целого поколения поляков, переживших гитлеровскую оккупацию, трагедию Варшавского восстания и радость освобождения;

З. Быстшицкая, награжденная за роман «Контузия»;

Стефан Вехецкий — старейший юморист, «певец Варшавы», известный варшавянам под псевдонимом С. Вех.

За творчество в целом награждены также старейшие писатели А. Голубев, Я. Курек и С. Струмпф-Войткевич.

Премии второй степени присуждены известному критику Витольду Навроцкому за достижения в области критики и теории литературы и М. Шиповской — за цикл биографических романов о выдающихся польских деятелях.

РУМЫНИЯ

РОМАНЫ О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

В еженедельнике «Ромыния литерарэ» появилась статья Ал. Штефэнеску, посвященная романам на рабочую тему. «В последнее время,— отмечает рецензент,— наблюдается усиление интереса писателей к рабочей теме. Это свидетельствует о том, что «аллергический синдром» по отношению к производственной тематике исчез и пульс эстетической мысли снова бьется нормально».

Убедительным доказательством тех богатых художественных возможностей, которые открывает рабочая тема перед художником, являются, по словам Ал. Штефэнеску, некоторые произведения, опубликованные совсем недавно, и среди них романы «Красным по белому» Н. Цика, «Прошу слова» Д. Хоромни и «Куколка» М. Тупана.

Роман Н. Цика посвящен событиям, связанным с забастовкой шахтеров в Лупене в 1929 г. Насытив ткань романа документальным материалом, автор вместе с тем умело использует метод прямого диалога «из будущего» с главными действующими лицами. Это позволяет ему выявить с особой силой их духовное богатство, несокрушимую веру в конечную победу пролетариата.

Совсем иную структуру предпочел Д. Хоромня. Весь роман — это рассказ об одном партийном заседании, посвященном приему в партию новых членов. Единственные «события» здесь — выступления участников, которые, стремясь получше обосновать свои оценки и суждения, обращаются не только к настоящему, но и

к прошлому своих товарищей. По мнению рецензента, автору удалось нарисовать «впечатляющие образы представителей рабочего класса».

Оригинальна также художественная манера М. Тупана. Рассказ о первых шагах молодого специалиста на крупной стройке дан в форме лирической исповеди.

Все это доказывает, по мнению Ал. Штефэнеску, какими богатыми художественными возможностями обладает тема, которая до недавнего времени считалась «вотчиной» репортажа.

США

СТИХИ О РЕВОЛЮЦИИ

«Бинты на ранах и пули. Во славу африканской революции» — так называется сборник стихов негритянского поэта Антара Судана Катара Мбери, выпущенный издательством «Уэст энд пресс». Стихи Мбери посвящены, по словам рецензентки газеты «Дейли уорлд» Виктории Миссик, «героической борьбе народов Африки с неоколониализмом». Как свидетельствует название сборника, пишет В. Миссик, американский поэт выражает свою солидарность с африканскими патриотами, «чья борьба со своими угнетателями вступила сегодня в решающую стадию».

Стихи Мбери, проникнутые антиимпериалистическим пафосом, рассказывают не только о революционном освободительном движении в Мозамбике, Анголе, Зимбабве. В них выражается мысль о том, что борьба негров США против расизма и борьба африканцев за национальную независимость объединяются общностью цели — борьбой за равноправие негров, против расовой дискриминации.

В одном из лучших стихотворений сборника, «Все об Анголе», по словам В. Миссик, есть такие строки: «Я — за то, чтобы стоять плечом к плечу в этой патриотической войне рядом с Анголой, с Советским Союзом и Кубой!»

Обложка сборника стихов Мбери, исполненная Т. Гетером. *(Газета «Дейли уорлд»)*

В. Миссик особо отмечает талант негритянского поэта, который пишет не только в традициях негритянской поэзии протеста в США 60-х гг., но также в ставшей уже классической традиции революционной поэзии Назыма Хикмета и Ленгстона Хьюза. «Стихи Мбери,— пишет в заключение рецензентка,—послужат хорошим примером и для поэтов и для художников, которые хотят выразить в своих произведениях устремления народов Африки, всех демократических сил современности в революционной борьбе против империализма. «Бинты на ранах и пули» — это настоящая пролетарская поэзия».

В. Миссик отмечает также мастерство художника Тайрона Гетера, который создал иллюстрации к стихам Мбери.

ФРАНЦИЯ

КНИГА АНРИ АЛЛЕГА НА ЭКРАНЕ

Вышедшая 20 лет назад и сразу же запрещенная небольшая книга Анри Аллега «Допрос» (она была опубликована в «ИЛ» № 6, 1958 г. под названием «Допрос под пыткой»), рассказывающая о том, каким бесчеловечным пыткам подвергался он со стороны французских парашютистов в Алжире, народ которого вел тогда упорную борьбу за свое освобождение, против поработителей, ныне получила воплощение на экране. Молодой режиссер Лоран Эйнеман выпу-

стил фильм под тем же названием. Правда, в нем изменены имена. Аллег стал Шарлегом, Одэн — Удино, но сделано это для того, чтобы выбить из рук «бывших» участников и организаторов пыток патриотов — арабов и французов, всякую возможность обвинять авторов фильма в диффамации. Критика отмечает серьезность работы Л. Эйнемана, успех актеров, особенно Жака Дени в роли Шарлега (Аллега).

Самюэль Лашиз пишет в «Юманите диманш»: «Большая заслуга Лорана Эйнемана в том, что он сумел показать мужество человека, сопротивляющегося пытке до конца. Для этого нужно знать, куда идешь и ради чего. «Тяжко, Анри!» — было последней фразой Мориса Одэна, талантливого математика, «пропавшего без вести»... А палачи его по-прежнему живут. Фильм ставит этот вопрос. Палачи находятся поблизости — здесь, еще где-то, всюду понемногу, циничные и победоносные. Тем не менее простой фильм мешает им. Спустя двадцать лет «Допрос» остается предупреждением».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЫПУСК «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Журнал «Решерш энтернасиональ о ля люмьер дю марксисм» («Интернациональные исследования в свете марксизма») выходит раз в три месяца; каждый выпуск представляет специализированный научный сборник, посвященный какой-либо конкретной проблеме общественных наук (например, «Социалистическая собственность», «Градостроительство и социализм», «Семиотика»). Иногда работа крупного ученого печатается в «Решерш энтернасиональ» целиком. Так, один из недавних выпусков полностью посвящен работе М. Бахтина «Эпос и роман».

Новый номер журнала вышел под заголовком «Литература. Исследования. Функции. Перспективы». В нем опубликованы работы литературоведов и эстетиков социалистических стран; они охватывают широкий круг проблем: отношение литературы и действительности, социальное назначение литературы, специфические особенности, присущие художественному познанию. Сборник подготовили французские литературоведы Клод Прево, Андре Жиссельбре, Леон Робель; вступительную статью написал Клод Прево. Наряду с работами ученых ГДР, Польши, Чехословакии в сборнике представлены труды видных советских ученых, работающих в разных городах и национальных республиках СССР. Здесь напечатаны статьи Д. Лихачева «Будущее литературы как предмет исследования», Ю. Лотмана «О содержании и структуре понятия «художественная литература», отрывки из книги С. Бартазаряна «От знака к образу» и из книги Д. Затонского «Искусство романа и XX век».

В кратком обращении редакции к читателям говорится: «Более миллиарда человек руководствуется в своей мысли марксистским методом; многие страны положили его в основу своего государственного устройства. Наша цель — дать разнообразные примеры деятельности исследователей, которые во всем мире вдохновляются этим методом... Мы надеемся таким образом содействовать культурному обмену, необходимому для духовного прогресса, делу взаимопонимания и сохранения мира».

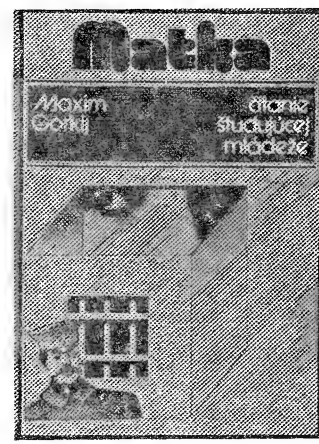
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ТАТРАН» — 30 ЛЕТ

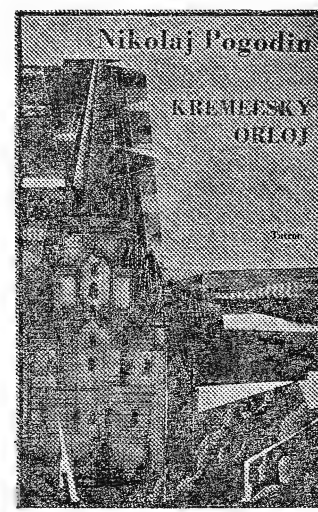
В нынешнем году исполняется тридцать лет словацкому издательству художественной литературы «Татран».

За этот срок «Татраном» сделано очень много для публикации всего лучшего, что было создано в мировой художественной литературе и литературоведении. Оно широко практикует выпуск «серий» и «библиотек». Например, в «Гвездославовской библиотеке», основанной по предложению Клемента Готвальда в 1951 году, выходили лучшие произведения словацкой и мировой классики. В отдельные годы она насчитывала 60—70 тыс. подписчиков — для такой небольшой республики, как Словакия, это много. Всего издано 296 названий книг, общим тиражом 5,5 млн. экз.

В серии «Золотой фонд словацкой литературы» публикуются произведения самых выдающихся словацких писателей, сопровождаемые статьями литературоведов. Среди них книги П. О. Гвездослава, П. Илемницкого, Й. Грегора - Тайовского, П. Добшинского, Я. Краля.



На снимке: обложка книги М. Горького «Мать», вышедшая в издательстве «Татран».



На снимке: обложка вышедшей в издательстве «Татран» пьесы «Кремлевские куранты» Н. Погодина.

А. Сладковича, Я. Ботто, Я. Есенского. Готовятся к изданию книги Франьо Краля, Рудольфа Яшика. Создается также новая серия «Золотой фонд мировой литературы».

В серии «Памир» выходят лучшие произведения русских и советских писателей — Л. Толстого, Пушкина, Достоевского, Короленко, Федина, Леонова. Есть серия, посвященная современной литературе социалистических стран («Прамен»), современной мировой прозе («Лук»), литературоведению и критике («Окно»).

Издательство сгруппировало вокруг себя талантливых переводчиков, виднейших словацких и чешских литературоведов; во главе издательства в разное время стояли такие видные деятели культуры, как Михал Поважан, Андрей Плавка, Ян Поничан.

Русская и советская литература занимает большое место в издательских планах и первое место среди переводной литературы. В этом году, например, вышли роман М. Горького «Мать», пьеса Н. Погодина «Кремлевские куранты». К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции выходят «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, «Разгром» А. Фадеева, «Непокоренные» Б. Горбатова.

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

«И В ИЗГНАНИИ МЫ МОЖЕМ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ»

Один из видных деятелей чилийской культуры А. Виткер — старый активист социалистической партии — вскоре после фашистского переворота в Чили был заключен в тюрьму, а затем в концентрационные лагеря: сначала на острове Кирикина, затем в Чакабуко. Его освободили в 1974 году в результате требований прогрессивной мировой общественности, но Виткер вынужден был покинуть Чили. Итогом пережитого в фашистских застенках стала его книга «Тюрьма в Чили», изданная в 1975 году в Мехико.

В рецензии, опубликованной журналом «Каса де лас Американас», чилийский критик Хайме Конча писал: «Суровый и вместе с тем оптимистический настрой книги; сила, с которой ее автор клеймит чудовищные преступления хунты Пиночета; энергия и страстность, с которыми он отыскивает и исследует глубинные истоки жизни нашего народа; целительный здравый смысл, не оставляющий его даже в самые ужасные моменты, когда один за другим умирают его единомышленники,— все это придает книге Виткера ценность неопровержимого свидетельства о жестоких репрессиях, которым подверглось и ныне подвергается чилийское общество».

С сарказмом пишет А. Виткер об «антиинтеллектуализме» клики Пиночета, об «элите невежд», «систематически разрушающей и уничтожающей достояние национальной культуры чилийского народа — университеты и народную музыку, библиотеки, музеи и рабочую прессу».

Ощущение насилия, гнетущей тюремной действительности пронизывает многие страницы книги. Но в тюремных застенках крепнет сплоченность узников и их уверенность в грядущей победе над фашизмом, рождаются мечты о новом, социалистическом Чили. И не случайно А. Виткер вспоминает слова мудрого старика индейца Хуанито, который, не имея никакого представления о политических партиях, по зову сердца поддержал политику, проводимую Сальвадором Альенде. «Когда его спросили,— пишет А. Виткер,— не обессилел ли он за время тюремного заключения, Хуанито ответил: «Мой народ несколько веков боролся против испанских колонизаторов. Как же я могу почувствовать себя ослабевшим, когда я начал сражаться с американскими колонизаторами?! Нет, не могу, товарищ,— ведь сражение только начинается...» «Придет время,— заключает Х. Конча,— когда Чили по воле своего народа — и это исторически неизбежно — станет социалистической страной и счастливая чилийская молодежь по книге А. Виткера будет изучать историю самых горьких лет своей родины».

Недавно А. Виткер закончил новую книгу «Товарищ Тоа», посвященную деятельности бывшего вице-президента Чилийской Республики и соратника Сальвадора Альенде Хосе Тоа, погибшего в тюрьме в марте 1974 года.

А на литературном конкурсе «Каса де лас Американас» 1977 г. Алехандро Виткер был удостоен премии за книгу «Дни и труды Л. Э. Рекабаррена», основателя Коммунистической партии Чили.

«Присуждение мне премии на конкурсе «Каса де лас Американас»,— подчеркнул А. Виткер в своем интервью корреспонденту Пренса Латина, опубликованном в журнале «Хувентуд ребельде»,— укрепило мою убежденность в том, что и в изгнании мы можем принести пользу борьбе чилийского народа против фашизма».

ЮГОСЛАВИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ МИРОСЛАВ ДЖУРОВИЧ

В издательстве «Победа» (Титоград) вышла книга очерков молодого черногорского поэта Мирослава Джуровича «Солнце не одинаково», которая возникла в результате неоднократных поездок автора в Советский Союз.

Увлеченно рассказал он об Армении, ее писателях и художниках.

«В Грузии,— пишет М. Джурович,— вы останавливаетесь в изумлении, не зная, чем эта страна богаче — дарами ее земли или же людьми!» Отдельный раздел автор посвящает грузинским поэтам, начиная от Шота Руставели, «этого витязя поэзии», и кончая сов-

ременными поэтами. Далее пути ведут его в Узбекистан, которому посвящены две новеллы, рассказывающие о прошлом и настоящем республики, и продолжаются в «стране гор» Дагестане. Эта новелла начинается рассказом о горцах — ходоках к Ленину, после чего автор повествует о встречах с современниками, о преобразованиях в республике, происшедших за годы советской власти.

Много лирических размышлений вызывает у поэта путешествие по Украине.

Настоящим открытием для Джуровича была советская Сибирь. «При всех наших привычных представлениях о пространстве,— с изумлением пишет он,— Сибирь воспринимается настолько огромной и необъятной, что все виденные нами края света кажутся лишь частью сибирских пространств».

Значительное место уделено в книге Джуровича Ленинграду и его писателям, а в новелле «Запоздалые московские встречи» он рассказывает о своих любимых писателях советской эпохи.

Встреча с бронзовым Маяковским в ночной Москве вызывает у автора следующие размышления: «Маяковский жил быстрее всех... Маяковский — это молния Октябрьской революции, молния, которая вечно длится...»

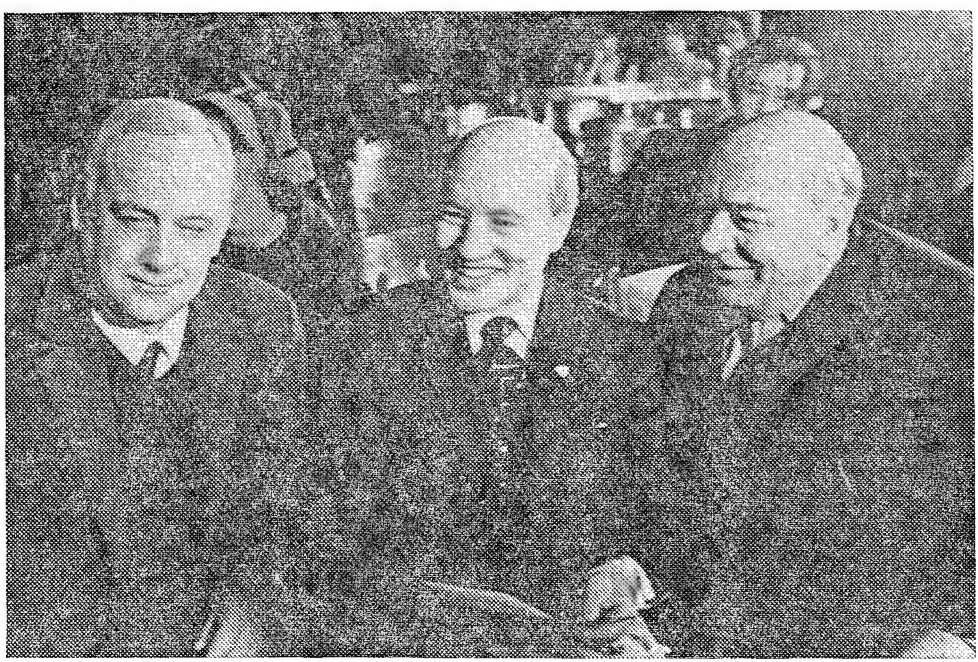
ЯПОНИЯ

«ОН ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ»

Такидзава Осаму — артист театра «Мингэй», снимавшийся во многих кинофильмах, несколько лет назад побывал в Москве и Ленинграде, где смотрел спектакли советских театров и посетил места, связанные с жизнью и деятельностью Ленина. По этому поводу он сказал: «Мне выпала честь исполнить роль великого Ленина. Я перечитал многие его труды, прочитал статьи и воспоминания разных лиц о нем для того, чтобы полнее и правдивее воплотить образ основателя первого в мире социалистического государства и показать японскому народу великие идеи революционера. Я спал по пять часов в сутки и читал, читал, читал... Каждая строчка обогащала меня и не только помогала в работе над ролью, но и влияла на мое собственное мировоззрение. Ленин для меня не просто великий учитель, он живет во мне, в моем сердце...»

И до нынешнего дня пьеса М. Шатрова «Шестое июля» не сходит со сцены театра «Мингэй». По отзывам прессы, Такидзава Осаму с успехом сыграл роль В. И. Ленина, создав глубокочеловечный и впечатляющий образ.

На снимке: исполнители ролей В. И. Ленина — Б. Смирнов, Такидзава Осаму и А. Грибов.



Авторы этого номера

АЛЬДО ДЕ ЯКО — ALDO DE JACO (род. в 1923 г.).

Итальянский писатель, сын железнодорожного служащего. В 1943 г. поселился в Неаполе, учился на архитектурном факультете, стал журналистом; сотрудник газеты «Паэзе сера». В 1954 г. вышла его первая книга рассказов «Неаполитанские воскресенья» («Le domeniche di Napoli»), в 1956— «Город восстал», исследование по истории нацистской оккупации Неаполя и его героических «четырех дней»— народного восстания, в результате которого был освобожден город. Перу Альдо Де Яко принадлежит также исторический труд «Хроника объединения Италии» («Cronache dell'unità d'Italia»), состоящий из пяти томов; сборник из трех повестей «Необычайная неделя» («Una settimana eccezionale», 1955), отмеченный литературной премией Сеттембрини, и книга рассказов «Обратный путь» («Viaggio di ritorno», 1966).

Мы предлагаем вниманию читателя его новую работу — «Повесть с эпилогом в тюрьме» («Con finale in prigione», Venezia-Padova, Marsilio Editori, 1975), которую печатаем с небольшими сокращениями.

СМИРНОВ ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский переводчик итальянской классической и современной литературы. Переводил произведения У. Фосколо, Т. Гросси, Г. Деледды, Э. Сальгари и др. Автор литературных комментариев к ряду произведений современных итальянских писателей. Занимается также переводом политической литературы и публицистики. Член правления общества «СССР—Италия».

РОЖЕ ШАТОНЁ — ROGER CHATEAUNEU (род. в 1920 г.).

Французский писатель и журналист. Сын рабочего-кузнеца. В юности Р. Шатонё переменил несколько профессий, работал на заводе металлических конструкций в Бордо. Именно на этом заводе происходит действие его первого романа «Железные арфы» («Les harpes de fer», 1961), являющегося первой частью трилогии. Затем появился роман «Искры» (его перевод напечатан в «Иностранной литерату-

ре» № 11 за 1967 г.), отмеченный премией, присуждаемой факультетом литературы Бордоского университета. Третий роман— «Мирты» («Les Myrthes», 1968) — посвящен судьбе старого профсоюзного деятеля.

В этом номере мы публикуем в журнальном варианте роман Роже Шатонё «Через самую высокую дверь» («Par la plus haute porte», 1973).

■

ЭЖЕН ПОТЬЕ — EUGÈNE POTTIER (1816—1887).

Французский поэт-песенник. В 1831 г. вышел первый сборник его песен «Юная муза» («La jeune muse»). Один из активных участников Парижской коммуны, Потье сражался на баррикадах. В июне 1871 г. в парижском подполье он написал «Интернационал», положенный на музыку П. Дегейтером в 1888 г. После разгрома Парижской коммуны Потье бежал в Англию, потом в США. Там в конце 70-х годов он создал три поэмы, посвященные проблемам борьбы рабочего класса за свободу: «Рабочие Америки — рабочим Франции» («The Workingmen of America to the Workingmen of France»), «Парижская коммуна» («La Commune de Paris»), «Рабочая партия» («Workingmen's party»). В 1880 г. Потье вернулся во Францию. В 1884 г. он опубликовал сборники «Социально-экономические стихи и социалистические революционные песни» («Poésies d'économie sociale et chants socialistes révolutionnaires») и «Кто же безумен?» («Quel est le fou?»). В 1887 г. вышел последний сборник—«Революционные песни» («Chants révolutionnaires»).

В нашей стране произведения Э. Потье издавались неоднократно, в том числе «Избранные стихи» (М., 1938), «Избранное» (М., 1950), «Сатирические стихи» (М., 1960), «Песни. Стихи. Поэмы» (М., 1966 и 1971).

«Песенка рисовальщика» впервые опубликована в книге «Кто же безумен?» («Quel est le fou?», 1884), «Красный Жак»— в альманахе «Социальные проблемы» («Almanach de la Question Sociale», 1898).

■

ДМИТРИЕВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1904 г.).

Советский поэт-переводчик. Переводил стихи Парни, Гюго, Беранже, Лашамбоди, Верхарна, Менара, Потье, Клемана, Вайяна-Кутюрье и других французских поэтов. Исследователь творчества Эжена Потье, автор книги о нем «Поэт-коммунар» (1966), статьи «Переводы «Интернационала» на русский язык». Подготовил совместно с П. Брошоном первое полное собрание произведений Э. Потье на французском языке (1966).

■

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

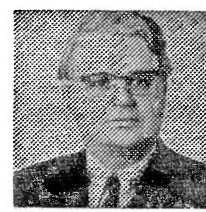
Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР, автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые пути чешской поэзии XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» (1973) и статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

■

ЛЮБАРСКАЯ АЛЛА МИХАЙЛОВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук, доцент Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской. Автор книги «Вилфрид Скоуэн Блант. Жизнь. Творчество. Борьба» (1969), многих статей и очерков, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе и в «Иностранной литературе».

■



ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИАН МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1919 г.).

Советский журналист, историк-латиноамериканист, кандидат исторических наук, автор многих публикаций по истории, культуре, социальному развитию стран Латинской Америки, ряда литературно-критических статей, очерков и предисловий к произведениям латиноамериканских писателей.

ПЕДРО КЛАВИХО — PEDRO CLAVIJO (род. в 1939 г.).

Колумбийский журналист, корреспондент газеты «Эль эспектадор» в Москве, автор книги «Репортажи из Москвы» («Reportages desde Moscu», 1977).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС — PEDRO CORREA VASQUEZ (род. в 1955 г.).

Панамский поэт. В настоящее время учится в Московском литературном институте им. А. М. Горького.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

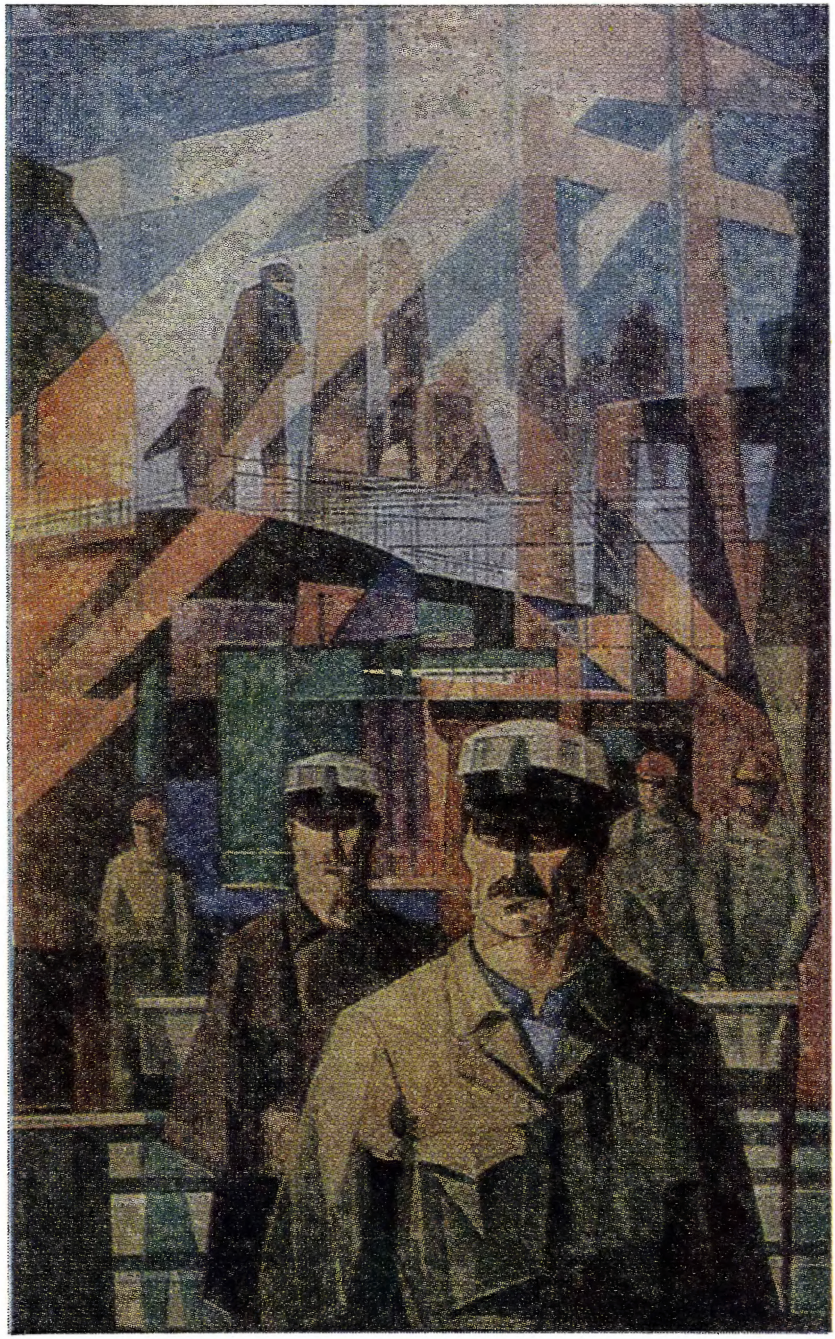
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/IX 1977 г. А 10687. Подписано в печать 11/X 1977 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 595 000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 2896.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



СПИРУ КИНТИЛЭ. Румыния. Стройка

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394